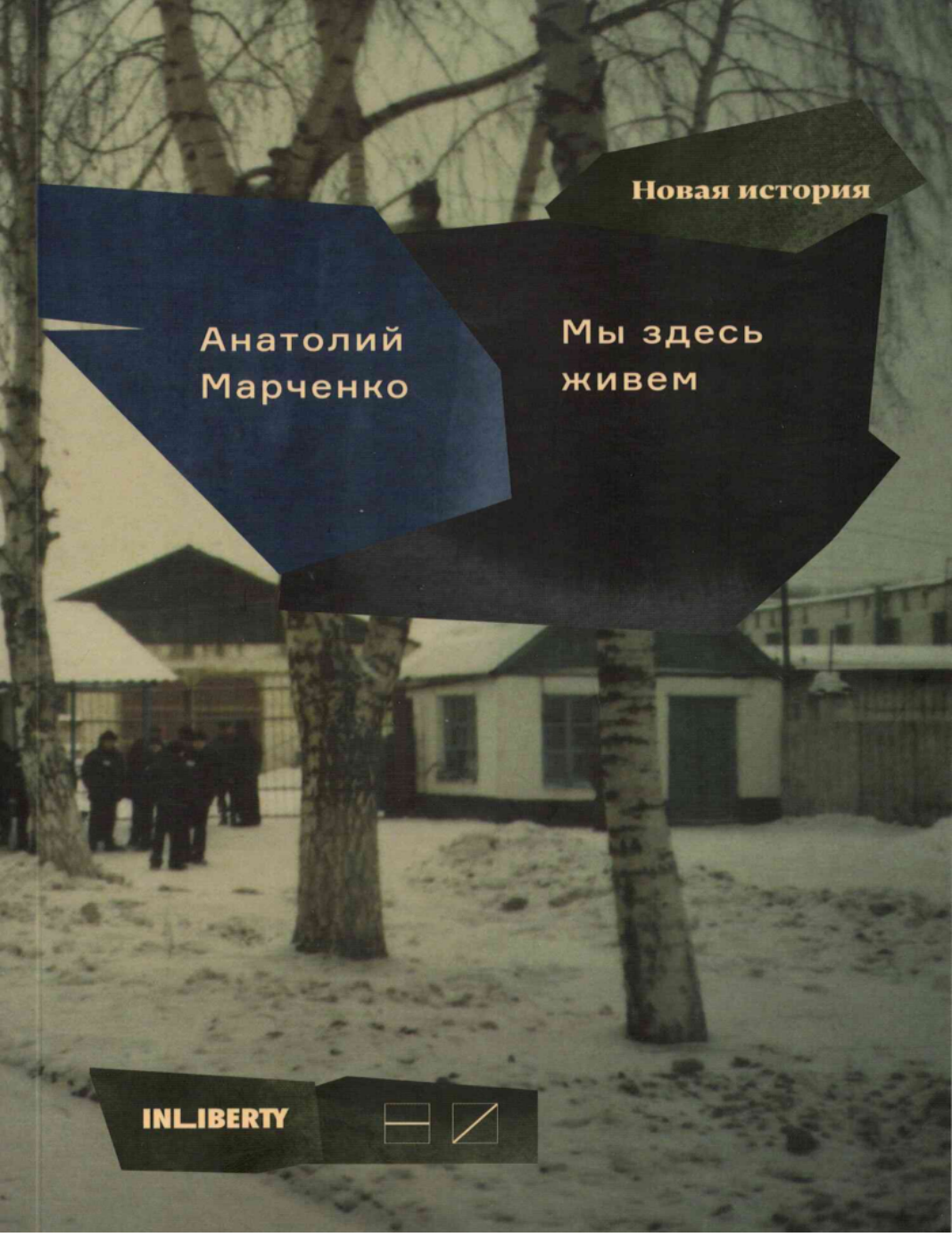
Новая история
Анатолий Марченко
Мы здесь живем
INLIBERTY

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анатолий Марченко — один из самых авторитетных участников диссидентского движения, проведший в лагерях и ссылках 18 лет и погибший после 117-дневной голодовки с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Настоящее издание объединяет автобиографическую прозу Марченко, в том числе книги «Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все» и никогда не публиковавшиеся тексты, найденные в архивах КГБ, политическую публицистику и документы, раскрывающие механику противостояния человека и государства в позднем СССР.

- Анатолий Марченко
  - Живи как все
    - Часть первая
    - Часть вторая
    - Часть третья
      - Москва — Таруса
      - Таруса
  - От Тарусы до Чуны
    - Предисловие автора
    - 26 февраля 1975 года[41]
    - 27 февраля
    - 4 марта
    - 7 марта
    - 31 марта
    - 9 апреля
    - 12 апреля
    - 14 апреля
    - 18 апреля
    - 19 апреля
    - 20 апреля
    - 21 апреля
    - 22 апреля
    - 23 апреля
    - 27 апреля — 21 мая
    - Заключение
  - Примечания
    - Живи как все
    - От Тарусы до Чуны
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

Анатолий Марченко
Мы здесь живем. Том 2. Живи как все. От Тарусы до Чуны

Живи как все

Часть первая
От автора

Под этим названием я начал было писать повесть, наброски которой у меня столько раз отбирали на обысках, что я ее пока отложил. А когда я стал писать эти воспоминания, то понял, что слова «живи как все» как раз ко мне и относятся. Эту присказку я слышу всю мою жизнь. Пришлось украсть у самого себя это название для нового произведения.

«Живи как все», как и «Мои показания» и «От Тарусы до Чуны», — произведение документальное. По хронологии оно должно встать между ними.

Те, кто знаком с двумя первыми книгами, без труда обнаружат отличия третьей.

Во-первых, в этой книге больше, чем в первых двух, таких элементов, как рассуждения, попытки осмыслить прошлое и настоящее, попытки, так сказать, увидеть и завтрашний день — и свой собственный, и своей страны, и мира. Поэтому книга «Живи как все», хотя и построена тоже на конкретных фактах, на авторской биографии, — более субъективна.

Во-вторых, в этой книге почти нет имен. На это я пошел умышленно. И вот почему. Мне не хочется оказаться виновником неприятностей для хороших людей. Я согласен с принципом: «страна должна знать своих стукачей». И таких всегда готов назвать. Ну а как быть с людьми честными и порядочными, с теми, кто, рискуя не меньше меня, помогал мне? Да и не только мне одному. Тем более невозможно рассказать о тех, кто делал полезное и нужное сам по себе, делал, не афишируя свою причастность или даже скрывая свои занятия от властей. Даже то, что сегодня не считается криминалом, завтра вполне может оказаться таковым.

Я не всегда решаюсь назвать и тех, кто, сделав много доброго и нужного, потом вынужден был покинуть страну и эмигрировать. Вроде бы они уже в безопасности и можно было бы выразить им свою признательность или восхищение. Но, учитывая особенности нашего исторического развития и наши «национальные традиции», я не могу позволить себе и этого. У нас ведь «никто не забыт и ничто не забыто». Может случиться, что кто-то из эмигрантов пожелает вернуться на родину или навестить родных; назови я их — и вот для властей повод шантажировать этих людей (к сожалению, такую перспективу сейчас принято не учитывать).

По этой же причине я не могу в этой книге рассказать о некоторых фактах и случаях, хотя они, по-моему, достойны упоминания. Они настолько конкретны, что угадать причастных или участвующих лиц ничего не стоит. Предположим, сотрудник КГБ или должностное лицо с глазу на глаз выражает мне сочувствие или даже предлагает помощь. Кто он: провокатор или искренний доброжелатель? Я не знаю. Во всяком случае, я не вправе поставить его под удар, конкретно рассказав о таком эпизоде. А жаль, что такие факты должны остаться неизвестными.

Я стремился к тому, чтобы за измененными инициалами, за анонимными действующими лицами и в зашифрованных эпизодах читатель увидел и ощутил людей — тех, благодаря которым написаны мои книги и относительно благополучно (в отечественном понимании!) сложилась моя судьба. Тех людей, благодаря которым еще как-то возможно жить и дышать в нашей стране.

* * *

Шесть полных лет я провел в политлагерях и тюрьмах. Но никто, никогда, нигде не упоминал о наличии в Советском Союзе политических заключенных. Мир был встревожен и обеспокоен положением политзаключенных в ЮАР и Португалии, франкистской Испании и Южном Вьетнаме, но только не в СССР. Нас просто не существовало. И от этой несправедливости мы готовы были лезть на стенку.

Это было отчаяние обреченных на забвение. Меня тоже возмущало позорное молчание мировой и отечественной общественности по отношению к советским политзаключенным.

Но меня возмущало и наше собственное поведение: мы сами должны хотя бы заявить о себе во весь голос.

Сколько людей вышло при мне на волю! Украинские, литовские, латышские националисты, проклинавшие «тюрьму народов» — СССР; люди, сидевшие «за войну»; такие, кто сел уже в послесталинские времена. Среди них были люди думающие и даже пишущие.

И каждый из них, пока был за колючей проволокой, вместе со всеми возмущался и негодовал, обвиняя весь мир в соучастии с Хрущевым, а потом с Брежневым. А как выйдет — он уже вольный и ему нет дела до страданий тех, кто там остался. Неужели все объясняется обыкновенной человеческой слабостью — трусостью?

Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сегодня, что среди освободившихся было немало умных, порядочных людей. Но и

сейчас, когда я пишу об этом, встает передо мной давний вопрос: почему?

Конечно, каждый может правдиво и искренне ответить: я не писатель. А я тем более не писатель. К тому же мало просто написать, нужно обеспечить гласность написанного.

Были у меня в заключении друзья, с которыми я мог откровенно делиться мыслями и планами. Сколько раз мы обсуждали этот вопрос! Там, за колючей проволокой, под сторожевыми вышками, мы не видели никакой другой возможности дать о себе знать, кроме как прорваться за границу, найти там журналиста, который этим заинтересуется, и рассказать ему все, что знаешь.

Лучше всего, считали мы, было бы сделать это дело, не покидая страны: важно, чтобы это был голос изнутри. Никто из нас не сомневался, что судьба того, кто выполнит эту задачу «дома», решится мгновенно и бесповоротно — его либо сгноят в тюрьме, либо прикончат втихую. У меня накопилось столько злости за себя и за других, что я готов был бы пойти на это, но я чувствовал, что мне самому не справиться с «писаниной» и с передачей.

Под конец моего срока в нашей печати проскользнуло сообщение о Тарсисе. Мы также внимательно читали все газетные статьи о Синявском и Даниэле, и я обратил внимание на такую деталь, как передача ими на Запад своих рукописей. Но я мог только позавидовать их способности писать плюс возможностям и связям. Никакие мои «связи» не давали мне и слабой надежды найти хотя бы щелку в свободный мир. Итак, оставался только первый вариант, и я решил попытаться его осуществить.

Вообще, зэки в лагере нередко сочиняют всякие авантюрные проекты кто во что горазд: от плана побега из зоны через подкоп или на воздушном шаре до вооруженного прорыва на волю. А люди деятельные и кидаются в авантюру, не считаясь с риском. Как ни удивительно, некоторые попытки удаются, хотя и крайне редко; большей же частью они кончались трагически. Но об удачах рассказывали легенды. Ходили слухи, что кому-то еще в сталинские времена удалось сбежать из лагеря — и за границу! — и там он опубликовал книжку.

Прорваться через границу? Задуманное дело, на мой взгляд, стоило риска.

В день освобождения, когда я прощался с друзьями, у меня не хватило духу заверять их в том, что наши разговоры не останутся обычным лагерным трепом. И я, стыдясь громких слов, не обмолвился, не намекнул даже, что окончательно решился осуществить нашу мечту — открыть систему политлагерей для

всеобщего обозрения.

* * *

Я не собирался после лагеря оседать где-нибудь на постоянное жительство: я считал, что имею лишь короткий отпуск, данный мне для подготовки к переходу границы. Но, хоть и временно, надо было где-нибудь, все равно где, прицепиться, найти жилье и прописаться, а затем хорошенько осмотреться на свободе. И еще мне хотелось в последний раз побывать в родных местах, повидаться с родственниками.

В Москву я ехал всего на день-два: у меня было несколько поручений от зэков к их родственникам. Но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил план осуществления.

С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе как к человеку «оттуда». Теплота и сочувствие были искренними и откровенными, и мне становилось неудобно, что получаю их ни с того ни с сего, не за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям.

В нашей стране судимостью никого не удивишь, в Москве особенно: трудно в Москве найти семью из интеллигенции, которая не была бы затронута сталинским террором. Благодаря Хрущеву поток реабилитированных «врагов народа» захлестнул Москву. Эта небывалая для советской власти практическая гуманность создала на какое-то время впечатление, что больше нет в советской стране ни политических процессов, ни лагерей и тюрем с политическими заключенными.

В Москве меня с большим интересом расспрашивали о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что это не просто любопытство, что мои слушатели готовы что-то сделать, чем-то помочь тем, кто сидит. Вот, например, одна из знакомых, А.[1], сразу же начала писать моему другу В.[2], который сидел уже восемь лет — а впереди у него было еще семь. Она посылала ему книги (тогда еще книжные бандероли были разрешены в любых количествах), писала о московских выставках и спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, съездила к его матери. А. и В. остались друзьями и после его освобождения из лагеря.

Если бы где-нибудь велась статистика корреспонденции в

лагерь, то с 1966–1967 года она показала бы резкий скачок вверх, потоком пошли книги, репродукции. Особенно важно, что отправляли их не родственники, а совершенно незнакомые люди. Оказалось, что изоляция политзаключенных объясняется отсутствием информации о них, а не безразличием общества. И теперь власти вынуждены изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить связь воли с зоной.

Я не хочу приписать все заслуги в этом деле себе. Были и другие источники информации, да и само время было такое — активное. Сидя в лагере, я никак не ожидал такой активности от нашей интеллигенции. А здесь я увидел, что даже разговоры за чашкой кофе не пропадают даром. И это побудило меня изменить способ осуществления взятой на себя задачи.

Одним словом, прожив некоторое время в Москве и осмотревшись, я пришел к выводу, что если мне есть что сказать или написать, то это можно сделать и в собственной стране.

Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками, для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались.

В нашем двухэтажном деревянном доме было двадцать четыре жилых комнаты и жили двадцать четыре рабочих семьи: в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Нас, слава богу, было в семье всего четверо. Но семьи-то разные бывают! На таких же шестнадцати квадратных метрах жили и по семь-восемь человек.

Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда у нас в это время кто-нибудь посторонний: соседка или родственники из деревни. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, гости-мужчины обычно выходили.

От своих родителей мы слышали одно напутствие: не хочешь быть, как отец, всю жизнь мазутником — учись! Жизнь и профессия родителей объявлялись детям проклятыми. Жить — мучиться, работать — ишачить. Другой философии своего существования наши родители не знали.

В пример для подражания нам ставились немногие в нашем городке люди «чистых» профессий: учителя, врачи, начальник

депо, директор хлебозавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные перечисленные мной в глазах всех были вершиной благополучия и довольства.

В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат, в общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром.

А уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками: «кандидат наук», «профессор», «доктор наук»! Обладать такой приставкой, казалось нам, все равно что обладать волшебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей (в нашем городке таких и не было), а труд — не только легким и приятным, но и гарантирующим удобную и роскошную квартиру, автомобиль и прочие блага, о которых наши родители и не мечтали.

И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным: писатель — писака — брешет, как собака! ученый — каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой же стороны, все преклонялись перед их всеведением и всемогуществом (но только не в отношении обыденной жизни: всем известно, что никакой писатель «нашу жизнь» не понимает и что никакой академик не сумеет вылечить даже чирей, а одна только тетя Мотя).

Вообще людей интеллигентных профессий объединяли с властью, с «начальством» — а уж начальство за что ж любить? Это хозяева, которые норовят взять с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, инженер, а тем более судья, прокурор, писатель — у них на службе. К тому же обычно начальство и интеллигенция (и их дети) в провинции ведут знакомство между собой, а не с простыми мазутниками.

И в то же время власть натравливала простых людей на интеллигенцию: то инженеры-вредители, то врачи-убийцы, то вообще «враги народа». И «народ» охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю.

Никто не скрывал зависти к материальным благам, о которых и знали-то понаслышке и дополняли собственным воображением на свой вкус и лад (как когда-то про царя говорили: «Сало с салом ест и по колено в дегте стоит»).

Полоса отчуждения между интеллигенцией и основной частью населения не исчезла у нас и по сей день.

* * *

Среди политзаключенных было предостаточно людей интеллигентных профессий, но я не сходился с ними настолько, чтобы мое сложившееся с детства представление претерпело значительные изменения. Однако, поразмыслив, я стал разделять понятия «интеллигентность» как культуру и образованность человека — и так называемую «интеллигентную» (то есть не физическую, не мазутную) работу. И к людям интеллигентным в первом смысле у меня возникло уважение, так как обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с нравственными принципами, которые особенно начинаешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близко сошелся с молодым заключенным Валерием Румянцевым — бывшим офицером КГБ. Несмотря на поганую прежнюю службу, Валерий, по-моему, был по-настоящему интеллигентным человеком, и я ему многим в себе обязан. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле; я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих.

Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле?

В лагере мы все на общем положении: один конвой для всех, одни нары шлифуем своими опавшими боками, и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. Да и в лагере они оказались, потому что они не такие, как все, белые вороны в своей среде, думал я.

И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду.

Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Это было не от неуверенности в себе, не от сознания собственной неполноценности перед более культурными и образованными. Это было выяснение и знакомство с новым.

Сам я намеренно не утруждал себя приспособлением, не старался понравиться окружающим. Если не считать излишней

подозрительности и настороженности, которую я проявлял первое время, то можно сказать, что я вел себя вполне естественно. Впрочем, со стороны виднее.

Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит десять лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им.

А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуальность. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих «успехи» советской власти в деле воспитания «нового человека, человека будущего».

Хотя круг моих знакомств в Москве был обширным и все больше расширялся, но, конечно, это были всего лишь десятки, ну, пусть за сотню людей. «Подумаешь, слой, — могут сказать, — да это все те же недобитые остатки, которым рано или поздно найдется место в том же лагере». И ведь действительно, многие из моих тогдашних (и более поздних) знакомых за эти десять лет прошли тюрьму, лагерь, ссылку. Еще больше — эмигрировало на Запад. И все-таки я теперь убежден: не маленькая группа, не отдельные выдающиеся личности, а целый слой составляет оппозицию обязательной официальной идеологии, режиму в целом и распространенной в нашей стране системе двоемыслия. Этот слой, по-моему, лучшая часть нашей интеллигенции. Он действительно очень тонкий, но он постоянно пополняется и возобновляется, затягивая бреши от репрессий и эмиграции. Ведь двоемыслие, ложь противны человеческой натуре, и этот слой имеет большой внутренний резерв.

Теперь я знаю, что такая ситуация характерна не только для Москвы, но и еще для нескольких больших городов. Правда, в провинции более трудные условия существования инакомыслия: там все у всех на виду и репрессивная деятельность жесточе, поэтому компании, подобные столичным, более узкие и живут более замкнуто. И все-таки они есть, и главное нравственное достижение послесталинских десятилетий, по-моему, в том, что люди стали с доверием относиться друг к другу — хотя бы к друзьям и близким знакомым. Чуть смягчился режим — и порядочность стала объединять людей. Конечно, есть риск столкнуться и с непорядочностью, с трусостью, а то и с прямым агентом КГБ или провокатором, но я говорю не об исключительных случаях, а об отрадном и неожиданном явлении.

* * *

…Меня часто приглашали куда-нибудь в гости или приходили компаниями или поодиночке в дом, где я остановился. Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации: сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы[3] что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Разговоры затягивались почти до утра. И разговаривали здесь свободно обо всем, в том числе и на «запретные» темы. Здесь было с кем спорить и было с кем согласиться и даже остаться в одиночестве со своей точкой зрения не считалось чем-то непозволительным или предосудительным.

Вскоре я познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником. Прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново: ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных Главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову.

В конце шестьдесят шестого я как раз застал письма-протесты по делу Синявского и Даниэля (они все вошли в «Белую книгу»). Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди *открыто* вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужденных, да еще тех, кто осмелился публиковать свои произведения на Западе! И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию! Ничего себе! В лагере немало зэков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее.

Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории, ученый-физик, преподаватель математики, художник, редактор[4], несколько литераторов и научных работников (некоторые с той самой «волшебной» приставкой: кандидат, доктор). Мне становилось стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми «работягами», и, конечно, больше нас, лагерников. Зэку почти нечего терять, он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы…» Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи,

и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти[5]. К тому же никто из них не гарантирован от ареста.

Со многими из тех, с кем я познакомился в первые дни в Москве, я сдружился, и мы друзья по сей день.

Между прочим, мои представления о материальном положении интеллигенции, конечно же, не выдержали проверки опытом. Первая семья, пригласившая меня в гости, была семья Садомской и Шрагина. Муж и жена, научные работники (он — кандидат наук), жили в пятнадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. Обоим надо заниматься, но, если один печатает на машинке, другому и пристроиться негде. В общей кухне толкутся соседки, одна из них постоянно злобно шипит. Зарплата у Бориса чуть выше средней рабочей (помнится, сто семьдесят руб.), а у жены, пока она не защитила диссертацию, была гораздо меньше. Но и после ее защиты не помню самого Бориса в приличном костюме, а Наташу так и запомнил в шубе, которую она носила все эти годы и которая досталась ей, поди, еще от матери.

Так живет большинство интеллигентов. Чтобы заштопать прорехи в бюджете, кто дает уроки на дому, кто подрабатывает переводами или рефератами; я знаю нескольких человек, которые во время отпуска уезжали в Сибирь подзашибить деньгу в строительных бригадах.

С жильем, пожалуй, у них еще хуже, чем у рабочих: у тех хоть есть надежда на квартиру от завода. А учитель, врач, научные сотрудники большинства институтов в Москве будут ждать квартиру от горсовета лет десять, да и на очередь их поставят только в случае крайней нужды. Вот Шрагиных не поставили бы: пятнадцать метров на двоих считается достаточно. И они, как и еще некоторые мои знакомые, вступили в кооператив. Но для этого им пришлось влезть в такие долги, что они их и по сей день не выплатили бы. Когда они решились эмигрировать (Борис как неблагонадежный остался без работы), то перед отъездом сдали свою двухкомнатную квартиру, получили обратно пай — только так и рассчитались с долгами…

Из неофициальных документов и самиздатской литературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие писатели в сталинское время. Да и после Сталина не каждого писателя советская власть кормит, многих только подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба.

Любопытно, что такое же представление, как было прежде у меня, сохраняется еще и сегодня у людей, так сказать, государственных: работников милиции, прокуратуры, КГБ и т. п.

Следователь Синявского Пахомов, к примеру, при допросе одного из свидетелей говорил: «Какой он писатель? У него всего одни штаны!» Следователь московской прокуратуры Гневковская после обыска в одном доме иронизировала в своей компании: «Тоже мне интеллигенция! Да у них в шкафу всего один костюм висит!»

В Тарусе младший лейтенант милиции Кузикова обнаружила в одном «неблагонадежном» доме непрописанного гражданина. Вот она проверяет его документы, списывает на листок все данные о нем (чтобы в точности все передать в КГБ) и узнает, что он научный сотрудник НИИ.

— И сколько ж вам платят?

— Сто пятнадцать.

— Хм… Научный сотрудник! — и на лице Кузиковой презрительная усмешка. — Я и то получаю сто семьдесят.

Вот и видно, кто у нас нужнее и кого больше ценит наша страна.

…Что же касается «легкого» интеллигентского труда, то один его вид — сиди себе да чиркай пером по бумаге! — я вскоре узнал, что называется, на собственной шкуре…

* * *

Знакомство с новыми людьми, с самиздатской литературой, неожиданные впечатления — все это шло у меня вперемежку с другими заботами. А их хватало. В первую же неделю на воле пришлось обратиться к врачу: у меня не проходили головокружения, конечно, из-за недавно перенесенного менингита.

Врач платной поликлиники, осмотрев меня, написал заключение: необходима госпитализация и операция на левом ухе. Но он не мог дать мне направление в больницу, для этого нужно было обратиться в районную поликлинику. А так как я все еще нигде не был прописан, то никакая поликлиника меня не могла принять. Пришлось обращаться в Минздрав, там мне дали направление в Боткинскую больницу на консультацию к отоларингологу. Здесь слово в слово повторили предыдущее заключение, добавив: «…по месту жительства».

По месту жительства! А где оно у меня? И когда будет?

Попробовал я объяснить свое положение врачам, но они отвечали: «Мы больше ничего не можем…»

Наверное, они считали, что можно повременить с операцией. А я по опыту знал, как неожиданно наступает критическое

состояние: полтора года назад в лагере меня внезапно свалило и я чудом выжил, переболев менингитом без медицинской помощи.

Конечно, если бы я упал в Москве на улице, то меня сразу на «скорой помощи» отвезли бы в больницу без всякой прописки и места работы. Но не доводить же себя до такого. А симулировать я и в лагере не пробовал.

Однако москвичи приняли самое деятельное участие в моей послелагерной судьбе: и к платному врачу сводили, и в Минздрав и в конце концов пристроили меня в одну из московских больниц к знакомому врачу-хирургу[6]. И не просто пристроили, а отдали меня, как говорится, в очень хорошие руки.

Почти каждый день кто-нибудь из моих новых знакомых навещал меня. Приносили еду и лакомства, развлекали разговорами, снабжали книгами. Решив, что я особенно интересуюсь марксистской литературой, Люда Алексеева приволокла том Плеханова. Для кого-нибудь, может, существенны различия между Лениным и Плехановым, я же, прочитав несколько статей, убедился, что Ленину было у кого поучиться беспринципности.

В больницу мне принесли только что опубликованный в журнале «Москва» роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Вся Москва жила этим событием и ожиданием продолжения романа.

Интерес к роману Булгакова был так велик, что обычно мало кому нужный журнал «Москва» стало невозможно достать. (Я тогда еще и не мог подозревать даже, что пройдет ровно год, и я сам столкнусь с этим журналом, так сказать, лицом к лицу.) Все в этом случае было удивительным: сам роман, его неожиданная публикация после тридцатилетнего лежания под запретом и то, что опубликован он в журнале «Москва».

Булгаковское «рукописи не горят» — не только призыв и напутствие, но и напоминание-предупреждение всем гонителям и душителям литературы.

После больницы, наряду с другой самиздатской литературой, я прочитал и еще одно булгаковское произведение — «Собачье сердце». Сколько же это будет храниться еще под печатями? Или ему так и не быть опубликованным на родине писателя?

Так я познакомился с одним из лучших писателей России советского периода. А письмо Булгакова Сталину показало мне, какими смелостью и достоинством обладал Булгаков.

Выписали меня из больницы дня за три до моего дня рождения, но так как 23 января в том году приходилось на понедельник, то мы решили отпраздновать днем раньше, в воскресенье, 22-го числа. Я был приятно удивлен, когда увидел, что вместо тихого вечера в кругу нескольких друзей образовалась

очень многолюдная пирушка. Вероятно, это был повод для встречи за одним столом многих знакомых между собой людей и для знакомства тех, кто до этого знал друг друга лишь заочно. Такие встречи были хороши еще тем, что сюда стекались все московские новости.

Вряд ли кто из присутствующих догадывался, что в последний раз перед арестом видит Александра Гинзбурга. Завтра ночью его возьмут во дворе его дома, так и не дав ему предупредить мать.

Пока же он принимает комплименты как составитель «Белой книги»: каждый здесь либо уже прочитал ее, либо подробно слышал о ней. Сам-то он чувствовал, что его вот-вот арестуют, его преследовали по пятам агенты КГБ. Но держался он естественно, несуетливо, в меру выпил, в меру был оживленным. А ему оставались всего одни сутки…

Пока я лечился в больнице, знакомые нашли мне жилье в деревеньке под Малоярославцем. И после праздничного вечера, на другой же день, я отправился в Калужскую область, но вернулся в тот же вечер в Москву со своим заявлением о прописке, исполосованным отказными резолюциями: отказ районного отделения милиции, отказ областного отдела внутренних дел. Мотивировок никаких, одно слово: «Отказать». Устно же мне и там, и там заявили: «У нас таких, как ты, своих хватает!»

С этих пор и по сегодняшний день я убежден: наши мучения начинаются после освобождения из лагеря.

Сколько я исколесил областей, сколько объездил городов, городков и рабочих поселков, сколько обошел пешком деревень в попытке пристроиться! То милиция отказывает, потому что рядом проходит трасса Москва — Ленинград (такую же мотивировку отказа получил год спустя другой освободившийся политзэк — Леонид Рендель). То по генеральному плану застройки города та часть улицы, на которой я нашел себе угол, через тридцать три года, в 2000 году, будет снесена. Отказ. Или, оказывается, в найденном жилище не хватает на меня одного квадратного метра до санитарной нормы, и т. д. Смеются при этом мне в глаза.

Все эти поездки-разъезды трепали мне нервы, съедали мои скудные лагерные сбережения. Главное же, время уходило напрасно. А его у меня было в обрез. Проживание без прописки свыше трех суток уже считается нарушением паспортных правил. Три таких нарушения — и суд, лагерь… Вот и создают нашему брату заколдованный круг, из которого не каждый выбирается благополучно: закон тебя обязывает прописаться, но вот милиция тебе отказывает и делает тебя умышленно «преступником». Очень

удобно, особенно в стране безгласной.

Но этого мало. Мы автоматически становимся подсудными и по другой статье: если ты не работаешь подряд четыре месяца, то уже «тунеядец», тоже уголовная ответственность (хотя ты перед тем проработал в лагере без единого отпуска хоть шесть, а хоть и пятнадцать лет! И, может, за эти годы накопил денег на полгода жизни — все равно). Но поди устройся на работу без прописки!

У меня уже истекали и эти четыре месяца. Захотят или случайно заловят — в любой момент могут посадить. Нужно было срочно что-то предпринимать и на что-то решаться.

Единственное, что приходило мне в голову, — лихорадочно метаться в поисках жилья и пытаться прописаться. И каждый раз все слабее и слабее верилось, что авось на этот раз меня пропишут, авось на этом месте смилостивится милиция и позволит мне — *что?! — жить законно.*

А чего стоит у нас — в стране с самым дешевым в мире жильем — найти (не квартиру или дом, нет) хотя бы угол или просто койку под крышей! Описывать все мои метания подробно — утомительно будет читать, да и неинтересно, везде повторялось одно и то же. Расскажу только об одной поездке — в Курск.

Там у моего приятеля[7] жила какая-то не то родственница, не то просто знакомая. Вот к ней-то он и решил съездить вместе со мной, отпросившись у себя на работе.

И вот мы в Курске. Весна 1967 года была ранней, и к нашему приезду в конце февраля было тепло и слякотно. Морозно было лишь по ночам. Знакомая работала в медицинском институте, и мы быстро ее отыскали. К нашему огорчению, она не только ничем не могла нам помочь, но и вообще с пессимизмом отнеслась к нашему предприятию. По ее словам, Курск был очень перенаселенным городом и искать квартиру в нем было занятием безнадежным. И мы ей верили, так как работала она на административной должности — обеспечивала студентам жилье.

— Общежития всем не хватает, — пояснила она, — так мы только прописываем у себя, а уж устраиваются студенты на частных квартирах, углы снимают.

Но не уезжать же, не попытав счастья. Целый день мы бегали по городу, но нам так ничего и не попалось. В городе полно объявлений: «Сниму комнату или угол», «Муж и жена снимут комнату или угол» и т. п., но ни одного объявления с предложением жилья.

Мы обходим окраинные улицы дом за домом — этот метод тоже ничего не дал. Зато уж насмотрелся я здесь такого, чего не мог бы и вообразить. Я с детства не избалован жилищными

условиями, но все же у нас в Сибири десять лет назад до такого не доходило, как здесь, в центральной России, в 1967 году — на пятидесятом году советской власти.

Частные дома забиты квартирантами, одинокими и семейными. Хозяева предпочитают сдавать жилье одиноким девушкам, реже — парням. Сдают место для койки. Хорошо, если квартиранту принадлежит отдельная кровать: нередко же на одной кровати спят двое. В одном доме мне согласились дать место на кровати еще с одним парнем — за десять рублей в месяц. Я бы, после стольких неудачных поисков, согласился, но пускали-то без прописки. Здесь жили несколько студентов, кроме моего потенциального «сокоечника», все квартиранты были прописаны в институтском либо в рабочем общежитии. Так что и этот вариант сорвался.

Везде висело много объявлений: «Требуются рабочие». Пошли по этим объявлениям — там нет мест в общежитии, там и самого общежития нет.

Так мы попали на кирпичный завод. Мой приятель, не в пример мне, оказался очень пробивным и контактным человеком. Он легко знакомился с людьми. Отыскал он на заводе какого-то начальника участка, к которому отдел кадров набирал рабочих, и они быстро сошлись настолько, что вот мой приятель уже дает ему свой московский адрес, а тот обещает заехать к нему в первую же свою поездку в Москву.

— У нас общежитие переполнено и милиция категорически отказывается кого бы то ни было прописывать, — вводил нас в курс дела наш новый знакомый, — мы берем новичков на работу без прописки, а когда они немного поработают, добиваемся для них и прописки.

Он дал нам адрес, куда мы должны были сейчас же сходить и узнать насчет жилья.

— У этих хозяев жил полгода без прописки один парень, тоже москвич, у нас работал. Заработал себе хорошую характеристику и поехал к семье. Несколько дней как уехал. А когда договоритесь с жильем, приходите оформляться на работу.

Мы мигом кинулись по полученному адресу. Всю дорогу я не переставал думать о том, пустует там угол или уже сдан. Нам повезло: улица и дом оказались совсем рядом с заводом, не более десяти минут ходу. Улицу я хорошо запомнил, называлась она Хуторским проездом. Место было очень овражное, и к домику пришлось спускаться по крутой тропинке. На наше счастье, хозяин с хозяйкой соглашаются взять меня на квартиру. Они проводили нас в какой-то закуток, отгороженный от кухни печкой и переносной самодельной ширмой. Маленькое и темное

окошечко почти не пропускало света, и в закутке стоял сырой полумрак. Изголовьями к окну стояли здесь две железные кровати. Одна из них была заправлена, под ней стоял чемоданчик. Вторая — голая, с древней, местами прорванной сеткой, густо покрытой ржавчиной. Между койками проход не более метра. Посередине прохода натянута на гвоздях проволока от окна к двери, на этой проволоке висит какая-то пестрая тряпка, стянутая гармошкой. Это еще одна ширма, разделяющая кровати. Таким образом, и закуток делился на две самостоятельные половины.

— На этой вот, — хозяйка указала на заправленную кровать, — спят две девушки-студентки. Вторая свободная сейчас. Если вас устраивает, можете занимать.

А меня сейчас устраивала любая нора. Я устал мыкаться и искать, мне уже все эти поиски осточертели. Я ждал этого «своего» места жительства с таким же желанием, как ждет зэк в переполненном «Столыпине», где невозможно встать, лечь, потянуться, ближайшую пересылку — в надежде повалиться на голые нары в самой паршивой камере. Хотя и там эти надежды не всегда сбываются.

— Сколько будет стоить мое жилье?

— С девчат я беру по десять рублей, — отвечала хозяйка, — а с вас за отдельную койку — пятнадцать. Ну, и иногда, может, дров наколете, воды натаскаете…

Мне были обещаны соломенный тюфяк и что-нибудь под голову вместо подушки — это пока я обзаведусь своей постелью.

Я сразу же уплатил хозяйке свои пятнадцать рублей за месяц вперед. Мне было страшно потерять место.

И снова завод. В отделе кадров мне без лишних разговоров подписали заявление, взяли рабочим на погрузку сырца.

Здесь тоже пообещали, что как только я немного поработаю, так для меня добьются прописки в общежитии. А пока меня на работу принимают, но штампа в паспорте не ставят. Короче говоря, я какое-то время должен жить и работать на птичьих правах. Но в тот день я еще толком не способен был это осмыслить. Я был счастлив, что хоть как-то я начинаю устраиваться. И на все странности и неясности смотрел как на временные формальные неувязки, которые вскоре утрясутся.

Меня тут же познакомили с мастером, и я договорился, что завтра утром получу на складе спецовку и рукавицы, а на работу выйду во вторую смену.

Вечером я проводил своего приятеля на поезд. Сам же от вокзала домой решил пройти пешком, чтобы лучше познакомиться с городом, в котором буду жить. Когда мы бегали

в поисках жилья, мне было не до того, чтоб рассматривать город. В общем, Курск мне не понравился. Тогда там даже асфальта было мало, и стоило только сойти с центральной улицы чуть в сторону, как можно было увязнуть в грязи или покалечить себе ноги в ямах и на кочках на каждом шагу; и освещался ночью тоже только центр, а по овражным окраинам броди в полной темноте.

На работу я первый день шел с радостью. Не потому, конечно, что ожидал там чего-то хорошего или приятного для себя, просто, начав работать, я мог увереннее себя чувствовать.

Но к концу дня от этой радости не осталось и следа, ее сменили огорчение, уныние, ощущение безнадежности. И не оттого только, что работа была настоящей каторгой. Это было еще ничего. Меня привело в уныние совсем другое.

От бригадников я узнал, что все мужчины, как и я, из освободившихся. Это были москвичи. Они затолкали сюда свои головы ради того только, чтобы жить и работать поближе к семьям, которые у них в Москве. Раньше, чем через полгода, здесь никого не прописывают. Некоторые из этих людей и живут прямо здесь же, на верху печей. Я сначала этому не поверил, думал, меня, как новичка, просто разыгрывают. Но во время перекура я забрался по лестнице наверх и действительно обнаружил там «жилые углы». Старые телогрейки, лагерные бушлаты и другая грязная ветошь служили постелью, постланной прямо на теплоизоляцию. Каждый из жильцов выбирал себе место по вкусу: слава богу, хоть здесь не было недостатка в метраже. Несколько человек под электрической лампочкой резались в карты. Были они все грязные, с давно не мытыми физиономиями, как беспризорники в фильме «Путевка в жизнь». По всей площади печей валялись банки из-под консервов, объедки и бутылки из-под вина и водки. Двое прямо в телогрейках спали на ветоши в разных углах.

Какое-то человекоподобное существо, такое же грязное, как и остальные, согнувшись, бегало по печам и в полумраке открывало-закрывало печные задвижки. На меня никто из присутствующих не обратил внимания. Только тот, что бегал, кончив возиться со своими задвижками и направляясь мимо меня к лестнице, задержался на минуту и равнодушно полюбопытствовал:

— Новенький? От хозяина?

— Да.

— Давно откинулся?

— Четвертый месяц.

— Место выбираешь?

— Да нет, я устроился на квартире.

— А-а…

И он спустился вниз. Я еще немного постоял и спустился тоже.

* * *

Когда находишься под сводами цеха и глаз не натыкается на такие приметы времени, как электрические провода или вереницы грузовиков, то кажется, будто ты не на современном предприятии, а чудом перенесся на заводы петровского времени.

Тогда я еще не был избалован легким трудом. Довелось глотнуть вредных и тяжелых работ на золотых и урановых рудниках.

В карагандинских лагерях работал на каменных карьерах, где камень добывался ломом, кувалдой и клином, а штабелевался вручную. Так что не мне было удивляться и жаловаться на тяжесть труда.

В Курске я оказался на современной каторге, разве что без кандалов на рабочих. Рабочие толкают по рельсам к печам тяжело нагруженные вагонетки с кирпичом-сырцом. Дорога, как и завод, древняя, как говорят у нас, старше советской власти. Трое-четверо (а среди них и женщины — равноправие!) упираются в вагонетку спинами и толкают ее, пятясь и что есть силы отталкиваясь ногами от шпал под рельсами. Иногда на повороте или на плохом стыке вагонетка забуривается, то есть сходит с рельсов или останавливается. У толкачей не хватает «мощностей» протолкнуть ее через трудное место. Тогда, побросав работу, на помощь приходят остальные бригадники и общими усилиями поправляют дело.

Я должен был снимать сырец с вагонетки и подавать другому рабочему, который стоит у печного проема. Тот, в свою очередь, передает дальше в печь. Там стоит третий и укладывает сырец для обжига. Эти двое, с кем я работал, были женщины.

Чтобы выполнить дневное задание на сто процентов, мы должны уложить за свои восемь часов двенадцать тысяч штук сырца. И заработаем мы при этом по два рубля и восемьдесят пять копеек каждый.

Зарабатывая в день около трех рублей, не прокормишь и сам себя. Дважды в сутки я ходил в ближайшую столовую около рынка. Хотя цены там были умеренные, но каждый раз приходилось выложить копеек восемьдесят: щи «на мясном бульоне», какая-нибудь котлета или гуляш да стакан сметаны — лишнего я себе не позволял. Дважды в день — это рубль

шестьдесят копеек. Останется от моего дневного заработка рубль двадцать пять копеек, дай бог, чтобы хватило перекусить еще пару раз. Да и в выходные, то есть неоплачиваемые, дни тоже ведь надо есть. Одним словом, работай, как каторжник, только ради того, чтобы завтра снова хватило силы для работы. Ни на что другое не останется ни копейки. И пятнадцать рублей за койку в закутке — больше пяти дней каторжной работы! — эти деньги придется экономить на еде.

Но моя работа была еще полегче, чем у других. Я видел, как парни работали на выемке готового кирпича из печей. Вот это была настоящая каторга! Кирпичам давали мало времени для остывания, вынимали очень горячими, лишь бы поскорее: «План горит!» Парни работали по пояс голыми. Они накладывали горячий кирпич в огромные тачки и по дощатой дорожке вывозили на улицу. Пот с них так и тек. Спецовочные брюки насквозь промокали от пота. Как они умудрялись, выскакивая на улицу, не простужаться! Ведь ночью на улице были еще морозы.

В обеденный перерыв рабочие никуда не уходили, ели здесь же, на битом кирпиче, в пыли. И тут хватало шуток и подначек, чаще всего непристойных. Каждую шутку встречали хохотом. Бригада состояла в основном из молодежи, которой всегда хочется веселиться, как бы там они ни уморились, что бы их ни окружало. Некоторые, как и я, не имели прописки — и ничего, жили, не унывали, надеялись, наверное, на авось.

Мне мысль о прописке не давала покоя. Для меня это было очень важно: я хотел бы иногда наведываться в Москву к друзьям. Мне нужны были их советы и помощь, если я попытаюсь писать о лагере. И вообще я чувствовал, что мне трудно совершенно оторваться от той общественной активности, с которой я едва успел познакомиться в Москве. Ездить же туда с паспортом без необходимых штампов было рискованно. Если вдруг меня задержит милиция, то я не смогу ничем доказать, что я не бродяга. Вряд ли мой завод станет вырывать меня из рук МВД. А мне сейчас ни за что не хотелось получать срок за просто так. Вот отработаю неделю, думал я, зайду в отдел кадров и выясню этот вопрос. Тот начальник, который меня устраивал и обещал помочь с пропиской, куда-то пропал, не показывался на глаза (потом я узнал, что он так пристроил сюда не одного меня и многие поминали его матом).

Вне работы жизнь моя тоже была однообразной. Приходя домой, я заваливался спать. После лагеря я четыре месяца не работал, да еще провалялся в больнице, так что сильно уставал. После ареста, сидения в тюрьме под следствием да пока доедешь до лагеря, тоже отвыкаешь от тяжелой работы, в лагере

постепенно втягиваешься и потом работаешь наравне с другими.

В лагере мы обычно давали новичку несколько дней передышки, помогали немного, чтобы он втянулся в работу не через силу, а постепенно. А здесь, на воле, новичок сразу должен был не отставать от других и не задерживать темп работы.

Уматывался я даже себе на удивление. Перекидав двенадцать тысяч кирпичин, я не чувствовал рук. Да и тело все становилось чужим. Мои бригадники, угадывая мое состояние по собственному опыту, только посмеивались и подшучивали надо мной. Шутки все были одного сорта: насчет того, охота ли мне сейчас затащить какую-нибудь Валюху в угол. А сама Валюха тут же и тоже за матерным словом в карман не лезет.

Мне и сейчас непонятно, что гонит наших Валюх на такую каторгу. Они-то местные жительницы и могли бы выбрать себе в Курске работу почище и полегче.

Почти все свободное от работы и сна время я тратил на поиски другого жилья. Конечно, я мог чувствовать себя королем по сравнению с теми, кто жил на печах. Но я согласился бы платить половину заработка, урезая свои столовские обеды, лишь бы иметь отдельный угол.

С хозяевами и девчатами-соседками у меня были самые лучшие отношения: мы почти не видели друг друга. Девчат за занавеской я чаще слышал или ощущал их присутствие. Иногда между полом и занавеской видны были две или четыре девичьи ступни. А четверых девушек, что жили в другой комнате, я лишь раз видел в воскресенье, да и то не всех. Хозяева ко мне относились хорошо, наверное, им было нехлопотно иметь квартиранта-невидимку.

Через неделю я зашел в отдел кадров и напомнил о себе, что, мол, как бы там устроить мне прописку. И услышал в ответ то, что мне говорили работяги в бригаде: «Поработаете месяцев пять-шесть, тогда и пропишем!»

— Что ж, мне полгода жить на птичьих правах?

— Ага, мы вас пропишем, а вы завтра же сбежите. Много у нас таких в бегах ходит.

— Это ж жизнь до первой встречи с милицией! — пробовал я уговорить кадровичку.

— Не надо попадать в милицию! — было мне ответом.

Так и ушел я ни с чем. Настроение было — хоть удавись. Полгода, легко сказать! Да ведь и точно, не намерен я был гнуться на этой каторге за семьдесят пять рублей в месяц. Подыскивая жилье, планировал я сразу же, как пропишусь, уволиться и поступить на другую работу. Но найти жилье с пропиской оказалось невозможно.

На следующий день я сдал спецовку и попросил расчет.

* * *

В Москву ехал в отвратительном настроении. В который уж раз возвращался со своим балетным чемоданчиком — а в нем мыло, полотенце да пара белья. Мне уже стыдно было приезжать без результата, как будто я сам был виноват, что никак не устроюсь.

Съездил еще в пару мест по добытым для меня адресам — снова милиция отказала в прописке.

И я решил уехать в Сибирь к родителям. Там пропишусь (в Барабинске вряд ли откажут, а если что, родня поможет, найдут знакомство) и сразу же устроюсь куда-нибудь на работу. Тем временем московские друзья подыщут несколько вариантов жилья ближе к Москве. Из Сибири я приеду с паспортом, в котором будут штампы о прописке-выписке, о приеме и увольнении с работы. Лагерь тем самым как бы отодвигается в прошлое: не зэк пристраивается, а гражданин переезжает на новое место жительства. Авось милиция не придерется.

Как раз в день отъезда Наташа Садомская пригласила меня на свою защиту диссертации. Мне, конечно, прежде не приходилось присутствовать на защите и было любопытно посмотреть и послушать, что это за действо.

Наташа — этнограф, диссертация ее была о басках, об их этнографических особенностях и национальном самосознании. Хоть я и не мог понять научной стороны проблемы, но вопрос о национальном самосознании басков вызвал у меня вполне отечественные аналогии — в лагере было много «националистов», которых интерес к той же теме привел не на кафедру, а на скамью подсудимых и за проволоку.

Я не помню уже, были ли какие-нибудь возражения, спор вокруг Наташиной работы. Из выступавших мое внимание привлек молодой испанец Гарсиа (потом я узнал — из «испанских детей», привезенных в СССР в 1938 году, после победы Франко). Он очень живо говорил — помню, рассказывал о каком-то своеобразном способе рыбной ловли у басков, еще были конкретные детали быта — а Наташа-то, испанистка, могла узнать их только из книг, из чужих наблюдений; побывать на месте своих этнографических исследований ей тогда не светило. Вообще же Гарсиа хвалил диссертацию.

Когда я вошел в здание Института этнографии, то чувствовал себя довольно неуверенно: всякий встречный — ученый, все

чужие, и я здесь посторонний. Но в зале было несколько человек знакомых, своих, остальные на меня не обращали внимания, и я скоро освоился.

Вот по рядам пошел большой лист бумаги, где каждый ставил свою фамилию и называл место работы: университет, Институт истории, издательство «Наука» и т. п. Лист дошел до меня, и я машинально расписался. Но из какого я заведения? Что указать? Разве что ГУЛАГ?

У меня мелькнула озорная мысль, и я поставил рядом со своей фамилией: «Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС». Ведь и правда, в лагере я полностью проштудировал Владимира Ильича. Издатель его сочинений — этот институт, и я в каком-то смысле действительно его выпускник. Или, если угодно, сам лагерь можно считать институтом марксизма (правда, не при ЦК, а при КГБ — МВД), только после окончания «курса образования» немногие выпускники остаются марксистами.

После защиты, как обычно, готовился маленький банкет. Но я уже опаздывал на поезд и прощался с друзьями. Наташа, посожалев, что мне не посидеть с ними на банкете, куда-то убежала и скоро вернулась со свертком. В нем оказался большой кусок того самого торта, который предназначался для торжества.

Есть его я мог уже только в поезде.

* * *

И вот я на родине. Барабинск — небольшой городок между Новосибирском и Омском. Десять лет я не был здесь. Шел от вокзала к дому моих стариков — это минут пятнадцать ходу — и с любопытством осматривался. И ничего-то нового! Как будто не десять лет прошло, а десять дней.

Не знаю, сильно ли переменился и вырос Барабинск с 1967 года по сей день, появились ли там какие-нибудь новые предприятия, может, заасфальтировали еще одну-две улицы. Тогда, весной 1967 года, все улицы, кроме двух центральных, утопали в пыли и грязи. Окраинные были чище — летом зарастали травой. Стал ходить городской автобус, но по-прежнему в основном едут по дороге грузовики, обдавая прохожих тонкой, как мука, пылью. Легковых машин мало, собственных почти нет. Правда, мотоциклов стало больше — с тарахтеньем проносятся мимо меня.

Как и десять лет назад, все дворы украшены деревянными будками-сортирами. Люди с ведрами идут за водой к уличным колонкам.

Заворачиваю в короткий, заканчивающийся тупиком переулок Школьный. В нем всего восемь домов — по четыре с каждой стороны. Наш дом виден от самого угла. Мы построили его в 1954 году. Мне тогда было шестнадцать лет, и я помогал родителям строить; а пожил в нем всего только год.

Это была давняя мечта моих родителей — заиметь собственный дом! Все здесь мечтали жить в собственном доме. На покупку денег не было, зато были дармовые рабочие руки — отца, матери и мои. Если лить стены из цемента со шлаком, то материал обойдется не очень дорого: железнодорожникам разрешено брать шлак бесплатно. На соседнем участке строились Радченки, наши соседи по казенной квартире.

Для литья домов нужно было много воды. Стали копать общий — на два двора — колодец. Копать пришлось глубоко, метров десять. Этот же колодец должен был нам обеспечить и поливку огородов летом. Вода оказалась не совсем пригодной для питья — отчасти из-за свежего деревянного сруба. Поэтому для питья и готовки воду нужно было брать из уличной колонки. Ближайшая из колонок находилась в полукилометре — на центральной улице Ленина. Летом воду носили в ведрах, зимой ездили за ней на санках. А колодец наш так и остался единственным в переулке. Воды в нем хватало на все огороды даже в самое жаркое время года.

Мы объединили наши силы: день заливаем стены нам, а на следующий, пока у нас ряд сохнет, Радченкам. Дома одинаковые — пять на восемь метров, то есть комната метров двадцать и такая же кухня. Месяца за полтора вылили оба дома. После этого еще работы хватало: крышу крыли, отец настилал полы, а я и даже маленький брат Борька помогали ему, как могли. Все делали сами, только печника пришлось нанять. К осени въехали в собственный дом, а штукатурили его следующим летом, когда стены хорошо просохли, так что, как говорится, собственными боками сушили. Зато уже с весны засадили свой приусадебный участок. Хлопот у матери прибавилось. И в казенном-то доме у нас было хозяйство: корова, поросенок, куры (самочинные сараи, стайки окружали наш дом-барак), да еще за городом засаживали свои десять соток картошкой. Без этого не проживешь, семью не прокормишь. Не то одно, что зарплаты отца на четверых (а в других семьях и на семерых) не хватило бы, а вот что: где их взять, продукты, хоть бы и было на что купить? За все мои семнадцать лет житья в Барабинске я ни разу не видел в магазине сливочного масла, только маргарин, комбижир, и то не всегда. Между тем масло вагонами отправляли куда-то: мне самому приходилось таскать ящики, когда я в каникулы подрабатывал на

погрузке. Мы же иногда, очень редко, покупали масло на рынке или родня привозила из деревни. Своего не было. Не принято было, что ли, масло есть, привыкли обходиться, как все в городке. Молоко пили вволю, материн варенец я до сих пор помню. А масла не ели. Впрочем, сейчас в Чуне (не знаю, как в Барабинске) уже год как нет ни сливочного масла, ни растительного, ни маргарина. И рынка нет, и в деревне не купишь, жена из Москвы привозит за пять тысяч километров.

Мы жили лучше многих, особенно многодетных семей.

«Мои дети голодом не сидели. И одеты были, как принцы: Толику гармонь купили, кожаную куртку», — хвастается мать. У меня и велосипед был, а позже даже баян (на покупку его пришлось продать и куртку, и гармонь).

Каждую вещь, купленную хоть двадцать пять лет назад, мать помнит, а пересчитать их — хватит пальцев на одной руке. Какого труда это стоило родителям! Корову и поросенка тоже накормить нужно; сенокос отводят где-нибудь в дальних и неудобных местах — и за то спасибо! Проблема не столько накосить сено, сколько вывезти его. Сейчас хозяева, у кого есть скотина, подкармливают ее печеным хлебом, а тогда нам самим хлеба не хватало. Да огород, да стирка, починка. Всю свою жизнь мать ведрами таскала воду: из колодца, из колонки, на стирку, на готовку, на мытье, скотине, на каждый корень на огороде.

Заполучив же свой дом, она без конца его мыла, скоблила, подбеливала, подкрашивала что-нибудь. Мать так втянулась в непрерывный тяжелый труд, что и сейчас, в свои шестьдесят семь лет и при плохом здоровье, ни минуты не сидит без дела, разве что в праздник в гости пойдет. Отдыхать она вообще не умеет. То же и отец: едва отоспавшись после поездки, он принимался за домашние дела — дрова надо заготовить, сарай подремонтировать, да еще он сапожничал и тем подрабатывал… Санаториев, домов отдыха он в своей жизни и не нюхал, как и другие наши соседи и знакомые.

Отпуск старались приурочить к необходимым сезонным работам — к сенокосу, к уборке картошки, а то договаривались рубить дом кому-нибудь или копать колодец. Наверное, если б дали ему даже бесплатную путевку (но не давали ни разу за двадцать лет!) — он не взял бы: некогда. Правда, два или три раза мы с ним ездили в гости к родне — это когда его отпуск выпадал на «бездельное» время. Билеты железнодорожник может раз в год получить бесплатно на себя и на семью. Какой радостью была для нас с братом дальняя поездка! Но и эти поездки должны были оправдать себя, то есть оправдать трату времени и денег. Кто везет из Оренбурга несколько пуховых платков, кто с юга

яблоки — не себе, а на продажу. Мы привезли от тетки из Средней Азии яблок, и я продавал их на железнодорожном мосту поштучно. Зато и сами поели их вволю во время отпуска!

…В Барабинске тоже весна, хоть и не такая, как в Курске. Снег сошел, в домах на подоконниках в ящиках зеленеет рассада помидоров. У матери наверняка тоже окна заставлены рассадой.

Я не сообщил старикам, что выехал из Москвы. Отец-то на работе, а мать должна быть дома.

Конечно, были неизбежные слезы и причитания, что вот какой я стал страшный, худющий да черный. Но и причитая, мать не стояла на месте: сразу взялась кормить меня и стряпать. Она была такой же шустрой, быстрой, какой я ее всегда помнил, только заметно постарела и стала как будто еще ниже ростом, чем была (она и от роду-то маленького роста, сухощавая). Наверное, моя непутевая жизнь прибавила ей морщин.

А отец почти не переменился, только сильно усох. Седины не больше, чем когда вернулся в 1946 году из армии, перенеся всю ленинградскую блокаду. Он уже несколько лет работает не помощником машиниста, а плотником: в Барабинске появились электровозы, и паровозников, у кого позволяло образование, переучивали для работы на новой технике, а неграмотных и малограмотных, как мой отец (он только расписывается кое-как и в газетах может прочесть только одни заголовки), переводили на любое место, куда придется. Конечно, плотнику легче, чем паровознику, но заработок меньше раза в два — два с половиной, а от этого будет зависеть и размер пенсии.

Пока ждали отца с работы, мать успела мне выложить кучу новостей: отец дорабатывает последние дни и уходит на пенсию. В следующую субботу они устраивают гулянку, на которую приглашена вся отцова бригада. У матери поэтому полно хлопот: нужно запастись выпивкой и приготовить угощение человек на двадцать, нужно навести в доме праздничную чистоту, все перемыть, перечистить.

В углу я вижу старый, знакомый еще по строительству дома сорокалитровый бидон. Тогда мать в нем постоянно варила брагу и поила своих «строителей». Да и потом бидон редко когда пустовал.

В детстве мне частенько перепадало от матери колодезной веревкой за дело и без дела: за участие в налете на чужой огород, за школьные проделки, за «неподходящих» приятелей. Но у нас в семье в заводе не было прятать от детей то, что было в доме: ни еду, ни деньги. То же относилось и к браге. Лет в четырнадцать я, на зависть своим сверстникам, имел открытый доступ к бидону. И я иной раз выпивал стакан, но ни разу не напивался.

Позже я стал пить больше, но не потому, что вырвался из-под родительского надзора. Просто у меня стало больше поводов для этого и больше друзей-собутыльников. Мне повезло начать трудовую жизнь на комсомольских стройках, в геологоразведке, среди шахтеров, то есть как раз там, где пьют больше, чем где-либо. Не знаю, чем бы кончились мои контакты с бутылкой, если бы не один случай. Он сделал меня трезвенником. Произошло это зимой с 1957 на 1958 год. Работал я тогда буровым мастером в геологоразведке в Томской области. Выходное время в маленьком поселке заполнялось выпивкой. В одно из воскресений, просидев за выпивкой весь день и захмелев основательно, я надумал пойти на танцы. На улице было ниже сорока, я вышел из дома, где пили, в одной рубашке, в легких туфлях. И некому было удержать меня или хотя бы заставить одеться. Да я прошел бы и по такому морозу, не привыкать. Но, перелезая через прясла, я свалился в снег, а подняться уже был не в состоянии. Так и замерз бы, да, на мое счастье, мимо проходила молодежь на танцы, меня подняли и притащили в клуб. Там я очухался, под конец даже танцевал и какую-то девушку провожал домой, успев сбегать за пальто и шапкой.

На следующий день на работе я полностью осмыслил происшедшее. Хоть я пил много, но никогда еще не напивался до горизонтального положения и до беспамятства. Я гордился этой своей способностью. Теперь же меня устрашило не то, что я мог замерзнуть насмерть, — страшно было остаться калекой: а что, если бы отморозил себе руки-ноги! Под мерный гул и скрежет своего допотопного КА-2М-300 я припоминал барабинского дядю Мишу Михеева. У него не было обеих рук. Их ему ампутировали после того, как он здорово обморозился, свалившись по пьянке в снег. Еще в детстве он пугал меня своими черными культяпками. Я реально почувствовал себя без обеих рук, а воображение рисовало всю мою беспомощность: ширинку и то не застегнуть! В девятнадцать лет остаться с черными культяпками! Нет уж, лучше веревку на шею. И отшибло у меня интерес к выпивке.

Десять с лишним лет я в рот не брал хмельного. В Москве в первый же день я вызвал удивление моих знакомых отказом от традиционной рюмки. Почти все они пили, а кое-кто и здорово. Но меня почтительно оставили в покое.

А тут сразу замаячили три застолья подряд: в честь ухода отца на пенсию, в честь моего приезда, а недели через две обещает приехать на побывку с флотской службы младший брат Борис.

Встречать приехавшего солдата, зэка или родственника принято обильной выпивкой. Каждая семья, даже самая бедная,

ради этого идет на непосильные расходы. Большинству и сейчас не по карману поить большую компанию вином и водкой из магазина. Так что самогон и брага водятся у всех и для всякого случая. Даже у одиноких старух стоит какая-нибудь посудина — авось заглянет кто из родни или шоферу, привезшему дрова, поднести стаканчик, печнику за ремонт печки, плотнику, да и мало ли кому.

Мне не хотелось вгонять родителей в расходы, и вообще я терпеть не могу пьяных компаний. Насилу уговорил я своих стариков подождать Бориса и отпраздновать его и мой приезд одновременно.

* * *

С первого дня мои старики стали спрашивать: как я собираюсь устраивать жизнь после лагеря? Им больше всего хотелось, чтоб жил я при них, в Барабинске, женился бы, завел детишек — матери внучат. Словом, жил бы «как все», раз уж не пришлось выбиться в люди. У меня же было не то на уме! Но я не стал заранее огорчать стариков своими планами, успеют еще нагореваться, если мне удастся их осуществить. Да и не поняли бы они меня. Я знаю, что от них услышал бы: «Тебе что, больше всех надо?», «Справедливости все равно не добьешься», «Себя угробишь, а спасибо никто не скажет». Еще такую советскую пословицу: «Россию всю продали, Правды больше нет, один Труд за две копейки остался» («Правда», «Советская Россия», «Труд» — названия газет).

Эти общежитейские народные афоризмы для моих родителей были и сейчас остаются кровно выстраданными. Не принял их сыночек народную мудрость: как был, так и остался непутевым, загубил свою жизнь…

Несколько дней я просто отдыхал. Навестил немногих оставшихся здесь школьных товарищей и, конечно же, посетил двухэтажный деревянный дом, в котором прошло все мое детство. Посмотрим, как живут «все люди».

Из моих товарищей детства в 1967 году в этом доме жил уже только один Григорий. А когда-то нас тут набиралось две футбольные команды в полном составе — только моих одногодков, да старшие, да меньшие, да еще девчонки. Теперь Григорий сам отец двух ребятишек. Хоть по-прежнему здесь «все удобства — во дворе», зато живут просторнее: не по семье в каждой комнате, а по две комнаты на семью, третью комнату в квартире занимают старики-пенсионеры. Григорию еще больше

повезло: третью комнату у них дали его матери, так что, считай, трехкомнатная квартира в их владении. Мать на пенсии, он и жена работают — нужды нет, денег на жизнь вполне хватает. Григорий — помощник машиниста на электровозе, вроде бы та же работа, что была у моего отца, и заработок не меньше. Та же, да не та: родители наши в мазуте купались, а нынешние машинисты идут на работу в белых рубашках. Отцы, бывало, по двое-трое суток в поездке, и неизвестно, когда их ждать домой; а теперь все расписано по графику, лишнего часа не переработаешь. Старики, насилу на пенсии отмывшие руки от мазута (а я думал, никогда их не оттереть), смотрят на электровозников не без зависти. А сами молодые опять находят поводы для неудовольствия: «Что толку с наших заработков, когда купить нечего: ни колбасы, ни мяса, ни товаров в магазине», «Разве это работа, ни выходных, ни праздников, как у людей!»

«Как у людей» — это значит, чтобы в праздник как следует выпить; а график праздников не признает. Другие за стол, к бутылке, а электровознику надо ехать. Если другой раз отдых и совпадает с праздничным днем, так выпить все равно нельзя: на носу висит поездка. На железной дороге с пьянством строго, так что «погулять, как люди» остается только в отпуск раз в году или когда ходишь на больничном.

А в общем, как и раньше: «Не дай бог нашим детям быть простыми работягами, как мы, пусть в люди выбиваются, то ли дело за столом бумажки подписывать или языком молоть». (Но это, конечно, теоретические рассуждения, а практически — подрастает лентяй и шалапут вроде нас десять лет назад, и родители рады спихнуть его куда угодно: в военное училище, в ПТУ, в армию раньше призыва, на работу.)

Вот такого рода жалобы услышал я от Григория и от других моих бывших товарищей, торящих ту же дорожку, что и наши отцы-мазутники.

Однако многих прежних приятелей постигли настоящие беды и невзгоды. Григорий рассказывал: Филипп Павлов спивается окончательно, тетя Паша, его мать, умирает от рака (и точно, вскоре она умерла); Вася Гребенщиков поступил в вуз — да не доучился, сошел с ума, сидит в Томске в желтом доме, говорят, никого не узнает; Николай, старший брат Василия, который раз отсиживает в лагере; в лагере и Ромка Цыганков, Витька Чернов («Черный»), Женька Глинский, наш дворовый атаман Юрка Акимов по кличке «Маля»; Иван Сорокин сел на большой срок за грабеж еще при мне, под конец срока «освободился» — умер в лагере от туберкулеза. «Как из нашего двора все поразлетелись — кто куда, навсегда, на до-о-лгие года».

Вадим Павлов утонул по пьянке вместе с двумя своими собутыльниками, его брат умер от рака. Мой тезка, Толик Копейко, расстрелян по приговору суда за изнасилование и убийство. Знаменитость Барабинска, капитана городской сборной по футболу Михаила Чеснока, пырнули ножом, и он умер. Чесноков было три брата-богатыря, младший — наш сверстник, а зарезал Михаила какой-то пацан в пол его роста, зарезал просто так, ни за что. Сестру моего приятеля Володи Глушанина муж зарубил топором. Одноклассник Володя Несмеянов, по кличке «Академик-Президент», сошелся как-то с блатной компанией, и не слишком близко, случайно стал невольным соучастником грабежа — пришел после этого домой и застрелился (пожалуй, единственная осмысленная, хотя и трагическая смерть из всего поминального повествования). Еще один знакомый повесился…

Десять лет я не был на родине — и столько безвременных, большей частью бессмысленных смертей в не очень широком кругу моих дворовых друзей и одноклассников. Когда живешь в большом городе, то чаще всего ты не узнаешь даже о несчастном случае у соседей по подъезду, хотя в большом городе самоубийств или драк с поножовщиной, может, не меньше, чем в глухой провинции. А в маленьком городке каждый такой «случай» пересказывается от дома к дому, обсуждается «устной газетой» — у колонок и колодцев, в магазине и около пивного ларька. Но проходит месяц-другой, и прошедшая трагедия вытесняется из памяти очередной подобной сенсацией. Когда же все такие события за несколько лет обрушиваются, как на меня, в один раз — страшно становится, возникает ощущение какой-то эпидемии.

Сколько самоубийств, нелепых, просто по пьянке! Сколько людей по пьянке разбились в автоавариях, на мотоциклах, замерзли в снегу на морозе! Особенно в праздники — обычно сразу несколько таких смертей. Сейчас, когда я пишу об этом, мне вспоминаются и другие известные мне трагедии, о которых почти никогда не пишут в газетах.

Жители ближнего к Чуне поселка геологоразведки первыми пришли к месту, где упал потерпевший аварию пассажирский самолет, — несколько человек были еще живы. Жив и, как потом выяснилось, неповрежден был грудной ребенок, он громко плакал. Дело было в декабре, мороз под пятьдесят градусов. Мужики и бабы — не бандиты, а мирные жители — ограбили мертвых и ушли. Ребенок вскоре замерз — плач прекратился, стоны тоже умолкли. В живых остался один пассажир — солдат с перебитым позвоночником, его спасли. Он лежал в чунской больнице и все рассказал.

Вокруг Чуны — тайга, и случается, теряются, пропадают

маленькие дети. Вот недавно трехлетняя девочка пропала: родители ушли пьянствовать, бросили ее на весь день и ночь одну, а хватились только утром. По Чуне расходится слух, что ребенка украли и убили изуверы — «баптисты», «святые», словом, верующие, такие слухи подогреваются общим тоном публичной антирелигиозной пропаганды.

Если разом перечислить все преступления, известные мне за несколько лет жизни в Чуне, — волосы дыбом встают! Случаются и настоящие убийства: отец застрелил взрослого сына из охотничьего ружья, а мать убитого свидетельствовала на суде в пользу убийцы; в другой семье подросток-сын застрелил пьяного отца; жена порезала мужа в сообщничестве с его братом и выбросила его, умирающего, под чужой забор, там он и замерз; отец с матерью убили двухлетнюю дочку (она им мешала жить!); одинокая женщина опоила своего новорожденного димедролом и тело (а может, еще живого ребенка) сожгла в печке; приезжего из Одессы убили ради денег; солдат стройбата изнасиловал и убил старуху, другой солдат изнасиловал шестилетнюю девочку…

Никто не говорит, что в советской армии служат насильники и убийцы, но женщины остерегаются ходить в тайгу за брусникой поодиночке.

Я живу замкнуто, «устную газету» не слушаю, и до меня лишь случайно доходит часть здешней хроники происшествий — наверное, не больше половины. Но, по-моему, названных событий за три года на поселок в четырнадцать — пятнадцать тысяч жителей достаточно, чтобы прийти в ужас. Если бы эта хроника публиковалась в газете, чунари, небось, так же боялись бы ночью выйти из дому, как, пишут у нас, боятся американские обыватели. Другие, может, задумались бы: среди кого мы живем? что это за новый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра — мертвых обобрал, ребенка бросил замерзать! Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а завтра ни с того ни с сего удавился у себя в сенях. Нет, я не хочу сказать, что это результат встречных планов или районных школ политпросвета. Это же очевидно: дело не в системе, социалистической или капиталистической (и зря у нас непрерывно обличают язвы капитализма, боюсь, что наши собственные ничуть не доброкачественней), а в каких-то более общих особенностях времени, уровне развития всего человечества, единого, несмотря на пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем сообща, всерьез и поскорее, заняться анализом, искать средства лечения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет, где там! «Они» — и «мы», «их нравы» и «советский образ

жизни», «в мире насилия» — и «так поступают советские люди» и т. п. Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, закрыта вся статистика: болезней, несчастных случаев, катастроф, преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные специалисты не знают своих же данных: их прячут не только от чужих глаз, но даже от самих себя.

В результате о масштабах преступности лучше, чем специалисты, могут судить сами преступники — например, по степени наполненности (а верней сказать, набитости) тюрем и лагерей. Это непривлекательный способ исследования, но мне довелось его испробовать.

С 1958 по 1975 год я прошел через десятки этих сборных пунктов уголовщины. Но никогда, ни в какой этапной тюрьме я не обнаруживал пустующих — не камер, нет! — мест. За великое счастье в наших пересылках считается иметь с первого дня положенное по инструкции МВД отдельное спальное место. Начинаешь обживаться в переполненной камере — твое место на цементном полу у двери, параши или унитаза, кого-то увозят, ты передвигаешься вглубь, а на прежнем твоем месте уже новенький. Камеры переполнены вдвое, втрое и вчетверо против всех норм.

Вот в переполненную камеру с очередным ежемесячным обходом входит прокурор по надзору. Он останавливается в дверях — шагнуть некуда — с блокнотом в руке: «Жалобы, вопросы у кого есть?» Основная масса зэков, уже привыкшая жить, как кильки в бочке, не обращает на него внимания. Только новички, впервые увидев этого блюстителя закона, жалуются на скученность. Прокурор привычно, заученно отвечает: «Ну, в вашей камере еще ничего!»

Если же новичок начинает «качать права», то ему есть другой стандартный ответ: «Кто вас сюда звал? Я не виноват, что вас больше, чем мы можем принять!»

Наверное, у нас меньше, чем на Западе, организованной преступности. Но вот хулиганства, преступлений по пьянке, безмотивных преступлений — мое мнение, что страшно много, несмотря на неусыпный надзор за каждым человеком все равно как за потенциальным преступником: прописка постоянная, прописка временная, приехал на десять дней — заполни анкету, куда, откуда, с кем, к кому, зачем, на сколько; за нарушение этих правил — уголовная ответственность, лагерный срок до года. В милиции еще посмотрят, разрешить ли тебе прописку, а нет, так убирайся. Милиционер может явиться в любой дом, к любому гражданину с проверкой: а нет ли здесь непрописанных? Фактически это осмотр квартиры. Обнаруживает непрописанного,

кто он ни будь — вполне добропорядочный гость твой, сват, брат, жена, сын, — отвечает перед властями не только приезжий, но и хозяин (мою жену несколько раз штрафовали: впервые — за то, что не прописала своего трехмесячного сына, потом — что я, законный ее муж, находился в ее квартире, а год назад оштрафовали меня за то, что, приехав ко мне, она пропустила установленный срок прописки).

Так вот, при контроле поголовно за каждым — новый советский человек умудряется создавать такую уголовную статистику, что ее боятся опубликовать. Притом ему хватает подручных орудий преступлений: кулака, кирпича, топора; даже охотничий нож не всякий может иметь, на то надо специальное разрешение, иначе — лагерь до трех лет. Вот у нас в народе и говорят: «Чтоб у нас, как в Америке, каждый мог купить пистолет, винтовку? Тогда трупы на улицах некому будет убирать!»

* * *

Из отцовой бригады я никого не знал. Пришлось с каждым знакомиться, когда они по одному и парами стали подходить в назначенную субботу. В основном это были люди молодые, лишь двое-трое средних лет. Бригада состояла из плотников, штукатуров, каменщиков и считалась комплексной. Отца все они называли «деда» — наверное, как и на работе. Одеты все были прилично, добротно, и это очень бросалось мне в глаза, когда я сравнивал их с прежней барабинской публикой.

С матерью все были хорошо знакомы, вели себя у нас очень свободно. Чувствовалось, что собрались действительно свои люди. Я смотрел на них и думал: «Каковы же вы будете под конец вечера, все ли из вас уйдут домой своими ногами?» Но зря я так о них думал. Сильно пьяных никого не было до конца, и разошлись с вечеринки все нормально.

После двух-трех обязательных тостов все заметно захмелели и оживились, стали петь, танцевать, заводить разговоры. Вместе с новыми песнями пели и старинные, знакомые мне еще с детства. Без них и раньше не обходилась ни одна гулянка: «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла», «Я остался сиротою», «Бежал бродяга с Сахалина», «По диким степям Забайкалья», «Скакал казак через долину», «Тонкая рябина», «Среди долины ровныя», «Вы не вейтеся, русые кудри» и другие.

Все гости знали о моем недавнем прошлом. Знали даже, что освободился я из политического лагеря. И я с опасением ждал «вопросов-расспросов», неприятно о серьезных вещах говорить с

подвыпившими людьми. По пьянке каждому не терпится выложить «своему» человеку все, что на душе, похвалиться храбростью и принципиальностью, обматерить родную власть; назавтра, трезвый, он опять станет послушной скотинкой, из-за трусости и безразличия поддержит и одобрит любую подлую акцию, а подзаведут его, так и сам поучаствует с большим энтузиазмом. Ни собственной мысли, ни ответственности. Может, потому спьяну так и распускают языки, что чувствуют себя свободными от ответственности. То за них вино ответит, а то очередной руководитель. Терпеть не могу эти пьяные излияния и хвастовство.

Но за весь вечер никто меня, слава богу, ни о чем таком не спросил.

Когда напелись, стали налаживать музыку: трое гостей, и я с ними, с трудом разобрались, как подключить к сети только что подаренную отцу радиолу. Я сказал:

— Прямо как в газете: «Провожая труженика на заслуженный отдых, местком преподнес ему памятный подарок».

Помогавшие мне женщины громко рассмеялись, а парень сочно выматерился:

— От нашего месткома дождешься! Х… съешь, а два высерешь.

Оказалось, местком-профком никакого отношения к подаркам не имеет. Бригадники по собственной инициативе купили в складчину приемник с радиолой и наручные часы. Они знали, что у нас в доме никогда не было приемника и часов отец мой за всю свою трудовую жизнь не собрался приобрести. Он с часами и обращаться-то не умел. Когда эти, подаренные, в первый раз остановились, то он еще кое-как завел их сам, но вот через неделю, когда нужно было их немного подзавести, он со смущением просил меня показать, как это делается. Я этим был смущен больше него: уж что-что, а часы отец мог бы иметь и от родного сына.

Производство же проявило свое внимание лишь в форме напоминания: зайти через два дня в бухгалтерию и узнать точный размер пенсии. Она оказалась пятьдесят пять рублей в месяц: пятьдесят рублей пенсии плюс пятерка на жену-иждивенку. Это за сорок лет непрерывной работы, в том числе около тридцати на паровозе, в том числе за все годы войны, с первого и до последнего дня.

Когда все гости разошлись, а мы стали прибирать дом, я спросил, всегда ли бригадники так пристойно ведут себя на гулянках.

— Всяко бывает, — ответил отец, — другой раз и до драки

доходит.

Мать была очень довольна, что все обошлось тихо и мирно. Долго еще будет она вспоминать эту вечеринку и рассказывать знакомым при случае: хоть выпивки хватало, а за весь вечер никто друг другу грубого слова не сказал! Так принято говорить у нас, когда вечер обходится без того, чтоб кому-нибудь расквасили морду. Все, что предшествует мордобою, скандалом не считается.

Вечеринку по случаю приезда моего и Бориса — младших Марченок — справил у себя дядя Федор, материн брат. Собрались барабинские родственники, из Тюмени приехали два сына-студента дяди Федора — старший, Василий, и младший, Вовка; средний, мой тезка, жил с отцом, работал штатным инструктором Барабинского райкома комсомола.

На этой вечеринке тоже пили самогонку, пели песни, а когда большинство кое-как разбрелось по домам, мы с дядей Федей и с братьями просидели за разговором до утра. То ли из-за меня, «политического», то ли так у них в семье повелось — все подкалывали среднего брата. Анатолий не скрывал от родни, что намерен делать партийную карьеру. Он обладал некоторыми необходимыми для этого качествами: с первого слова в нем виден был демагог и циник, карьерист, любыми средствами претворяющий в жизнь любые руководящие указания вышестоящих товарищей. С нами — даром что родня — он держался высокомерно-снисходительно, как посвященный с непосвященными, не опускался до спора, а небрежно поучал.

— Собрание — мероприятие организованное, и никто не позволит пустить его на самотек, — обрезает он Вовку, который, как Моська, наскакивает на него:

— А спрашивают: кто желает выступить? Какие будут предложения?

— Вот и выступят, кому следует, и предложат то, что надо.

— А я что, не могу?

— Когда нужно будет, тебя подготовят. Хотя с твоими настроениями — вряд ли…

Дядя Федор весело толкает меня локтем, хохочет и пьяно кричит:

— Видал их е…ю демократию?!

Между прочим, сам дядя Федя — член партии с довоенных лет еще, только никогда никаких постов не занимал, руководил разве что своим дизелем: много лет проишачил в нефтеразведочных экспедициях. Никакой корысти от своего партбилета он не имел, мировоззрение его вряд ли чем отличалось от мировоззрения моего беспартийного отца и прочих работяг, груза ответственности за действия родной партии, как,

впрочем, и гордости за нее, он никогда не чувствовал: «У нас не спрашивают, а против начальства не попрешь». Бессознательно он отграничивает себя от «начальства» (в лице родного сына): «их е…я демократия». Сын же, сознавая свое превосходство, свысока объясняет:

— Демократия — это тебе не анархия. Думаешь, просто, например, собрание провести? Это тебе не мешки на горбу таскать. Если без подготовки — охламоны вроде Вовки такого наголосуют, сами после не рады будут. Так что сначала собираешь актив, надежных людей, доводишь до них поставленную задачу. Обсуждаем, решаем, как ее внести в массы. Когда актив подготовлен, тогда собрание…

Вовка кипятится и заводится еще больше:

— А я захочу — и скажу без вашей шпаргалки! Кляпом, что ли, заткнешь?

— А ты пробовал?

Младший смешался, сбился, но хорохорится:

— А х…и ты сделаешь?

— А ты попробуй. Если жопы не жалко.

— При чем тут жопа?

Отец снова хохочет, снова толкает меня в бок:

— А при том, дурак, что тебя за жопу и в КГБ!

— С такими и без КГБ справляемся. Тем более — студент.

Я задал двоюродному тезке только один вопрос:

— У тебя ни разу не было осечки с собранием?

— У меня — нет, — самодовольно ответил он. — У других бывало. Но ведь это, в конце концов, неважно…

— Ну а тогда что?

— Баламутов за жопу и в КГБ! — кричит дядя Федя.

— Ты, папка, отстал от жизни. Кому охота с ними мараться, с мелкотой этой? Подумаешь — покричал на собрании! А что он скажет, Вовка наш? Ему ж и сказать нечего. Выгонят из института, всего делов. Инструктору, конечно, неприятности. Выговор могут дать или даже хуже, карьере конец. С людьми надо уметь работать…

Все-таки Тольке не удалось сделать карьеру партийного работника. Может, не хватило изворотливости, не сумел держать нос по ветру (подвело так называемое политическое чутье), может, не завязал нужных связей, а ближайший покровитель сам оказался недостаточно пробивным. Конкуренция на этом поприще очень велика, отпихивают друг друга — ладно, сейчас хоть головы не летят, а в конце 1930-х годов каждая следующая ступенька завоевывалась ценой жизни предшественника. Брежнев с поста секретаря техникумовского парткома влез на самую

верхушку пирамиды; читая его биографию, поневоле думаешь: а кто был его предшественником, скажем, на посту…? почему не назван?

…Всего лет пять пройдет, и троих из этой компании не станет. Дядя Федя, крепко выпивши, врезался на своем мотоцикле во встречный грузовик и разбился насмерть. Василий, старший брат, разбился на автомашине в Тюмени. Дядя Гриша Первухин, тоже бывший тогда на вечеринке, вскоре утонул в бензине: оскользнулся и упал в открытый люк железнодорожной цистерны.

* * *

Прописка в Барабинске прошла без придирок, никто мною не поинтересовался: отдал я паспортистке паспорт с военным билетом и получил тут же обратно со штампом.

Через несколько дней после приезда я стал подыскивать себе работу. Делал это тайком от родителей: они уговаривали не торопиться. А я не хотел сидеть у них на шее. К тому же мне надо было скопить денег на обратную дорогу и на первые месяц-два на другом месте.

Я мог рассчитывать только на самую черную работу, ни одна из моих прежних вольных профессий теперь не годилась из-за глухоты и хронического отита. Но мне повезло: на хлебозавод требовался грузчик. Меня сразу приняли.

Конечно, таскать мешки с мукой дело не из легких, но я через неделю втянулся в работу и таскал их наравне с остальными. Нас в бригаде было трое, и наше дело было доставить муку с элеватора на завод.

Работали только днем. Лишь когда вагон с мукой приходил не на элеватор, а прямо на завод, приходилось разгружать его в любое время.

Мешки с мукой уложены на элеваторе штабелями в два человеческих роста и выше. С верхних рядов каждый сам снимает свой мешок и тащит. А доходит до нижних, двоим приходится стоять на подаче: бросать мешки на спину третьему, и он их таскает в машину. Так же таскаем и из вагона.

На хлебозаводе тоже приходится штабелевать мешки до самого потолка. Так что сначала бросаем мешки под ноги, мостим себе из них лестницу и по ней бегаем с мешками под потолок. За смену мы завозили где-то тонн около сорока — более десяти тонн на каждого из нас, с погрузкой и разгрузкой выходило каждому перетаскать более двадцати тонн. Получали мы там в месяц рублей по сто шестьдесят — сто семьдесят.

Лучшего мне в Барабинске было не найти.

Жизнь провинциального городка меня угнетала: я не находил себе занятия в свободное от работы время, а его было предостаточно. В половине пятого я всегда был дома. Отдохнув пару часов и час-полтора повозившись дома, я от нечего делать уходил на последний сеанс в кино. Я заводился каждый вечер от сознания того, что трачу драгоценное время на ерунду. При такой жизни я очень скоро могу оказаться таким же, как и большинство из тех, кто освободился до меня. Втянусь в ежедневные житейские заботы, а на главное дело времени не найдется. И по-прежнему никто в мире не будет знать ничего о мордовских лагерях — теперь уже и по моей вине.

Я стал по вечерам садиться за тетрадку. Решил попробовать набросать хоть что-нибудь: изложить некоторые факты, записать имена, события, даты, а то потом все это может и забыться. Пусть будет никуда не годный черновик — все равно это хоть что-то, из чего можно будет отобрать потом нужное.

Я сам отлично понимал, что у меня ничего не получается. Я тонул в подробностях совершенно ненужных, мелочился в деталях и не мог отсеивать, отбирать. Я злился сам на себя за неспособность свою, за неумение. И не с кем было посоветоваться, некому было показать. Именно в это время я особенно остро почувствовал, как мне необходимы мои новые друзья, как мне нужна Москва.

Я решил не дожидаться, пока достаточно «разбогатею» на хлебозаводе, а ехать, как только напишут из Москвы, что нашли где-нибудь жилье. Пока же, чтобы подзаработать, я — опять-таки втайне от родителей — ходил на железную дорогу разгружать вагоны с гравием, углем, цементом, известкой. Деньги платили здесь сразу же по окончании разгрузки.

* * *

Романтические воспоминания о мальчишеской дружбе в первое время тянули меня к друзьям детства — тем, кто, не превзойдя науки, так и не вышел «в люди» и остался в Барабинске (несколько моих одноклассников, окончивших технические вузы, осели в больших сибирских городах).

Мало кто из моих друзей детства удержался и не запил горькую. Нет встречи без бутылки, все разговоры вертятся вокруг выпивки, да еще футбола, да чужой или своей семейной жизни: тот женился на такой-то, та вышла замуж, те давно развелись, эти сошлись снова в пятый раз, этот муж ушел, а тот, наоборот, жену

выгнал из дому — «и поделом!», другие же не расходятся, хоть живут как кошка с собакой. И тому подобное. Меня в этих разговорах поражало равнодушие ко всему на свете — даже к собственному завтрашнему дню. И, в общем, безучастие друг к другу. Пока были мальчишками, парнями — ходили одной компанией, вступались «за своих», а переженились — и компания осталась только для выпивки. Конечно, сослуживцы денег соберут между собой — на похороны кому-то или, как моему отцу, на пенсионный подарок; и соседи погорельцев приютят. Но это больше в силу еще сохранившейся традиции, чем из-за живого сочувствия к ближнему — а тем более к дальнему.

А уж брюзжание и ругань по адресу наших порядков, наших властей — мне надоело и противно было слушать. Всегда, у всех одно и то же, и слова одни и те же, и рецепт от всех бед один: перевешать их, бл…ей; перестрелять, перерезать, пере…, пере… А чего хотят взамен? В общем, сами не знают. Если вдуматься, так того же, что имеют, — хозяина над собой и над страной, владыку живота своего и ответчика за все.

Двенадцать лет назад барабинское окружение ужасно угнетало и раздражало меня. Я чувствовал себя чужим в родном городе. Сейчас я живу в совсем маленьком городке, еще дальше от Москвы. И люди здесь такие же, как в Барабинске: такие же интересы, те же разговоры. Но нет у меня прежнего раздражения. С годами я понял, что был несправедлив к своим землякам. Они жили обыкновенной жизнью, теми интересами, какие эта жизнь им диктует. Равнодушие к чужой и к своей судьбе, пустопорожнее брюзжание, может, даже наше пьянство — это, скорее всего, результат многовекового крепостного состояния, которое длится и по сей день.

Могу ли я презирать соотечественников за то, что они не знают, чего хотят? В конце-то концов, мое собственное неприятие советских условий жизни не более конструктивно, чем общее бесцельное неудовольствие. Насильно замурованные, отгороженные от мира идейно и физически, лишенные информации не только о мире, но и о самих себе, — мы способны только к разрушительной критике (кто во что горазд) и к выработке идей, не соотнесенных с реальностью.

Тогда, в Барабинске, мне казалось, что вот сейчас все должны бросить свою привычную жизнь и кинуться бунтовать, обличать и добиваться своей правды. Не побывай я сначала в Москве, а еще ранее не задумай разоблачения режима политлагерей, может, взялся бы тогда «раскрывать глаза» своим землякам, набиваться со своей активной жизненной позицией. И, конечно, в конце концов попал бы в поле зрения местного КГБ и вернулся бы

набираться ума-разума в отстойник.

Но, опасаясь спалиться понапрасну, не выполнив задуманного, я не пускался сам в крамольные разговоры, а лишь выслушивал застольные жалобы и ругань.

Единственное внешнее событие нарушило обычный круг застольных тем — гибель космонавта Комарова. Об этом было много разговоров и слухов. Вообще в подобной трагедии нет ничего удивительного: они сопровождают человека на всем пути познания и прогресса. Жертвам этих трагедий человечество поклоняется как героям и мученикам, создает о них легенды. В нашем закрытом и зараженном манией «вредительства» обществе, где все неудачи и несчастья засекречивают, легенды очень своеобразны. В официальную версию гибели Комарова никто не поверил.

Говорили, что новый (после Королева) главный конструктор не захотел противостоять нажиму правительства и разрешил полет на еще не опробованном корабле. Что Комаров предвидел свою гибель, но не посмел отказаться от полета. Что, когда возникли неполадки, он просил разрешения прекратить полет, но этот вопрос чересчур долго утрясали в высших инстанциях. Что американцы предлагали Комарову свою помощь, а наши, мол, отказались. Вновь всплыли слухи о том, что Гагарин — не первый космонавт, а до него было несколько неудачных взлетов со смертельными исходами («Даром, что ли, нам сообщают о взлете, только когда корабль уже на орбите?»). Что вообще первыми космонавтами после Белки и Стрелки были заключенные-смертники (эта параша особенно распространена в лагерях). Что и Терешкова — тоже не первая женщина в космосе, но имя ее предшественницы мы не узнаем, так как она погибла. Что с Титовым после полета не все в порядке и его чуть ли не взаперти держат… Словом, возникло и всплыло множество самодеятельных версий, от фантастических до похожих на правду.

Но некоторые распространялись властями, очевидно, для того, чтобы нейтрализовать невыгодный для них фольклор.

Один мой знакомый рассказывал, что на инструктаже активистов (он сам был в их числе) чуть ли не в милиции им так объяснили эту катастрофу: Комаров, мол, сам виноват в своей гибели, он самовольно, без приказа и разрешения, отправился в космос, когда аппаратура не была еще как следует проверена. И подтвердили широко распространенный слух об американском предложении помощи в таком варианте: патриот Комаров отказался изменить Родине, не принял помощь американцев, предпочитая погибнуть в космосе.

Может, эта сказка состряпана не в верхах, а где-нибудь на уровне райотдела милиции, уж очень она дурацкая: в самом паршивом колхозе лошадь из конюшни без разрешения не дадут вывести, а тут космический корабль с космодрома угнали!

Сам я тоже с недоверием отнесся к официальному сообщению — хотя бы потому, что оно официальное. Но ведь правду все равно не узнаешь, так что ж тут обсуждать?

Другое событие произвело на меня сильное впечатление: письмо Солженицына съезду писателей (я получил его текст из Москвы, конечно, тайком). Было радостно, что есть люди среди писателей, кого не запугали и не купили, что есть кому и у нас сказать правду без оглядки на последствия для себя.

Хотелось узнать о реакции нашей интеллигенции на это письмо. Я не сомневался, что многие готовы поддержать Солженицына, даже, пожалуй, большинство сочувствует требованию отменить цензуру Главлита. Письмо своей смелостью и искренней заботой о духовном возрождении страны может и должно возбудить тех, кто пока молчит или не понимает, даже твердолобые и безнадежные должны хотя бы задуматься.

В 1977 году, прочитав «Теленка» Солженицына в ссылке в Чуне, я узнал, что шестьдесят человек членов ССП публично поддержали его письмо. Это, по-моему, немало для нескольких тысяч советских писателей — «инженеров человеческих душ» и «совести народной».

В Барабинске мне некому было показать это письмо, не с кем поделиться впечатлениями. Я знал заранее, что забота Солженицына о свободе творчества не будет понята моими земляками: не о мясе и не о барахле! Разве что из желания подудеть в одну дудку со мной сказали бы: «Да, дает мужик! Теперь его, конечно, посадят» или «Хорошо ему вякать! Писатель, такому ничего не будет, а нашего брата за рога бы, да и в стойло».

…Родители мои время от времени твердят свое: не уезжай никуда, оставайся в Барабинске, и здесь люди живут. Мать так больше о моей женитьбе заговаривала: «Сколько будешь в холостяках ходить? До белой бороды, когда ни одна старуха не согласится?» Я отшучивался: «Подберу невесту поздоровее да поязыкастей, потаскаете друг друга за волосы, не обрадуешься тогда женатому сыну». А она шутки понять не хочет: «Живите отдельно, вы — себе, а мы со стариком — себе. Бывает, что не уживаются вместе две хозяйки, это не беда!»

Не дай бог, зайдет к нам в дом потенциальная невеста — старики тут же угощение на стол и сделают все, чтоб гостья задержалась подольше и чтоб ей у нас понравилось. Мать

надеялась, что женитьба образумит меня, приклеит к дому и я наконец устрою жизнь «по-человечески».

К моим связям с Москвой мать относилась враждебно-ревниво. Иногда и высказывала, что у нее на душе: «Чует мое сердце материнское, опять будешь в тюрьме с этой Москвой!»

Родители не раз слышали от меня «крамольные» речи, по их понятиям — святотатственные (хоть сами — и наедине, и в компании — не раз проклинали и свою жизнь, и власть) и ведущие прямо в тюрьму. Вот они и начинают выговаривать: что тебе не живется нормально? что тебе нужно от советской власти?

— Хотя бы того, чтоб меня и других не били по голове!

— Почему нас никто не бьет? Мы всю жизнь прожили и тюрьмы не боялись!

— Мам, да ведь и Гитлер не всех бил по голове. Живи по его законам, кричи вместе со всеми «Хайль Гитлер!» — и можешь спать спокойно.

— Любая власть, если ты против нее, будет тебя бить и по голове, и по жопе.

— А в Америке компартия открыто заявляет, что борется против власти капиталистов, — и никого там за это не сажают.

— А ты откуда знаешь? Ты что, был там, сам видел?

— Но ведь об этом пишут в газетах!

— Нашел чему верить! Все вранье.

— Так пишут-то наши газеты, советские!

— Да ну тебя, — мать безнадежно машет на меня рукой. — И в кого ты у нас такой умный? Ни у отца в роду, ни у меня никто никогда в тюрьме не был. А тебя уже дважды угораздило, и так дураком и остался. Других хоть тюрьма учит. Лучше бы пил: пьяница проспится, а дурак никогда. Правду ведь пословица говорит, что в семье не без урода.

— Ага, а отцова-то отца Колчак расстрелял? А дядя Афоня, сама говорила, добровольцем к красным ушел еще несовершеннолетним.

— Так не в тюрьму же! Да и время не такое было. Чего вам сейчас не живется? Мы в лаптях ходили, а вы ежегодно новые туфли покупаете, и все вам не так!

Ох уж эти мне родительские лапти! Это, как они думают, самый веский аргумент в пользу советской власти. Задумайся они, что туфли, мотоциклы, телевизоры и прочие блага цивилизации есть уже везде в мире, а нашему народу обошлись слишком дорого, в миллионы жизней, — так, наверное, обожгло бы им пятки в этих туфлях.

У таких людей, как мои родители, жизненный опыт берет свое начало с предреволюционного времени, символом которого

понаслышке, от пропаганды, стали лапти: «лапотная Россия» (между прочим, в Сибири и батраки ходили в сапогах). И получается у них, что советская власть заменила им лапти на туфли. Этого представления из них ничем не выбить.

* * *

Известие, что мне нашли жилье недалеко от Москвы, пришло, когда я уже подзаработал немного денег. Но до отъезда мне хотелось побывать у деревенской родни: доведется ли с ними еще увидеться? Рассчитавшись с хлебозавода, я попросил двоюродного брата отвезти меня в деревню на мотоцикле. Мы решили сначала заехать к материному брату дяде Афанасию в Здвинск. Это большое сибирское село — районный центр — на берегу реки Каргат, в ста километрах от Барабинска. По хорошей дороге ушло бы у нас часа полтора, чтобы доехать. А мы, выехав в обед, добрались туда только к вечеру.

Дом дяди стоит на самом берегу. Живут они вдвоем, дядя Афоня и тетя Дина, шестеро их детей поразъехались из дому. Дядя очень схож с моей матерью: такой же маленький, сухощавый и лицом очень похож. Я помню его даже еще до войны, как он приезжал к нам в Барабинск на санях и водил поить лошадь к водокачке: сажал меня верхом, а сам шел рядом, одной рукой придерживая повод, другой — меня.

С войны он вернулся весь увешанный орденами и медалями, был несколько раз тяжело ранен. После войны сумел, несмотря на малограмотность, окончить курсы взрывников и работал на дорожном строительстве. Тогда он часто бывал у нас. А теперь (1966) дяде уже шестьдесят пять лет, он получает пенсию, но слишком маленькую, так что подрабатывает истопником в конторе. И огород служит им подспорьем.

Дядя Афоня нам с братом очень обрадовался. Конечно, накрыл на стол, выставил традиционную бутылку — но так и не распили ее. Дядя сказал, что совсем бросил пить: «Все, что мне полагалось выпить в жизни, — выпил раньше времени, а чужое прихватывать не полагается». И точно, моя мать рассказывала, что в молодости дядя был хороший пьянчуга, и притом, даром что малорослый, большой любитель подраться. Хоть ему частенько крепко перепадало, он все не унимался. Но с годами появились у него «сухие периоды», когда он в рот не брал спиртного.

Анатолий, единственный сын дяди Афони (остальные — дочери), видно, не «урод в семье», пошел в отца и даже гораздо

дальше. Он здорово пил еще до армии, пил и в армии, а после и вовсе запился. Лихо шоферит, ездит, накачавшись водкой, с ветерком по бездорожью. Было, что и машину разбивал, и наезды у него были, но все как-то ему сходило с рук и прощалось.

Жена Анатолия повесилась — может, не выдержав такой жизни. Дядя Афоня взял к себе двух маленьких: внука и внучку. Растит их без помощи сына.

До отцовой деревни, куда мы держали путь, от Здвинска было еще около двадцати километров. Официально деревня имеет название Верхний Урюм (она стоит на берегу реки Урюм), но местные жители и окрестные называют ее почему-то Лохмоткой, хотя здешний колхоз имени Мичурина считается в районе зажиточным, богатым.

У меня в Лохмотке полдеревни родня. Наша фамилия здесь самая распространенная, и когда называют какого-нибудь Марченку, то добавляют уличную кличку или примету, чтоб не перепутать: «те Марченки, что коло магазина», «бабки Любки Марченко»…

Говорят в Лохмотке на устоявшейся смеси русского и украинского, есть местные словечки, каких я нигде больше не слышал. Например, крестных называют «лельками». Лохмотка — переселенческая деревня, в 1910-х годах сюда переселились украинцы из восточноукраинских губерний. Теперь они считают себя русскими, но жители ближних деревень по-прежнему дразнят лохмоткинцев хохлами.

Семья моего отца переселилась из Харьковской губернии в Сибирь в 1914–1915 году. Перевезли свой сельскохозяйственный инвентарь (отец и сейчас вспоминает какую-то особенную бричку на рессорах), получили здесь надел — восемьдесят десятин. Кони были, о прочей скотине и говорить нечего. Жили зажиточно, как и другие переселенцы. Во время Гражданской войны Лохмотка поддерживала красных, мужики партизанили против Колчака. Мой дед ковал пики для партизан. Видно, он был азартный мужик: не вышел из кузни, даже когда колчаковцы входили в деревню. За этим занятием они его и прихватили — и расстреляли.

Лишившись кормильца, семья обеднела. Конечно, где там было вдове с ребятишками обработать свой надел. Отец ребенком еще пошел в работники к богатым крестьянам. Зарабатывал, говорит, хорошо — что за лето получит, того семье хватало на год. Хозяева попадались разные: один к работникам относился, как к своим, вместе работали, вместе и ели, а при расчете добавлял еще сверх договоренного, а другой был скуп, рассчитывался в обрез, кормил плохо. Когда всех их

раскулачивали, щедрого и доброго жалели, скупого никто не жалел. Отец говорит, что его заставляли подписывать постановление о раскулачивании, а он против хорошего хозяина не стал; может, хвастает, он у нас любит прихвастнуть и силой, и храбростью («Я одному как дал — он набок, я другому ка-ак дал!..»). Ну, раскулачили и сослали, конечно, и тех, и этих. Был бы жив дед — и их, может, раскулачили бы, хотя бы из-за знаменитой брички. А так мой отец остался деревенским гегемоном, кто был ничем, стал всем, но без возможности заработать кусок хлеба. Хорошо еще, вовремя успел смыться в город. Точно так же и мать росла сиротой в бедной семье (только в другой переселенческой деревне, русской, из Орловской губернии, то есть из «кацапов»), с детства батрачила, а после коллективизации тоже ушла в город на заработки.

В детстве я частенько проводил лето в Лохмотке. Около деревни Урюм разливается широко и больше похож на озеро, чем на реку. Ребятне благодать, мелко, идешь-идешь, чтоб зайти по горло, и ни тебе ям, ни омутов. Местами берег песчаный с белым и мелким, как мука, песком. Здесь полно чаек, от них над речкой стоит постоянный гвалт, который смешивается по вечерам с таким же гвалтом воронья и грачей за околицей.

Подальше от деревни берега густо заросли камышом, в котором раньше кишели утиные выводки. Мы, ребятишки, промышляли уток древним способом, на волосяные петли. Здесь это называлось «ловить пленками». Развесим петли гирляндами по кромке камыша, перегородив ими проход к чистой воде, а утка сама, плывя, сунет голову в петлю, сама и затянет ее. Но иногда эти петли брали под свой надзор коршуны и ястребы, и тогда мы обнаруживали в них только перья да лапки.

За своей дичью мы лазали по шею в воде и тине, резались до крови о камыши и завидовали взрослым охотникам, имевшим старенькие ружья. Конечно, уток мы ловили не для забавы: в голодное военное и послевоенное время мы подкармливали этим промыслом свои семьи.

И еще тогда в реке было полно рыбы. Про удочки здесь и не знали, ловили сетями или неводами. Вся речная гладь, бывало, густо уставлена тычками, меж которых натянуты сети: у каждого рыбака свое место на реке. А когда тянули невод, нас, мелкоту, звали помогать с того края, который ближе к берегу.

В 1950-х годах ловить рыбу сетями запретили. Уполномоченные из райцентра ездили по деревням и отбирали сети. Приехал я как-то в те годы в очередной раз в деревню поздно ночью. Шофер дядя Миша — тоже Марченко — высадил меня возле дома бабушки, когда там уже все спали. На мой стук в

окно никто не откликнулся, а просто кто-то молчком открыл дверь. В темноте я не мог узнать, кто мне открыл, и спросил вместо «здравствуйте»:

— У вас свет есть?

— Какие сети?! — услышал я ворчливый голос бабушки. — Еще в прошлом году все отобрали, чтоб вам лихо стало!..

Кроме бабушкиного дома был для меня родным здесь и дом «лельки» — моей крестной. Отец лельки, мой двоюродный дед, когда-то, как говорят, по-цыгански смуглый, с густой шапкой черных волос, уже к моему первому приезду в деревню был древним стариком. Полчерепа у него было совершенно голо, а другая половина едва прикрывалась волосами, легкими и белыми, как тополиный пух. У него постоянно тряслись голова и руки — трясучка осталась от контузий и ранений на империалистической и на гражданской. Он был несколько раз проколот, прострелен и порубан. Руки тряслись настолько сильно, что он редкую ложку мог донести до рта, не расплескав. Так что щи ему наливали в миску, и он пил их через край.

Сколько я помню деда Прокопа, он всегда что-нибудь делал дома для колхоза: грабли, вилы, лопаты, косы, топоры. Мне и сейчас он видится строгающим зубья для грабель или косовища под густой черемухой, где находился его верстак. Я забирался на эту черемуху повыше за крупными ягодами, и мне сверху сквозь листву хорошо был виден дед — в белой самотканой рубахе и таких же штанах. Ветерок легко шевелил на нем это белое одеяние и белый пушок на затылке. Дед был тонким и щуплым, так как давно усох, и казалось, если ветер захочет, то ему ничего не стоит поднять деда от земли и понести над ней, как белую паутину.

Дед Прокоп был малоразговорчив, да и слаб уже на уши стал под старость. Но любил разыграть людей, подшутить над ними. Меня он разыграл в первый же день приезда.

Бабушка Лукерья подала нам с ним на стол по миске щей. Я заметил, что мои щи по цвету отличаются от щей в миске деда: мои светлые, а его очень красные. И я с любопытством посматривал на его красные щи. Дед, заметив это, подмигнул мне украдкой от бабушки и кивком головы пригласил попробовать из его миски. Я тайком от бабушки зачерпнул полную ложку. Я знал, что щи не горячие, и поэтому без опаски схлебнул всю ложку сразу. Рот так обожгло, что я поперхнулся, закашлялся. Бабушка от печки повернулась ко мне. Из моих глаз текли слезы. Я не выдал деда, но бабушка сразу догадалась, стала его ругать:

— Да разве ж можно так шутить с малым ребенком, дурень старый…

Дед сидел невозмутимо и как бы не слышал бабушки. И так же невозмутимо, к моему удивлению, тряся головой и руками, продолжал неспешно хлебать свои огненные щи.

Долго еще после этого, когда мы садились за стол, дед тайком от бабушки подмигивал мне, предлагая угоститься его щами. Но я больше не любопытствовал и отказывался. Потом я узнал, что дед заранее сам натирал себе в миску несколько стручков красного перца, и миска эта стояла до обеда.

Сколько раз покупал меня дед на чем-нибудь! Я зарекался ему верить, но, как назло, не мог угадать, когда. Не поверю пять раз — и все невпопад. На шестой поверю — обязательно влипну. Дедова внешняя угрюмость часто подводила не только меня: от такого человека обычно не ждут подвоха и розыгрыша.

Дед Прокоп прожил около ста лет. Он умер, когда я был в мордовских лагерях.

В послевоенные годы в Лохмотке (как в других деревнях и даже в Барабинске) было полно земляных домов — не временных землянок, а именно домов, сложенных из толстых пластов земли с дерном, с земляным полом, который хозяйки к празднику подмазывали и заглаживали глиной с навозом. В таком вот доме жили мои бабушка с тетей Домной и ее тремя детьми, а летом я был шестым обитателем. Кроме того, здесь же помещались другие временные жильцы: квочка с цыплятами в закутке под печкой, где обычно стояли кочерги и ухваты.

Печка продолжается дощатыми полатями, верхней спальной плацкартой, одной на всех детей и стариков. Обстановка в избе вся самодельная: стол и лавки на кухне, кровать и пара табуреток за перегородкой в горенке. Да еще по стенам — в рамках или просто наклеенные на газете — фотографии ближней и дальней родни.

Все было просто, ничего-то лишнего. И просторно — не то, что нынче.

Лишь похоронив вождя народов и лучшего друга всех колхозников, деревня начала прибарахляться и обрастать излишествами.

* * *

Я вспоминаю нищую и голодную деревню 1940-1960-х годов и пытаюсь понять, насколько неизбежна была эта страшная нищета народных кормильцев. Это правда, что после войны в деревнях не хватало работников: мужиков-то повыбили. Однако же деревня худо-бедно кормила страну. А при этом сама голодала, отдавая государству все, что производила. Справедливости тут, конечно, нет, но, может, была такая необходимость, может, благодаря временной несправедливости крестьяне смогли к 1955 году надеть покупные штаны вместо домотканых? Еще через десять лет обзавелись велосипедами, а теперь, еще десять лет спустя, покупают мотоциклы и пианино и мечтают о своем автомобиле? Может, мудрое государство (в лице и под руководством) лучше, чем сами граждане, знало их нужды и потому решало: пусть нынче Ванюшка бегает с раздутым от макухи брюхом, зато его дети когда-нибудь покатят в авто?

Зато, зато… «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Все равно и сейчас в стране не хватает мяса, масла, а также автомобилей, хлеб покупаем у Америки, рассчитываясь богатством недр — «народным достоянием».

Я не могу судить о возможностях советской экономики и о наилучших путях ее развития. Но ведь общеизвестно, что многие другие страны, разоренные войной, возродили свою экономику и подняли ее на более высокий уровень, чем наша, без бесконечных вынужденных жертв (выдаваемых за всенародный героизм и энтузиазм). И значит, эти жертвы бессмысленны.

У самого въезда в Лохмотку нас встретила растущая при дороге огромная, издалека видная береза. Ночью она похожа на человека — великана, раскинувшего изуродованные ветром и грозой руки-ветки, то ли приглашающего путника в деревню, то ли преграждающего ему дорогу. В детстве этот великан пугал меня.

Вторая от края избушка — бабушкина. В ней давно никто не живет: бабушка умерла, тетя Домна с детьми переехала на жительство во Фрунзе. Хоромы эти никому стали и даром не нужны: люди теперь селились в нормальных рубленых избах, строились, бросая свои земляные допотопные сооружения. Бабушкина избушка стоит с пустыми выбитыми окнами, с зияющим проемом вместо двери. Даже огород никем не засажен: земли хватает, у каждого колхозного двора огромный огород.

Мы проехали мимо одичавшей бабушкиной усадьбы, направляясь к дому лельки.

Оба мы — и лелька, и я — рады были встретиться после стольких лет. За столом, тут же сразу накрытым и увенчанным, конечно, бутылкой, вспоминали родню — живых, и уже умерших, и народившихся за это время. Обе лелькины дочери уже давно замужем, внуков ей народили («А ты отлыниваешь!»). Сама она все еще работает — поваром в артели армян-шабашников, которые и живут у нее в доме. Эта артель приезжает в Лохмотку уже второе лето, строит колхозу новые объекты. В это лето они строят коровник. К осени рассчитывают получить много денег — и получат, это точно. Во всяком случае, раз в десять больше, чем уплатили бы за эту же работу своим колхозникам. Но свои не управляются и с полевыми работами, вот и приходится колхозу за большие деньги нанимать строителей со стороны.

В те годы, когда я посетил Лохмотку, артели шабашников работали чуть ли не в каждом колхозе нашей области. Заехали мы на обратном пути в совхоз — там тоже шабашники строят зерносушилку. И не дальние приезжие, а земляки-новосибирцы, молодые инженеры. Отпуск да еще по две недели за свой счет — и каждый привезет приблизительно половину своего годового заработка.

Мой зять — муж двоюродной сестры — работает в этом совхозе начальником отделения. «Замотался вконец», — жалуется он мне.

Утро, например, начинается с того, что он с бригадиром бегает по домам, пытаясь уговорами или бранью выгнать женщин на дойку коров. Не всегда это удается, и бывает, что буренки до обеда не доены.

— Может, платите дояркам мало, — предположил я.

— Мало! Не меньше двухсот в месяц! Разбаловался народ, — возмущается зять. — Раньше за горсть зерна пахали от зари до зари, и гнать не надо было: сами бежали. А теперь кланяйся каждой! На работу, с работы ли — машинами возим, а раньше на полевом стане всю неделю…

— Так ты б хотел, чтоб как раньше, за горсть зерна?

— Не в том дело. Теперь за труд получай не трудодень липовый, а деньги, и немалые. Работай только. Так видишь — не хотят. Хозяина в стране нет!

— Сталина хочешь?

— А что Сталин? При нем хоть порядок был. Плохо было, зато слушались.

— Твое начальство тоже о Сталине вздыхает: такие, как ты, при нем по струнке ходили. Чего же ты не ходишь?.. Лучше

сталинской системы ты ничего не можешь предложить, чтоб хозяйство не буксовало.

— Это чтоб опять капитализм, это ты имеешь в виду, да?

* * *

Но притереться к социалистическому сельскому хозяйству зятю не удалось. Он ушел из одного совхоза, из другого; в конце концов уехал от земли и устроился на более спокойную, менее рискованную должность где-то в управлении.

Как и в Барабинске, никто не расспрашивал меня в деревне, за что я сидел, с кем, каковы сейчас политлагеря. Лишь один родственник, уже подвыпив, прихватил еще бутылку самогона и поманил меня во двор: «Есть разговор». Но и во дворе он не нашел подходящего места и повел меня в баню. Выпив стакан, он спросил:

— Скажи, правду говорят, что ты продался?

— А кому, как говорят?

— Заграничной разведке!

— Ну, раз заграничной, то правда.

— А за что же ты продался? Твой дед здесь расстрелян колчаковцами. А отец всю войну прошел!

— Платят хорошо, очень хорошо. За добросовестный труд здесь столько никогда не будут платить.

— А если поймают?

— Так сейчас не ловят. Что ты! Кому это нужно: ловить шпионов. Это осталось только для книжек да для кино.

— За шпионаж не судят? — Он надолго задержал занесенную над стаканом бутылку и смотрел на меня во все глаза.

— Ты же видишь меня живым и на свободе…

— А органы знают?

— О чем? Что я на свободе или что я шпион?

— Что шпион.

— Наверняка.

— А ты откуда знаешь?

— Сам же говоришь, что все говорят. А раз все говорят, то органы и тем более обязаны знать.

Бутылка отставлена в сторону. Стаканы так и остаются неналитыми.

Потом вполголоса:

— Ну а сам-то ты как? Против своей страны, против народа…

— Понимаешь, по мясу соскучился.

— Какое еще мясо?

— Именно, что все дело в мясе. Шпионам платят иностранной валютой или натурой. Заходишь в специальный магазин для иностранцев, и там все, что твоей душе угодно. И ни очереди, и по низким ценам. Мяса — навалом.

Собеседник мой задумался, молчит. Потом чуть улыбнулся:

— Врешь ты все! С тобой по-серьезному хотят поговорить, а ты…

— А как можно об этом по-серьезному-то? Все говорят, что я шпион, а госбезопасность смотрит, слушает и ничего не предпринимает! Какая уж тут серьезность!

— А я откуда знаю? Люди говорят, вот я и спрашиваю по-свойски.

— Говорят, а ты уши развешиваешь!

— Ну а за что же тебя судили? Мать же сама говорила, что ты сидел с политическими.

— Точно, сидел с ними.

— И много их там?

— За десять тысяч я ручаюсь.

— Как при Сталине? — Он удивлен.

— Да нет, при Сталине были миллионы.

— Все равно много… А за что все же они сидят?

— Каждый за свое: кто за книжки…

— Писатели? И такие есть?

— Есть.

— А я думал, что они все продажные твари.

— Выходит, не все.

— А еще кто?

— Студенты есть. Есть такие, кто выступал на собраниях, писал листовки, агитировал, создавал организации, составлял программы. Есть еще и за войну…

— Этих перестрелять надо было! Предатели!

— И такие есть. Но есть и такие, кто и немцев бил, и советских тоже.

— А, бандеровцы! Тоже не чище!

— Эти чем тебе насолили?

— Они нам проходу не давали, били нас в лоб и в спину.

— Кто к кому пришел с оружием — украинцы в Москву или наоборот?

Под конец, совсем уж окосев от самогона, мой собеседник накинулся на Америку:

— Ты думаешь, мы Америку не расколошматим? Еще как. Жаль, Сталин не послушал Жукова и не объявил ей войну в сорок пятом.

Очень распространенная это байка! Она, видно, родилась в

пылу окончательного разгрома Германии и торжества отечественного оружия.

— А что вам плохого сделала Америка?

— Да она только и ждет, чтоб завоевать нас!

Я не стал доказывать моему собеседнику, что в сорок пятом Америка могла это сделать, если б хотела, а теперь не может, если и пожелает.

Сейчас я бы добавил: не вздумайте присоединять Америку к соцлагерю ни мирным, ни военным путем! Если это произойдет, то кто нам поможет хлебом и продуктами в неурожайные годы и даже в урожайные? Где мы будем выпрашивать кредиты на строительство коммунизма? У Эфиопии или у Ким Ир Сена?

* * *

…К началу лета 1967 года я вернулся от родителей — надо было устраиваться поближе к Москве. Полгода назад я поделился с двумя-тремя московскими друзьями своим замыслом, при этом не скрыл, что, видимо, попытаюсь уйти за границу, так как не смогу сам осуществить задуманное. Надо сказать, что мои друзья отнеслись к этому плану скептически: они были уверены, что попытка перехода границы окончится моей гибелью. «Напиши сам, напиши так, как ты нам рассказываешь, — убеждали они меня. — Посмотрим, что из этого получится». Я же предпочитал выступить в своей стране по другим причинам, о которых уже говорил. Рассчитывая на помощь новых друзей, я решился попробовать писать, как сумею.

Я раньше считал, что труд писателя самый легкий. Придумай, о чем писать, да знай грамоту. А мне и придумывать не надо.

Еще в Барабинске я записал несколько эпизодов и отправил по почте в Москву. Но я увидел, что получается совсем не то. Все расплывалось, тонуло в массе подробностей; я не знал, что надо оставить, что выбросить, меня кружило, как по заколдованному кругу, и я чувствовал, что повторяю одно и то же, и не знал, как этого избежать. Пока писал, изматывал все нервы, и все равно ничего не получалось. Как начать повествование, чем кончить? Какое-то должно быть начало, какое-то «жили-были», но я не мог его найти.

Я приехал в полной неуверенности. Еще раньше Лариса показала присланные мной письма другим посвященным друзьям, и они по-прежнему советовали: «Пиши, как умеешь». Мы с Ларисой посидели над моим текстом; в результате от трех пухлых

писем — в общей сложности не меньше тридцати тетрадочных листов — осталось страниц пять. Прежде всего она заставила меня выбросить все декларации против лагерного режима и режима вообще. Оказалось, что моя писанина наполнена именно этим. Я считал, что должен все и всех назвать своими именами, чем резче, тем лучше. «Это совершенно никому не нужно и не интересно, — говорила Лариса. — Ты должен рассказывать конкретные вещи, а выводы пусть делает сам читатель». Я спорил, думая, что она смягчает мои выражения ради моей безопасности. Вначале мне приходилось просто подчиняться: раз она взялась помочь мне, я вынужден с ней считаться. Потом, когда я перечитал то, что было в конце концов оставлено, то почти поверил, что она права. Но все еще внутренне сопротивлялся и, когда писал дальше, норовил в очередной раз высказаться на всю катушку, как мы это делали в стычках с лагерным начальством или с лекторами. «Ты же не для них пишешь», — убеждала меня Лариса и снова вычеркивала. И лишь когда ее поддержал еще и Б. [8], я окончательно успокоился насчет того, что читатель обойдется и без моих подсказок.

Лариса расспрашивала меня: так что же было дальше, как я объясняю ту или иную ситуацию. «Вот это и надо дописать». Я дописывал, и текст приобретал какую-то форму.

В процессе редактирования этих первых в жизни написанных мной страниц я понял: надо писать простые фразы, как говоришь, не надо втискивать в одну фразу все, что вообще хочешь сказать, как будто это твоя последняя возможность высказаться. Даже не понял, а *увидел.* И дальше старался писать именно так, хотя и сейчас это у меня не очень получается.

Словом, сама работа придала мне смелости. К тому же я надеялся, что, как я ни напишу, мой добровольный редактор сделает из этого удобочитаемый текст (но эти надежды не оправдались, вернее, оправдались не совсем так: Лариса ничего не переписывала вместо меня, а заставляла меня самого переделывать и переписывать; только вычеркивала, выбрасывала куски фраз, абзацы, а то и целиком эпизоды).

Объем написанного рос, хотя и очень медленно. И то, что я успел сделать к концу лета, все еще никак не связывалось в одно целое.

Между тем условия у меня были такие, что писание превращалось в какую-то скачку с препятствиями. Я, конечно, не мог жить в Москве. Хотя нашлись бы знакомые, которые дали бы мне угол, но ведь меня никто не прописал бы и не взял бы на работу. Люда Алексеева помогла мне снять угол во Владимирской области в Александрове — это в двух часах езды на электричке. С

большим трудом мне удалось там прописаться[9]. Устроился грузчиком на ликеро-водочный завод. Прописка и устройство на работу — это была целая проблема, на это ушло полностью полтора месяца.

Я снимал угол у одинокой старухи на дальней окраине городка. Тетя Нюра хорошо ко мне относилась, особенно когда убедилась, что я действительно не пьянствую и готов помочь ей по хозяйству: наносить воды из колодца, сложить дрова, натаскать торфяных брикетов. Но работа на заводе да эти мелкие услуги хозяйке отнимали почти все мое время; еще ведь надо и в столовую забежать или самому что-то настряпать на керосинке.

К тому же я жил в одной комнате с хозяйкой. И вообще ее изба состояла из одной комнаты: посреди избы — печка, и то, что перед печкой, называлось кухней, а за печкой наши с тетей Нюрой апартаменты. Она поставила мне деревянную кровать с соломенным тюфяком, перегородила жилье шкафом и даже занавеской отделила мой угол. У меня кроме кровати помещался еще стул, а на нем чемодан с моим бельем, на стене над стулом — вешалка; еще стоял крохотный стол-шкафчик с посудой и припасами.

Где писать? Где хранить написанное?

Если я засиживался допоздна, тетя Нюра утром обязательно поинтересуется:

— Толик, что это ты ночь не спишь? Чуть не до утра свет не гасил…

Раз скажешь: письмо писал, другой раз, а дальше что?

Вначале меня выручала летняя пристройка-коридорчик. Я сказал, что люблю спать на свежем воздухе, и до сентября жил там. А на выходные дни, спрятав в карманы пару тетрадок, уходил «гулять» в лес. Но подошла осень, начались дожди, и пришлось прекратить эти «прогулки» и занять свое законное место за занавеской. Меж тем следовало очень торопиться. Больше всего я боялся, что власти как-то пронюхают о моих литературных занятиях. Засадят меня под любым предлогом — в Александрове проще простого состряпать любое «дело». И задуманное так и останется невыполненным, и сяду зря. Сам-то я тогда вряд ли привлекал внимание (хотя — кто знает? может, за бывшими политзаключенными особый надзор?), но ко мне приезжали Лариса и другие москвичи, бывшие на примете у КГБ, да и сам я ездил к ним в Москву. А без этих поездок было не обойтись. Вдруг в мое отсутствие обыщут мое нехитрое имущество? Или тетя Нюра полюбопытствует, что я пишу по ночам, — как мне знать? — испугается, донесет. И я брал с собой на работу все исписанные листки, рискуя, что они того и гляди

вывалятся из карманов.

Опыт моих лагерных коллег свидетельствовал, что всякую подпольную работу надо делать рывком, иначе только спалишься без толку. Словом, надо было торопиться, торопиться.

У Ларисы тоже не хватало времени заняться моими черновиками: в будни служба, и она приезжала в выходной день такая усталая, что, едва взявшись за свою редакторскую работу, сразу же засыпала.

И тут мне повезло.

Одна приятельница[10] на сентябрь и октябрь получила путевку на базу отдыха для творческих работников. Поскольку была уже осень, база почти пустовала, лишь в нескольких домиках жили пять-шесть человек. Особенно пустынно было там в рабочие дни: некоторые отдыхающие приезжали лишь на воскресенье. Моя приятельница снимала отдельную большую комнату и тоже приезжала только на выходной. Она предложила мне пожить там и договорилась с администратором. Меня здесь никто не знал, а целодневной писаниной на этой базе никого не удивишь.

На мое счастье, на работе мне без особых затруднений дали двухнедельный отпуск за свой счет. Лариса на это время тоже взяла отпуск.

И вот мы на базе. Ее территория покрыта смешанным лесом, это сплошной парк. Высокая ограда не совсем глухо изолирует ее от внешнего мира: полно дыр и проемов, через которые удобно выходить в любом направлении, нет необходимости делать петлю через главный вход. Минутах в десяти, в деревне, есть столовая, и можно раз в день позволить себе дешевый обед.

И место это оказалось исключительно грибное, и год оказался удивительно обильным на грибы. А ходить за грибами было тоже недалеко. Они росли буквально за оградой базы. Это нас здорово выручало: мы их и варили, и жарили, две недели кормились грибами.

Когда на воскресенье приезжала наша приятельница, мы позволяли себе маленький отдых. Вечерами втроем уходили подальше и жгли ночью костер. Приятно было отдыхать вот так, подкидывать хворост в костер и трепаться обо всем на свете.

Но в будни мы сидели над рукописью буквально часов по восемнадцать в сутки. Никакая тяжелая физическая работа меня так не выматывала, как эта. И каждый вечер, усталый хуже собаки, я отодвигал рукопись неудовлетворенный: все еще не видно было, получается ли работа, и не видно было, где же конец. А эти две недели — мой последний шанс, потом пойдет опять круговерть: работа на заводе — быт — угол за занавеской… Скоро

год пройдет, как я вышел, и еще год пройдет так же без результата, и того гляди КГБ пронюхает и схватит. Я страшно нервничал и злился, даже время на обед казалось мне потраченным зря, я изводил Ларису, что она тратит лишние минуты.

У нее в это время было чуть ли не больше работы, чем у меня, ведь у меня все-таки был уже довольно большой задел. Наступило время как-то организовать все написанное и понять, что еще нужно написать. Надо было нанизать отдельные эпизоды на какую-то одну нитку. Лариса предложила: «Пусть это будет твоя собственная история: кто ты такой, как попал в Мордовию, а дальше по порядку — Владимирская тюрьма, лагерь, что там видел». Я взял листок и написал: «Меня зовут Анатолий Марченко». Дальше пошло более или менее гладко. Спор у нас с Ларисой получился только по одному поводу: она хотела, чтобы я написал, как меня в первый раз посадили якобы за драку. Я этого описывать не стал. Она расспрашивала меня, но я и рассказывать не захотел. Мне было бы неприятно доказывать, что я в драке не участвовал и меня посадили зря. Во-первых, все зэки так говорят, что, мол, не виноваты. Во-вторых, мой рассказ выглядел бы как попытка оправдаться. Да и не в том дело, зря посадили, не зря, не о том ведь речь.

Я думаю, хорошо, что я не послушался Ларису; и для книги хорошо, и вообще. Потом, когда моих друзей разные следователи шпыняли: «Да вы знаете, с кем связались? Он же уголовник, бандит, хулиган», — каждый из допрашиваемых со спокойной совестью говорил: «Знаю, он сам об этом написал».

Написанные раньше эпизоды нанизывались на мою собственную хронологию, как бусы на нитку. Некоторые, к моему удивлению, шли почти без правки, они так и вошли в книгу в виде отдельных небольших главок (например, «Самоубийцы», «Цветы в зоне»). С другими же Лариса проделывала все ту же работу: вычеркивала декларативные фразы, вычеркивала лишние подробности, показывала мне, что здесь нет начала, здесь конца, и я дописывал. Немало эпизодов она совсем забраковала и заставила меня их выбросить: они лишь повторяли уже сказанное. А мне жаль было выбрасывать: столько труда стоила мне каждая написанная страница! Я спорил, иногда отспоривал, но чаще в конце концов соглашался.

И сейчас я жалею, что мы так торопились и последние главы книги получились слишком бедные и беглые, как раз в них-то и было над чем подумать. А я писал их еще более торопливо, чем предшествующие, и они, вероятно, получились поверхностной отпиской. Кроме спешки, меня в работе над этими главами

сковывало еще одно обстоятельство. Там речь идет о последнем годе моего заключения (1966), когда я ближе познакомился с новым набором политзаключенных, с набором 1965 года. Среди них были люди очень известные, и мне казалось, что, называя их, я как бы примазываюсь к их известности. Совсем не назвать их тоже не годилось (хотя вначале я именно так и хотел сделать). В конце концов, посоветовавшись с друзьями, я решился только бегло упомянуть об этих новых кадрах политзэков, не набиваясь, так сказать, на тесный контакт с ними или на понимание их внутреннего состояния. Да и на самом деле я не мог бы об этом написать. Но и так у меня было неприятное чувство, будто я спекулирую на известных именах, создавая своей книге рекламу.

* * *

Я вынес с собой из лагеря две странички записей, понятных только мне: на тетрадочной обложке фамилия, или имя, или какая-нибудь оборванная фраза. Когда меня шмонали перед выходом, на эти странички не обратили внимания. Итак, кое-что у меня было записано, но основную информацию я держал в памяти. Интересно: как только это было записано — немного времени прошло, и я уже не помнил деталей, забыл многие имена. Через какой-нибудь год я уже не мог бы восстановить свою книгу по памяти.

Сейчас, когда я вспоминаю эти дни на базе отдыха, мне кажется, что они заняли месяцы. А на самом деле — всего две недели. И к концу этого нашего «отпуска» оказалось, что книга почти закончена: около двухсот двойных тетрадочных страниц, исписанных моим мелким почерком. Последние страницы загодя, за два-три дня, сложились у меня в голове, как будто кто продиктовал мне их. Их совсем не пришлось исправлять.

Через несколько дней в Москве мы втроем — Б.[11], Лариса и я — обсудили несколько вариантов названия. Они одобрили «Мои показания». Так и пошло. Тогда же с помощью Б. были написаны вступительные страницы.

Теперь предстоял завершающий и особенно спешный этап работы — перепечатка рукописи. Только после этого можно было относительно успокоиться: если удастся хорошо спрятать один экземпляр, то, что бы со мной ни случилось, сделанное не пропадет.

Еще когда мы были на турбазе, я отдал Б. сделанную часть рукописи, и он взялся ее перепечатать. И вдруг оказалось, что, напечатав десять-двадцать страниц, он бросил это дело! Я был

страшно зол на него: сам взялся — и так подвел. Б. оправдывался тем, что ему запретила жена[12], она упрекала его: «Ты, видно, хочешь помочь Толе сесть!» Тоже мне благодетельница! А если не перепечатанная еще рукопись попадет не к читателю, а в архивы КГБ — лучше будет? Мою судьбу это во всяком случае не облегчит, все равно посадят, без огласки даже еще скорее.

Я злился на Б., на его жену. Придется заняться перепечаткой самому — а я тогда совсем не умел печатать на машинке. Но уж если сумел кое-как написать, то хоть по буковке, а напечатаю, решил я.

Съездил в Александров, уволился с работы. Все равно ведь скоро посадят, а время мне сейчас нужнее всего.

И снова мне на помощь пришли мои московские друзья. Я сумел убедить их, что им теперь ничего другого не остается, как только «помочь мне сесть» хотя бы с толком. К тому же шел октябрь 1967 года, приближалось пятидесятилетие, и можно было ждать большой амнистии. Хотя «параши» об амнистии распространяются по лагерям перед каждым юбилеем и каждый раз не оправдываются, но всегда в сознании присутствует «а вдруг на этот раз…». Если успеть дать книге ход до объявления амнистии — и если она коснется «особо опасных преступлений», к которым, без сомнения, отнесут «Мои показания», — то, возможно, мое деяние попадет под амнистию. Сам я в это слабо верил. Но, кажется, этим доводом больше всего убедил моих друзей, что надо торопиться.

Вместе обсудили, как быстрее напечатать рукопись. Т.[13], снимавшие отдельную квартиру, предложили работать у них. Достали три машинки, правда, одна из них сразу сломалась, так что четверо, умевшие печатать, работали, сменяя друг друга. Те, кто не умел печатать, диктовали им, раскладывали экземпляры, правили опечатки. Одна пара с машинкой устроилась на кухне, другая в комнате (а в смежной комнатенке спал ребенок хозяев). Треск машинок стоял на всю квартиру, да, наверное, и в соседних было слышно. Квартира была завалена бумагой, копиркой, готовыми страницами. На кухне постоянно кто-нибудь варил кофе или готовил бутерброды, а в комнате на тахте и раскладушке кто-нибудь спал. Работали подряд двое суток, а спали по очереди, не различая дня и ночи.

Кое-кто из пришедших помогать только что услышал о книжке и еще не читал ее. Ю.[14] и хозяин квартиры Т. сразу же уселись за чтение. Т., горячий и склонный к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал по квартире, размахивал руками: «Если бы Галина Борисовна (так он называл госбезопасность, ГБ) знала, что здесь сейчас печатается, дивизией

оцепила бы весь квартал!» По ходу чтения он предлагал поправки и, когда я соглашался без спора, восклицал: «Ну, старик, ты даешь! На все согласен, прямо как Лев Толстой». Ю. тоже предлагал кое-какие исправления. Он не мог оставаться на все время, поэтому прочел лишь несколько глав. Уходя, сказал: «Пожалуй, сильнее атомной бомбы». Я не воспринимал буквально этих данных сгоряча оценок, но думал: значит, моя книга достигает своей цели.

К рассвету третьего дня работа была закончена, и мы с чемоданом, набитым черновиками и готовыми экземплярами, вышли из квартиры. Один экземпляр остался у хозяев — для чтения и сохранения.

Улицы были по-утреннему пусты, никакая дивизия нас не стерегла. Не заезжая домой к Ларисе, мы отправились с чемоданом к К. и Т.[15] Это были не очень близкие нам люди (впоследствии мы с ними крепко сдружились). По дороге позвонили им из автомата: «Можно к вам сейчас приехать» — еще и шести, наверное, не было. «Сейчас? Приезжайте». Сонные хозяева открыли двери, проводили на кухню — в комнате спали дети. Лариса сказала: «Вы не можете на время спрятать подальше вот эту рукопись?» Они и понятия не имели, что за рукопись, но ничего не спросили, просто взяли и сказали: «Хорошо». Я не стал предлагать им познакомиться с книгой: если их случайно поймают с этой рукописью, они смогут сказать, что ничего о ней не знают, просто выполнили мою просьбу, и не соврут при этом. К. и Т. прочли книгу значительно позже.

Один экземпляр надо было поскорее переправить на Запад, а уж потом можно было дать книге ход на родине. Вскоре нашлась такая возможность. И началось томительное ожидание: хотелось дождаться сигнала, что рукопись дошла благополучно. Куда, в какое издательство, я совершенно не знал и не интересовался этим. Никакого сигнала я так и не получил; из-за этого еще два-три раза (сам или через друзей) передавал экземпляры и так и не знаю, который из них (или все?) добрался до издательства. О том, что книга издана на Западе, я узнал больше года спустя, уже в лагере.

Отдав друзьям два экземпляра книги на сохранение и три — для самиздата, один отправив на Запад, один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого-нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, когда сдана рукопись, — а вдруг повезет и я попаду под амнистию!

Когда я решил еще в лагере обязательно предать огласке положение в политлагерях, то ни на какое снисхождение не рассчитывал и никаких амнистий не учитывал. А вот теперь,

когда дело сделано, я начинаю гадать и рассчитывать, надеяться на счастливую звезду в своей судьбе.

Моих московских знакомых я считал людьми сведущими в литературе; я имел от них положительные отзывы о своей книге. Но это был пока очень узкий круг друзей, безусловно, не беспристрастных в суждении. Мне не терпелось услышать мнение, так сказать, со стороны, от людей посторонних, кто бы мог дать объективную оценку. Поначалу, когда я только работал над рукописью, мне и в голову не приходило, что я буду так сильно интересоваться чьими-либо оценками и замечаниями. Я собирался дать общественности факты, открыть ей ту действительность, которую от нее тщательно скрывает правительство. Вот и все. И мне было все равно, на каком уровне я это сделаю и что скажут об этом уровне. На возможные упреки в этом отношении у меня был искренний ответ: я не писатель. Но вот оказывается, что я не чужд авторского тщеславия.

Отзывы, которые доходили до меня, были положительными — может, другие просто не доходили? Читатели сравнивали сталинские лагеря с нынешними (многие — на основании своего прежнего опыта) и находили, что система не переменилась. Многие говорили, что само существование в наши дни политлагерей в такой устоявшейся жестокой форме для них неожиданность и открытие. Говорили также, что книга хорошо написана, что в ней ощущается достоверность показаний свидетеля — к чему я и стремился. Весной 1968 года «Мои показания» прочел знакомый мне по Мордовии и недавно освободившийся Л.[16] Он страшно разгорячился, разволновался: «Как же это получилось, что это написал ты, простой парень? Почему никто из нас, интеллигентов, не взялся?» Книгу он хвалил.

До самого моего ареста в июле 1968 года до меня дошло два критических замечания. Один известный ученый[17] сказал, что, возможно, книга и правдива, но лагерь и тюрьма в ней выглядят слишком страшными. «Люди будут бояться ареста», — сказал он.

И еще мне передали мнение А.И. Солженицына, которому нынешние заключенные, как я о них рассказал, показались чересчур уж смелыми, слишком нарывающимися на карцер и прочие наказания: «Не верится, чтобы так было на самом деле».

Но это было потом. Пока же «Мои показания» прочел известный литератор К.[18] Книга ему очень понравилась.

— Что вы хотите с ней делать дальше?

Я сказал, что передал ее на Запад, а сейчас хочу отдать в какой-нибудь журнал потому-то и потому-то. Тогда он сам договорился с редакцией одного из журналов, что они примут

рукопись, но постараются хранить ее так, чтобы она не попалась на глаза никому из заведомых стукачей.

Прошло не больше недели, и мне передали, что меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать рукопись. Оказывается, за это время ее прочли несколько сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, как мне передали, «мужество автора»; «автор решился пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем тогда он тянет за собой и других? В конце концов, пострадает наш журнал». Конечно, я сразу же забрал рукопись — но никак не мог взять в толк, почему может пострадать журнал, принявший неизвестную рукопись у неизвестного автора и *не* напечатавший ее. Мне потом объяснили, что по каким-то не то писаным, не то неписаным законам редакция обязана крамольные, вроде моей, рукописи передавать в КГБ. Они же, порядочные сотрудники редакции, не хотели быть доносчиками, но и боялись оставить рукопись у себя, они даже не зарегистрировали ее.

К моему сожалению, эти люди в своем страхе за журнал готовы были даже приписать мне какую-то неискреннюю, хитрую тактику — будто я пытался свалить ответственность за распространение книги на редакцию журнала, сделать вид, что это от них книга попала в самиздат. Может, им уже приходилось иметь дело с такими бесчестными авторами. Не знаю, поверили ли они, что ничего подобного у меня и в мыслях не было, я не собирался заваливать таким образом не только порядочных людей, но и подонков. Объясняться было тем труднее, что переговоры велись через третьих лиц. Сам я только пришел за рукописью — и, несмотря на эти подозрения относительно меня, никакой недоброжелательности со стороны сотрудников редакции не почувствовал. «Мы с большим волнением читали ваше повествование», — сказали мне, а на прощание угостили яблоком. (Это был мой второй гонорар за книгу. Первый гонорар, вернее, аванс, я получил в грибном лесу за турбазой: в густой траве, где не видно было никаких человеческих следов, нагнувшись за грибом, я вдруг нашел десятку. Она была мокрая, мятая, как старый потрепанный осенний лист, но все же годилась в дело. Я купил себе на нее кирзовые сапоги.)

С рукописью под мышкой и с яблоком в руке я прямо из этой редакции направился в редакцию «Москвы» — мне сказали, что здесь никто не смутится необходимостью доноса и, значит, я никого не подведу. И никто меня им не рекомендует, я действительно иду сам по себе. С этого дня — со второго ноября — завертится круговерть.

Вот и Арбат. Редакция «Москвы» — по правой стороне от метро.

— Почему экземпляр такой плохой? — недовольно, но не враждебно спрашивает секретарша, записывая в карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им действительно достался самый последний экземпляр, а не тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего, ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства тех, к кому отсюда попадет моя книга.

— Это что, роман, повесть?

А я не знаю. Ну, ладно, пусть будет повесть.

— Художественная или документальная?

— Документальная, документальная.

Секретарша записала все сведения и сунула мою рукопись в стол — не прочитав ни строчки даже на первой странице!

— Приходите за ответом что-нибудь через месяц. Или мы можем прислать ответ по почте.

Где будет рукопись через месяц? И где буду я сам?

* * *

Всех друзей беспокоила моя участь. Вначале мне советовали публиковать книгу на Западе под псевдонимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколько споров было у нас на эту тему! Уговаривали меня коллективно и поодиночке, в доме и специально выводя погулять по ночной Москве. Все предсказывали: этого тебе не простят. Предсказывали все виды расправы: от закрытого суда («а в лагере прикончат») до «случайного» убийства в драке или несчастного случая. Между прочим, это показывает, какова среди населения, в частности среди интеллигенции, репутация КГБ, какую славу создала себе эта организация к 1967 году.

Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету: в книге говорится о конкретных местах, людях, фактах, об определенном времени, по всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это «показания» — под псевдонимом!

После того как я отдал книгу в «Москву» и пришел Указ об амнистии — как и следовало ожидать, бесполезный для политических, — друзья и даже малознакомые люди стали убеждать меня скрыться, так сказать, перейти на нелегальное положение. Помню, Н.[19] часа два водила меня по двору (разговоры такого рода велись не в доме — мы опасались прослушивания квартир) и уговаривала, ни дня не медля, завтра же сесть в поезд и уехать на Северный Кавказ — там у ее мужа есть друзья, они меня спрячут. «Ты что, не понимаешь? Тебя же

просто убьют! Кому нужен твой героизм, подумаешь, герой нашелся!» И.[20] нашел мне надежное убежище и даже, кажется, работу где-то на северо-западе, К.[21] предлагал укромное местечко в Архангельской области. И все единодушно сходились на одном: в Александров я не должен показываться даже за вещами, там просто пристукнут из-за угла в первый же вечер.

Идея капитально скрыться меня не привлекала. Во-первых, если станут искать, то — я знаю, как это бывает, — объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, рано или поздно найдут. А тогда любой «укромный уголок» ничем не лучше моего Александрова. Во-вторых, я написал свидетельские показания и хочу сохранить за собой возможность подтвердить их лично: вот он я, тот самый Анатолий Марченко, — кто говорит, что «Мои показания» — фальшивка? Другое дело, надо постараться протянуть на свободе подольше, пусть книга будет опубликована, получит известность, а власти успеют подумать, а то ведь у них в первую очередь срабатывает хватательный рефлекс.

Итак, я не поехал в Александров, а в Москве попытался устроиться уединенно, что называется, не мельтешить перед глазами. Дело (правда, бездоходное) я для себя нашел: решил без спешки еще раз перепечатать свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Первые экземпляры все разошлись, а мой собственный, оставленный для себя, трагически погиб: я дал его почитать одному знакомому[22], очень хорошему человеку, сделавшему мне много добра, а он во время какого-то переполоха (как выяснилось, напрасного) сжег на всякий случай рукопись.

Вот теперь времени у меня хватало. Друзья снабжали меня книгами. Кроме того, я стал практически готовиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст отдал спрятать: ведь на суд никого не пустят, так чтобы после стало известно, что я там скажу. Еще одна забота — обзавестись среди московских знакомых «родственником», который после ареста имел бы право хлопотать обо мне, договариваться с адвокатом, добиваться свидания. Одна очень славная незамужняя знакомая, Ира Белогородская, вызвалась быть моей «невестой». Мы пошли с ней в загс и подали заявление о браке — таким образом, наши «отношения» были формально зафиксированы.

До десятых чисел декабря я прожил спокойно. То ли меня еще не искали, то ли не могли найти (маловероятно: ведь я не прятался), а может, и следили, но я этого не замечал.

Лариса с Саней[23] уехали в Мордовию на очередное свидание, а я напросился остаться в их квартире присмотреть за собакой.

* * *

Числа 10–15 декабря сижу я в пустой квартире и тюкаю потихоньку на машинке. Мне показалось, что кто-то скребется в окно (работайте я без слухового аппарата, поэтому скорее угадал, а не услышал). Я резко отдернул штору и увидел за окном молодого человека, упитанного, прилизанного, торжественно одетого, как с дипломатического приема. Поодаль за деревом прятался второй, в отличие от первого одетый небрежно и даже неряшливо. По губам его читалось:

— Откройте дверь!

— Будете через окно входить?

— Откройте! Открывайте!

— Хозяев нет дома. Без них я никого не пущу. А тех, кто ломится в окно, тем более.

— Откройте дверь!

— Еще чего! Кто вы такой?

— Говорят вам, откройте!

— Кто вы?

Он медленно, как бы нехотя, лезет во внутренний карман своего черного пиджака. Достал красную книжечку и показывает мне ее лицевой стороной. И я читаю золотом на красном фоне под золотым гербом: Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.

«Ну вот и началось!» — мелькнуло у меня. Я ждал встречи с этой организацией. Вот она.

А гэбэшник все еще держит свои корочки перед стеклом, очевидно, рассчитывая ими воздействовать на меня в нужном направлении. Я чуть приоткрываю окно, подаюсь ближе к нему и говорю быстро:

— А теперь вали отсюда вместе со своими корочками!

И мгновенно захлопываю окно, поворачиваю ручку замка. Гэбэшник запоздало ломанулся в окно рукой. По губам снова читаю:

— Откройте! Откройте, вам говорят!

Я быстро задергиваю штору и начинаю лихорадочно собирать в кучу раскиданные по всей комнате листы бумаги и копирку. Решаю все это жечь в уборной. Бросив кучу бумаги в унитаз, бегу на кухню и мечусь по ней в поисках спичек. Спичек нет — вот так номер!

В дверь беспрерывно звонят. Боюсь, как бы Павел Ильич, сосед, не вышел на звонок. Я знаю, что он у себя в комнате, — но почему-то не выходит открыть.

Забегаю снова в туалет и под беспрерывный трезвон начинаю

рвать бумажные листы на четвертинки. Потом спускаю воду, и она безвозвратно уносит «улики». Снова рву, снова нажимаю на рычаг для спуска воды, но вода не идет: нужно время, пока наполнится бачок! Таким способом мне и за час не управиться. Они не станут ждать, выломают дверь. Либо Павел Ильич все же не выдержит и отопрет им.

В этой спешке пытаюсь соображать: так, меня сейчас возьмут, и об этом никто не узнает. (Павел Ильич, насколько я успел его понять, как и сейчас, будет держаться так, будто его здесь нет и не было.) Притом возьмут все раскиданные по комнате мои бумаги — к тому же у меня была книга Джиласа «Новый класс» и произведения Терца и Аржака. Всю эту «крамолу» ГБ радостно припишет Ларисе, хозяйке квартиры, — на нее уже и так точат зубы. Моя версия: меня оставили присмотреть за собакой в квартире, а чем я собирался там заниматься, об этом хозяевам не говорил. Если бы удалось Ларису убедить, чтоб она поддержала эту версию! Надо предупредить ее, надо с ней увидеться!

Я выскакиваю из уборной, бросив там кипу листов машинописи. Накидываю пальто, всовываю ноги в туфли — зашнуровывать некогда. Хватаю паспорт, а в нем последние мои пятнадцать рубликов, и кидаюсь к окну. Осторожно выглядываю из-за шторы: «интеллигента» нет, зато поодаль маячит второй — неряшливо одетый, с бандитской физиономией. Я еще тогда приметил, как он из-за куста выглядывал. Стоит, черт, на том же месте, караулит окно.

Иду в другую комнату, открываю осторожно окно. Оно выходит в закрытый двор, огороженный высокой, метра в два, железной сеткой. Выглядываю — ни души кругом, как обычно. Выскакиваю через окно и бегу во весь дух вдоль дома к проспекту. Добегаю до забора-сетки и мигом оказываюсь наверху. Впервые на мгновение оглянувшись, я вижу, как за забором в другом конце двора мечется гэбэшник, тот, с бандитской рожей. Поди, не может сообразить, что ж ему теперь делать: увидел меня, да поздно.

Я спрыгнул с забора и кинулся к троллейбусной остановке. Едва успел вскочить в отходящий троллейбус, и за моей спиной закрылась дверь. Я еще раз увидел, как из арки выскакивают оба гэбэшника и нервно мечутся среди прохожих.

Проехав одну остановку, я вышел и забежал в первый же двор. Дворами пробрался к рынку: там полно народу и полно будок с телефонами-автоматами. Мне нужно успеть сообщить хоть кому-нибудь из своих о случившемся. Слава богу, номер сразу ответил. Рассказываю все в двух словах и слышу:

— Приезжай к нам или жди, мы сейчас за тобой приедем!

Благополучно добравшись до этой своей знакомой[24], я стал

спокойнее обдумывать случившееся и решать, как быть дальше.

Теперь, когда знакомые предупреждены и смогут все рассказать Ларисе, может быть, следует вернуться в квартиру и посмотреть, что там происходит.

— Известно, что происходит, — шмон! И тебе там делать нечего, — решительно запротестовали друзья. — Еще чего, самому идти! Пусть поищут, им за это деньги платят.

На квартиру Ларисы поехала Ира Белогородская со своим приятелем[25]. Всем на удивление, они там застали все так, как я оставил: открытую пишущую машинку, разбросанные по комнатам бумаги, клочки и целые машинописные листы, сваленные грудой в уборной, незапертое окно. И посреди этого хаоса, как бы не видя его, невозмутимо расхаживал сосед. Никто посторонний, как видно, в квартире не побывал. Почему? Это одна из загадок поведения ГБ, которую нам не разгадать.

Ира с приятелем привели все в порядок и ушли, унеся с собой улики моей преступной деятельности. Непонятное поведение ГБ озадачило нас еще больше. Зачем они приходили? Кто им был нужен — Лариса или я? Все равно, надо предупредить Ларису раньше, чем она вернется домой.

И я решил поехать вслед за ней, встретить на обратном пути в Потьме или в Явасе. Меня отговаривали. Но я так хотел увидеть ее еще раз перед тем, как меня посадят…

Я не мог никому рационально доказать необходимость своей поездки, и друзья свалили все на мое хохлацкое упрямство: «Марченко не переубедишь». Ну, раз такое дело, они взялись помогать мне.

Прежде всего надо было надеть на меня более приличные штаны: я сбежал через окно в чем был, то есть в старых сатиновых шароварах с большой прорехой на колене. Найти лишние целые брюки у наших знакомых — проблема. Однако нашли, правда, несколько большего размера, чем нужно.

Чтобы я не мельтешил на вокзале, приятельница отправила за билетом своего сына — студента[26]. Он купил мне билет со скидкой и отдал свой студенческий билет. Он знал, что, если меня схватят с его студбилетом, его выгонят с последнего курса института. Я же, к моему стыду, понял это только на другой день, плотно окруженный в вагоне кучей гэбэшников, которые сопровождали меня даже в вагонную уборную. С трудом улизнув от них и запершись в уборной, я рвал студбилет на мельчайшие клочки и постепенно отправлял их через унитаз на волю. В дверь колотили мои «охранители». Благополучно разделавшись с чужим документом, я думал: «А что, если бы мне это не удалось?»

Конечно, вся эта моя поездка в Мордовию была чистой

авантюрой и кончилась бесславно. Меня же в Потьме каждая собака (в форме) знает. Первым встречным оказался кум ll-го лагеря Афанасьев. Он узнал меня издали, несмотря на мой «штатский» вид и маскарадные чаплинские штаны. Ждали меня здесь, что ли? Сейчас же Афанасьев побежал в Управление, и вскоре меня догнали начальник КГБ Дубравлага майор Постников и уполномоченный КГБ ll-го лагпункта капитан Круть. Разговор короткий: «Убирайся с первым же поездом отсюда, здесь тебе делать нечего». Я для виду попрепирался:

— А если не уеду?

— Тогда мы вас, Марченко, посадим на пятнадцать суток за хулиганство, — спокойно объясняет Постников. — А пока будете сидеть, подберем что-нибудь более подходящее. Что-нибудь от трех до семи…

Действительно, раз попался им на глаза, то здесь делать нечего, каждый шаг проследят. Остается ждать Ларису с Саней на Потьме.

Но на Потьме рядом со мной откуда-то вынырнул Афанасьев:

— Бери, Марченко, билет до Москвы и уматывай к е…й матери!

Я огрызнулся:

— Вали от меня! Ты мне здесь никто, и я тебе тоже…

— А ты помни, что тебе Постников обещал!

Гляжу, а он не один — с ним человек шесть. Взяли меня в кольцо плотно, сопроводили к кассе, оттуда (без билета — билетов не было) таким же манером к подошедшему поезду:

— Не вздумай остаться! И без билета доедешь! — И втолкнули с толпой безбилетников в вагон. Может, им надо только, чтоб я уехал? Но когда поезд отошел от Потьмы, я обнаружил, что еду в той же компании. Они сменяли друг друга, одни (например, сам Афанасьев) сходили на станции, другие являлись им на смену, перенимая меня с рук на руки. В Рязани я попытался смыться, выскочив из вагона перед самым отправлением. Не тут-то было: сопровождающие — а их оказалось больше, чем я думал, — выскочили вслед за мной сразу из обоих тамбуров, навалились на меня, скрутили и втолкнули обратно в уже отъезжающий поезд. Я орал на весь перрон:

— Смотрите, это КГБ! Смотрите, как КГБ хватает человека! Я еду из мордовских политлагерей!..

Люди останавливались, толпились, но не вмешивались. Сами же гэбэшники считали нужным оправдываться:

— Никакое не КГБ, обыкновенные пассажиры. Вот водительские права, я шофер…

— Так чего же вы меня хватаете?!

— Успокойтесь, товарищ, вы душевнобольной, мы должны доставить вас в больницу.

Так, значит, арест? Странный арест: еду вроде как сам по себе, но не по своей воле и под охраной.

Вот в этот момент я и уничтожил студбилет, сначала растер его в кашу в кармане, а потом прорвался в уборную и отправил его по частям в унитаз.

Потом я попытался использовать свое необычное для арестанта положение: незаметно на верхней полке написал несколько записок Ларисе и потихоньку перебросил их безусловно посторонним пассажирам. Я видел, как они подобрали эти записки; но, как потом выяснилось, ни один не доставил их по адресу.

Вот таким образом я скоротал время до Москвы.

На перроне около вагона меня встретили несколько человек в штатском и милицейских, и мордовский эскорт передал меня им буквально в руки. Московский конвой подхватил меня под руки прямо со ступенек и поволок по перрону, тихо приговаривая:

— Спокойно, спокойно, не сопротивляться…

А я опять орал изо всех сил про КГБ и про мордовские политлагеря. Тут уж мне досталось и кулаками под бока, и пинками по ногам.

Я хочу объяснить: я орал не со страху и даже не от избытка эмоций, а вполне сознательно. Как-то в компании шла речь о том, что при столкновении с властями интеллигент ведет себя слишком интеллигентно. Его подхватывают с двух сторон под руки и тихо-тихо говорят: «Пройдемте, нам надо побеседовать». Или: «Следуйте за нами спокойно». И он спокойно следует. Даже не спросит, кто, зачем, по какому праву. Тем более не упрется, не подымет крика: ему это неудобно, неловко.

Зато очень удобно КГБ. Схватят человека на улице — никто не обернется, никто ничего не заметит, никакого лишнего шума и беспокойства. Черт их возьми, пусть будет неловко мне, зато и им тоже! Я не интеллигент, как-нибудь переживу эту неловкость.

Пиная ногами, они протащили меня через весь вокзал, поволокли куда-то за угол, а там втащили на второй этаж, втолкнули в какой-то пустой кабинет и усадили на стул, приставив по бокам двух типов в штатском. Здесь я уже, конечно, не орал, поскольку аудитории не было.

Сижу, жду: вот сейчас предъявят мне постановление об аресте и повезут в тюрьму. Вдруг заходит еще какой-то тип в штатском и вежливо говорит мне:

— Анатолий Тихонович, сейчас еще рано, никого из начальства нет. («Когда это для тюрьмы было рано?»)

Побеседовать с вами некому. («Какие беседы? Шмон — и в „воронок"!») Так что сейчас можете быть свободны, а к нам зайдите, пожалуйста, часам к десяти.

Не сон ли это?! Я был настолько ошарашен, что сдуру меня понесло:

— Никуда я не явлюсь ни утром, ни вечером! Схватили, везли-везли неизвестно зачем, беседы какие-то…

Ну, опомнился, конечно, выскочил из кабинета, кинулся на улицу, а все не верю, что отпустили. Что все это значит? Может, просто играют, как кошка с мышкой, вот сейчас снова схватят: «Эй, Марченко, ты куда же?!» Может, какие формальности не довершили, а довершат — догонят и за решетку.

Я кинулся к телефону-автомату: поскорей позвонить кому-нибудь, пока я по ошибке на свободе. Позвонил Н.П.[27], поднял ее с постели. Она обрадовалась:

— Бери такси и поскорее ко мне.

И вот я уже мчусь по пустынной рассветной Москве и все еще не верю, что я на свободе.

Одна из больших удач в моей жизни после Мордовии и до сего дня — это знакомство и дружба с Н.П. Женщина необыкновенной доброты, с высоким понятием о человеческом долге, она постоянно помогает всем, кто нуждается в помощи, попадает в поле ее зрения, даже сама разыскивает таких людей. Что мне особенно нравится — Н.П. делает это не напоказ, незаметно, по потребности своей души. Ее подопечные не только политзаключенные, политссыльные и их семьи — она помогает никому не известным старушкам, молодым людям, своим дальним родственникам. И ее помощь никогда не тяготит, не создает у вас ощущения неполноценности. У Н.П. с ее подопечными отношения на равных, дружеские, не формальные. Ко мне она всегда относилась как к родному, как к младшему брату, и у нее я чувствовал себя не как в убежище, а как в родном доме.

Я рассказал ей о своих приключениях, и мы вместе гадали, что может значить загадочное поведение властей. Когда наступило настоящее, но все еще раннее утро, мы позвонили Ире Белогородской и просили ее встретить Ларису и Саню на вокзале и привезти их к нам. Я опасался, что они могут возвращаться из лагеря с какой-нибудь письменной информацией и, не ожидая плохого, нарвутся на Ленинском проспекте на шмон. Этого еще не хватало!

Н.П. в этот день не надо было идти на работу с утра, и она принялась готовить завтрак на всех. Я от нечего делать вышел на площадку. Инстинкт или предчувствие толкнули меня выглянуть

в окно. Сверху хорошо видна противоположная сторона улицы, проезжая часть со сквером посредине. Прохожие в утренний час спешат к автобусным остановкам. Но вот вижу: какие-то мужчины никуда не спешат, прохаживаются в сквере против подъезда Н.П., переговариваются между собой, поглядывая в сторону подъезда. Тут же стоит машина — тьфу, черт, прямо как в детективном фильме, именно черная «Волга». В ней трое или четверо в штатском, и к ним иногда подходят те, что следят за подъездом, что-то им говорят.

Я сразу понял, что это «мои» топтуны персональные. Проследили от вокзала или засекли по телефону? Будут ждать, пока я выйду, или сами придут в квартиру? Значит, все-таки «кошки-мышки»!

Я вернулся, Н.П. вышла на площадку, посмотрела и подтвердила, что да, ей тоже кажется, что за подъездом следят.

Вскоре приехали Лариса с Саней, а с ними Ира и ее приятель. Ира рассказывает, что на вокзале обнаружили слежку, какая-то машина преследовала их от вокзала, но где-то по пути исчезла.

— Ничего, здесь у нас есть своя! — смеемся мы с Н.П.

После завтрака Н.П. должна ехать по служебным делам. Мы решили не оставаться в квартире без хозяйки, а выйти вместе с ней — там будет видно, что дальше. Но прежде Н.П. позвонила своему брату и просила его приехать, прихватив с собой кинокамеру.

Ю.П.[28] — человек солидный, депутат райсовета, ученый, инвалид войны (ходит на протезе). Его даже пускали в загранкомандировки. Тем не менее он спокойно выслушал сестру (Н.П. хотела взять у него кинокамеру) и сказал, что выйдет вместе с нами. Восьмая в нашем компании — подруга Н.П.

Итак, мы выходим из подъезда. Сейчас же агенты оживились, произвели какие-то перегруппировки, рассеялись кто куда, «Волга» зафырчала мотором. Мы переходим на противоположную сторону к стоянке такси. Идем медленно: Ю.П. сильно хромает. За нами следуют несколько типов, дежуривших у подъезда. Один из них, в меховой шапке, забегает вперед, и вот мы видим, как он выглядывает из витрины булочной. Лариса вошла в стеклянную будку телефона-автомата, он мигом очутился в соседней будке и подглядывает, какой номер она набирает. Не позвонив, она вышла и присоединилась к нам — «меховая шапка» тоже выскочил, бросил трубку, выражение лица у него какое-то паническое, заполошное, как будто он плохо вызубрил урок и боится получить двойку.

Ю.П. бормочет:

— Какая наглость!

Снимает кинокамеру с плеча и на ходу ловит в объектив преследователей. Их внимание обращено на идущих впереди — Ю.П. немного отстал, — и они не сразу замечают съемку, а когда заметили, стараются отвернуть лица, даже закрываются руками.

Когда мы подошли к стоянке, «наша» «Волга» была уже там — успела развернуться. Около нее стоит крытый «газик», которого я до этого не видел. Обе машины — с выдвинутыми антеннами.

Мы решили не разъезжаться в разные стороны, а ехать всем вместе до Белорусского вокзала, куда нужно Н.П. Оттуда, если ничего не случится, поедем каждый по своим делам. Нам пришлось занять два такси: в одном Н.П., ее брат, Саня и я, в другом Лариса, подруга Н.П., Ира с приятелем. Тотчас же агенты попрыгали в свои две машины, и вся колонна двинулась почти разом. Впереди шла их «Волга», потом друг за другом наши такси, замыкающим — «газик». Нам было видно, как в их машинах пассажиры суетятся, вертятся, оборачиваются на нас, переговариваются друг с другом по радио. Иногда их машины менялись местами: первая замедляла ход и пропускала нас, а последняя в это время увеличивала скорость, обходила нас сбоку и занимала место в голове колонны. В эти моменты мы могли видеть этих типов, что называется, нос к носу. Наши таксисты, конечно, обнаружили преследование, и, как это часто бывает с шоферами в подобной ситуации, их охватил азарт. Они пытались обогнать идущую впереди машину, но это не удавалось (впоследствии я видел не раз такую же реакцию шоферов на погоню: не пытаясь узнать, кто гонится, зачем и почему, они прибавляли газу, делали резкие повороты, неожиданно меняли маршрут и т. п.).

Все это время Ю.П. снимал гонки на кинопленку.

Наша машина подъехала к вокзалу и затормозила недалеко от метро. Сразу же остановилась и черная «Волга», агенты высыпали из нее и заняли позиции вокруг нас. Приметная «меховая шапка» топчется перед входом в вокзал, курит, не спуская с нас глаз. Тут как раз прибыла вторая наша машина, а за ней «газик».

Пока мы расплачиваемся с таксистами, Саня подходит вплотную к «меховой шапке».

— Разрешите прикурить?

Тот испуганно шарахается, шипит:

— Иди, иди, иди отсюда!..

И все-таки странно: буквально наступают на пятки, а брать не берут. Зачем же ходят следом?

Лариса, Саня и я быстро, почти бегом идем к метро (остальные наши поотстали), я опускаю пятак, мигом

проскакиваю через контрольный автомат и бегу вниз по эскалатору. Агенты кидаются за мной, не успев опустить пятаки (может, не приготовили?), автоматы срабатывают и перекрывают проход. Тогда агенты, недолго думая, перепрыгивают через преграду и, расталкивая пассажиров, мчатся вниз. За ними, возмущенные такой наглостью, бегут контролеры метро, вслед им свистит милиционер. Я наблюдаю эту картину снизу: стою и жду друзей. Спрашивается, зачем бежал, куда? И сам не знаю. Тот же азарт ухода от погони охватил и меня.

Лариса, Саня и агенты оказываются рядом со мной все одновременно. Лариса и Саня с двух сторон крепко берут меня под руки — чтоб не вырвали. А сзади в самое ухо противный голос бормочет: «Куда бежишь, куда бежишь?»

К нам подбегают запыхавшиеся работники метро, а за ними следом милиционер. Этим до нас нет дела, они тянут нарушителей за рукава, требуют подняться наверх, в комнату милиции. А нарушители твердят какие-то смутные слова, что, мол, без нас они ни шагу, что мы все вместе. Тогда милиционер приглашает и нас:

— Граждане, пройдемте, там разберемся.

Некуда деваться, приходится подчиниться службе порядка. В комнату милиции набивается полно народу: четверо агентов — это «нарушители», нас восемь человек — «свидетелей», несколько служащих метро и милицейских. Мы видим, как «меховая шапка» в стороне что-то шепчет милиционеру, тот шепотом докладывает начальству — офицеру милиции, показывая глазами на нас. Офицер кивает. После этого «меховая шапка» и милиционер куда-то смылись, а офицер начал довольно вялые и бестолковые расспросы, что да как. Видно, что происшествие его уже ничуть не интересует, он просто тянет время, занимая нас «делом». Явно ждет чего-то или кого-то.

Так оно и есть. В комнату входят двое в штатском, в шляпах: один маленький, круглый, другой высокий, сухощавый. Офицер вскакивает, уступает свое место маленькому, и тот располагается по-хозяйски: сразу видно, начальство.

— Что произошло? — спрашивает маленький.

— Вот они, — женщина-контролер показывает на агентов, — нахально проскочили…

— Ладно, ладно, вы идите на свой пост, товарищ старшина в курсе? Он доложит. Вы идите, идите…

Офицер ловко выпроваживает ее из комнаты.

Тогда маленький обращается сразу к нам:

— В связи с происшествием — предъявите документы.

Мы понимаем, что у них какой-то свой план и что спорить

бесполезно; но начинаем базарить: какие-то типы нас преследуют, нарушили порядок в метро, а нас из-за них здесь держат да еще и документы требуют. Пусть они предъявят свои!

— Пожалуйста, можем начать с них. Давайте ваши документы, — протягивает он руку к агентам.

Те поочередно подают ему — не паспорта, а какие-то служебные удостоверения. Он просматривает и зачитывает вслух:

— Мастер завода… Работник склада… слесарь… Ну вот, мы это все запишем.

— Запишите еще, что эти мастера и слесари гонялись за нами по всей Москве.

— Я не гонялся, — говорит «меховая шапка». — Я ехал по делу и случайно влип в эту историю.

— Случайно! В одной машине вот с этими случайно ехали вслед за нами от дома, случайно все вместе побежали за мной в метро, окружили там меня тоже случайно? И через барьер на эскалатор без пятаков тоже прыгали случайно?

— Почему вы так думаете, что он за вами ехал? — останавливает маленький. — Кто вы, собственно?

— А вы кто? Мы вас не знаем, и вы без формы.

— Мы оба, я и вот этот товарищ, — он показывает на своего молчаливого сухопарого напарника, — мы из угрозыска. Моя фамилия Медведев. Мы разыскиваем одного человека, некоего Марченко. Может, он среди вас. Предъявите документы.

У Ю.П. не оказалось никаких документов, только бесплатный проездной билет (с фотокарточкой) на городской транспорт — привилегия депутата райсовета. Медведев бегло просматривает паспорта — кроме моего. Немного дольше вертит в руках депутатский «мандат» Ю.П. Записывает фамилии моих друзей на клочке бумаги — и принимается за изучение моего паспорта.

Тем временем высокий, пошептавшись с одним из агентов, обращается к Ю.П.:

— Товарищ, откройте кинокамеру и засветите пленку.

— Почему? — спрашивает Ю.П.

Мы тоже ввязываемся в спор. Высокий настаивает. Медведев, держа в руке мой паспорт, переговаривается с «меховой шапкой». Потом он вмешивается в разговор о кинокамере:

— Вы делали съемки на улицах Москвы и в метро…

— А это не запрещено. Около секретных объектов мы и близко не были.

— Засветите пленку, просим вас, — опять разговор с нами ведет один Медведев, а высокий отошел в сторону.

— Я не стану этого делать, — упирается Ю.П. — Объясните, в чем дело, почему вам не нравится кинокамера?

— Вы должны засветить…

— Вы меня засняли, — влезает «меховая шапка», — а я, может, не хочу. Это нельзя.

— А выслеживать нас можно? Я этого тоже не хочу.

Медведев пытается перевести все в шутку:

— Поверьте, не каждому вообще приятно сниматься. Вот я, например, не хочу с моей прической красоваться на фотокарточке.

Он театрально снимает шляпу и гладит себя по голому черепу.

— Мы снимали этих людей, потому что они преследуют нас. На пленке доказательства.

Шутки шутками, но появился и угрожающий тон: если вы добровольно не согласитесь, отберем кинокамеру и засветим сами. Услышав это, Ю.П. был взбешен. Тогда остальные, видя, что этот очень сдержанный человек в ярости может наделать глупостей и нажить себе неприятности, стали его успокаивать и уговаривать согласиться. И Ю.П. в конце концов засветил пленку.

Медведев объявляет:

— Все могут быть свободными. Идите по своим делам. А Марченко нам нужен, — он оборачивается ко мне. — Прошу за нами.

Мои друзья в один голос запротестовали:

— Мы без него никуда не пойдем! Одного его с вами не отпустим!

И опять меня крепко держат под руки мои друзья — милиции без применения силы не подступиться. А потасовки они не хотят.

— Что вы так расстраиваетесь за своего Марченко, — опять шутит Медведев, но в тоне его слышно недовольство, — ничего с ним не случится. Поговорим, и все: вы в него так вцепились, будто его у вас собираются вырвать из рук!

— Пусть себе идут все вместе, если им так хочется, — вмешивается высокий.

И теперь чувствуется, что настоящий начальник не Медведев, а он.

Я уговариваю друзей оставить меня и подождать где-нибудь, пока мы «объяснимся». Но они и меня не слушают. Большой компанией мы выходим из метро и, возглавляемые Медведевым и вторым, идем в отделение милиции. Агенты идут сзади на почтительном расстоянии от нас.

В кабинет все же ввели меня одного, остальным пришлось ждать в коридоре.

В кабинете мне указали на стул около стола. Медведев отошел чуть дальше, как бы уступая первую роль высокому, а тот

стал прохаживаться по кабинету. Потом он остановился рядом со мной.

— Марченко, вы постоянно нарушаете паспортные правила. Длительное время проживаете в Москве без прописки.

И он делает паузу, видно, ожидая моей реакции на сказанное. Но я молчу. Тогда он продолжает:

— Если вы в течение трех суток не выедете из Москвы, вас будут судить за нарушение паспортных правил. Предупреждаем: не задерживайтесь в Москве более семидесяти двух часов после нашего разговора.

Мне опять не верится: отпускают, что ли? Так и хотелось спросить: а брать-то когда будете? Я не чувствовал к своему «освободителю» никакой благодарности.

Выдержав паузу, он сказал:

— Нам с вами, Марченко, необходимо поговорить. Вы сами знаете, о чем.

— Говорите, я послушаю.

— Не здесь и не сейчас. Давайте договоримся, когда.

— Ни о чем не собираюсь с вами договариваться…

— Эти трое суток вы будете жить в квартире Богораз? Я вам туда позвоню, и мы условимся.

Напряжение последних дней прорвалось у меня настоящим взрывом:

— Не понимаю, что вам нужно от меня! Ваши молодцы преследуют меня по пятам, ловят, волокут — а вы: «поговорить», «условимся»! Лучше я эти трое суток с друзьями проведу!

— Нам все равно придется встретиться и побеседовать, и вы, Марченко, это отлично понимаете.

С тем он меня и отпустил. Я вышел, меня окружили друзья. До этой минуты они не верили, что меня отпустят, боялись: а вдруг в кабинете есть другой выход и меня тайком увезут в тюрьму.

Это первое мое столкновение лицом к лицу с ГБ так и остается для меня загадочным. Все мои друзья ломали голову над неожиданной, новой тактикой этой организации, в большинстве случаев прямолинейно-сокрушающей, бьющей наотмашь всегда, когда она может ударить. Каждый выдвигал свою версию, но все сходились на одном: верить им нельзя, они задумали что-то хитрое и коварное. Опять мне советовали исчезнуть и во всяком случае не возвращаться в Александров: раз меня так настойчиво выпроваживают туда, значит, именно там меня ждет наибольшая опасность… Мне самому это казалось вполне вероятным: в городке у меня ни одного знакомого, живу на дальней окраине, пробираться домой приходится через железнодорожные пути,

пустыри и трущобы, по зимнему времени в полной темноте — очень удобная обстановка для любой провокации, для того чтобы разыграть несчастный случай, драку с поножовщиной, да что угодно.

И я решил съездить в Александров буквально на несколько часов: показаться хозяйке, успокоить ее, что я не сбежал. А потом скрыться где-нибудь на пару месяцев.

Теперь я спрашиваю себя: если бы у меня и у всех окружающих не было абсолютной уверенности в том, что власти непременно расправятся со мной за книгу, если бы я пусть не вполне поверил, но хоть надеялся, что меня не ждет со дня на день тюрьма, — как бы я вел себя в этом случае? Даже в том состоянии, в каком я был тогда, я строил планы своего образования и самообразования — но они мне казались маниловскими проектами, у меня не хватило самообладания начать их реализовывать. Другое дело, если бы я не думал, что мое время на свободе отмерено. Может, я постарался бы устроиться в том же Александрове или еще где-нибудь вблизи Москвы более основательно, найти более удобное жилье, лучшую работу…

Но стоило ли укореняться в «вольной» жизни, раз она мне заказана?! И я жил, как на вокзале в ожидании поезда.

За прошедшие десять лет я привык к нестабильности своего существования, обзавелся семьей, и теперь, где бы и на какой срок мы ни устраивались, как бы ни было неопределенно наше ближайшее будущее, мы примащиваемся так, будто здесь будем жить до конца дней, как будто и детям, и внукам оставим гнездо: приспосабливаем по себе жилье, сколачиваем мебель, кладем печь, сажаем деревья, покупаем книги, обзаводимся утварью. За десять лет трижды начинали все заново, и через несколько месяцев, даст бог, примемся в четвертый раз — после ссылки. Живем, как жили русские крестьяне под татаро-монгольским игом.

И еще я себя спрашиваю: может быть, все мы сильно преувеличивали грозившую мне опасность? То есть, наверное, так и есть. Ведь за книгу меня так и не посадили, и вообще посадили только через семь месяцев.

Действительность оказалась значительно мягче, чем мы ожидали: и в лагере, и на воле все думали, что того, кто на весь мир расскажет о лагерях, власти сотрут в порошок, к этому я и готовился. А мне дали всего один год. Правда, в лагере добавили еще два; но три года лагеря почти не наказание по нашим меркам, а так, отеческое внушение. У нас до сих пор жива поговорка: «Не ври, что десятку ни за что отсидел, за „ни за что“

пять дают».

Если бы после «Моих показаний» я не проявлял никакой общественной активности — может, меня и вовсе не посадили бы? Ведь непосредственной причиной ареста было мое письмо о Чехословакии в июле 1968 года.

Но могло быть и наоборот: не был бы я в 1968 году, как говорится, на виду, оборвались бы мои связи с москвичами — и безвестного автора разоблачительной книги упекли бы так, что и концов не сыскалось бы.

Что гадать! Из этой истории я для себя сделал одно полезное умозаключение: в нашей стране, где постоянно и закономерно говорится одно, а подразумевается другое, я не должен давать формальных посторонних поводов к уголовному преследованию. Не то чтоб это гарантировало мне свободу, но все же уменьшится фактор риска. К сожалению, выполнить это правило у нас крайне трудно, почти невозможно. Почти каждый наш гражданин является нарушителем чего-нибудь: паспортных правил, закона о тунеядстве, бродяжничестве и попрошайничестве или еще какого-нибудь административного установления, внесенного в Уголовный кодекс. Конечно, никакой милиции не вздумается сажать в тюрьму человека, приехавшего в гости к родителям и не прописавшегося, или старушку из деревни, которая у детей в городе без прописки нянчит внука, или подмосковных жителей, регулярно два выходных в неделю проводящих у друзей в Москве, или тех, кто прописан в одном городке, а работает в другом, соседнем. Но все эти люди — нарушители закона о прописке, и в случае надобности их можно оштрафовать, насильно выселить и даже засадить в лагерь. А обстоятельства у любого человека могут сложиться так, что ему легче умереть, чем не нарушить этот закон.

Но зимой 1967/68 года я и не старался соблюдать дурацкие формальности, считая, что моя судьба и без того решена однозначно.

Сейчас для определенного круга людей подобные детективные истории — слежка, преследование на машинах, дежурство топтунов под окнами и у дверей подъездов и тому подобное — стали деталями быта, не только привычными, но и надоевшими. В конце 1967 года лишь немногие сталкивались с КГБ на допросах, а в будничной жизни недреманное око над собой еще не ощущал, пожалуй, никто. Я имею в виду тех, кто оставался на свободе и над кем не висела угроза ареста в ближайшие дни. Зато все знали о стукачах, топтунах, подслушивании, прослушивании и прочей «технике госбезопасности», и всевидящее око и всеслышащие уши казались

явлением мистическим, потусторонним и потому особенно грозным.

И еще все знали по совсем недавнему историческому опыту, что контакты с человеком, удостоенным внимания КГБ, опасны, как чума. Всего двадцать-тридцать лет назад эта зараза косила многоквартирные дома, дружеские компании, выкашивала до одного разветвленные семьи. И сколько дружб и семей распалось тогда из-за страха оказаться вблизи зачумленного!

Что произошло с советским обществом в середине 1960-х годов? Никто из друзей (почти никто) не откачнулся от семей арестованных Синявского и Даниэля, незнакомые люди, не таясь, предлагали им помощь. Лагерные цензоры не управлялись с работой: письма, книги с авторскими автографами шли от знакомых, малознакомых и совсем чужих людей, бывало, Даниэль получал по шесть-десять писем в день.

После ареста Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Добровольского то же повторилось с их семьями. Не помню, чтобы когда-нибудь, зайдя к Людмиле Ильиничне, матери Гинзбурга, я застал ее одну: всегда у нее было двое-трое знакомых сына или тех, кто пришел высказать матери свое сочувствие и предложить помощь.

(Впрочем, однажды мы с Ларисой пришли к ней, когда она была не то чтобы одна, наоборот, в большой компании, но в относительном одиночестве. Это было летом 1967 года. Мы собрались днем к ней в гости и позвонили, чтобы предупредить о визите. Трубку взяла соседка:

— Людмила Ильинична подойти не может.

— Она что, нездорова?

— Нет, здорова, — как-то неуверенно отвечает соседка.

— Ее дома нет?

— Дома.

— У нее обыск?

— Да.

И трубку повесили.

Мы, не раздумывая, сразу поехали к ней. Да еще купили по дороге огромный арбуз, с ним и явились.

Нас впустили, проверили документы, записали фамилии, обыскали сумку Ларисы.

— Что вы, разве на обыск идут с самиздатом? — смеется она.

— Как вы узнали, что у меня обыск? — удивляется Людмила Ильинична.

— А у нас своя агентура. А весь самиздат и даже атомную бомбу замаскировали в арбузе.

Подлая служба своего требует. Пришлось гэбэшникам

вскрыть и раскроить арбуз — и мы его тут же съели.

Через пару дней все знакомые от старушки знали, что «Лара с Толей нарочно пришли на обыск». Потом нас обвиняли, что мы зародили традицию: как только кто узнает, что у кого-то обыск, так сразу, позвонив знакомым, отправляется туда — поддержать хозяев своим присутствием.)

В рассказанной здесь истории друзья наперерыв предлагали мне помощь и убежище, парень-студент отдал свой студбилет, совершенно не знавшие меня люди — Ю.П., подруга Н.П., приятель Ирины — молодой научный работник, — составили как бы мою охрану, не дали КГБ столкнуться с жертвой один на один, без свидетелей[29].

И снова я поражался московской интеллигенции — ее смелости, ее духовному сопротивлению деятельности властей. Мне, откровенно преследуемому всемогущим КГБ, предлагали жилье, на глазах у агентов и под их фотоаппаратами сопровождали меня, чтобы не оставлять один на один со шпиками и не допустить провокации, а уж от общения со мной не отказался ни один даже из малознакомых людей, хотя я всех предупреждал о слежке. Я не искал общения, дружбы или даже помощи, но и не мог уклониться от этого. Люди, наверное, считали своим долгом поддержать меня. И они считали мужественным мой поступок, не замечая собственной отваги!

Некоторых из таких вот случайно оказавшихся рядом людей мне не пришлось больше видеть, а некоторые, наоборот, втягивались в круг тех, кто активно заявлял о своем «инакомыслии». Другие же под давлением или сами собой отходили от этого круга, но, по-моему, это не значит, что они переменили свои взгляды и стали разделять предписанную идеологию.

С удивлением и досадой прочел я в мемуарах А.И. Солженицына об «открытии», которое он сделал в 1974 году: когда его арестовали и выслали, нашлись люди, которые самоотверженно помогали его жене и детям. Весь тон этого рассказа таков, будто вот как власти просчитались, вот какую неожиданную реакцию получили в ответ на расправу с писателем. А на самом деле этому общественному явлению — открытому сопротивлению и взаимопомощи — к 1974 году было уже лет десять или около того. Мог ли Александр Исаевич не знать этого? Мог ли писатель не заметить реакции общества на процесс Синявского и Даниэля? Не задуматься и об их деле, о его глубокой сути? Имена Синявского и Даниэля появляются в «Теленке» только как временные ориентиры — а ведь их работа, их процесс составили целую эпоху русского общественного

развития.

Не могу поверить, что Солженицын этого не знает и не помнит. Но в своих *литературных* мемуарах он не нашел этому места. Как будто в пустыне жил, где были только Дуб — советская власть, да он сам, одинокий и отважный Теленок.

Уклонившись от встречи с анонимным представителем КГБ, но сопровождаемый до самого Александрова его соглядатаями, я съездил к тете Нюре, уплатил ей еще вперед за два месяца и вернулся в Москву…

{Меж тем подошло время явиться в редакцию «Москвы»[30]. Секретарша при моем первом посещении меня в лицо не запомнила, и мне пришлось назвать себя. Мне не пришлось напоминать о рукописи, я только назвал свою фамилию, и она, отложив свои дела, велела обождать «одну минутку». Сама же быстро скрылась в кабинете с табличкой «Главный редактор». Вышла она очень скоро и попросила меня войти. За столом сидел исполняющий обязанности главного редактора Горбачев. Пригласив присесть, он сказал, что сейчас зайдет еще один «наш товарищ» и тогда поговорим. «Товарищ» не заставил себя долго ждать. Горбачев представил его и назвал фамилию — Андреев. Они стали расспрашивать меня о том, первое ли это мое произведение или я писал и раньше что-нибудь. Потом пошли другие вопросы: «Вы давали кому-нибудь еще кроме нашей редакции читать свою рукопись?» На этот вопрос я ответил, что да, давал. Тогда последовал следующий вопрос: «А кому вы давали?» На это я ответил, что такие вопросы обычно задают на следствии, а я пока что в кабинете у главного редактора. Мне стали вежливо объяснять, что их это интересует, поскольку интересно знать мнение не только свое, но и других. Мне было задано еще несколько вопросов, суть которых сводилась к тому, чтобы я хотя бы сказал им, литераторам-профессионалам я давал читать рукопись или просто своим знакомым. Мой ответ на это был приблизительно таков: среди моих первых читателей были и литераторы-профессионалы. Услышав это, мои собеседники стали допытываться от меня имен этих профессионалов. На это я категорически отказался отвечать. Тогда меня попробовали пристыдить тем, что вот, мол, приходите в редакцию с рукописью, а отвечать на вопросы не желаете. Пришлось сказать прямо, что я не хочу называть имен, потому что прекрасно понимаю характер своего произведения и могу предвидеть последствия. «А откуда вы знаете, какие могут быть последствия?» — «Да хотя бы оттуда, что за мной уже ходят по пятам типы в штатском и преследуют всюду на машинах». При этих моих словах оба мои собеседника переглянулись. «И эти преследования начались именно после

того, как я передал вам свою рукопись». Так оно и было на самом деле. У меня и сейчас сохранилось убеждение, что именно эта редакция информировала КГБ о рукописи.

В конце концов я заявил, что готов говорить по существу, но категорически отказываюсь разговаривать в духе где, кому, сколько и т. д. Когда они выспрашивали у меня, кому я еще давал читать рукопись, то они при этом как профессионалы-следователи уличили меня в том, что им я отдал всего лишь третий или четвертый экземпляр, и при этом спросили: «У вас остались еще экземпляры или вы их все раздали?»

Я их прекрасно понимал и стал наседать с требованием ответить по существу. Горбачев стал говорить, что рукопись они дали на рецензию кому-то, этот кто-то прочитал, и рецензия уже готова. Тогда я спросил имя рецензента. «Простите, — развел руками Горбачев, вежливо улыбаясь, — это наша тайна, и мы не обязаны называть фамилии рецензентов. Таково правило работы редакции». Я так и до сих пор не знаю, правда это или нет.

Тогда я потребовал, чтобы мне вернули рукопись. Тот же Горбачев ответил, что рукопись они передали в Правление Союза писателей. Там с нею ознакомились, и поскольку речь идет о серьезных вещах, то все должно быть тщательно проверено. Поэтому ее передали в Прокуратуру.

После этого посещения я еще несколько раз заходил в редакцию «Москвы» и всякий раз секретарша шарахалась от меня и старалась как можно быстрее избавиться. Всякий раз мне обещали, что примерно через месяц можно будет зайти и мне будет ответ. И так до самой посадки.

* * *

Вскоре после Нового года меня увезли в больницу с резким обострением болезни, вывезенной из лагеря. Мне сейчас неизвестно, выследили ли агенты КГБ меня в больнице или нет. Но когда я выписался и на такси приехал на Ленинский проспект, там собралось очень много моих друзей. Получилась маленькая незапланированная вечеринка. Те, кто последним уходил из квартиры, очень скоро вернулись с сообщением, что возле дома стоит машина, «в которой полно мужиков». Друзья мои были обеспокоены. Они очень переживали за меня. В то время я к этим вещам относился как к чему-то непременному. Я считал, что так оно и должно было быть. Я ждал конца.

Стали мы обсуждать, как же быть? Еще раз вышли проверить эту таинственную машину. Один из друзей оделся в мою одежду,

и компания вышла на улицу. Когда они вернулись, то рассказали нам, не выходившим на улицу, что к ним сразу из машины подошли и пристально рассматривали того, кто был в моей одежде. Кроме сидящих в машине, они обнаружили еще нескольких топтунов, которые дежурили на улице. Сомнений не было. После долгих переговоров мы все же решили выйти. Поскольку мы выходили гурьбой и расходились в разные стороны, то нам, к нашему удивлению, удалось уйти от сторожей. А может, это было ими запланировано. Этого я и сейчас не могу с уверенностью сказать. Так или иначе, мы приехали на квартиру к друзьям, которых не было на вечеринке на Ленинском проспекте. Хозяева предложили мне поселиться у них и переждать некоторое время. Прописан я был в Александрове во Владимирской области, и меня выписали из больницы всего на десять дней. В справке из больницы было написано, что мне необходимо через неделю явиться для госпитализации. Мы договорились, что лучше эти дни мне прожить в Москве, а не ехать в Александров. Мне необходимы были определенные бытовые удобства, которых не могло быть в Александрове. Так я и остался в Москве.

На этой квартире я жил свободно. В отличие от прежнего своего тайного проживания в Москве здесь я открыто выходил из дому на улицу и даже несколько раз делал вылазки в лес на лыжах. Лес был прямо рядом с домом. Только на время визитов гостей мне приходилось или скрываться в другой комнате, или присутствовать, не называя себя. К этому времени моя фамилия среди московской публики уже была довольно известной и вызывала любопытство. Об этом может хорошо сказать такой случай.

Как-то я сидел в довольно многочисленной компании на одной из вечеринок в известной многим московской квартире. Когда вечеринка была в самом разгаре, заявился запоздавший гость — молодой человек, которого в этом доме многие хорошо знали, а я с ним не был еще знаком.

Во время обмена московскими новостями и анекдотами он сказал: «А вы знаете, говорят, что в какой-то редакции лежит рукопись какого-то Марченко, которая страшнее Солженицына? Его сейчас КГБ ловит по всей Москве». Он сидел с чашкой кофе в руке через двух человек от меня. Многие слушавшие его захохотали. А кто-то из моих друзей сказал ему: «Вот, познакомься с этим самым Марченко» — и показал на меня под общий смех. Я тогда ощутил какую-то неловкость и нелепость, и так бывало не раз. Этот молодой человек, полагая, что его разыгрывают, так и не поверил.

И все же меня выследили топтуны из КГБ и на этой квартире.

А может, как я уже и говорил выше, они приехали сюда вместе со мной и все это время просто следили, с кем я общаюсь и кто ко мне приходит. Я склоняюсь к тому, что они и раньше знали о моем пребывании здесь. Потому что взяли они меня именно в тот день и момент, когда я вышел из дому и направился в больницу, как и было мне предписано врачами. Я вышел из подъезда и сразу же увидел, что на асфальтовой дорожке прямо напротив подъезда стоит черная «Волга». За углом соседнего дома стояла еще одна такая же машина, в обеих машинах сидели штампованные рожи. Я сразу почувствовал, что сейчас меня будут брать. Можно было еще вернуться в подъезд и закрыться в комнате. Но меня тогда почему-то обеспокоило то, что если я войду в квартиру, то тем самым выдам КГБ тех, кто мне дал приют. Хотя логичнее было предположить, что они все равно уже это знают, раз выследили и стоят и ждут. Но я уже решил сам не раскрывать им квартиры и поэтому пошел прямо на первую машину. Сам же придумал, что, если уж коснется вопроса, у кого я здесь жил или был, — откажусь отвечать. Меня пропустили мимо машины, но когда я отошел от нее шагов десять, то из нее вышли двое или трое сидевших там мужчин в штатском и пошли следом за мной. Машина задним ходом следовала за нами. Пятилась из-за угла соседнего дома и вторая «Волга». Я убыстрял шаги, но мои преследователи не отставали. Я пересек оживленную улицу с двухсторонним движением, чтобы сесть в первый попавшийся автобус или троллейбус. Две черные «Волги» проехали на красный свет и подъехали к автобусной остановке. Они все же запоздали, и я успел вскочить в подошедший автобус. Но двое из тех, что шли за мной по пятам, тоже успели вскочить в автобус. На следующей остановке к ним присоединились еще несколько человек. Автобус был переполнен. Я старался протиснуться в самую середину. Типы в штатском протискивались ко мне через толпу и окружали меня. Через несколько остановок один из них предложил мне сойти. Я отказался. Еще несколько остановок у меня с ними шла перепалка. Когда же они стали меня силой вытаскивать из автобуса, я стал громко кричать, как тогда на вокзале. Помню, что я кричал о том, что вот, мол, опять КГБ хватает людей, как в 1937 году. Кричал и о том, что меня хватают за то, что написал книгу. С потасовкой компания в штатском вытащила меня кое-как из автобуса и насильно усадила в черную «Волгу». Как сейчас помню какого-то скромно одетого мужчину среднего возраста, который на мои крики в автобусе громко проговорил: «Действительно, как в 1937-м! Дожили!»

Меж тем меня провезли мимо метро «Профсоюзная» и повезли дальше в направлении Ленинского проспекта. Я тогда

еще плохо ориентировался в Москве и потому, когда машина где-то свернула с Ленинского проспекта, перестал ориентироваться и просто следил с любопытством, куда же меня везут. Для себя я уже давно решил, что рано или поздно, а все это должно кончиться арестом. Потому всякий раз, когда меня брали вот таким образом или приглашали «пройти», я уже был готов оттуда больше и не вернуться.

Еще одно меня огорчало в сегодняшней истории. Я вышел из дому с намерением встретиться на одной из квартир с двумя своими друзьями, которые для верности должны были меня проводить в больницу. Они сидели и ждали меня, а я теперь понятия не имел, как им сообщить о себе. Конечно, если я в назначенное время не появлюсь у них, то они поедут меня разыскивать. Но мне хотелось самому как-нибудь сообщить им о себе. Я сидел на заднем сиденье, по бокам у меня сидели двое в штатском. Машина въехала в какой-то двор в центре Москвы и остановилась. Тот, что сидел на переднем сиденье рядом с шофером, вышел из машины и скоро вернулся. Меня повели куда-то не то на второй, не то на третий этаж. Там меня усадили в отдельный кабинет вместе с двумя сторожами из тех, которые везли меня в машине. Так мы просидели, не сказав никто друг другу ни слова, минут тридцать. Потом в кабинет вошел щеголевато одетый молодой человек в черном костюме и белой сорочке при галстуке. Он был предельно вежлив. Попросил меня следовать за ним, а тем двум идти сзади меня. Он провел меня еще на этаж выше. Перед одной из дверей он остановился, открыв ее, пропустил меня в дверь, а тем велел стоять за дверью. В кабинете за столом сидел, перебирая какие-то бумаги, уже знакомый мне Семенов. Мы не успели ничего сказать друг другу, как в кабинет вошел второй так же одетый молодой человек и положил перед Семеновым какие-то бумаги. Чувствовалось, что Семенов не просто себе чиновник, а с весом. Это я определил по тому, как перед ним расшаркивались эти прилизанные молодые люди. Они просто ему прислуживали, как прислуживали когда-то крепостные лакеи своему барину за столом. Нас теперь было в кабинете четверо. Первым заговорил Семенов:

— Я работник госбезопасности Семенов. Никаких вопросов не задавайте, говорить буду я. О вас, Марченко, мы все знаем: и о вашей книге «Мои показания», и о том, что вы передали ее за границу и распространяете по стране. Никто не собирается вас за это преследовать. Поймите это не как нашу слабость, а как нашу гуманность. Езжайте в Александров и живите, работайте, как все советские люди. Вы никому не нужны!..

Что за сон? Госбезопасность проявляет гуманизм? Такого не

бывало и не может быть, я не верю этому. Какая-то своя у них цель, непонятно какая (я и сейчас ломаю над этим голову). Вот и в голосе Семенова слышны стальные нотки:

— Если вы не уедете из Москвы, вас будут судить не за книгу, а за нарушение паспортных правил. Живите как все. Прекратите поливать грязью родину и советский строй. Если вы не перестанете клеветать, вас предупреждают, вы будете высланы из страны.

— ?!?!? В Мордовию, что ли?

— В любую страну за границу. Вы же когда-то сами хотели бежать, — язвит Семенов. Видимо, уже сверх программы, от себя добавляет: — Герой! Да вы просто трус, прячетесь от наших сотрудников, убегаете в окно. Сами все кричат: как при Сталине, как при Сталине. Что от вас осталось бы — при Сталине? Кто с вами стал бы разговаривать?!

— Да, — согласился я, — вы правы, тогда к стенке и не за такое ставили. А что касается моих криков, то пусть ваши молодчики не бегают за мной по пятам и не хватают на улице.

— Живите как все советские люди, и никто вас не будет хватать.

— Как все! — иронизировал я. — А чего они хватают в поезде и не дают сойти там, где мне нужно, а везут в Москву и там сдают в милицию? Я в Рязани хотел сойти, а меня силой привезли в Москву.

— У вас в Рязани никого из родных нет, — прервал он меня. — Я вас еще раз предупреждаю, что если вы будете нарушать паспортные правила, то вас будут судить как уголовника.

— Я могу уже выйти?

Семенов немного задержался с ответом. Потом сказал:

— Можете. Вас проводит вниз наш сотрудник, там у вас отберут подписку о выезде из Москвы.

Один из прилизанных молодых людей проводил меня вниз и сдал дежурному офицеру милиции. Все время разговора с Семеновым никто из них не проронил ни слова, они почтительно стояли сбоку от его стола.

Дежурный стал заполнять на меня очередные анкеты и потребовал документы. У меня с собой ничего не было, кроме направления в больницу и справки из той же больницы, где говорилось, что я должен явиться туда для госпитализации. С меня стали требовать документы.

— А откуда мне знать, что вы именно тот, за кого выдаете себя? — спрашивал дежурный.

— А вам подтвердят те, кто вам меня сдал.

— Я не обязан наводить таких справок. У них с вами свои дела, а у меня свои. Где ваши документы?

Мне не хотелось вести их на квартиру, где были мои документы. Я опасался, что, приехав туда, они устроят обыск. Поэтому я соврал им какой-то адрес, и два милиционера посадили меня в крытую машину и повезли. Дорогой я как бы внезапно вспомнил что-то и сказал им:

— Я вас зря погнал, потому что меня долго продержали и хозяйка уже уехала из дому. Ключа у меня от квартиры нет.

Старший милиционер велел шоферу остановить машину. Мы стали обсуждать, как нам быть. Я предложил:

— Давайте подъедем к какому-нибудь ближайшему телефону-автомату, и я попробую дозвониться до своих друзей и как-нибудь найти ключ или хозяйку квартиры.

Меня подвезли к ближайшей будке с телефоном, и двое милиционеров вышли вместе со мной из машины. Правда, они не стояли вплотную к будке и я мог, прикрыв дверь, свободно поговорить. Мне нужно было звонить Ире Белогородской. Там меня ждали. Моему звонку очень обрадовались и, когда я коротко изложил ситуацию, просили приезжать. Там находилась и хозяйка квартиры, в которой остались мои документы.

— Приезжай сюда, и поедем потом вместе с милицией домой за документами, — посоветовала она.

— А не опасно ли вести милицию к Ирине? Не учинят ли обыск?

Мне было повторено, что я могу смело приезжать вместе с милицией. Я вышел из будки и сказал, что нашел хозяйку и нужно за ней подъехать. Скоро мы были возле Курского вокзала, где тогда жила Ирина. Я называю ее здесь потому, что раз уж я туда приезжал в сопровождении милиции после беседы с сотрудником КГБ, то ничего не добавлю к тому, что им известно об этом.

Два милиционера поднялись вместе со мной в комнату Ирины, и мы сразу же выехали на Ленинский проспект, взяли там документы и поехали обратно в милицию. Ирина и Лариса решили не оставлять меня одного. В милиции долго заполняли анкеты, я пытался доказывать, что мое пребывание в Москве в данное время необходимо, так как я должен быть госпитализирован в больницу. Поэтому я и считаю, что подписку у меня отбирают незаконно.

— Можете на нас жаловаться, это ваше право, — было мне ответом давно знакомое издевательское изречение.

Так у меня была отобрана вторая уже подписка о выезде из Москвы в ближайшие семьдесят два часа.

Эти трое суток я провел среди друзей. Ходили в кино, и я побывал на «Лебедином озере».

Ни одного из своих сторожей из КГБ ни разу за трое суток я так и не увидел. Возможно, что они просто лучше работали и не бросались в глаза.

Но в конце третьих суток они появились. Их было несколько человек, и, как всегда, они вели себя нагло. Ходили за нами по магазинам. Когда мы уже выехали на вокзал, двое из кагэбэшников сели вместе с нами в вагон метро. Одна из моих знакомых, сопровождавшая меня, обратилась при людях к одному из них с вопросом:

— Вы хоть знаете, за что вы преследуете его, — она показала на меня, — вам это объясняли или нет?

Агент смутился, растерялся, что к нему открыто обращаются в вагоне и при народе. Он стал что-то лепетать, примерно так: «Я никого не преследую и еду просто так, как и все советские люди, вы обознались». И т. д.

Но вот нам выходить на Ярославском вокзале. Выходят и они. Когда я подошел к окну кассы пригородного сообщения, то ко мне наклонился тот самый кагэбэшник, с которым общалась моя приятельница в вагоне, и что-то мне проговорил. Я по своей глухоте ничего не расслышал, но приятельница, которая стояла рядом, слышала и пояснила мне. Оказывается, он сказал мне:

— Бери сразу до самого места, до Александрова, так лучше будет.

Стукачи эти проводили меня до самого дома в Александрове.

В Александрове мне пришлось заново устраиваться на работу и вообще как бы начинать новую жизнь. Теперь каждую свою поездку в Москву я встречался прямо на перроне Ярославского вокзала со своими штатными сторожами в штатском. Они меня встречали у электрички и следовали за мной по пятам всюду, куда бы я ни ехал или шел в Москве. Иногда меня это развлекало. Я знал многих из них в лицо и скоро привык к их присутствию. Когда же мне необходимо было от них отделаться, я уходил от них. Мне и сейчас кажется, что это мне удавалось.

Мне неизвестны настоящие мотивы поведения КГБ в отношении меня лично после написания мной книги «Мои показания». Могу только высказать некоторые свои выводы и догадки, перемежая их с известными мне фактами.

Ограничились ли бы органы госбезопасности только слежкой за мной? Или же они решили покарать меня за утечку информации о лагерях для политзаключенных, но не сразу, а выбирая для этого наиболее подходящее время и обстановку?

Сам я не остановился только на распространении своей

книги. Я стал писать письма в различные общественные организации с предложением расследовать положение в лагерях и тюрьмах. Мной были написаны такие письма в советское общество Красного Креста, персонально некоторым писателям и общественным деятелям, деятелям культуры и науки, письмо главному редактору «Литературной газеты» А. Чаковскому в ответ на его позорное письмо о политзаключенных.

Эти письма я отправлял открыто по почте, и они не могли пройти мимо КГБ. Поэтому-то с меня и не спускали глаз все время. Не надеясь на реакцию наших общественных организаций и «гуманистов», я обратился с письмом аналогичного содержания к тогдашнему Генеральному секретарю ООН У Тану.

На все эти письма и заявления я получил только два ответа. Один ответ пришел от Красного Креста. От имени этой организации мне ответил тогдашний исполняющий обязанности Председателя общества Красного Креста Захаров. Ответ этот опубликован в одном из изданий моей книги. Вот примерное его содержание: «Люди, поднявшие руку на завоевания Октября, заслуживают не поблажек и снисхождения, а суровой кары». Нет нужды комментировать этот ответ. Хочу только добавить, что, находясь уже в тюремной камере, где-то в 1968–1969 году я своими ушами слышал по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении исполняющего обязанности Председателя Правления советского общества Красного Креста и Красного Полумесяца Захарова орденом Трудового Красного Знамени. В указе говорилось, что Захаров награжден этой наградой в связи с каким-то своим летием, за большие заслуги перед государством и пр., и пр., что обычно пишут в таких случаях в указах. Думаю, это сообщение тоже не нуждается в комментарии — оно полностью раскрывает и само государство, и тех, кто ему служит.

Второй ответ, полученный мной в Александрове, был от писателя К. Симонова. Вот примерное содержание: т. Марченко, я ознакомился с Вашим письмом о положении в политлагерях и согласен с Вами, что общественность должна принять участие в расследовании того положения, которое там существует. С этой целью я направил ваше письмо в компетентные органы для дальнейшего расследования. По получении ответа я обязательно и безотлагательно информирую вас.

Этот лисий ответ вполне соответствует характеру и духу К. Симонова. Больше я ничего так и не получил от него. Но Симонов все же ответил, хотя бы и так. И это его отличает от остальных, например Гамзатова, которые даже не ответили. К симоновскому ответу хочу добавить еще: когда меня власти все же арестовали в

1968 году, то Лариса обратилась за содействием к Симонову. Он сначала увиливал от встречи с нею под разными предлогами. Под конец Ларисе было сказано женой Симонова, что он отказывается ее принять. Пояснений никаких Ларисе не дали. Это тоже вполне по-симоновски. Когда я узнал по выходе из лагеря об этом ходатайстве Ларисы, то не удивился. Если бы я мог дать совет Ларисе в то время, я бы не советовал ей обращаться к Симонову. Это же более чем на сто процентов «государственный» гражданин — писатель — депутат.

А вот как реагировал на такую же просьбу Ларисы и нескольких моих знакомых известный своим свободомыслием поэт Е. Евтушенко. К нему пришли домой, и пришлось ждать около двух-трех часов, пока он проснется. Когда же он принял посетителей и они попросили его принять участие в судьбе Марченко, то он сказал, что «не читал еще книги „Мои показания"», но обязательно прочитает и тогда что-нибудь предпримет, если сочтет нужным. На этом связь с Евтушенко и оборвалась.

Я вовсе не хочу сказать, что все люди оставались такими же безучастными или отзывчивыми по-захаровски. Были и такие, которые предлагали свои услуги и мне лично, когда я был еще на свободе, и потом, когда меня посадили. Они многим рисковали тогда. И я не имею права еще и сегодня назвать их фамилий и выразить им публично свою благодарность, потому что и сегодня им это не простится властями, «навсегда покончившими с произволом и беззаконием».

Весной 1968 года я был приглашен одной своей приятельницей на ее вечер в ЦДЛ. Там должно было состояться чтение ее нового произведения. Вечер должен был начаться где-то часов в шесть. Я приехал в Москву часа за два-три до начала и, как всегда, встреченный агентами КГБ на платформе Ярославского вокзала, в их сопровождении направился к Ларисе на службу. С ней вместе мы должны были отправиться на вечер. Лариса тогда работала у Никитских ворот на улице Щусева, и мы с ней решили в промежутке между окончанием ее работы и часом, назначенным для чтения в ЦДЛ, поужинать в ближайшей чебуречной на улице Палиашвили. Когда мы уже выходили из чебуречной, к нам подбежали несколько человек в штатском, среди них были и знакомые мне по слежке за мной. Они стали тащить меня в подъехавшую машину, а Ларисе сказали, что она может быть свободной. Лариса вцепилась в меня, и мы стали сопротивляться. Я опять стал кричать, и скоро вокруг нас собралась порядочная толпа. Как раз кончился рабочий день, и на улицах было полно народу. Те, кто нас хватал, были в штатском.

Ни одного из них мы не видели ни в форме милиции, ни КГБ. Ни у кого из них не было даже повязок дружинников. Когда меня отделили от Ларисы и пытались силой втолкнуть в черную «Волгу», к нам подошел какой-то тоже в штатском, но до этого не вмешивавшийся в происходящее. Он подбежал с папкой в руках и стал мне объяснять, чтобы я не сопротивлялся, а подчинился. А из толпы слышались возмущенные голоса: люди стали требовать объяснений. Агенты долго не могли справиться с нами. Они должны были держать Ларису и посадить меня в машину, но у них не получалось. Они пытались призвать на помощь кого-нибудь из толпы, но та им не помогала, а, наоборот, призывала к порядку. Чтобы предотвратить нежелательную реакцию толпы, несколько агентов показали свои удостоверения. Я-то видел только одно удостоверение: это было удостоверение уголовного розыска. Что показывали другие агенты, я не видел, так как в потасовке не до того было. Когда меня вталкивали в машину, то в ответ на мое сопротивление мне поддавали под бока кулаками, а под конец кто-то из агентов здорово врезал под глаз. В ответ на это я ногой прихлопнул дверцу машины, и один из агентов взвыл от боли: я ему здорово смял пальцы руки. Так или иначе, а меня втолкнули в машину, и она рванула. Должен сказать, что две «Волги» агентов, чтобы облегчить работу, въехали прямо в толпу прохожих на тротуар.

В машине меня уже не трогали. Только угрожали, что привлекут к суду за сопротивление властям. Пытались обтереть мне кровь под глазом, но я не давал сделать им и этого. В милиции, куда меня привезли, я потребовал составить акт на причиненные мне побои. В этом мне было отказано. Я потребовал, чтобы меня показали судебно-медицинскому эксперту, но и в этом мне отказали. Мне отвечали, что со мной ничего не сделали незаконного и мои жалобы необоснованны.

— А это? — я показал дежурному офицеру на свой здорово подбитый и все еще в крови глаз. — Это тоже законно и тоже ничего?

— Вас таким взяли, — был мне ответ.

А Лариса меж тем пыталась отыскать мои следы. Как только машина со мною отъехала, к ней подошел шофер такси, который наблюдал это происшествие вместе с остальной толпой любопытных, и предложил:

— Садитесь, попробуем догнать!

Но трудно в таком большом городе с оживленным уличным движением догнать машину, не зная направления ее движения и потеряв ее хотя бы на минуту.

Скоро они с шофером убедились, что попытка их не удалась.

Тогда Лариса поехала на Петровку. Это отдел УВД, куда заявляют и где принимают всякие заявления о происшествиях. Там ее продержали часа полтора и попросили подробно рассказать о случившемся. У Ларисы были основания обратиться именно сюда, а не сразу в КГБ, потому что схватившие меня типы в штатском предъявили по требованию толпы удостоверения работников уголовного розыска, а не сотрудников КГБ. Я уже потом тоже вспомнил одного молодого парня интеллигентного вида, который из толпы любопытных требовал от агентов:

— А кто вы такие? Предъявите документы?! Почему хватаете людей?

На Петровке после заявления Ларисы стали куда-то звонить и выяснять. Под конец ей сказали:

— Это не наши люди взяли Марченко.

— Как не ваши, когда они показывали удостоверения работников угрозыска?

— Наши сотрудники Марченко не брали. Ищите его в другом месте.

Они тоже сделали вывод, что меня взяли агенты не угрозыска, а КГБ. Сами же они в КГБ звонить не стали, а велели наводить справки самостоятельно.

После этого Лариса поехала в приемную КГБ на Кузнецкий Мост. Там, после того как она сделала заявление о происшествии и о том, что она уже была на Петровке, ей заявили:

— Марченко находится в 49-м отделении милиции. С ним уже заканчивают разбираться. Поезжайте домой, его скоро отпустят.

Как мне потом рассказала Лариса, это ей сказали уже в одиннадцать часов вечера.

И действительно, мне к этому времени уже оформили подписку о выезде из Москвы в течение семидесяти двух часов. На мое заявление о том, что я приехал только сегодня и не жить свыше трех суток, а только на вечер в ЦДЛ по приглашению автора, реагировали с насмешкой:

— Распустили вас! Только из лагеря и уже разъезжать по Москве, да еще на какие-то чтения!

Я пробовал говорить им о законе:

— Никому не запрещено даже по вашим законам приезжать в Москву не на жительство, а в гости или просто по делу. Тем более что я только сегодня после обеда приехал, а через каких-то два часа после приезда в Москву меня схватили. В чем состоит мое нарушение?

— Вам нельзя, вам запрещено появляться в Москве. — Это мне сказал сам начальник милиции. Фамилии я его сейчас не

помню, но он был в чине подполковника или полковника.

— Вы сознательно извращаете закон, — возмущался я. — Я специально для этого был на приеме в юридической консультации в приемной МВД. Мне разъяснял мои права по этому вопросу юрист. Мне разъяснили, что все имеют право приезжать в Москву на срок до трех суток, в том числе и я. Кто меня обманывает: вы или юрист?

— Юристы не знают всего, что нужно.

— Здорово! А кто же знает, если не юристы?

— Паспортные правила знает только милиция и больше никто!

— А как можно жить в стране, где граждане не имеют права знать законов, по которым они должны жить, а только милиции известны эти законы?

— Вот мы вам и объясняем, что вам нельзя появляться в Москве. Известен теперь вам этот закон?

— Я бы хотел, чтобы мне дали познакомиться с этим законом. Где он опубликован?

— Закон, закон, — пропел начальник, — разбаловали вас. И чего вы в законы лезете? Сказано ж: не появляйтесь в Москве — вот и не появляйтесь!

Я действительно как-то побывал в приемной МВД на консультации у юриста и получил подробную информацию о положении у нас в стране с паспортным режимом. И не с одним этим юристом я беседовал. Мне разъясняли это положение и знакомые юристы, так сказать, за чашкой кофе. Все мне говорили, что нет закона, запрещающего мне приезжать в Москву на срок до трех суток. Я наводил эти справки специально, чтобы точно знать свои права и возможности. И вот над тобой просто смеются и издеваются. Тебя ставят вне закона. КГБ не желает твоего появления в Москве — и плевать им на закон, плевать, что закон на твоей стороне.

Мне предложили расписаться в том, что у меня отобрана подписка о выезде в течение семидесяти двух часов из Москвы. Я отказался и заявил, что никаких правил паспортного режима своим приездом на вечер в Москву я не нарушил. Считаю приключившееся со мной ЧП произволом властей. Тем более что оформляющие подписку о выезде отказались вписать туда предупреждение мне, что я вообще не имею права появляться в Москве.

— Ваш отказ сделать такую запись в подписке только подтверждает, что нет такого закона, — говорил я начальнику милиции, — или вы сами боитесь огласки такого позора.

Он слушал меня и ухмылялся.

Так я и поехал на Ленинский проспект, имея уже три подписки со дня освобождения.

Я ехал в Москву на этот раз всего на один вечер, так как у меня просто и времени не было задерживаться дольше. Но после подписки я решил остаться еще на день. Мы решили на другой же день с Ларисой зайти в Москве в судебно-медицинскую экспертизу и взять заключение эксперта о причиненных мне побоях. У меня болели еще и бока, помятые в потасовке. А там оказалось, что экспертиза дает такие заключения только по направлению милиции. Вот мы и приехали, как говорится. Милиция избила и отказывается дать эксперта, а эксперт не дает заключения без разрешения милиции. Очень удобно и непробиваемо надежно}.

Кто знает, если бы я выполнил распоряжение Семенова и в дальнейшем «жил как все», — может, меня действительно не тронули бы? Во всяком случае, предсказание Семенова исполнилось, и в августе 1968-го меня судили не за книгу и не за последующие выступления, а «за нарушение паспортных правил».

Судили других — за чтение книги «Мои показания».

* * *

{Лето 1968 года было наполнено событиями в ЧССР[31]. Казалось, что наши проблемы на какое-то время отодвинулись, с ними можно потерпеть. Помню по себе, с каким интересом наша интеллигенция следила за всеми сообщениями о Чехословакии: газеты, радио, рассказы наших туристов, только что вернувшихся оттуда. Все понимали, что события в ЧССР — это уже явление не внутреннее.

Для меня не было загадкой, чем кончится Пражская весна. Рано или поздно, а ветер с Востока своим ледяным дыханием погубит еще не окрепшие побеги. И уже слышны были у нас голоса: «Не потерпим!», «Не допустим!», «Выполним свой интернациональный долг!» И из толпы: «Не затем мы их освобождали!»

А ведь история не раз учила, что старший брат Иван умеет не только освобождать, но душить и топить в крови.

А со стороны СССР в адрес Чехословакии — угрозы, шантаж. Через все средства информации. Этого мало: СССР взывает к «здоровым элементам» и «верным коммунистам» в ЧССР «дать отпор» и «встать на защиту». То есть перешло к прямому подстрекательству на бунт, на неповиновение законным властям в другом суверенном государстве. При этом обещается всесторонняя «братская помощь» не только со стороны СССР, а уже всего соцлагеря.

И это невмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Мы все время кричали и продолжаем кричать, что экономические и торговые отношения должны строиться и развиваться между государствами без навязывания каких-либо политических условий, без вмешательства во внутренние дела друг друга.

А вот на просьбу правительства Дубчека о предоставлении кредита Москва ответила отказом, мотивируя, что «нам небезразлично, на какие цели будут истрачены эти кредиты». Вот вам и невмешательство.

И после всего этого мы выражаем недоумение и недовольство, когда чехи подозрительно встретили маневры войск СССР на территории ЧССР. Особенно был подозрителен вывод этих войск по окончании военных маневров: черепашьим шагом движутся танковые колонны по дорогам Чехословакии, с множеством остановок из-за «неполадок» и «ремонта».

Что это в данных условиях, если не демонстрация своей мощи перед маленькой нацией? Не шантаж? Не поддержка тех элементов, к которым взывали и которых призывали «не допустить!»?

Наблюдая все это, хотелось крикнуть:……(!)

А тут очередная сессия Верховного Совета, на которой мои высокосознательные соотечественники поддержали и одобрили все эти окрики «Не допустим!» и пр.

И я не вытерпел. Ибо промолчать в такой момент — значило присоединиться к насильнику.

Помню, письмо читали друзья на Ленинском проспекте, там же обсуждались и события в ЧССР. Были и такие там, кто сомневался в возможности интервенции СССР и оккупации Чехословакии.

— Но ведь позволить сегодня чехам и словакам быть самостоятельными для СССР означает завтра позволить это всему соцлагерю!

С этим соглашались все. Но в интервенцию не хотелось верить. Именно *не хотелось'.*

И снова меня уговаривали не подписываться под своим письмом. Советовали опубликовать под псевдонимом.

Но мне неприятно это. И всегда противно.}

* * *

В газеты:
«Руде право»
«Литерарни листы» «Праце»
«Юманите»
«Унита»
«Морнинг стар» «Известия»
редакции радио Би-би-си
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

На только что закончившейся сессии Верховного Совета РСФСР все депутаты останавливались на одном вопросе: о событиях в Чехословакии. Депутаты единодушно высказались в поддержку Пленума ЦК КПСС по этому вопросу, одобрили так же единодушно Варшавское письмо пяти компартий в адрес ЦК КПЧ. Они одобрили и поддержали всю политику партии и правительства по этому вопросу. Если эту политику одобряют коммунисты как образец настоящей марксистско-ленинской политики партии в отношениях между братскими компартиями, то это дело коммунистов, дело их партийной совести.

Но здесь, на сессии, эту политику единодушно одобрили депутаты Верховного Совета РСФСР, которые выражают мнение избирателей, то есть населения, подавляющая часть которого (в том числе и я) не коммунисты.

Не успели еще «Известия» с сообщениями о работе сессии дойти до всего населения, как уже в следующих номерах началась кампания в поддержку решений, принятых сессией, со стороны «всего населения», «всех трудящихся». Я имею на этот счет собственное мнение и хочу воспользоваться правом, гарантированным Конституцией, высказать свое мнение и отношение к этому вопросу.

Я внимательно (насколько это возможно в нашей стране) слежу за событиями в Чехословакии и не могу спокойно и равнодушно относиться к той реакции, которую вызывают эти события в нашей печати. На протяжении полугода наши газеты стремятся дезинформировать общественное мнение нашей страны и в то же время дезинформировать мировое общественное мнение об отношении нашего народа к этим событиям. Позицию партийного руководства газеты представляют как позицию всего населения — даже единодушную. Стоило только Брежневу навесить на современное развитие Чехословакии ярлыки «происки империализма», «угроза социализму», «наступление антисоциалистических элементов» и т. п. — и тут же вся пресса, все резолюции дружным хором подхватили эти же выражения, хотя наш народ сегодня, как и полгода назад, ничего по существу не знает о настоящем положении дел в Чехословакии. Письма трудящихся в газеты и резолюции массовых митингов — лишь повторение готовых, данных «сверху» формул, а не выражение самостоятельного мнения, основанного на знании конкретных фактов. И вслед за партийным руководством послушные голоса повторяют: «Решительная борьба за сохранение социалистического строя в Чехословакии — это задача не только чехословацких коммунистов, но и наша общая задача»; «Я поддерживаю выводы Пленума о необходимости борьбы за дело социализма в Чехословакии» и т. п. (Известия. № 168).

Авторы этих писем и заявлений, наверное, даже не задумались над тем, почему решения о борьбе за социализм *в Чехословакии* принимаются Пленумом ЦК КПСС, о том, что наше обращение к «здоровым силам» Чехословакии — это, может быть, обращение к антигосударственным элементам, подстрекательство их к вооруженному выступлению против своего законного правительства, о том, что слова «это наша задача» могут обозначать как минимум политическое давление на суверенную страну, а как максимум — возможность интервенции наших войск

в ЧССР. Наверное, авторы этих писем, одобряя политику ЦК КПСС, не задумались также и о том, что она поразительно напоминает сто раз разоблаченную в нашей печати политику, например, США в отношении Доминиканской Республики.

Основываясь на статьях в чехословацкой прессе, на сообщениях по западному радио и немногочисленных фактах, приводимых в нашей печати, я думаю, что в ЧССР происходит естественное развитие здорового общества: борьба идей и мнений, свобода критики, попытка воплотить на практике декларированные идеалы социализма, до сих пор существовавшие повсюду в виде лозунгов и отдаленных перспектив. Поэтому Варшавское письмо пяти компартий и решения Пленума ЦК КПСС, единодушно поддержанные нашей печатью, вызвали у меня возмущение и стыд. Столько у нас говорилось о том, что каждый народ должен сам решать свою судьбу, — так почему же судьбу чехов и словаков решают не в Праге, а в Варшаве или Москве? Почему Брежнев или Ульбрихт думают, что они лучше могут оценить обстановку в Чехословакии, чем Дубчек, чем сами чехи и словаки?

Я не верю ни в мифические заговоры империализма против ЧССР, ни в «наступление сил внутренней реакции». Я думаю, что в эти мифы не верят и сами сочинители их. Обвинительные формулировки придуманы для приличия и для затуманивания мозгов своих граждан.

Беспокоит ли на самом деле наших руководителей то, что происходит в ЧССР? По-моему, не просто беспокоит, но и пугает — но не потому, что это угроза социалистическому развитию или безопасности стран Варшавского содружества, а потому, что события в ЧССР могут подорвать авторитет руководителей этих стран и дискредитировать сами принципы и методы руководства, господствующие сейчас в социалистическом лагере.

Вот уж, кажется, что может быть ужаснее и безобразнее китайского коммунизма? Наши газеты ежедневно разоблачают китайский кровавый террор, развал хозяйства, теоретические ошибки КПК и т. п. Китайские руководители не остаются в долгу. Не может быть и речи о содружестве недавних братьев — великих народов. Однако ни на каких совещаниях, ни на каких пленумах ЦК КПСС не принимались решения о необходимости защитить дело социализма в Китае, не говорилось об ответственности братских партий перед собственными народами и народами Китая, уже несколько лет утопающими в крови. Действительно, компартия Китая не выпустила бразды правления из своих рук — так что же, от этого результаты ее правления лучше, чем перспективы свободного, демократического развития ЧССР?

Открытая враждебность КПК к нашей стране лучше, чем дружеские отношения нынешнего чехословацкого правительства? Но наши руководители не попрекают китайское руководство тем, что мы освободили их от японского империализма, и не претендуют на этом основании на роль защитников китайского народа от внутренней реакции. Мы не взываем к «здоровым силам» и к «верным коммунистам» в Китае и не обещаем им, «… что коммунисты, все советские люди, выполняя свой интернациональный долг, окажут им всемерную помощь и поддержку!» (Подгорный Н.В. Выступление на третьей сессии Верховного Совета РСФСР 19 июля 1968 г. // Известия. № 168). Хотя, вероятно, китайские братья, уничтожаемые физически, нуждаются в этой помощи куда больше, чем «верные коммунисты» ЧССР, где они не только в безопасности и на свободе, но пользуются той же свободой слова, как и все граждане. Наши руководители занимают в отношении Китая позицию сторонних наблюдателей — и секретарь парткома В. Прокопенко, бригадир Ахмадеев, кандидат наук Антосенков (Известия. № 168) единодушно не проявляют инициативы во «всемерной» помощи китайскому народу. Неужели кровавый террор, развязанный ЦК КПК против собственного народа, меньше взывает к коллективной ответственности, чем принципиально мирное развитие демократии в Чехословакии? Как объяснить такую противоречивую реакцию?

Во-первых, по-моему, дело в том, что с Китаем мы не решаемся разговаривать с позиции силы, а с Чехословакией — по привычке — позволяем себе начальственные окрики.

Не менее важно то, что внутренняя политика Китая, несмотря на его враждебность по отношению к КПСС, не подрывает, а скорее укрепляет позиции ЦК КПСС внутри своей страны: «В Китае происходят публичные казни — а у нас нет!» — ликует наша пресса (см. «Ответ читателю» Чаковского в «Литературной газете»). По сравнению с режимом в Китае наш нынешний режим — не террор, а всего лишь зажим, почти либеральный, почти как в XIX веке. А вот если Чехословакия действительно сумеет организовать у себя демократический социализм — тогда, пожалуй, не будет оправданий отсутствию демократических свобод в нашей стране, тогда, чего доброго, и наши рабочие, крестьяне и интеллигенция захотят свободы слова на практике, а не на бумаге.

Вот про это по-настоящему и говорится в Варшавском письме «не можем допустить», а вовсе не про мифическую угрозу социализму в Чехословакии.

Наши руководители забеспокоились о «верных коммунистах»,

которых будто бы оклеветали, подвергли «моральному террору» чехословацкие антисоциалисты, захватившие в свои руки средства пропаганды (можно подумать, что в Праге произошел вооруженный захват почты, телеграфа и радио). Почему-то забывают при этом отметить, что эти коммунисты сами имеют возможность публично выступить с опровержениями клеветы. Правда, оправдания, например д-ра Урвалека, бывшего Председателя Верховного суда ЧССР, звучат неубедительно — но при чем тут антисоциалисты? Он сказал все, что хотел и что мог сказать. Понятно, почему наши руководители спешат заступиться за таких, как Урвалек или Новотный: прецедент личной ответственности партийных и государственных деятелей перед народом опасен и заразителен. А вдруг и нашим придется отчитываться в деяниях, которые стыдливо называют «ошибками», «перегибами» или еще мягче и туманнее — «пережитыми трудностями героического прошлого» (когда речь идет о миллионах несправедливо осужденных и убитых, о пытках в застенках КГБ, об объявлении врагами целых народов, о развале сельского хозяйства страны и о тому подобных *мелочах).*

Сегодня чехи и словаки спрашивают с Урвалека и с Новотного — а завтра, пожалуй, наш многонациональный народ задаст вопрос самому Брежневу: «А чем вы занимались до… 1953 года?» — и до выяснения этого временно отстранит его от занимаемого поста…

В Варшавском письме к КПЧ пять партий ультимативно предлагают использовать для борьбы с «антисоциалистическими» силами все средства, имеющиеся в арсенале социалистических государств. Жаль только, что братские партии не уточнили, не конкретизировали, что это за средства: Колыма? Норильск? Хунвейбины? «Открытые» суды? Политические концлагеря и тюрьмы? Или всего-навсего обыкновенная цензура, внесудебные расправы вроде увольнений со службы?

И при создавшемся положении мы еще обижаемся, что в Чехословакии потребовали вывода советских войск со своей территории! Да ведь после наших заявлений и резолюций наши воинские части на территории ЧССР — это уже не войска союзного государства, а угроза суверенитету страны.

В этом своем письме я хочу не только высказать свое собственное отношение к событиям, отличающееся от «единодушной» поддержки решений Пленума ЦК КПСС. Газетная кампания последней недели вызывает у меня опасения — не является ли она подготовкой к интервенции под любым предлогом, который подвернется или будет создан искусственно.

Авторам писем, участникам митингов и собраний в

поддержку политики ЦК КПСС мне хотелось бы напомнить, что все так называемые ошибки и перегибы в истории нашей страны происходили под бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, под крики единодушного одобрения наших высокосознательных граждан. Послушание, как выяснилось, не самая ценная гражданская добродетель.

И еще мне хотелось бы напомнить о более древних исторических событиях: как доблестная русская армия, освободив народы Европы от Наполеона, столь же доблестно утопила в крови польское восстание. Тогда русский герой войны 1812 года Давыдов больше гордился своими подвигами в расправе над польскими патриотами, чем своими подвигами в Отечественной войне.

Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает в позорной роли жандарма Европы.

Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, что он действительно единодушно поддерживает политику ЦК КПСС и правительства по отношению к Чехословакии. Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо — не единственное, только такие письма не публикуются у нас. Единодушие наших граждан и в этом случае фикция, создаваемая искусственно, путем нарушения той самой свободы слова, которая осуществляется в ЧССР.

Но если бы я оказался даже один с этим своим мнением, я и тогда не отказался бы от него. Потому что мне его подсказала моя совесть. А совесть, по-моему, надежнее, чем постоянно испытывающая перегибы линия ЦК и чем решения различных сессий, принимаемые в соответствии с колебаниями этой генеральной линии.

Прошу вас принять мое уважение и сочувствие процессу демократизации в вашей стране.

СССР, г. Александров Владимирской обл., ул. Новинская, д. 27. Марченко А.Т.

22 июля 1968 года[32]

* * *

{В следующую субботу мы решили отдохнуть под Москвой на прудах[33]. Я уже предчувствовал, что арест неотвратим. И как только письмо о ЧССР «дойдет» до КГБ, меня возьмут.

И в эту свою последнюю вольную субботу агенты ГБ всюду были при мне.

В понедельник я, как обычно, ехал на работу к 8.00. В метро у

киоска купил газету и просматривал ее. Своих топтунов и их машину я видел, когда выходил из дому и садился в автобус, чтоб ехать до метро. Но к этому я уже так привык, как привык видеть будку телефона-автомата у арки своего дома. Вот если б она вдруг исчезла в одно утро, тогда я удивился б. Так и стукачи для меня к тому времени стали неотъемлемой частью московских улиц или пейзажа.

Я еще продолжал просматривать газеты и на эскалаторе, поднимаясь на конечной «Новослободской». И вдруг я нечаянно увидел рожу знакомого топтуна в шляпе. Он ехал впереди меня двумя ступеньками выше. То ли я что-то прочел на его физиономии, то ли интуиция мне подсказала, но я почувствовал: «Все, сейчас что-то будет!»

Вот я оторвался от эскалатора и влился в толпу, устремившуюся в час пик к выходу. Вижу, как меня со всех сторон окружают старые и новые топтуны. Я в кольце. Меня открыто держат за руки. Вместе с толпой мы сцепившимся клубком вываливаемся на улицу прямо к распахнутой дверце черной «Волги». Операцией командует молодой откормыш. Он очень прилизан, и мне он показался тем самым неудачливым гэбэшником, от которого я ушел с квартиры на Ленинском проспекте через окно зимой 1967 года.

В машине все молчат. В отделении милиции, куда меня привезли, все так же держа меня за руки, свора сдала меня дежурному офицеру.

Пока они о чем-то между собой переговаривались, я по привычке арестанта рыскал глазами по бумажкам, разложенным на столе. Вот напоролся на одной из них на свою фамилию. Тороплюсь прочесть остальное. Оказывается, что это «запрос» начальника этого отделения милиции в центральный архив подписок. В этом запросе начальник просил прислать ему все подписки о выезде из Москвы, отобранные милицией у меня. Значит, прикидываю, обвинять будут в нарушении паспортных правил. Во всяком случае, с этого начнут.

Впоследствии, знакомясь с материалами дела в Бутырках, я ахнул, когда нашел там один документ. Это был рапорт какого-то милиционера. Он докладывал, что в метро заметил мужчину, то есть меня, который подозрительно вел себя. Это толчковый документ — с него и начался формальный арест. Милиционер сообщил кому следует, и меня взяли как подозрительного. А брали-то меня мои топтуны, которые меня пасли уже более полугода. Коробит от этой неуклюжести КГБ. Ведь могли б и почище оформить «дело». Или приспичило и некогда было? Но не со мной одним так поступили. Ведь ни одного процесса за

последние годы КГБ не провел, чтоб из него не перло его рыло, без позора на весь мир. И дело не в том вовсе, что некогда.

Дело проще: кого стесняться? кого бояться? А чем грубее, показательнее и откровеннее, думают власти, тем воспитательнее и неотвратимее.

Знакомясь с делом, я видел, как милиционер получил указание написать рапорт (возможно, меня он даже и не видел никогда). По его рапорту меня арестовали в метро и везут «подозрительного» в милицию выяснять личность. Я еще на пути в милицию, а на мое имя там уже заготовлен запрос в архив подписок (или со вчерашнего дня уже готов был к сегодняшнему утру?).

Меня обыскивают. При мне в кармане несколько конвертов, готовых к отправке. Думал их отправить из отделения связи возле работы. Это оставшиеся экземпляры моего письма о событиях в Чехословакии. У меня их забирают и сразу же куда-то уносят.

После обыска мне предлагают расписаться в протоколе обыска. Читаю этот документ. Не нахожу в перечне изъятых вещей этих экземпляров и начинаю требовать, чтоб их тоже внесли в список. Дежурный офицер нервничает, о чем-то переговаривается с типом в штатском и потом ко мне:

— Так будете расписываться в протоколе или нет?

— В протоколе не все изъятые предметы перечислены.

— Будете расписываться?

— Если впишете изъятые…

— Понятых!

Он, не дослушивая меня, открывает дверь в коридор, и оттуда входят понятые.

Понятые расписываются и уходят. Я оформлен в протоколе как отказавшийся от подписи.

И вот я снова в камере. Один. Она довольно чистая, и мне надзиратель дал даже на подстилку «Правду».

Вот только холодно было. И как же я рад был, когда на следующий день мне друзья передали теплый свитер. Пробыл я в камере около двух суток. За это время меня вызывали прокурор и следователь-милиционер Ганынин.

Я отказался разговаривать со следователем о предъявленном мне обвинении по ст. 198 (нарушение паспортных правил). Прокурор же уговаривал дать показания. С прокурором я тоже на эту тему разговаривать отказался, заявив, что дело фабрикует КГБ. <…>[34]

— Но брали-то меня гэбэшные топтуны!

— Мне ничего неизвестно, я ничего не знаю! — и все в этом роде.

А вот как не посмеяться над оптимистами, пишущими статейки о сокращении преступности в СССР?

Сломали Таганку! То-то восторгов было — уменьшается потребность в тюрьмах, стала меньше преступность. Даже Высоцкий отозвался на это событие песней. А вот сюда бы его, в пятьдесят любую камеру, на любой этаж Бутырок семидесятым для ровного счета, хотя мест в камере на восемнадцать.

И по обычаю, почти забытому, начинать обживаться в камере с места у параши, то есть от унитаза. И ждать, как великого праздника, чтоб кого-нибудь сегодня же дернули из камеры, чтоб живая очередь лежачих тел чуть двинулась по направлению освободившегося места. От унитаза к стенке, потом под нары (хорошо еще, если щит достанется!), потом в проход между нарами. А вот вы уже и на законном месте — на первом ярусе железных кроватей сплошным помостом вдоль стен.

А что Таганку сломали, так наверстаем Бутырками. Ведь МВД не изолированная часть государственной машины! И эта часть тоже пользуется плодами НТР. В век космических скоростей и ядерной реакции и темпы должны быть соответственными. Ускорение, ускорение во всем!

Если раньше, лет пятнадцать-двадцать назад, арестант в тех же Бутырках или на Таганке отсиживался с момента ареста и до отправки на пересылку месяцев десять, а то и год, то сегодня он задержится на два-три месяца. За редким исключением, конечно. Так и раньше пересиживали взятый мною здесь срок в десять месяцев или год. <…>

[Это каса]ется, во-первых, плохой технической оснащенности МВД лет двадцать назад. Ну, например: задержали по подозрению кого-то. Чтоб выяснить личность, нужно собрать сведения, навести справки: где родился, где крестился, судимый ранее или нет, а если да, то сколько раз, где, когда и по скольку лет. А эти справки нужны не только для выяснения подозрительных, [но и] о любом, взятом под стражу. И собирали эти справки неделями. Арестант же все это время сидит еще и не в тюрьме даже, а в КПЗ при РОВД.

Сейчас же такие справки любой РОВД может собрать в считанные часы.

Да и юристов у нас тогда тоже было меньше, и следователей. Они и сейчас перегруженные до невозможности, особенно следователи, а тогда и тем более. Висело на каждом следователе человек по 10–15 ежедневно. И на каждого время нужно. Вот и тянулось следствие по всем этим причинам по полгода и более.

Вот и примерные цифры: 10 месяцев или год раньше и 2–3 месяца сейчас. Пропускная способность тюрем таким образом

выросла примерно за три пятилетки в пять раз.

И если, к примеру, Бутырки и Таганка в Москве вместе пропускали через свои ворота в год 100 тысяч арестантов, то теперь одни Бутырки пропускают за тот же год 250 тысяч. Можно закрыть Таганку стало?

А это опять же как смотреть на это дело. Не знаю, как поступил бы тут гнилой капитализм, который только и знает, что изыскивает способы поиздеваться над человеком. Вряд ли бы закрыли одну из тюрем, если они обе переполнены всегда.

Если опросить бывших арестантов Москвы по годам, так чтоб получить картину обитаемости тюрем столицы за каждый год советской власти, то не найдется такого и одного года, когда б тюрьмы [не] были переполнены в два раза.

Если общая камера рассчитана на 16 человек, то есть в ней 8 2-ярусных коек, то никогда в ней меньше 40 человек не бывает. Статистика в секрете. И от мирового империализма, и от собственного народа.

Каждый раз, когда я попадаю в тюрьму, я пытаюсь получить о ней картину поточнее. Всегда можно найти людей, которые сидели в той или иной тюрьме еще мальчишками, то есть лет пятнадцать-двадцать назад. Ответ от них всегда один: тут всегда как кильки в бочке.

И разумнее было б оставить Таганку и хоть немного приблизить к норме их обитаемость.

Но вооружась вечно живым и единственно верным учением о переустройстве мира, в СССР пошли другим путем. И убили сразу не двух, нет, зачем мелочиться, а сразу трех зайцев: во-первых, ликвидировав Таганку, нажили пропагандистский капитал, во-вторых, экономия средств на содержание арестантов — ликвидация целого комплекса, там же и потребление электроэнергии, и радиосеть, и канализация, водопровод и все, все, что положено иметь современной тюрьме столицы, и, в-третьих, арестантам остается теснота со всеми старыми неудобствами. У нас и на воле с жильем проблема, так неужто арестантов лишать этой же проблемы. Да и не будет это уже нашей отечественной тюрьмой, если новичок не будет обживаться в камере со спального места на полу у унитаза.

А есть еще одна сторона этого вопроса о сокращении преступности в СССР.

В военные и послевоенные годы, говорят, у нас было в лагерях несколько десятков миллионов. Сейчас, конечно, меньше. Но это не означает, что преступность с тех пор сократилась. А если даже и сократилась, то настолько ли. <…>

Преступления и правонарушения совершаются, например,

сейчас те же, за что в 1940-е годы человек по суду получал лагерь и клеймо «судимый», но сейчас не за каждое из них он в лагере и не всегда «судимый».

За колоски сейчас могут и не осудить, если и соберешь. За прогул? Да их полно, даже больше, чем когда-либо. А мелкое хищение? Например, работники сахарного завода носят домой сахар под одеждой. Раньше — лагерь. А сейчас? Обычное явление — стыдят на собрании и реже — штраф.

Да и сроки не те. Раньше было до двадцати пяти лет. И если ежегодно идет пополнение болынесрочников, то, конечно, их за десять лет накопится десятки миллионов. Но если давать по три и семь лет, то за те же десять лет пройдет через лагерь людей в два и более раза больше. То есть сумма отсиженных в лагере лет будет меньше и людей находится одновременно в лагерях меньше, но пройдет их через суд и лагерь все равно больше.

А как выглядит в этом плане практика ежегодных мартовских «химических» амнистий?

Преступников и правонарушителей «амнистируют» после приговора к лагерю с обязательной (под конвоем!) отправкой на стройки народного хозяйства (не обязательно на химические) или на уже действующие (например, на Волгоградский тракторный завод!). Если он честно отработает свой срок, то ему судимость не засчитывается.

Интересно, как наша статистика поступит с этой категорией полузэков?

Опять же убивают нескольких зайцев: эти люди не войдут в статистику как зэки; их можно показать и иностранцам, вернее, не их самих, а те стройки, на которых они — основная рабочая сила; и выгоды экономические — вместо трудармий Троцкого и трудлагерей Сталина и его преемников.

Вот где работки-то для специалистов: экономистов, социологов, юристов, ученых-обществоведов. Но им, как и всему нашему обществу, не до этих мелочей. Им коммунизм надо строить. Быстро, дешево и удобно. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.}

* * *

21 августа меня вызывают из камеры на суд. Сначала ведут в тюремную парикмахерскую: перед судом и присутствующими в зале ты должен предстать в приличном виде.

Попробовал я побриться лезвием, которое мне дал парикмахер-зэк, но от первого же прикосновения к щетине чуть

не взвыл от боли. Этим лезвием, поди, уже не один десяток побрили таких, как я. Попросил я другое лезвие, но на меня так посмотрели, будто я попросил гранату.

— Ведите меня обратно, — сказал я надзирателю.

И тот с равнодушным видом препроводил меня обратно в бокс. Скоро ко мне втиснули еще одного, молоденького грузина. Он был здорово исполосован бритьем и то и дело слюнявил носовой платок, обтирая с лица кровь на многочисленных порезах.

Мой сосед оказался очень разговорчивым человеком. Он с одинаковой скоростью и интересом расспрашивал меня и рассказывал о себе. Я ему рассказал коротко только то, что говорилось в обвинительном заключении. До него никак не могло дойти, за что же меня собираются судить, если я был прописан и даже работал.

— Х… какая-то, — наконец проговорил он, сомневаясь в искренности моего рассказа, — если ты только не загибаешь. Как тебя можно судить? С суда домой пойдешь.

Этот парень подробно рассказал мне свое «дело». Он полгода как освободился из лагеря. Имел не то два, не то три года за карманную кражу и освободился по половине срока. После освобождения поехал в Грузию к матери. Там он и прописываться не стал, а только погостил пару недель и уехал в Москву. Здесь он жил у какой-то женщины, даже и не пытаясь прописаться и устроиться на работу. Жил на заработок по своей профессии: где выгрузит чужой карман, а где залезет в дамскую сумочку. Однажды его поймали с поличным: в магазине он залез к женщине в сумочку, дружинники и милиционер повели его в милицию, он по дороге сбежал. Но дело на него завели и описали наружность с особыми приметами. Потом он попался вторично на карманной краже, и на этот раз ему не удалось убежать. И вот сейчас он тоже едет на суд. В обвинительном заключении ему вменялись в вину две кражи. То же, что он жил полгода вообще без всякой прописки, никогда нигде не работал, ему в вину не вменялось, об этом только упоминалось в характеристике.

Итак, мне он предсказывал освобождение из зала суда.

Статья, по которой его будут судить, предусматривает до трех лет лишения свободы, и он говорил мечтательно:

— Если дадут год, целый день буду на руках по камере ходить!

В суде мне дали короткое, в несколько минут, свидание с моим адвокатом Диной Исааковной Каминской, а потом повели в зал. В коридоре полно народу, я узнаю друзей и знакомых: Павел Литвинов, Боря Шрагин, Ира, Лариса, Н.П., К.Б., К.И.[35]…

Шныряют меж ними и те, кто пришел сюда по службе: топтуны и агенты КГБ. Они пришли не просто посмотреть на меня или послушать суд. Они пришли хвостами за многими из моих друзей.

Хотя меня вели очень быстро, я успел заметить необычное возбуждение моих знакомых. Несколько человек демонстративно держали в руках газеты. Но я не понял этого знака, я сам был напряжен перед предстоящим процессом.

Необычным было и то, что всю публику — «своих» вперемежку с «чужими» — впустили в зал суда. Судебное заседание по такому пустяковому делу, как мое «нарушение паспортных правил», тянулось с десяти утра часов до шести вечера. Мне казалось, что его затягивают нарочно, — вероятно, так оно и было, может, хотели задержать самых активных людей на весь этот день, 21 августа 1968 года.

Я не знал, в чем дело, но чувствовал в зале наэлектризованность.

Спектакль начался действительно театрально, как на сцене: из зала летит и падает почти мне в руки маленький букет цветов. Оба милиционера-конвоира кидаются на букет, стараются вырвать его, я не отдаю — жалко. Судья Романов призывает публику к порядку и меня тоже, требует, чтобы я отдал цветы, но я крепко сжимаю их и не могу выпустить. Только когда я увидел рассерженное лицо Дины Исааковны и понял, что она мной недовольна, я разжал руку. Милиционер схватил букет, бросил его на пол и затоптал.

Я заранее решил на суде держаться в рамках предъявленного обвинения: у меня было такое ощущение, что если я заговорю о настоящих причинах моего ареста, то это будет выглядеть как спекуляция на моем авторстве и известности. Одним словом, мне было неприятно заговаривать самому на эту тему. Дина Исааковна одобрила эту мою позицию. Ведь юрист не может выступать на «посторонние» темы, хотя бы сто раз знал, что они-то и есть настоящая суть дела. Это было бы непрофессионально, «суд это не интересует». И вот получилось, что я принял участие в чужой игре.

Судья Романов задает мне дурацкие вопросы о моих родителях, об их доходах и т. п. Какое это имеет значение?! Это всего лишь попытка создать видимость объективного разбирательства, маскировка. Я в ответ что-то мямлю, чувствуя себя буквально не в своей тарелке, и в то же время продолжаю подыгрывать суду.

Задача прокурора Жукова состоит в том, чтобы доказать, что я «проживал» в Москве без прописки. Доказать это так же трудно,

как и опровергнуть. Полтора месяца я лежал в московской больнице — «проживал» я в это время в Москве или нет? Сотни больных находятся в таком же положении. Но в это время Лариса отправила по моей просьбе по почте деньги за квартиру, и вот изъятый у тети Нюры почтовый перевод используется как улика: Марченко в это время в Александрове не жил. А это и доказывать не требуется, есть больничная справка.

Работая над книгой, я прожил летом несколько недель в палатке в лесу, в полутора километрах от места прописки. Ежедневно ходил на завод к шести утра, но не каждый день бывал у тети Нюры: время жалел. Прокурор утверждает, что это время я жил в Москве. «Да не мог бы я поспеть на завод из Москвы, проверьте расписание поездов!» Но суд принимает версию прокурора.

Житель Александрова может хоть трижды в неделю бывать в Москве — в театре, в гостях; многие, как и я последние несколько месяцев, работают в Москве — «проживают» они там или нет?

При обсуждении закона о прописке вполне проявляется не только его ограничительная сущность, направленная против любого гражданина, но и идиотизм, бессмысленность его формы. После трепанации черепа я просил милицию дать мне временную прописку в Москве для долечивания у оперировавшего меня врача; мне отказали. Я не уклонялся от закона о прописке, нарушил его не я, а милиция. Но отвечать буду я — за то, что «проживал».

Меня схватили на улице, проверили документы и, выяснив, что я «иногородний», штрафуют, выдворяют, судят. Да что это, военное время — время патрулей и облав? Москва на осадном положении?

Мне сейчас стыдно, что я принял участие в этом балаганном представлении.

После перерыва зачитывают приговор: год лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Это максимальная мера наказания по предъявленному мне обвинению.

Когда меня быстро ведут из зала суда в «воронок», подогнанный почти к самой двери, я на минуту снова вижу всю публику. Толпа во дворе суда разделилась надвое, агенты стоят ближе к двери, отгораживая друзей от меня, а те — лицом ко мне, к «воронку» — прорываются вперед. Два фотоаппарата направлены почти объектив в объектив: агенты фотографируют толпу, а кто-то из «своих» пытается поймать то ли агентов, то ли меня в дверях, с конвоирами за спиной. И снова я ощущаю необычную напряженность, неприкрытую взаимную озлобленность этих двух частей толпы. Почти стенка на стенку,

две тучи, заряженные противоположными зарядами электричества.

«Свои» мне что-то кричали, а что — я не расслышал из-за глухоты.

И лишь когда запертый «воронок» трогается с места, я слышу стук кулаком в стенку машины и сильный женский крик:

— Толя, прочти сегодняшнюю «Правду»!..

Всю дорогу до Бутырок я думал: что же там, в газете? Я связал этот возглас с возбуждением друзей в этот день и понял, что речь идет о чем-то очень серьезном. Неужели Чехословакия? Дина Исааковна ничего не сказала (я потом понял: она не хотела взвинчивать меня перед судом; и действительно, если бы я знал об оккупации, неизвестно, как бы я себя повел; собственный суд был бы мне до лампочки, это уж точно).

В камере я сначала попытался узнать что-либо, не прибегая к расспросам. Прислушивался к разговорам окружающих — бесполезно. В камере стоял обычный шум и гам. С верхнего яруса меня окликнули: «Земеля, смотри!» Я поднял голову и узнал моего соседа по боксу, грузина. Он встал там на голову и так стоял, глядя на меня и подмигивая.

— Что, год дали, да? — спросил я, вспомнив его обет.

Он ловко перевернулся, сел и тогда лишь ответил:

— Шесть месяцев. А тебе?

— Год.

— Свистишь!

Несколько других осужденных, знавших мое обвинение, тоже не поверили мне: «Брось, земляк, не темни! Это полстраны пересажали б!»

Что ж, они были правы, я и на самом деле «темнил».

Как узнать сегодняшние новости? Я спросил у своего соседа, занимавшего место рядом со мной на полу возле унитаза:

— Газету сегодня давали?

— Давали.

— А где она? — Вообще-то я догадывался о ее судьбе.

— На курево порвали. А что там? Не амнистия?

Наконец, расспрашивая другого-третьего, узнал: советские войска вошли в Прагу. Мне сообщили об этом с полным равнодушием, все здесь были заняты собственной судьбой, никак не связывая ее с политикой. «Сужденка» жила своей жизнью. Ночью обокрали какого-то деда: кто-то разрезал его сидор и вытащил весь остаток полученной накануне передачи до последнего кусочка сахару. Дед не возмущался и не скандалил — дело обычное: либо ешь все сразу, либо карауль свой сидор.

Я ночью почти не спал, хоть мне и нечего было караулить.

Ждал утра — последних известий по радио и газету, которую надеялся перехватить раньше других. Были бои или Дубчек сдался без сопротивления? А вдруг там началась такая же резня, как в Венгрии в 1956 году?

В шесть утра, когда сокамерники еще не очухались со сна и не затеяли шума и свар, я подошел поближе к репродуктору. Бессодержательная, пустопорожняя мура! «Интернациональный долг», «братская помощь», «верны принципам», «трудящиеся Советского Союза одобряют», «все как один»!

Я ведь не сомневался, что так и будет, точно знал, как будто сам присутствовал на обсуждениях в ЦК: задушат Чехословакию. Но вот это произошло — и как будто камень на меня свалился. С чехами обошлись так же, как с нами самими, и это было все равно что личное оскорбление, унижение.

Что делают сейчас мои друзья на воле? Что делал бы я сам, если бы не оказался запертым в тюрьме?

26 августа я узнал о демонстрации семерых на Красной площади.

Павел, Лариса, Наташа, Костя — это были мои друзья. С Делоне я тоже был знаком. Дремлюгу и Файнберга не мог припомнить — может быть, встречались где-нибудь в компании. Сначала меня это сообщение ошеломило. Слишком много дорогих мне людей оказались в тюрьме, и дальнейшая их судьба была неизвестной.

Как я отнесся к этому поступку моих друзей?

Я знаю, были разные мнения на этот счет. Что касается меня, то мое отношение вначале было двойственным. Теперь власти расправятся с ними и надолго избавятся сразу от нескольких активных участников Сопротивления — получается, что этот поступок даже на руку властям. В то же время я понимал, что это их самопожертвование не является необдуманным шагом или эффектным жестом. Каждый участник демонстрации прекрасно понимал, что с Красной площади им только одна дорога — в тюрьму. Но они, видимо, не могли смириться с позором своей страны, переживали его как свой собственный позор и нашли единственный способ активно выразить свои чувства. Этот поступок был как бы итоговой чертой развития каждого из вышедших на площадь.

Конечно, многие русские были возмущены военным вмешательством в дела суверенного государства. Особенно широко это возмущение было среди интеллигенции. Но, как и всегда, не все решаются на активный протест.

Семеро — решились.

Позже мне довелось услышать оценку демонстрации из уст

участников национально-освободительного движения на Украине и в Прибалтике. Казалось бы, уж этим-то, с оружием в руках защищавшим свою землю от огромной советской военной махины, не приходится удивляться и восхищаться трехминутным выступлением на площади. Но эти украинцы и прибалты объясняли: «Мы сражались с оружием в руках, а в бою ведь не всегда и не всех убивают. У каждого остается маленькая надежда, что авось как-нибудь обойдется. А вот выйти открыто с протестом, без оружия, семерым против всех — на это нужно особое мужество».

Из Москвы на этап я отправился, не зная окончательной развязки судьбы демонстрантов. На душе было тревожно и неспокойно, мысли о друзьях занимали меня днем и ночью.

Перед отправкой из Бутырок на Краснопресненскую пересылку я, как и прочие этапники, сдал администрации почтовую открытку с адресом, по которому надлежит сообщить место назначения заключенного. Я надписал адрес Н.П., и она таким образом узнала, когда и куда я буду отправлен. За те три дня, что я провел на Пресне, Н.П. успела передать мне передачу и деньги, и мне удалось до этапа купить в ларьке продукты на законную десятку в месяц. Просто удивительно, как Н.П. ухитряется всегда все успеть вовремя.

Что за дурацкое положение! Хочешь сказать доброе слово о хорошем человеке — и не смеешь назвать его по имени, шифруешь инициалами, все равно как тайного заговорщика. А назови — так у Н.П. могут быть неприятности по службе, ГБ непременно возьмет ее на заметку. То есть она, конечно, и так на заметке (и неприятности по службе уже были), но открытое упоминание ее имени в моем тексте — это уже вещественная улика, свидетельское показание. Где еще, в какой стране может реализоваться *тайное* сообщество добрых дел и благородных поступков? заговор недоносительства? *подпольная сеть* помощи детям?.. Бред какой-то!

Еще в вокзальной камере на Пресне стало известно, что наш этап идет на Киров и Пермь. «Высадят в Кирове или повезут дальше на Пермь?» — гадал каждый зэк в «Столыпине».

Если ссадят в Кирове, значит, лагерь где-то в Кировской области или дальше на север — на Ухте, в Коми АССР. Если же провезут на Пермь, то еще неизвестно, оставят ли в Пермской области с бесчисленными лагерями по всему Уралу или отправят еще глубже на восток. Бывалые зэки обсуждали преимущества и недостатки обоих вариантов: впрочем, все равно выходило, что «оба хуже».

Поезд подъезжает к Кирову (хотя заключенным не только не

объявляют станции, но держат маршрут в строгом секрете, зэки обычно знают даже больше, чем нормальный пассажир: знают, какие лагеря в ближней к станции окрестности, кто там и какой хозяин, какая в городе пересылка и куда с нее идут этапы. А простой пассажир знает разве что станционный буфет да сортир). В вагонзаке объявляют список тех, кому готовиться на выход с вещами — то есть оставаться в Кирове. Называют и меня.

За свою зэковскую жизнь сколько раз я проезжал через Киров в вагонзаке, но ни разу меня не ссаживали. Впервые знакомлюсь с пересылкой, столь известной в Союзе. Она оказалась грязной, холодной, вшивой. Я не избалован комфортом лагерей и тюрем, но Кировская пересылка мне показалась хуже прочих. Затолкали нас в этапные камеры в полуподвальном этаже, продержали часа три на ногах: голые стены, скамеек нет, а только цементный пол, жидкая липучая грязь под ногами, в которую даже в сапогах противно ступить.

Здесь, как и на большинстве пересылок, процветали грабеж и мордобой. Несколько уголовников успели сгруппироваться и шныряли в толчее в поисках добычи. Приставали к каждому, у кого был в руках чемодан или сидор. Они уговаривали «подарить», «угостить», угрожали, доходило до драк. Из рукава они демонстрировали строптивым лезвия безопасных бритв.

Вот один из блатной компании уже трется около меня, плотнее прижимается к моей полупустой наволочке и тайком прощупывает ее руками. И лет-то ему всего каких-нибудь девятнадцать, не более, а наглости и нахальства уже не занимать.

Вот он вполне доброжелательно спрашивает у меня:

— Что у тебя в мешке хорошего, земляк?

— Твоего там ничего нет.

— Х… ты орешь, будто тебя грабят, — в голосе уже угроза, — тебя по-хорошему спросили…

— А тебе тоже по-хорошему ответили. Не ори.

Стараюсь говорить как можно тише и не сорваться, но чувствую, как меня начинает трясти. Он, что-то бурча себе под нос, расталкивает локтями ближайших мужиков, пробираясь в другой конец камеры. Там они обосновались всей компанией. Я уже знал по старому опыту, что на этом мои отношения с блатными не кончатся. Так оно и оказалось. Скоро ко мне протиснулись вместе с тем парнем еще двое. Начинают тоже издалека и вполне пристойно:

— Откуда, земляк?

Конечно, в этом вопросе нет ничего особенного. Но я уже много раз был свидетелем подобных сцен. Все это, так сказать, прелюдия. Потом будут вопросы: «за что?», «сколько дали?», «куда

идешь?», «откуда идешь?» — и, наконец, главный вопрос: «что с собой везешь?» — и глазами показывают на мешок или чемодан. А дальше варианты разные, в зависимости от изобретательности любителей поживиться за чужой счет, на куске или тряпке. Если ты говоришь, что ничего хорошего у тебя нет, следует требование: «Покажи!» или «Давай посмотрим!» Одни показывают, и жулье «угощается» или «одаривается». Если же им не позволяют осмотреть содержимое мешка, то тоже по-разному бывает: либо после грызни и угроз оставят в покое, либо отнимут мешок, заберут нужное для себя, а остальное милостиво возвратят. Бывает, что изобьют и все отберут.

Я отлично знаю эту публику. Поэтому стараюсь сократить объяснения до минимума:

— Вас не я интересую, а содержимое моей наволочки. Только покажу я вам в лагере, если угадаем в один и тот же. Если у вас к тому времени не исчезнет интерес к чужим мешкам.

На этот раз мне повезло, и мой расчет оправдался. От меня отстали.

В лагерях строгого режима, насколько я знаю, сейчас такого уже нет. Лагерные грабежи и террор блатных здесь изжиты. Зато произвол и грабеж — все еще довольно частое явление в лагерях для первой судимости, в колониях для несовершеннолетних и на транзитных пересылках.

С пересылки зэки разъезжаются по лагерям и тюрьмам в разные концы страны. Грабители и жертва, скорее всего, никогда больше не встретятся, и бандит не опасается ни мести, ни огласки. Теперь эта публика не афиширует своих подвигов. Наоборот, они боятся, что их разоблачат. Поэтому, каким бы ни был наглым и дерзким уголовник, он боится попасть в один лагерь с тем, кого ограбил.

Когда нас перевели из этапной, я оказался в камере тоже в полуподвале. Огромная, набитая битком, как бочка селедкой, она и причудливой формой напоминала лежачую бочку, разрезанную пополам по оси. Койки идут вдоль обеих длинных стен, да еще в два ряда посередине, проходы заняты деревянными щитами, на которых тоже спят зэки, да на полу сидят, скорчившись. Свод низок, утесняет лежащих в крайних рядах так, что они еле ноги втискивают между койкой и потолком. Крохотное отверстие, которое лишь условно назовешь окном, находится в яме, ниже уровня земли. Оно забрано двумя решетками, но и яма перекрыта двойной сварной решеткой. От махорочного дыма, пота, дыхания, от параши в углу воздух в камере густой, зловонный, липкий, такой же липкий, как пол около параши. Должно быть, в тюрьме большая экономия на топливе: хоть и совсем не топи в зиму, все

равно в камерах клейкая духота, зэки раздеты до трусов и потные с головы до ног.

В конце коридора маленькая грязнющая уборная, туда нас выводят дважды в день. Вся камера там не помещается, и нас заталкивают туда, как в «воронок», притискивая дверью. После крупного скандала нашу камеру все же стали водить на оправку двумя партиями, соответственно сократив время на оправку наполовину. Каждый раз перед оправкой в камере вспыхивают ссоры: никто не хочет выносить парашу. Иной раз надзиратели, которым надоедают вечные свары из-за параши, плюнут и не заставляют выносить ее. Тогда содержимое льется в камере через край. Зэки ругаются, но в другой раз снова такая же ссора, кому нести.

В большинстве тюрем теперь уже на оправку не водят и параши в камере нет — цивилизация достигла того уровня, когда вместо ржавого бака екатерининских времен угол камеры занимает унитаз. И хотя он обычно протекает, и хотя мало хорошего в том, что сто человек справляют большую и малую нужду в том же помещении, где спят и едят, — все же унитаз великое благо, колоссальный шаг вперед по пути прогресса. На это достижение ушло почти столько же времени и усилий, сколько на освоение космоса.

На Кировской пересылке обобрали и меня, как того деда в Бутырках. Было-то у меня всего ничего: остатки пресненского ларька и передачи. Тоже вечером поделился с ближайшими соседями, а ночью обнаружил свой мешочек опорожненным. Я никому об этом даже не сказал. Как-то стыдно, унизительно быть обокраденным и злость разбирает: ты не знаешь, кто это сделал, а приходится общаться с окружающими, в том числе и с теми, кто обокрал тебя. Есть и порядочные люди вокруг тебя, да поди отличи, когда знакомство длится день-два, и прощай!

Из Кирова я ждал этапа в крайнем случае на север, а меня отправили в Пермь. Надо было снимать с этапа, который шел туда же, и мариновать в этой полубочке!

Пересылка в Перми, еще один этап — и вот к середине ноября я в Соликамске на управленческой пересылке. Чтобы одолеть тысячи две километров, ушло два месяца, в среднем получается по 30–35 километров в день. Везли бы меня в кибитке, с двумя жандармами, доехал бы я до места раза в три-четыре скорее. Да пешим этапом дошел бы за это же время!

Слава богу, конец этапного путешествия, из Соликамска отправят только в лагерь.

Но в Соликамске меня тормознули еще на полтора месяца: на ближайшие этапы я не попал, а потом пришлось ждать, пока

станут уральские реки. Весной и осенью в лесные лагеря — на Красный Берег, на Ныроб — пути нет.

Вообще по тюремному медицинскому заключению («работоспособен, запрещены работы, связанные с высотой, и на лесоповале») меня должны бы оставить в самом Соликамске — сразу за пересылкой и находится здесь лагерь строгого режима. Здесь работы строительные, а в лесу, известное дело, — лесоповал. В Соликамске и условия лучше, и кормежка, а раз так — это не для меня.

Ожидание на Соликамской пересылке, такой же перенаселенной и грязной, как Кировская, было все же веселее переносить. Одно то, что это уже конец пути, а другое — зэки здесь ведут себя иначе. Ведь никто не знает, не угодит ли он в один лагерь с соседом, значит, надо держаться с ним более терпимо и не наглеть.

В нарушение общих тюремных правил здесь не существовало ни подъема, ни отбоя. Круглые сутки в камере шла картежная игра. Играли, почти не таясь от надзирателей. Ночью устраивались с картами на верхних нарах, поближе к лампочке, которая слабо светила из ниши в стене над входной дверью.

Играли на все: от новенькой одежды, денег, продуктов — до всякого старья. Тут можно было проследить за везением. Кто-то начинает играть, имея в своем распоряжении не более как пару поношенных носков или застиранный носовой платок, — через несколько часов он становится обладателем несметного количества тряпья, денег и жратвы. Сегодня ты видишь франта в шелковой рубашке, приличном костюме и с мешком добра. Он демонстративно отказывается от тюремной баланды и заказывает у тюремной обслуги запрещенный чай, анашу и даже морфий, не говоря уж о продуктах. Завтра он будет сидеть на голых нарах в затасканных лагерных штанах и куртке тридцать третьего срока носки, в которых, как говорят зэки, уже семерых похоронили.

Один из заядлых игроков, Жора, особенно мне запомнился. Я его застал в камере в немыслимом рванье. Несколько раз он пытался отыграться и садился с разными компаниями, не знаю, что он мог предложить партнерам. Но ему не везло. После каждого проигрыша, отлежавшись часа три молчком на нарах, он выходил на середину камеры, прислонялся плечом к стояку и пел вполголоса старинные русские романсы. У него был приятный голос, и пел он самозабвенно, совершенно отключаясь от окружающей обстановки. В камере становилось непривычно тихо, даже картежная игра прерывалась. На того, кто осмеливался нарушить тишину, прикрикивали.

Жора почти никогда не пел по чьей-либо просьбе, а только

когда у него возникало желание. Он не выжидал тишины и мог начать в разгар спора и общего гвалта в камере. Однажды он проигрался, как обычно, и стал пробираться на свое место на верхних нарах, чтобы молча пережить проигрыш. Кто-то с издевкой обратился к нему:

— Ну, Жорик, а теперь спой!

— С таким настроением не до пения, — беззлобно и равнодушно ответил он, падая лицом в замусоленный бушлат вместо подушки.

Вот еще один игрок — экземпляр, типичный для уголовного мира. Он роскошно одет и со всеми разговаривает свысока. Другие играющие обращаются к нему за посредничеством в спорах. А он поддерживает свой авторитет частыми рассказами о том, как он где-то в камере во время игры одному выбил глаз, другому поломал руку, кого-то загнал под нары. И все это отстаивая справедливость и картежный закон.

Дня через три после моего появления затолкали в камеру очередной этап из Перми. Вечером наш франт уговорил посидеть за картишками новичка. Просидели они почти до утра и кончили дракой. Новичок не то «справедливо» обыграл франта, не то как-то сжульничал. Они крепко начали спорить, доказывая каждый свою правоту. Обычно картежники в таких условиях просят кого-нибудь третьего рассудить их. Эти же ни к кому не обращались, брань становилась все яростнее и оскорбительнее. В конце концов новичок сильным ударом ноги сбросил франта с нар на пол. Пол бетонный, а тот летел со второго яруса. Здорово ударившись, так что и встать не мог сразу, он больше не спорил, а молчком забился в угол на нижних нарах и там отсиживался пару дней, не вылезая даже на оправку.

Новичок тоже недолго проходил в королях, на следующий же день проигрался до нитки. А когда я уходил на этап, то эти двое уже жили душа в душу, хотя и были оба камерными «крахами» (ничтожествами, ничего не имеющими нищими).

Кроме картежной игры, на пересылке вовсю идет торговля. Зэки продают хозобслуге все, что имеют при себе или на себе: все равно в лагере свое не наденешь, а казенное тем более нечего жалеть. Зэки из хозобслуги в доле с надзирателями и приносят в камеру запрещенный чай, анашу и водку. Цены соответствуют степени дефицита: при мне один сокамерник отдал новенькое пальто (рублей девяносто-сто в магазине) за семь пачек чаю; приличный неношеный костюм стоил четыре-пять пачек, брюки или рубашка шли всего за пару пачек. А пачка чаю в магазине около лагеря стоит тридцать восемь или сорок восемь копеек; неплохой барыш и у надзирателей, и у обслуги!

Ну а что делать в камере мне? Я не играю, не торгую. Писчей бумаги нет у меня и ни у кого из сокамерников. Книги ни одной, библиотеки на пересылке нет. Хоть берись поневоле за карты!

Я догадался отправить письмо в Москву — на всякий случай, чтоб дошло, подписал его первой пришедшей на ум фамилией: в этом пересыльном шалмане авось не разберут чье. И вот через две недели получаю сразу несколько писем (первые письма и телеграммы из Москвы дожидались меня еще в Перми) и бандеролей. А в бандеролях — книжки, бумага, шариковые ручки (тут же в кабинете цензора и в его присутствии зэк из обслуги предлагает мне за них две пачки чаю — но чай мне не нужен, а ручки нужны), в каждой бандероли по плитке шоколада — это запрещено, но благодушный цензор, поворчав, отдает их мне. И мыло, завернутое в старую газету «Вечерняя Москва», — я сразу понял, что это неспроста.

Вечером пью кипяток с шоколадом. Книжки пошли по камере нарасхват. А я просматриваю «Вечерку». Так и есть: вот сообщение о суде над демонстрантами. Лариса, Павел и Костя получили ссылку, Дремлюга и Делоне — лагерь. Это известие от друзей и о друзьях немного успокоило меня: лагерь все же миновал троих. Но и ссылка не мед; а уж дорога, если отправят этапом! Я особенно беспокоился о Ларисе: как-то она перенесет этап, как-то ей удастся устроиться в ссылке; куда ей «повезет» попасть? Среди осужденных она была единственной женщиной. Тогда еще никто не предполагал, что Наташе Горбаневской суждено несколько лет провести в психушке.

О мужчинах я меньше волновался: полезно почувствовать на собственной шкуре все тяготы арестантского быта, да и твердость духа проверяется здесь основательней.

Теперь у меня в камере было занятие. Я читал и перечитывал несколько присланных книжек, хоть они и были ерундовыми (я так и просил в письме: лишь бы чтиво, жаль, если хорошие книги пропадут). Зато я взялся за другое.

Еще в Перми мне отдали телеграмму от Л.З.[36] Она заканчивалась так: «Вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем». Конечно, Л.З. имел в виду необходимость самообразования, профессиональной учебы. Но пока это неосуществимо, нет ни книг, ни плана, ни представления о том, как и чем надо заниматься. Зато в избытке то, чего мне недоставало на воле и чего не будет в лагере: время. И вот я стал обдумывать и развивать планы повести, потом второй, третьей. Сюжеты трех повестей переплетались, расходились, наполнялись деталями, их герои, выдуманные мной, постепенно приобретали биографии, портретные черты, изменялись, притирались друг к

другу и к жизненной обстановке. Каждый день я как будто смотрел фильм — по выбору или отрывки из всех трех. Было ужасно интересно, наперед зная судьбу героя, наблюдать его в разных ситуациях — он-то своей судьбы не знает. Но я стал путаться, натыкаться на проблемы и неувязки — надо было записывать, хоть шифром, хоть план развития сюжета.

Я успел составить в Перми схематические, недетализированные планы двух повестей и записал их условными фразами. Но во время внезапного шмона камеры мои тетрадки исчезли. Я кинулся добывать их — где там! «Какие тетрадки? Пропали? Да кому оно нужно, ваше бумагомарание?» — отвечал мне на мои претензии заместитель начальника тюрьмы. Пришлось примириться с потерей.

Ладно же! В Соликамске, получив бумагу и ручки, я начал все заново. Исписал несколько тетрадок — опять так же, условными, одному мне понятными фразами. Хотя в этих фразах не было ничего похожего на криминал, я знал, что все равно при шмоне тетрадки отберут, и старался придумать для них заначки похитрее. Но на всякий случай — записанное запомнить, заучить. Советский писатель, не надейся на бумагу, на письменность! Лучше всего освоить бы тебе гусельный лад и сочинять «по былинам сего времени». Так ведь и гуслей нет, а были бы — отберут проклятые шмональщики!

Пока я в камере крутил свои фильмы, наступила середина декабря. Реки стали, и нас собрали на этап на Ныроб.

Этап собрали немалый: человек сто пятьдесят на строгий и на особый. Повезут нас машинами, по зимней гладкой дороге езды часов семь. По североуральскому декабрьскому морозцу недолго и обморозиться, и нам велят надеть на себя всю выданную одежду: от подштанников до телогреек, а поверх бушлаты. Каждый зэк превратился в неповоротливую толстую ватную куклу. Конвоиры одеты в полушубки и сверху еще в огромные тулупы, которые тянутся по земле. Тоже как куклы, только силуэт другой.

На машину — огромный трехосный «Урал» с высоко нашитыми бортами — приходилось человек по сорок зэков, да еще передняя часть кузова отгорожена деревянным щитом — для трех-четырех конвоиров и собаки. Казалось, нам никак не поместиться, но конвой опытный: нам приказали всем встать в кузове на ноги, построившись по шесть человек. Затем объявляют: «Слушай команду, всем поднять руки вверх, считаю до трех, по команде „три“ всем сесть, не опуская рук». И точно: с поднятыми вверх руками мы более или менее благополучно сели на пол кузова. Но опустить руки теперь оказалось проблемой. Каждый

стал ворочаться, толкать соседей, сжиматься всем туловищем в комок и как-то втискивать руки. Этим конвой уже не интересуется. Мы сидим к нему спинами, нам запрещено оборачиваться в его сторону, придерживаться за борта руками.

От Соликамска до Ныроба дорога идет сплошной тайгой. Очень красиво кругом. Тайга одета снегом, на елях он лежит особенно толстыми шапками. Когда машины поднимаются на вершину сопки, то видно огромное пространство вокруг, и все тайга и тайга.

По дороге проезжаем Чердынь. С интересом рассматриваю знаменитый поселок: здесь в ссылке были Мандельштамы, я как раз прочел в Москве мемуары Надежды Яковлевны. Кто бы знал эту Чердынь, если бы не Осип Эмильевич? Жилые домишки — а кругом тайга! Но нет-нет да и попадется старый дом кирпичной кладки, и им залюбуешься. Старые дома построены из добротного красного кирпича, даже дворовые постройки тоже кирпичные. Видно, до революции жили в них купцы-лесопромышленники или богатые охотники.

Из такого же кирпича сложена красивая, но запущенная и обшарпанная церковь. Чердынь стоит на берегу Вишеры. Переезжаем ее по льду.

В Ныроб приезжаем в сумерках, зимой они здесь наступают очень рано. В самом Ныробе находятся две зоны: строгого и особого режима. Пока ждем запуска в зону, мимо проходят колонны зэков в полосатой робе. Все полосато: бушлаты, телогрейки, брюки, куртки, шапки.

Особый работает на лесобирже и готовит лес к сплаву. На лесоповале и на сплаве их не используют из опасения побегов.

После шмона нас проводят краем зоны в отдельно огороженный барак: он и ШИЗО, и внутрилагерная пересылка. Отсюда отправляют на дальние таежные командировки. Но наутро я узнал, что меня в тайгу не отправят, оставляют здесь, в самом Ныробе. Другие мне завидовали: буду жить, можно сказать, в столице!

Меня вызывают в штаб к начальнику лагеря для «знакомства».

— Как вас сюда направили с таким сроком? — недоумевает он.

— Мне не объясняли и у меня не спрашивали.

— Год сроку, да пока доехал, остается всего семь месяцев!

Начальник просматривает мои бумаги и натыкается на медицинскую справку об ограничениях в труде:

— И зачем присылают таких! Мне волы нужны, у меня лесоповал. Куда я вас поставлю?

Я молчу. К начальнику из угла подходит офицер и что-то шепчет, низко наклонившись над самым столом. Начальник слушает внимательно, посматривая на меня с любопытством.

Больше не задавал он мне вопросов.

В этот же день состоялось еще одно знакомство — с кумом, старшим лейтенантом Антоновым. Кум зовет — иди, не моги отказаться. Разговор был тягучий, противный и угрожающий. «Ты не надейся, Марченко, здесь отсидеться. Тебе сидеть да сидеть, сгниешь в лагере. От меня на свободу не выйдешь, если не одумаешься. Здесь не Москва, помни!..» и тому подобное. Я сказал:

— Вы мне прямо скажите, что вам от меня надо?

— Я прямо и говорю. Не понимаешь? Думай, думай, пока время есть. А надумаешь — приходи. Вместе напишем, я помогу.

— Что я хотел, то без вас написал.

— Смотри, Марченко, пожалеешь.

Меня, можно сказать, «честно» предупредили. Но откуда ждать удара?

Разговор оставил очень неприятное впечатление. В лагере всякое бывает. Подрались двое зэков, и один другому всадил нож в спину. Или конвой пристрелит «при попытке к бегству». Кирпич ли на голову свалится. Или сожгут сортир и обвинят меня в поджоге зоны. Ходи и оглядывайся, и жди каждую минуту какой-нибудь провокации. Так и чокнуться недолго. И я решил выбросить эти мысли из головы.

И без того мое положение в лагере было непростым. Меня определили в строительную бригаду — это была работа более легкая и более удобная, чем основная работа в лагере, лесоповал. «Лесников» возят на делянки и обратно машинами, дорога занимает в один конец часа полтора, да шмон, да ожидание, да машины, бывает, ломаются. Поломается машина в дороге — жди на морозе в открытом кузове, пока починят или пригонят другую. Другой раз лесники приезжают в зону часа в три-четыре утра. А утром в семь опять должны быть на разводе.

А наша бригада, четырнадцать человек, работала в поселке, в пяти минутах хода от жилой зоны. Уже одно это было великим счастьем. Сюда, договорившись с начальством, попадали «на отдых» заслуженные «лесники», несколько лет безропотно пахавшие в лесу. Или отличившиеся стукачи и проныры. А меня назначили к ним прямо с этапа. Это было непонятно, подозрительно, и бригадники косились на меня с недоверием, прощупывали: за какие заслуги и для какой цели попал я в их бригаду.

Не успел я здесь прижиться, как меня перевели в другую

бригаду, тоже строительную, тоже без дальних поездок на работу. Но эти заработали свою «льготу» совсем другим способом: здесь все были болынесрочники, тяжеловесы со сроками от десяти до пятнадцати лет, то есть с максимальными «исключительными» мерами наказания. Это бывшие смертники, которым заменили впоследствии расстрел лагерем или тюрьмой. Сроки получены ими за особо опасные преступления: убийства и изнасилования при отягчающих обстоятельствах, разбой и грабежи. Большинство бригадников переведены после половины срока со спеца, и, когда наша колонна встречалась с колонной «полосатых», в обе стороны летели слова приветствий, происходил запрещенный обмен информацией, несмотря на окрики конвоя. Эту мою новую бригаду в лес не водили из-за того, что болынесрочники считаются — и не зря — склонными к побегу. Для них была оборудована рабочая зона с усиленной охраной, обнесенная сплошным дощатым забором высотой в два метра и двумя рядами колючей проволоки, со сторожевыми вышками и автоматчиками на них. Кроме обычного пересчета при разводе и съеме бригаду считали и пересчитывали, впуская в рабочую зону, проверяли по личным карточкам во время работы, и, если начальнику конвоя покажется, что кого-то недостает, выстраивают всю бригаду, считают по пятеркам, сверяют с личными карточками.

И вот к этим тяжеловесам кидают меня — со сроком год (а к этому времени до конца оставалось чуть больше шести месяцев) за какое-то там нарушение паспортных правил. К тому же меня перевели вместе с поваром из моей первой бригады Германом Андреевым — известным всему лагерю и за его пределами провокатором, «штатным свидетелем» на всех лагерных процессах. Он был наркоман и потому на крючке у начальства. Конечно, бригадники считали, что к ним специально заслали осведомителей режима и оперчасти. Подумали бы лучше, какой из глухого стукач! Да и зачем засылать новых, когда своих стукачей в бригаде хватает? Впрочем, это иногда делается кумом для проверки работы стукачей, как говорится, над каждым шпионом должен быть тоже шпион. И насчет Германа у меня были свои догадки — неспроста его присоединили ко мне при переводе. Эта моя догадка впоследствии подтвердилась. Но об этом потом.

Я решил все соображения и объяснения держать при себе — тем более что впрямую никто ничего не говорил мне. Оправдания ничего не дадут, а излишняя откровенность просто опасна. И я никому ничего не рассказывал о себе, кроме того, что написано в приговоре. Чтобы не быть втянутым в обычный зэковский треп, брал с собой на работу книгу, газеты, тетрадь (вообще-то это не

разрешается, и если на шмоне найдут, то отберут: «Не в библиотеку идешь!», но зэк, когда ему что надо, пронесет). Времени на чтение хватало. Нас выводили на работу утром, когда температура была ниже пятидесяти: пятьдесят шесть — пятьдесят семь градусов. Мы торопливо топали на объект и, как только нам открывали ворота, наперегонки бежали в курилку. Поскорей растапливали печь и час-полтора грелись, толпясь около нее, а потом расползались по углам и проводили время кто как умел. Начальство смотрит на это сквозь пальцы: был бы день не сактирован, был бы записан выход бригады на работу, а уж месячный план и норму из зэков так и так выжмут в другие дни.

Вот я сижу в курилке на своем законном месте — его уж никто не занимает, читаю. В другом углу собралась картежная компания. Здесь, как и на пересылке, тоже играют на все: казенную одежду, деньги, посылку от родных, будущий ларек. Кто-то шустрит: ищет, как бы через вольного достать водку, самогон или одеколон.

Деньги в лагере, конечно, запрещены, но они есть у многих. Добываются они нехитрой почтовой операцией: заработанные деньги зэк переводит с лицевого счета родным и одновременно тайно сообщает им адрес местного вольного, с которым он уже договорился. Родные пересылают их обратно в Ныроб по указанному адресу, а уж вольный сумеет передать их зэку или купить, что тот закажет. Конечно, за комиссию отчисляется соответствующая доля.

Я тоже мог бы воспользоваться этой разработанной методикой, но мой срок можно было дотянуть и на казенных харчах.

В политлагере такие операции почти невозможны: начальство строго следит, чтобы у заключенного не было связей с вольными. А в уголовном лагере строгостей меньше, возможно даже, что администрация знает о таких каналах — либо сама в доле, либо контролирует их, чтобы держать бразды в своих руках.

За деньги можно купить все, и не только продукты, выпивку, наркотики, но и откупиться от работы: плати бригаде наличными рублей пятнадцать на водку и на чай — и можешь месяц не работать, тебе бригадир поставит все выходы, а бригадники сделают за тебя норму.

* * *

Была у заключенных Ныроба еще одна отдушина — женщины. Вот, говорят, «мне сидеть неинтересно, я там бывал, ничего нового не увижу». Нет, каждый срок что-нибудь новенькое выдает. С подпольной проституцией в лагере я в Ныробе познакомился впервые. До Ныроба я только слышал все это с чужих слов и не всему верил. Здесь этой своей самой древней профессией промышляли тунеядки, высланные из Москвы и Ленинграда. Хотя среди заключенных и солдат большой голод на женщин, нельзя сказать, чтобы дело это приносило большой доход. Расплачивались с ними кто чем богат: когда деньгами, когда тряпками, а когда договаривались и за черпак лагерной каши. Так что женщины занимались этим скорее из любви к искусству и чтобы быть, как говорится, при деле, не терять квалификации.

Правда, несколько тунеядок обслуживали офицеров и начальство — эти жили получше, были недоступны для солдат и заключенных, на своих менее удачливых товарок смотрели свысока. Офицерские жены люто их ненавидели, крыли последними словами прилюдно на улицах поселка, но те не оставались в долгу, тоже за словом в карман не лезли — а необходимый словарный запас был у них побогаче, чем у «законных».

Для колонны зэков подобные сцены заменяли театр.

Но как же могли происходить свидания тунеядок с зэками, отделенными от воли запретками, вышками и автоматчиками?

Рабочие объекты и лесные делянки охраняются только во время работы, после съема заключенных уходит и охрана. И вот зэки в рабочее время строят в рабочей зоне тайник, бункер, и сообщают об этом тунеядкам по тайной почте. Ночью дамы свободно проходят в зону оцепления, заселяют бункер и живут там по месяцу и больше, не выходя на свет божий даже по нужде: в бункере имеется параша, которую вытаскивают и опоражнивают сами зэки. Сюда им приносят пищу и выпивку.

Обычно тунеядки объединялись по три-четыре в компанию и обслуживали постоянно одну бригаду. На каждой делянке имеется свой бункер со своими дамами, и ни одна из них не забредет в чужую зону влияния. Если такое случится, то это считается «изменой» и вызывает бурные склоки и баталии.

Устройству бункера зэки отдают много сил и изобретательности. Внутри сколачивают нары, снаружи

тщательно маскируют от посторонних глаз. Чтобы конвойная собака не учуяла, обсыпают вокруг махоркой, хлоркой, поливают бензином и т. п.

В нашей особо строго охраняемой бригаде тоже был свой бордель. Первые несколько дней, когда бригадники меня еще хорошенько не знали, они всячески скрывали это от меня. Вначале им это легко удавалось, так как я вообще ничем из их жизни не интересовался. К тому же они знали, что я очень плохо слышу, и вполголоса переговаривались и обсуждали насущные вопросы этой стороны жизни бригады, не опасаясь, что я могу подслушать. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, а уж живого человека тем более. Сначала я догадался, а потом и увидел все воочию.

Курилка у нас состояла из двух проходных комнат. В дальней, большей из них, под полом зэки оборудовали еще одну комнатку. И там жила тунеядка. Временами, когда в бригаде появлялись наличные деньги, не одна жила, а несколько.

У нас тунеядкам жилось лучше, чем в лесу: ночью они могли безопасно выйти на свежий воздух или хотя бы вылезти из подполья и находиться в комнате. У нас даже жили гастролерши — из самой Чердыни.

В подполье провели скрытый электропровод, и там было и освещение, и отопление: электропечкой служил самодельный «козел».

Наш объект был — строительство гаража. Стены, потолок уже были, и теперь мы долбили в этой коробке ямы на месте будущих стоянок для машин. Бригадники решили построить здесь новый капитальный бункер-бардак. Выкопали рядом со строящейся ямой для машин другую большую яму, забетонировали крышу. Вход сделали в яме через нишу, предназначенную для инструмента: заднюю стенку ниши — бетонную плиту — укрепили на специально приваренных шарнирах. Она была очень тяжелой и плотно закрывалась изнутри, ее невозможно было открыть снаружи, разве что взорвать.

Новый бункер был просторнее прежнего. Там были настоящие нары человек на четырех, столик и даже пара скамеек. Провели туда скрытый электрокабель и оборудовали свет и отопление. Имелась там и электроплитка.

В строительстве этого бункера я принимал непосредственное участие. При мне он и начал «работать».

Наш бардак не найти было и с собаками. И хотя в нашей бригаде, как и в других, хватало стукачей, никто не заложил тайник и прятавшихся там женщин: естественная тяга мужчин к женщине пересиливала и страх, и прочие шкурные интересы.

Начальство нюхом чуяло баб в зоне, но, сколько ни искали, ни разу так и не нашли.

Существовали забавные принципы оплаты услуг. Когда у кого-нибудь в бригаде были деньги, дамам платили по рублю за визит. Тогда доступ к ним имел только тот, кто имел рубль или хоть что-нибудь для оплаты. Я видел, как два приятеля спускались в бункер, имея на расчет всего лишь пару застиранных носков, то есть по одному на брата. Им хватило и этого.

Но когда зэкам платить было нечем, тунеядки оказывались в безвыходном положении: им даже поесть на воле было негде и не на что. Здесь хоть черпак каши или баланды найдется. А так как пища идет из общего бригадного котла, то в этот критический период каждый имеет право наведаться в бункер.

Эти женщины никогда не были трезвыми. В бункере всегда была какая-нибудь выпивка: водка, самогон, брага, одеколон, тормозная жидкость…

Наши жрицы любви пьяны, грязны, одеты в немыслимое тряпье, потрепаны настолько, что не определишь их возраст (на самом деле возрастной диапазон довольно велик: от девятнадцатидвадцати до пятидесяти и даже выше, как говорится, «от пионерок до пенсионерок»). Они так непривлекательны, что иногда только что спустившийся в бункер зэк тут же вылезает обратно, мотая головой: «Нет, не могу, ничего не получается!»

И все-таки на их внимание претендуют не только заключенные, но и солдаты охраны. Тунеядки, очевидно из солидарности с зэками, люто ненавидят охранников и допускают их только при посредничестве зэков.

Два солдата из нашего конвоя посещали наш старый бункер тайно друг от друга и от остальных. Однажды я присутствовал при такой сцене: вся бригада уговаривала тунеядку «дать» менту, то есть солдату. Она его только что выгнала из бункера, и он приплелся в бригаду жаловаться. На нее не действовали никакие уговоры, и только угроза, что он, обозлившись, выдаст и ее, и бункер, сломила ее гордость.

(Я забыл сказать, что наши тунеядки нередко вылезали из бункера и ошивались среди зэков, зимой переодетые в зэковскую мужскую одежду — ватные брюки, бушлат, шапку — и неотличимые от мужиков. Так что разговоры и выяснения отношений происходили и при мне в курилке. Бункер же служил для иной, главной цели, то есть как отдельный кабинет.)

Знаю, найдутся такие, кто с брезгливостью прочтет эти страницы, презрительно обронит: «Уголовщина! Что с них взять?» Но вот что читаем о политических: «…под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная

во двор, девка проведена была другим часовым в арестантские комнаты. Тем же порядком на следующее утро девку вывезли из острога… После этого несколько раз удалось повторить ту же проделку… Сколько было благодарностей от арестантов!..»

Эти арестанты — не уголовники, это каторжане-декабристы. Устроила для них «разговение» жена декабриста Анненкова — наняла девку, подкупила водовоза и часовых, не с брезгливостью и презрением, а с пониманием нужд человеческой природы. И так же рассказывает об этом эпизоде М.М. Попов, сотрудник III Отделения: «Большая… часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требовавшая женщин. Жены долго думали, как бы помочь этому горю…» (Воспоминания Полины Анненковой. Красноярск, 1977- С. 291).

Что касается самих тунеядок, то это люди «дна», опустившиеся, выбитые из жизни создания. На мой взгляд, у них произошел необратимый распад личности. Искать корни этого явления — дело социологов, психологов, медиков. Я далек от мысли приписать вину за существование «дна» нашему общественному устройству. Политико-экономическими причинами объясняют всё социологи-марксисты, поэтому они вынуждены утверждать, что «дно» порождено капиталистическим строем, а у нас этого явления нет. Как же, нет! Дальние провинциальные городки и поселки наполнены «тунеядцами» и «тунеядками» — своих хватает, и еще сосланные из столиц. У них нет семьи, нет пристанища — и не будет, они не ищут его, оно им не нужно. У них нет имущества: все, что есть сегодня, — на них. У них одна цель — найти, что выпить, чем оглушить себя. В Чуне их можно безошибочно отыскать в любой день на пустыре около магазина: напившись, они валяются здесь — мужчины и женщины, старые и молодые, высланные и местные — на слое битого стекла и пробок, а проспавшись, едва поднявшись на ноги, снова бредут к магазину в надежде раздобыть выпивку. Больше им ничего не надо. До них тоже здесь никому нет дела.

В больших городах они, вероятно, не так заметны. А в столицах и городах, посещаемых иностранцами, их и вовсе не видно: милиция выселяет их, используя закон о тунеядстве, о бродяжничестве, о паспортных правилах. И вот какая-нибудь заезжая знаменитость вроде Мохаммеда Али в восторге сообщает миру: «Я был поражен тем, что в СССР нигде не встретил ни проституток, ни нищих». Если сам Мохаммед Али не встретил, о! — значит, их действительно нет (как и агентов секретной службы, которых он тоже «не встретил» — зато, я думаю, они его и встретили, и проводили). Для кого вещают наши

пропагандисты? Неужели я больше поверю залетному гостю, чем собственным глазам?!

Бог с ним, с Мохаммедом Али, — ему ведь, в общем, наплевать на нашу страну, погостил и укатил. Опасно, что мы сами — наша пресса, наши ученые, наши власти — нарочно закрываем глаза на язвы собственного общества, не исследуем их и не лечим, а прячем под парадной одеждой фестивалей и олимпиад, прикрываем хвастливой газетной трескотней. Но принюхайтесь: из-под роскошного наряда смердит!

* * *

Зима 1969 года была холодная. У нас в Ныробе каждое утро было минус пятьдесят шесть — пятьдесят семь градусов. Лариса писала мне из Чуны, что у них там тоже всю зиму день начинается с минус пятидесяти восьми градусов. Прочел я в первом письме: «поселок Чуна Иркутской области». А что за Чуна — чума? Солагерники мне рассказали: место проклятое, и правда чума; от Тайшета до Братска — лагеря, лагеря, лагеря. Так это ж туда меня везли в 1961 году, да не довезли, политлагеря оттуда перевели в Мордовию. Сейчас в Чуне, да и в ближней окрестности, да и вблизи трассы Тайшет — Братск лагерей не видно. Но пришлось мне в 1971 году лететь в Чуну из Братска самолетиком местной авиалинии, и я узнал сверху ясно обозначенные квадраты зон с вышками по углам. Просто отодвинули их подальше от глаз. А в тайге около Чуны, в десяти минутах ходу, — заброшенные лагерные узкоколейки, прорубленные зэками просеки, в самой Чуне — памятники лагерной архитектуры: клуб, выстроенный заключенными по типовому лагерному проекту, такие же я видел в Караганде, на Урале, в Мордовии; баня с выложенной по фронтону датой «1957»; бараки лагерные есть еще, но их постепенно сносят, не оставляют почему-то потомкам в качестве исторического экспоната. И полно здесь бывших лагерников — «западников» — украинцев, литовцев, русских. Этот участок БАМа — «магистрали века» — проложен руками отечественных заключенных и пленных японцев. «А по бокам-то все косточки русские» и прочие, мы ведь интернационалисты.

Хотя в эти морозы мы работали мало, но все же достаточно для того, чтобы с объекта в зону прийти грязными и мокрыми. А переодеться мне было не во что — спецовку не выдали: «Получишь, когда придет следующий этап». Ждал я, ждал, месяца полтора ждал — не выдают. На мои и бригадира просьбы и

требования офицер — начальник отряда просто не обращал внимания.

— Пока мне не выдадут спецовку, не буду работать! — заявил я наконец.

— Бу-удешь! Посажу в карцер как отказчика!

На другой день я перестал работать. Выхожу со всеми на объект — и либо сижу в курилке, либо, если погода помягче, расчищу себе в снегу тропинку и гуляю. Бригадир не гнал меня на работу, он знал, что я таким путем добиваюсь «законных прав». Я был уверен, что он ставит мне в табеле отказы, и ждал, когда начальство на это прореагирует. И вдруг узнаю: бригадир ставит мне рабочие дни. Это значит, что в конце месяца мне начислят такой же заработок, как и другим бригадникам, я урву денежки с тех, кто работает.

Пришлось мне объясняться с бригадиром:

— Ставь мне прогулы, я ж не работаю!

— Не могу: я еще никого не помогал устроить в карцер!

Дворецкий не был похож на других бригадиров-уголовников. Его поставили на эту должность как специалиста-строителя, он тяготился ею, стеснялся заставлять работать заключенных, не угождал начальству. Недолго он и продержался в бригадирах — при мне же его заменили другим, более пригодным — Сапожниковым.

— Так не ты посадишь, а начальник отряда!

— Я ему не помощник. Я такой же зэк, как и ты. Сегодня я бугор, а завтра пошлют носилки таскать вместе с тобой!

Есть такое неписаное зэковское правило: не хочешь работать — не выходи из зоны на объект, оставайся в жилой. Тогда тебя посадит в карцер начальство, а бригадир сохранит свой авторитет перед зэками. Я не хотел дать законный повод для репрессий. Выходить на объект я обязан, так как одет «по сезону», телогрейку, ватные штаны, шапку получил еще в Соликамске. Но, не получив спецовки, имею право не работать. И без Дворецкого найдется кто-нибудь, кто доложит о моем «саботаже» отрядному.

И точно: еще через пару дней отрядный явился к нам в курилку. Он собрал бригаду и стал мне вычитывать:

— Работать не хотите! Отлыниваете! Вы, Марченко, злостный нарушитель режима!

— Сами вы злостный нарушитель режима, два месяца не выдаете спецовку!

— Вот теперь я тебя в карцер посажу за оскорбление. Тоже мне, интеллигент нашелся — спецовку ему подавай.

Он не посадил меня ни завтра, ни послезавтра. Зато он стал науськивать на меня некоторых бригадников: мол, я обдираю

бригаду. Когда я с ним спорил при всех — сочувствие было на моей стороне, все видели справедливость моих требований и что я, отказываясь работать, не скрываю этого, не прячусь за их спины. Вообще при любом споре с начальством зэки всегда на стороне зэка. Но после этого объяснения нашлись такие, кто не только враждебно посматривал на меня, но и угрожал расправой; а начальство, мол, за тебя не заступится. Как-то один из зэков кинулся на меня с молотком в руках, в ответ я поднял лопату. Дело не дошло до развязки, вмешались остальные и угомонили нас.

Лишь через две недели отрядный все же упек меня в карцер на семь суток. В постановлении говорилось, что я «одет полностью». После карцера выдали мне спецовку; за что же, спрашивается, я сидел неделю? Да с кого спросишь?

Тем временем проходила зима, а с нею и срок шел к концу. С кумом Антоновым у меня не было не только стычек, но и вообще встреч, но его угроза висела надо мной, как топор. Было несколько мелких стычек с начальником КВЧ, майором, когда мне прибыли две книжные бандероли. Он не хотел мне их отдавать:

— Вас сюда прислали срок отбывать, а не книжки читать. Мало вам лагерной библиотеки!

— Мало.

— Книжки со свободы отдавать не будем.

— Почему?

— Почему, почему! Грамотные сильно стали все, права свои знаете, как что не по вас — только и слышишь: почему, за что, на каких основаниях?

— Ну а все же почему нельзя книжки получать с воли?

— Знаем, как в лагере книжки читают: начинают с Флобера, а потом онанизмом занимаются!

Хотел я спросить начальника культурно-воспитательной части, сам-то он читал ли этого писателя, проверил ли на себе его воздействие? Но не решился вести бой на незнакомой мне местности: я Флобера не читал. И потому спросил о другом:

— А Ленина читать в лагере можно?

Майор, помолчав, спокойно ответил:

— Ленина — это мы подумаем.

Все же отдал он мне мои бандероли, поскольку там был не Флобер, а что-то, на его взгляд, более безопасное.

Весной я снова угодил в карцер, и повод был аналогичный первому: я отказался выходить на работу, на этот раз не выходя и в рабочую зону. Мы в это время заливали гудроном крышу гаража, приходилось таскать носилки по узенькому скользкому трапу без перил и ограждений на пятиметровую высоту. Бывало,

что с трапа срывались и здоровые парни, у меня же головокружение, «запрещена работа на высоте». Когда я сказал об этом отрядному, он съязвил: «Подумаешь, высота! Не в космос тебя запускают!» Другой работы мне не дали.

Когда я слетел-таки с трапа вместе с носилками, то решил, что, чем покалечиться на лагерной работе, лучше уж остаток срока отсидеть в карцере, пусть и на штрафном пайке. Мне к этому времени оставалось до конца всего два с половиной месяца.

20 мая кончились мои пятнадцать суток отсидки. Если я снова не выйду на работу, меня опять посадят. Но в промежутке я успею в зоне помыться с мылом (в Ныробе в карцере отбирали и мыло, и зубную щетку: «Это вам не санаторий!») и получить письма, накопившиеся за две недели.

Однако в зону меня не выпустили: объявили, что отправят на этап в другой лагерь.

Вот тебе на! За два месяца до конца срока — в новый лагерь! Что-то это не к добру, подумал я. Мне даже вещи не дали собрать, принесли прямо на вахту собранный в бараке без меня узелок. Проверяю — нет главного для меня, моих тетрадок с записями. Было у меня их четыре, а отдают одну, в которой мои выписки из Герцена, Короленко, Успенского и других книг. Те три, в которых мои собственные записи, восстановленные после пермского шмона планы задуманных повестей, снова остались в руках главных оценщиков худлитературы.

Каши они из этих записок никакой не сварят: «Случай на выемке», «Пиковая дама» — что дадут им такие записи? Ничего ровным счетом. Впрочем, одно им полезно и приятно: то, что у меня этих тетрадок не будет.

Потом, уже на воле, у меня еще трижды отбирали на обысках все, что я успевал написать: планы, черновики. Неужели все это лежит где-нибудь в хранилище КГБ в ячейке на букву «М»? Нет, наверное, сожгли в специальном крематории для рукописей, предварительно вынеся резолюцию: «материалы могут быть использованы для написания антисоветских произведений» — именно такое заключение предъявили мне в КГБ Москвы в 1974 году. Кто же эти эксперты? Литературоведы — кандидаты и доктора наук? Или рядовые «литературоведы в штатском»? Вот интересно бы это узнать!

Владимир Максимов стыдил меня и ругал за то, что я не умею работать, как полагается советскому писателю: писать надо, говорил он, сразу в нескольких экземплярах — и сразу прятать написанное в разных местах. Он, Максимов, только так и пишет. Что-то отберут, но хоть один экземпляр останется.

Не это ли имел в виду Л.З. в своей телеграмме: «…вы можете

и должны стать настоящим профессиональным писателем»? То есть, как говорит Солженицын, писателем-подпольщиком. Учусь этому, учусь. По правде говоря, этому научиться все же проще, чем научиться писать.

* * *

Меня и еще четырех зэков отправили на машине в Валай — это, как говорили, самый паршивый из всех ныробских лагерей.

Действительно, и сам дальний таежный поселок, и лагерек, куда нас привезли, вызывал уныние одним своим видом: что дома в поселке, что бараки в зоне — ветхие, гнилые, осевшие в землю по самые окна. Если кто идет мимо барака, то из окна видны одни ноги. Кажется, подуй ветер посильнее, толкни крайний домишко, и все постройки свалятся друг за дружкой, как выстроенные в ряд костяшки домино. И эти постройки стоят среди сплошной тайги, откуда идет лес на новостройки по всей стране! То ли люди здесь живут ленивые, то ли чувствуют себя временными жителями. Зона в это время года — в мае — утопала в грязи настолько, что ни машина, ни даже трактор гусеничный не могли в нее въехать. Даже дрова для бани и столовой сваливали снаружи возле вахты, и каждый зэк, возвращаясь с работы, должен был прихватить чурку и оттащить на место. Зэки путешествовали между бараками по узким дощатым настилам, и не всегда им удавалось преодолеть без потерь грязевую преграду: бывало, оставляли в топи обувку, вытаскивать ее приходилось руками. Оттаявшие помойки и сортиры распространяли по всей зоне страшное зловоние.

Здесь я увидел остроумное приспособление для колки дров. Помню, когда мне в больничной зоне в Мордовии приходилось топить печи, я мучился, пытаясь расколоть чурку дров: хоть зубами грызи ее, топора-то в зоне «нэ положено». На Валае в зоне топор есть, вернее, не топор, а колун без топорища. Но взять его в руки одному мужику нельзя: он приварен тупой стороной к большой и тяжелой железной платформе. Бери полено и бей его об колун! Можно подавать заявку в бюро рационализации и изобретений.

На Валае я столкнулся с явлением, знакомым мне еще по Карлагу. Мы, новички, пришли первый раз в столовую на ужин. Все столы заняты, нам с нашими мисками приткнуться негде. Смотрим, один стол почти пустой, сидят за ним трое-четверо. Сели мы за этот стол, едим; другие зэки, здешние старожилы, глядят на нас, пересмеиваются. Наконец подходит один к нам:

— Вы, парни, за этот стол не садитесь: он для педерастов.

Вот оно что! Среди этой бесправной, униженной массы есть самые низкие, своя каста «неприкасаемых». Так было и в Карлаге. Педерасты (но не все, а именно пассивные; активные ходят в героях) — самая забитая, самая бесправная часть лагерного населения, с ними каждый зэк может сделать все, что угодно: выгнать из столовой, сбросить с нар, заставить работать задарма на бригаду. Большинство этих бедняг — молодые ребята, некоторые стали педерастами еще в колонии для малолетних. Свое унижение они воспринимают как законное, пожаловаться им некому…

Но продолжить наблюдения лагерного быта на новом месте мне не пришлось. Через неделю после прибытия меня вызвали в штаб, и прокурор из Перми Камаев предъявил мне две казенные бумаги: по ходатайству Антонова, ныробского кума, против меня возбуждено уголовное дело по статье 190-1; вторая бумага — постановление об аресте, о взятии меня под стражу. Как будто я и так в зоне не под стражей! Нет — теперь меня будут держать в следственной камере при карцере.

Ну, так: Антонов слов на ветер не бросает!

Первое, что я сделал, — заявил и устно, и письменно, что Антонов намеренно сфабриковал дело, что он обещал мне это еще в первый же день в Ныробе.

— Марченко, подумайте, что вы говорите! — Камаев старается держаться «интеллигентно», разъясняет, опровергает меня без окриков. Он прокурор, он объективен, он не из лагеря, а «со стороны». Это человек лет тридцати — тридцати пяти, аккуратный, белозубый, приветливый, его даже шокирует моя враждебность.

— Зачем Антонову или мне фабриковать на вас дело? У нас есть закон, мы всегда действуем по закону…

— Да, да, лет тридцать назад миллионы соотечественников были все шпионы и диверсанты — по закону, знаю.

— Что вы знаете?! Зря при советской власти никого не сажали, не расстреливали. Заварил Хрущев кашу с реабилитацией, а теперь партия расхлебывай!

— И это говорит прокурор!

— Скажите, и вас ни за что посадили? Не занимались бы писаниной, сюда не попали бы!

— Между прочим, у меня обвинение не за писанину, а за нарушение паспортных правил.

— Мало ли что в обвинении. Книжки писать тоже с умом надо. Писатель! — восемь классов образования!

— У вашего основоположника соцреализма, помнится, и того

меньше.

— Что вы себя с Горьким сравниваете! Он такую школу жизни прошел — настоящие университеты!

— В вашем Уголовном кодексе эти университеты теперь квалифицируются соответствующей статьей: бродяжничество.

— Марченко, Марченко, сами вы себя выдаете: «ваш Горький», «ваш кодекс», — передразнивает меня Камаев. — Сами-то вы, значит, не наш!

— Так в этом, что ли, мое преступление? «Наш» — «не наш»? Это какая же статья?

— Знаете законы, сразу видно. — Камаев переходит на сугубо официальный тон. — Оперуполномоченный Антонов получил сигналы, что вы систематически занимаетесь распространением клеветы и измышлений, порочащих наш строй. Можете ознакомиться, — он вынимает из папки несколько бумажек и протягивает мне.

Это «объяснения» заключенных из Ныроба. В каждом говорится, что Марченко на рабочем объекте и в жилой зоне распространял клевету на наш советский строй и на нашу партию. Таких «улик» можно получить не три, а тридцать три, сколько угодно.

В уголовном лагере и на работе, и в жилой зоне идет непрерывный пустейший треп. Зэки без конца спорят на все темы, в том числе и на политические. Здесь можно услышать что угодно: от сведений, составляющих государственную тайну, и до живых картинок об интимных отношениях между членами правительства или Политбюро. У каждого, конечно, самая «достоверная информация». Попробуйте усомниться! Лагерная полемика не знает удержу, и в пылу спора из-за пустяка то и дело в ход идут кулаки. Лучше всего не ввязываться в эти диспуты. Даже когда спорящие обращаются к вам как к арбитру, остерегайтесь! Вы знаете, что все они несут чушь, но если попробуете им противоречить, опровергать их, то они объединятся против вас. Только что они готовы были друг другу перервать глотку, сейчас они сообща перервут ее вам!

Эта картина знакома мне еще по Карлагу, по 1950-м годам. Здесь, в Ныробе, в конце 1960-х, я наблюдал и слышал то же самое. Иногда спорящие обращались ко мне. Я обычно отмахивался или говорил, что не знаю. На это непременно следовал ответ:

— Е… в рот, а еще читает все время!

Вот я лежу в бараке на своей кровати, читаю. В проходе несколько зэков спорят до хрипоты, со взаимными оскорбительными выпадами. Один из них трясет мою кровать за

спинку:

— Глухой, ну вот ты скажи, ведь в натуре Ленин был педерастом?

Что сказать на это?

У меня не раз, бывало, возникала мысль, уж не провокация ли это? Да только я слишком хорошо знал лагерь и его обитателей: такой треп обычен везде и всегда в тюрьмах и лагерях.

— Глухой, ты вот до х… читаешь. Скажи, ведь точно, что Фурцеву все правительство…?

Меня выручает сосед справа, Виктор:

— Кому она там нужна? Она только в газетах такая красивая да молодая! А Брежневу девочек приводят! Комсомолок!

— Слушай, — говорю я тому, кто спрашивал, — ты вот болтаешь от нечего делать что тебе в башку взбредет, а когда тебя возьмут за жопу, то будешь валить на любого, лишь бы самому отвертеться!

— А у меня образования всего лишь десять классов! Сейчас за болтовню сажают только с высшим образованием! — И это с полной убежденностью, что так оно и есть на самом деле.

Доказывать и рассказывать, что посадить могут любого, независимо от образования? Что я сидел с такими, у кого образование пять-шесть классов и кто угодил в политлагерь по 70-й статье за анекдоты? Вот как раз и будет с моей стороны агитация, пропаганда, клевета, измышления — весь букет хоть на 190-1, хоть и на 70-ю.

Если учесть, что уголовный лагерь живет по принципу: «умри ты сегодня, а я завтра», — то в такой атмосфере сфабриковать обвинение по статье 190-1 оперу ничего не стоит. Всегда он может подобрать нескольких провокаторов, которые, кто за посылку, кто за свидание или досрочное освобождение, дадут любые показания на кого угодно. Главное, из-за безответственного трепа почти каждый зэк у кума на крючке, каждого есть чем шантажировать. Это было проделано Антоновым при фабрикации моего обвинения, о чем мне позже скажут сами зэки.

Липовое мое дело, состряпанное Антоновым, оказывается непробиваемым: масса «свидетельских» показаний — «Марченко неоднократно говорил», «всегда клеветал», «я сам слышал», а других доказательств не требуется. Статья 190-1, предусматривающая как письменные, так и устные «измышления», позволяет судить за слово, за звук, не оставивший материального следа. Так что, друг, если двое говорят, что ты пьян, иди и ложись спать!

Конечно, при низком уровне общей и юридической культуры

Антонова и его свидетелей (какое там низкий — нулевой! со знаком «минус»!) в деле повсюду торчат ослиные уши, и Камаев мог бы их заметить. Свидетельские показания не стыкуются между собой, то есть не подкрепляют друг друга. Один свидетель показывает, что Марченко такого-то числа января месяца говорил то-то и то-то, а другой сообщает о другом высказывании и уже в другое время. И как они помнят в мае, какого числа и что именно сказал я в январе? Большинство показаний носит общий оценочный характер: «клеветал», «измышлял», «порочил». А те, которые содержат конкретный «материал», поневоле вызывают у меня смех. Вот показания: «Марченко утверждал, что Пастернак в „Докторе Живаго" правильно изобразил советских женщин, что у них ноги кривые и чулки перекручены». Мозги перекручены у этого парня или у Антонова, который, наверное, ему диктовал. Ни с кем в лагере я не говорил ни о Пастернаке, ни о Синявском, тем более не повторял газетную чушь. А свидетеля этого я помню: недавно он с пеной у рта доказывал соседу, что в Соединенных Штатах язык американский, а английский — это в Англии, и дураку ясно.

Я указываю Камаеву на несуразность в показаниях.

— Что же, все вас оговаривают?

— Может, и не все, только в дело попали нужные Антонову свидетельства.

— Вы хотите сказать, что были и другие? Марченко, в дело вносятся все свидетельские показания, все протоколы нумеруются. Таков закон, — важно говорит Камаев.

Я объяснил Камаеву и то, что насчет «Доктора Живаго» мне приписывают ерунду — я как раз недавно читал роман, помню, что там есть и чего нет. А вот свидетель, конечно, не читал и несет бог весть что от моего имени.

Когда месяца полтора спустя я знакомился со своим делом, стал искать там эти показания и не нашел.

— Где же они? — спрашиваю Камаева.

— На месте, конечно, где им быть? Да зачем вам, вы же их хорошо помните.

Снова листаю дело — нет их. Нет и других показаний, будто я «восхвалял американскую технику и клеветнически утверждал, что американцы переплюнут наших и первыми будут на Луне». Когда мы говорили об этом с Камаевым, я сказал, что, хотя показания эти ложные, я действительно высокого мнения об американской технике и думаю, что они первыми высадятся на Луне. Разговор был в мае-июне. А ко времени знакомства с делом, в конце июля, как раз американские космонавты прошлись по лунной поверхности. И вот я не нахожу в деле и этого протокола.

Где же он?

— Найдем, найдем, сейчас найдем, — бормочет прокурор, листая дело и косясь на присутствующего здесь московского адвоката, Дину Исааковну Каминскую, а я уже по лицу его вижу: знает он, что ничего не найдет. — Нет. Значит, таких показаний не было. Вы что-то перепутали, Марченко!

Вот так. «Таков закон».

Между прочим, пока я сидел в следственной камере на Валае, мне пришлось узнать Камаева еще в одном воплощении. Зэки в карцере и ПКТ пронюхали, что здесь прокурор по надзору, и стали требовать его посещения: были у них жалобы. Каждый день я слышал крики: «Прокурора сюда! Зови прокурора!» — и в ответ могучую матерщину надзирателей. А однажды в коридоре раздался голос самого Камаева (пришел-таки!):

— А! Раз… вашу мать, прокурора вам?!

Камаев показал класс матерной ругани не ниже самих зэков и надзирателей.

Продержав недели две в следственной камере, меня отправили в Соликамск — до Ныроба на грузовике, а от Ныроба до места везли в «воронке» под двумя запорами: «воронок» заперт да еще тесный бокс, куда меня затолкали, тоже на задвижке с замком. В боксе темно, ни щелочки. По остановке, по тому, как идет машина, потом снова остановилась, — догадываюсь, что въехали на паром. Значит, Чердынь. Будем переправляться через Вишеру.

Неприятное ощущение охватывает при переправе через реку вот таким макаром: запертым в «воронке», да еще в отдельном боксе. Я слышал, будто по инструкции МВД при переправе двери камеры в «воронках» должны быть открыты на случай аварии. Это только слухи — про существование такой инструкции. Есть она или это выдумка, не знаю.

Сидеть в «воронке» запертым в тесном боксе, обшитом железом, — очень неприятно. Так и представляешь себя в этом железном ящике падающим вместе с машиной с парома в реку. Кто ездил в наших «воронках», тот знает, что такое здешние запоры и замки, задвижки. Их и в нормальных условиях открыть или закрыть проблема, конвоир долго возится, пока защелкнет замок. А уж в суматохе-то, да под угрозой гибели самого конвоира — не надейся, что тебя откроют, если машина скатится с парома в воду.

На память приходят рассказы заключенных, как такие вот «воронки» с зэками тонули и все зэки гибли.

Вспомнишь все трагедии, что тебе пришлось слышать о судьбе зэковской: то машина при переезде зимой через реку ушла

под лед вместе с конвоем и зэками, то где-то под Свердловском загорелся вагонзак и конвой выскочил, а зэков так и не выпустили, опасаясь, что разбегутся, все они заживо сгорели. Правда это все или фантазии — попробуй узнай! Ведь если такое и произойдет — ни одна газета об этом нам не сообщит.

В Соликамске, как в каждом порядочном городе, есть, кроме пересылки, своя тюрьма. Она расположена в бывшем монастыре. Поснимали только маковки со всех строений.

Поместили меня вначале одного в тройник, а на четвертый или пятый день ко мне поселили молодого парня лет двадцати двух. Он вошел с таким затравленным видом, пугливо посматривая на меня, что я посчитал его «чокнутым». После он мне открылся, и мне стала понятна его настороженность: начальник режима сказал ему, что в наказание за драку посадит к такому лагерному тигру, который его живьем съест и косточек не оставит.

— Он мне такого наговорил, что я здесь две ночи не спал, боялся тебя, — говорил сокамерник, теперь уже посмеиваясь. — У тебя, мол, пять судимостей и все тяжелые, с убийствами!

Пару раз меня вызывали и водили к Камаеву. Самим делом он мало интересовался. Любил он поговорить «без записей в протокол», просто так. А тема у него одна: зачем писал, зачем суешь нос, куда никто не просит! И вывод один: свободы мне не видать.

В какой-то день меня вызывают из камеры, опять заталкивают в бокс «воронка» — куда, зачем везут, неизвестно. Но путь недолог. Привезли на вокзал, прямо к вагонзаку. Как обычно, все камеры битком набиты, а меня, прямо как короля, помещают одного в тройник. Правда, такой тройник — сверх решетки железная дверь с глазком — в вагонзаке служит карцером для особенно беспокойных пассажиров. Зато один! Впрочем, вначале нас четверо: я и трое конвоиров. Велят раздеться догола и производят шмон по всем правилам: «Присядь! Раздвинь ягодицы! Подними яйца!» Прощупывают, раньше чем вернуть, всю одежду, разламывают хлебную пайку. Что за честь, куда везут, уж не за границу ли? Чтоб не вывез буржуям в заднице бутылку «столичной»?

Нет, всего только в Пермь. Здесь сверхбдительность продолжается. У вагона всех заключенных выстраивают в колонну — впереди малосрочники, сзади, под носом у овчарок и конвойных, особо опасные рецидивисты в полосатых робах. На удивление всей колонне, меня ставят в хвосте, позади «полосатых», и конвоир приковывает меня к себе наручниками: один защелкивает на моей руке, а второй на своей.

То ли меня сверх меры боятся — как смертника, которому нечего терять, — то ли сверх меры берегут. Для чего?

А вот для чего. В Перми меня из тюрьмы снова повезли куда-то. Привезли, осматриваюсь: ходят мимо одни в белых халатах, другие в пижамах. Ясно — психушка. Взяли без вещей — значит, пока на экспертизу. Посмотрим, что это за процедура; четвертый раз я под судом, а на психэкспертизу попадаю впервые.

В большом кабинете мне предлагают сесть за стол, за которым сидят уже пять-шесть врачей — мужчин и женщин. За моей спиной переминаются двое: тюремный офицер и какой-то тип в штатском.

Беседу со мной ведет женщина средних лет. Она задает примитивно-провокационные вопросы: «Знаете ли вы, где сейчас находитесь?», «Почему вы здесь?», «Считаете вы себя больным или здоровым?»

Я отвечаю резко: меня раздражает и слащавый тон, и топтание типа в штатском, и игра во врачебную объективность, в которую хотят втянуть и меня. Я убежден, что если решено упечь меня в психушку, то и упекут с благословения врачей, а если хотят отправить в лагерь, так и на сто процентов чокнутого отправят именно в лагерь. Зачем же мне участвовать в их игре? Я решил вести свою игру, контрольную:

— Я отказываюсь беседовать с вами, так как вы все равно напишете то заключение, которого от вас потребуют.

— Если вы не отвечаете на наши вопросы, значит, вы больны, вы душевнобольной.

— По указке сверху вы напишете, что я болен, даже если я буду отвечать.

— Вы что, считаете себя таким знаменитым и великим, что вашу судьбу решают «сверху»?

— Точно, так и считаю. Можете отметить сразу две мании: величия и преследования.

— Послушайте, я ведь не следователь, а врач. Со следователем можете не разговаривать, если не хотите. Но мы, врачи, не имеем никакого отношения к вашему делу!

— А какое «дело» у вас в руках? — я показываю на толстую папку, которую она листает. — И почему здесь находятся эти люди? — киваю я назад, на офицера и штатского.

Хоть я и заявил, что отказываюсь отвечать, женщина продолжает задавать вопросы (заглядывая в папку): «Как вы относитесь к событиям в ЧССР?», «Какого вы мнения о жизни на Западе?», «Есть ли, по-вашему, в Советском Союзе свобода печати?»

— Скажите, вы каждому обследуемому задаете такие

вопросы? И как влияет ответ на выводы экспертизы? Например, я скажу, что в СССР есть свобода печати, — может, после этого вы посчитаете меня психом, я и спорить не буду!

— Читаете ли вы газеты? — меняет тему эксперт. — А книги? Каких писателей любите?

— Герцена, Щедрина, Успенского, Гоголя, Достоевского…

— Почему же вам нравятся только писатели прошлого века?

— Да нет, я люблю и современных.

— Кого? — вскидывается она.

— На этот вопрос я не отвечу: об этом идет речь в моем деле. (Кроме «восхваления» Пастернака мои «свидетели» приписывали мне также пропаганду среди них Солженицына и… Аксенова. Каюсь, Аксенова я до того не читал, знать не знал, что за криминальный автор. Спасибо куму Антонову, после лагеря прочел; хороший писатель, вот только чем он Антонову не угодил? Или уже был у ГБ на учете?)

В июле, знакомясь с делом, я узнал заключение экспертизы: личность психопатическая, полностью вменяем. Таким образом, мой эксперимент подтвердил гипотезу: как бы я себя ни вел, решение было вынесено заранее. Уж я ли не косил на психа и шизика, а вот, пожалуйста: вменяем, пожалуйте в лагерь!

После экспертизы просидел я в Перми еще недели две. Между прочим, мой сокамерник рассказал мне забавную историю о себе.

У него тоже не первая судимость. За что были прежние, не знаю, а на этот раз его обвиняли в использовании казенного материала на солидную сумму для левых работ — он работал художником-оформителем при клубе. Итак, у него были судимости и впереди маячил срок, а на его следователе висело нераскрытое преступление — ограбление магазина. И вот следователь решил по-хорошему договориться с моим сокамерником: тот берет на себя ограбление, а следователь обеспечивает ему (через знакомства в суде) минимальное наказание.

— Сначала я послал его на… — говорил мой сокамерник, — а после до меня дошло, что я могу его вые… Когда ограбили магазин, я был в командировке, и у меня все бумаги были чин чинарем. Следователь этого не знал.

На следующем допросе следователь опять ему предложил ту же сделку. Парень для виду поломался, потом выдвинул добавочные условия: принеси поллитровку и закусить — и беру магазин; делом больше или меньше — все одно в лагерь!

В тот же день следователь снова вызвал его к себе; когда конвойный ушел, достал из портфеля бутылку водки, колбасу, сыр, конфеты, курево и заготовленные уже протоколы допросов.

Парень выпил водку и подмахнул все протоколы не глядя. А по дороге в камеру прикинулся более пьяным, чем был. Его сразу в карцер, вызвали врача, тот засвидетельствовал опьянение. Прибежали опер и начальник режима: где водку брал?! Он все и рассказал, как было. Из карцера его наутро перевели в мою камеру. Следователя своего он больше не видел, дали ему другого.

Я вспомнил похожую лагерную историю. Там сейчас идет активная агитация, чтобы заключенные добровольно признавали свои нераскрытые преступления. Висят плакаты «Явка с повинной служит смягчению наказания», зэки широко оповещаются о случаях, когда такой-то по окончании срока снова попал под суд за не раскрытое ранее преступление и получил новый срок — сознался бы вовремя, отсидел бы все разом. Все-таки эта агитация мало действует: большинство преступников надеется на свою счастливую звезду. Но вот один наш заключенный в Ныробе решил «сознаться»: он узнал, что его сосед по бараку взял на себя чужое дело, тоже ограбление магазина. А это было как раз его, первого, преступление, оставшееся нераскрытым. Тогда он явился «с повинной» к Антонову, написал все, что требуется, был похвален и «поощрен» лагерными наградами: то ли внеочередной посылкой, то ли дополнительными двумя рублями на ларек. Но никакого разбирательства дела не последовало: оно ведь уже списано на другого. Таким образом наш заключенный, «вставший на путь исправления», без всякого риска «очистил свою совесть»…

К концу следствия отправили меня из пермской тюрьмы через Соликамск обратно в Ныроб — для проведения очных ставок и завершения прочих формальностей. То есть куда и зачем отправили, я, конечно, узнал, только прибыв на место: заключенного, хотя бы и подследственного, переставляют, как предмет, не уведомляя о цели. Везли по-прежнему «с почестями» — из Соликамска в Ныроб самолетом, со спецконвоем. Самолетик маленький, трехместный, так что кроме летчика и меня рядом с ним поместился только один конвоир — зато не рядовой, а офицер. Перед взлетом заковали мне за спиной руки в наручники, да еще привязали их моим же ремнем к сиденью.

— Да не собираюсь я прыгать без парашюта, — пошутил я.

— Ничего! Так спокойнее!

Никто мне не мешал осматривать тайгу под крылом самолета. Крыло было совсем рядом, и я видел, как оно вибрировало то ли от работы двигателя, то ли от встречного потока воздуха. Летим низко, все внизу отлично видно. Вот пролетаем какую-то реку, она петляет и извивается под нами, то отсвечивая, как зеркало, то, наоборот, темной лентой на фоне

окружающей зелени. А вдоль ее берегов видны нагромождения леса, приготовленного для сплава, но почему-то брошенного и гниющего здесь годами. Обычная картина на всех таежных сплавных реках — то же можно наблюдать, например, на реке Чуне около поселка Октябрьский. Только с самолета обзор шире, поэтому впечатление более мрачное.

В Ныробе начался спектакль «очных ставок». Одни вызывали у меня горечь и даже жалость к моим «свидетелям», другие были настолько нелепыми, что смешили и меня, и других участников. По поведению свидетелей я безошибочно определял, кто из них стопроцентный провокатор, а кто запутался в сетях Антонова.

Андреев, Сапожников, Николаев — зэки, продавшиеся Антонову кто за что. Они ведут себя развязно. Своих «показаний», записанных на допросах, они не помнят, но вовсе этим не смущаются. Камаев читает им их протоколы:

— Свидетель, это вы показывали на допросе?

— Точно, точно. Это самое я и говорил.

Как козырная карта идет у них Сапожников: у него значится образование десять классов. Такой свидетель выглядит приличнее. Он тужится, пыжится, пытается что-то вытащить из своей черепной коробки, но ничего не находит. Беспомощно смотрит на Камаева и Антонова, ожидая подсказки.

— Ну, — не выдерживает Антонов, — говорил Марченко на работе и в бараке, что за границей жизненный уровень выше, чем в Советском Союзе?

— Да, да, — с готовностью, обрадованно подхватил Сапожников, — я вспомнил это. Он много раз говорил так, что там живут лучше, чем у нас. Я его одергивал, пробовал не раз переубедить, но он продолжал клеветать.

— А где, я говорил, лучше живут, — в Эфиопии? — спрашиваю я.

— Какая разница, — неуверенно отвечает Сапожников, лакейски уставившись на Антонова.

— Марченко, вы неправильно себя ведете! — одергивает меня Камаев. — Повернитесь лицом ко мне, не оборачивайтесь к свидетелю! Вопросы можете задавать только через меня. Сапожников, продолжайте!

Но Сапожников больше ничего не может вспомнить. Тогда он предлагает:

— Вы пишите все, как надо, а я подпишу.

Иногда Камаев или Антонов, пользуясь моей глухотой, натаскивают свидетелей шепотом, так что я ничего не слышу, а только догадываюсь по движению губ, что они суфлируют. Чаще всего они читают по протоколу, и свидетель согласно кивает

головой.

В один из таких моментов я не выдержал, поднялся со стула и вышел в коридор. Я сказал Камаеву, что участвовать в таких очных ставках не буду.

Вслед за мной в коридор выскочил Антонов. Он схватил меня за воротник куртки и, накручивая воротник на руку, второй рукой бил кулаком под ребра. Я уже задыхался, так как воротник куртки здорово затягивался на моей шее. У меня появилось большое желание ткнуть Антонову в глаз пальцем, ударить его ногой — словом, отбиваться, а не терпеть пассивно его издевательства. Слава богу, я не успел этого сделать. В коридор вышел Камаев. Он быстро подошел к нам:

— Ладно, хватит с него, оставь!

Антонов отпустил меня и стал толкать в кабинет, шипя мне в ухо угрожающе: «Попробуй шумни! Только попробуй шумнуть!»

Он вызвал сюда же двух надзирателей, и те стояли наготове в дверях.

— Сейчас как напялим на тебя рубашку, так зассышь-засерешь! — еще не отдышавшись, утирая пот платком, орал на меня Антонов. — Будешь как миленький не только слушать, но и подпишешь все сам!

Даже сегодня я не могу спокойно вспоминать об этом.

А Камаев улыбается: «Марченко, учтите, никто вас не трогал, не душил».

Очные ставки продолжали идти тем же порядком. Я в них никакого участия не принимал, теперь даже сам старался ничего не слушать, что было не так уж трудно. Видя мое полное безучастие и внешнее безразличие, Камаев да и Антонов старались заводить меня посторонними разговорами, не по протоколу:

— Нет, Марченко, надо быть умнее. Книгу написал — а какой тебе прок? Слава где-то, а сам ты здесь, в лагере, и сидеть будешь, пока не сгниешь. Подумаешь, назвал одного-другого. Кто этого боится? Пожалуйста, вот о нас пусть хоть Би-би-си передает, хоть даже «Свобода». Ты наши фамилии знаешь, их мы не скрываем.

К этой теме они возвращались не раз:

— Можешь о нас передавать хоть в ООН, мы этого не боимся!

Так и вижу этих верных сынов отечества приникшими к транзистору в ожидании, что вражеские голоса не забудут и их имена.

Это своеобразное тщеславие очень характерно для низшей администрации. Лариса рассказывает, что начальник чунской милиции так же набивался на известность:

— Думаете, я боюсь, если вы передадите обо мне «Голосу Америки»? Я этого не боюсь. Моя фамилия Владимиров.

(Тогда же он спрашивал: «А кого вы больше не любите: милицию или КГБ?» И с удовольствием услышал, что к милиции Лариса относится вполне лояльно, уважает ее функции. Видно, оценка политической ссыльной все же нужна была ему для самоуважения.)

После целой череды зэков из колоды вытаскивают козырного туза: состоится опознание и очная ставка с вольнонаемным Рыбалко.

— Пожалуйста, это человек вольный, от Антонова не зависит. Он тоже дает показания против вас, — торжествуя, сообщает Камаев.

— Я никакого Рыбалко не знаю, в глаза не видел.

— Зато он вас знает очень хорошо, вы в этом убедитесь.

Опознание обставлено по всем правилам: присутствуют трое понятых (зэки), Камаев как прокурор руководит процедурой. В каком качестве участвует в ней Антонов, я не понимаю, но он хлопочет, все организует. В конце кабинета стоят три стула, на двух из них уже сидят два зэка, Антонов велит мне сесть на свободный стул. Из нас троих Рыбалко должен узнать Марченко и все рассказать об этом зловещем типе.

Антонов выходит, чтобы ввести Рыбалко. Я поднимаюсь и говорю: «Прошу пока не вводить свидетеля».

— А в чем дело? — удивляется Камаев.

— Я хочу пересесть на другое место, — заявляю Камаеву.

— Пересаживайтесь, — Камаев изображает беспристрастность, а может, не в курсе игры Антонова в этом случае.

Я меняюсь местами с одним из зэков. Потом предлагаю ему же:

— Давай, земляк, поменяемся на время игры обувкой.

Зэк довольно охотно и весело соглашается, и мы переобуваемся: я в его тапочки, он в мои сапоги. Второго, справа от себя, прошу:

— Подержи, пожалуйста, в руках мой «домик» (шапку-ушанку).

После этого говорю Камаеву:

— Я готов.

Камаев кивает надзирателю, и тот открывает дверь. Первым входит человек среднего роста, чернявый, в вольной одежде. Я его действительно не могу припомнить, ручаюсь, что никогда не видел. За ним появляется Антонов. Он намеренно не смотрит в мою сторону, стоит к нам троим спиной, лицом к Камаеву:

демонстрирует свое безразличие. В зубах у него сигарета.

Камаев объясняет Рыбалко его обязанности.

— Вам все понятно, свидетель Рыбалко?

— Да, я все понял.

— Теперь повернитесь лицом к трем заключенным и укажите, кто из них занимался распространением клеветы в адрес партии и правительства. Опознайте среди этих трех Марченко.

Рыбалко поворачивается в нашу сторону и сразу, ни секунды не помедлив, указывает пальцем на того зэка, с кем я только что поменялся местами и обувью.

— Вот это Марченко. Я его узнаю. Это он говорил, что…

И понес Рыбалко повторять, что записано в протоколах его допроса: когда он, мастер, приходил на объект, то слышал среди заключенных споры на политические темы. Один из заключенных, а именно вот этот, Марченко (он снова показывает на моего соседа), всегда клеветал на советскую власть, превозносил заграничный образ жизни, утверждал, что в нашей стране отсутствуют свобода слова, печати, собраний. Однажды Марченко стал называть нашу помощь чехословацкому народу оккупацией. Тогда мы с ним сцепились так, что нас еле растащили другие заключенные. И еще он клеветал, что в вооруженном конфликте с Китаем на острове Даманском виновато советское правительство.

— Рыбалко, всмотритесь внимательней, — настораживает его Камаев, — не ошибаетесь ли вы? Действительно ли это Марченко, а не другой кто из трех?

Рыбалко воспринимает это предостережение как намек, чтоб он уверенней подтвердил. Он еще более рьяно подтверждает:

— Да, да, это он — Марченко, я его отлично помню!

— Может, вы ошибаетесь, Рыбалко? Посмотрите повнимательней! Действительно ли вы узнали Марченко?

И Рыбалко старается:

— Как я могу ошибиться, я ему чуть в морду не дал, когда он клеветал! Я его на всю жизнь запомнил и никогда не забуду!

— Как мне теперь доказать, что я не верблюд? — вполголоса проговорил тот зэк, на которого так нагло-уверенно пер Рыбалко.

Тут Антонов повернул голову в нашу сторону. Увидев, что я сижу не с краю, а посередине и Рыбалко тычет пальцем не в меня, он побагровел и лишился дара речи. Сигарета запрыгала у него на губе.

— Я не Марченко, — мой сосед, видно, решил кончать игру. — Вот Марченко! — и он указал на меня.

Рыбалко растерянно моргал и непонимающе смотрел на Антонова.

— Вот так и срок намотают, — сказал зэк справа, — и знать

не будешь, за что!

— Да, — заговорил наконец Камаев, — ошиблись вы, Рыбалко! Указали на другого. Не узнали Марченко!

Теперь только Рыбалко окончательно понял свой промах! И он не придумал ничего другого, как под смех и понятых, и моих соседей затараторить: «Да-да, я сейчас его узнал по голосу! Это он!»

— Как же ты узнал мой голос, если я просидел все это время молча?

— Узнал я его, узнал!

Камаев кричал на всех, чтоб прекратили смех и не мешали работать. Я потребовал, чтоб он сейчас же составил протокол об опознании, и ему пришлось записать: Рыбалко не узнал Марченко, указал на другого человека.

Это был единственный документ, который подписал и я.

Под конец мой сосед справа добавил еще одну деталь. Он порывался что-то сказать, когда только ввели Рыбалко, но Камаев шикнул на него. Теперь он сделал заявление:

— Какое это опознание, если я хорошо знаю Рыбалко и он меня знает по фамилии и в лицо. Он был у нас начальником конвоя и каждый день водил на работу.

Я спросил Камаева:

— Ну, так фабрикует Антонов дело или нет?

— Вас Рыбалко не узнал, при чем тут Антонов! — ответил прокурор.

По дороге в камеру надзиратель меня подбадривал: выгонят тебя теперь, у Антонова ни х… не вышло!

А в коридоре ШИЗО выпалил дежурному офицеру и надзирателю весело:

— Вот он их вы…! Прямо кино!

Некоторые ведут себя на очной ставке не так нагло, как Рыбалко или Сапожников; вид у них затравленный, они не глядят ни на меня, ни на Антонова с Камаевым, на их вопросы отвечают нехотя, через силу, озлобленно, как лают: «Ну, говорил!», «Не помню я, может, и так»… Ясно, эти попались Антонову на крючок — то ли из-за собственного трепа, то ли еще за какую провинность. Провокаторы вроде Андреева или Сапожникова помогли им стать лжесвидетелями, и, хотя они не устояли, удовольствия от того, что врут мне в глаза, не получают никакого. Вроде даже приходится мне их пожалеть.

Но врут все. Не знаю, возможно ли в это поверить: *нет ни одного* правдивого слова, показания. Ни одного.

Мне, конечно, не удастся доказать это суду, я и не надеюсь. Но того хуже: мои друзья, вероятно, решат, что я вел себя в

лагере опрометчиво и неосторожно, вряд ли они поймут, что все дело, от первого до последнего слова, — беззастенчивая ложь. Ведь в основе обвинения лежит то, что я действительно думаю, что соответствует моим взглядам и мнениям. Да, я знаю, в США уровень жизни несравнимо выше, чем в СССР. Да, я думаю, что мы сильно отстали в развитии техники. Да, я вижу: у нас нет свободы слова и печати, собраний тем более. Да, я считаю «братскую помощь» Чехословакии в 1968 году оккупацией, агрессией, как ее определяет международное право.

Только в лагере я никому, ничего, никогда об этом не говорил.

Вот на очной ставке мой сосед по кровати. Он москвич, бывший таксист, а нынче классический уголовник: пьяница и наркоман, готовый украсть у товарища по несчастью последний рубль на картежную игру, откровенный стукач — частый посетитель кабинета Антонова. Помню, орет он на весь барак о чехах и словаках: «Да их, б…ей, всех до одного передушить надо! Мы их освободили, а они против нас! х… ли с ними возиться? Пустить тысячу бульдозеров и сровнять все с землей! Все с корнем под гусеницы!»

За эти кровожадные призывы никого под суд не отдадут. Именно такие патриоты-уголовники и составляют фундамент нашего идеологического единства.

Правду говоря, большинство в бараке разделяют его «критику справа», а остальные просто не проявляют интереса к событиям, происходящим дальше, чем за двести метров от их задницы.

Зиму и весну 1969 года первое, что я читал в газетах, были сообщения о Чехословакии. Судьба этой страны стала для меня такой же близкой, как и судьба моего народа. Но поделиться в лагере своими переживаниями мне было не с кем. Прочитав газету, я уходил из барака, прогуливался позади него по моей индивидуальной тропинке и переживал наедине. В барак возвращался по сигналу «отбой», чтобы сразу лечь и не видеть и не слышать окружающей мерзости.

Этот самый наркоман свидетельствует: «Марченко называл ввод советских войск в ЧССР оккупацией, я старался его переубедить, но он продолжал клеветать». Как похоже на правду! Да стал ли бы я излагать этому подонку свои взгляды не только на политику КПСС, а и на вчерашний обед в лагерной столовой?

Однако как мне опровергать такие показания? Мол, я не такой, я не против политики партии, я все думаю правильно, как полагается советскому человеку? Этого я не сделаю.

Вот я у Камаева оспариваю показания таксиста.

— Вы же сами, Марченко, писали это в письме о

Чехословакии, — ехидно замечает Камаев.

При знакомстве с делом Дина Исааковна, мой адвокат, читая вместе со мной эти показания, смотрит на меня выжидающе: что я скажу.

— Дина Исааковна, это такая же ложь, как и все остальное.

И она осторожно мне намекает:

— Анатолий, может быть, вы все же говорили что-нибудь подобное? Не так, как здесь выражено, но по существу…

Трудно поверить, что все, все вранье. Тем более что Дина Исааковна тоже, наверное, знает мое открытое письмо в «Руде право» и другие газеты.

Если ваши взгляды не такие, каких сегодня требует «линия КПСС», — вы попадаете в порочный круг. Советские руководители твердят всему миру: «В СССР за убеждения никого не преследуют, советский закон признает право гражданина иметь любые убеждения». Но никому о них не заикайся! Два собеседника — это два свидетеля, что ты вел агитацию, пропаганду, клеветал, подрывал и совершал прочие «противозаконные деяния».

Предположим, я согласился с правилами игры и держу свои мысли при себе, для себя. Тогда я враг не только вредный, но и коварный, трусливый. «Голосует *за,* а сам *против»,* — как говаривал покойный Иосиф Виссарионович. Как опознать такого коварного врага и обезвредить его? Вообще-то для этого все средства хороши, но в разные периоды истории СССР преимущество отдавалось то одним, то другим. Ленин с Дзержинским предпочитали провокацию: ну, ясно же, что попы, либеральная интеллигенция, бывшие офицеры — все это люди чуждые, враги в потенции, так вызвать их, заставить пойти на такие поступки или заявления, за которые прилично будет расстрелять, отправить на Соловки. Сталинская когорта не затрудняла себя подыскиванием или созданием поводов — уничтожала противную мысль в зародыше и даже раньше, вместе с ее воображаемым потенциальным родителем.

Нынче восстановлена ленинская законность, но кое-что полезное переняли от более поздних времен творческого марксизма.

На воле в 1968 году почему-то сочли неудобным судить меня за открыто высказанное мое отношение к нескольким важным проблемам — «у нас за убеждения не судят». Мое ныробское начальство узнает о них каким-то потусторонним образом — с помощью телепатии, службы информации КГБ, внутренний голос им сообщает, заодно тот же внутренний голос внушает им дать мне статью 190-1. Ну так, раз все известно, что я держу в голове своей, — провокация, фальшивка сойдет! Не отопрусь же я от

своих взглядов.

Так или иначе, ни одно преступление у нас не должно остаться безнаказанным.

Так что со свободой убеждений дело обстоит в точности по новейшему анекдоту: «Товарищ юрист, скажите, имею ли я право…» — «Имеете, товарищ». — «Позвольте, вы же не знаете, о чем речь. Имею ли я право на…» — «Имеете право, имеете». — «Пожалуйста, выслушайте меня. Могу ли я…» — «А! Нет, не можете». Вот так: право имеете, но не можете.

Забавная деталь в моем деле: никто не свидетельствует, будто я высказывался о тюрьмах и лагерях. Получается, я им вкручивал насчет какой-то Чехословакии с ее чехословацким языком, насчет свободы слова (притом, кажется, не матерного), насчет неведомого Пастернака-Аксенова и даже не заикнулся о том, что им ближе всего: о штрафном пайке и карцере, о самоубийцах и беглецах… Вот где могла быть почва для пропаганды. Нет, информацию об этих моих высказываниях Антонов с Камаевым не доверили даже самым верным своим стукачам и провокаторам.

…А каков уровень, какова форма приписываемых мне «измышлений»! «Коммунисты выпили из меня всю кровь! — будто бы кричал я в карцере. — Не буду работать на коммунистов!» Оба выкрика квалифицируются как «клеветнические лозунги». Надо сказать, и то и другое довольно часто орут в лагере, в карцере, в тюрьме, это обычная формула выражения недовольства; повод может быть любой: не дали (отобрали!) курево, перевели в другую бригаду, отняли на шмоне теплые носки, не удалось достать морфий… Естественно, на такие вопли (плюс матерщина) никто не обращает внимания. Но когда надо было с чего-нибудь начать мое дело, Антонов извлек из своих мозгов единственный известный ему, прочно там засевший «лозунг»: «Коммунисты выпили из меня всю кровь!» Унизительно доказывать, что я не произносил этих слов.

Какую же позицию может занять здесь адвокат, мой защитник на суде? Ладно, я буду монотонно повторять: «Это ложь. И это ложь. Ничего этого не было». Я-то знаю, что дело фальшивое. И свидетели знают, и обвинитель. Адвокат должен опровергать обвинение фактами — здесь фактов нет и быть не может, одни слова с обеих сторон: «Было» — «Не было». В каком положении окажется мой адвокат перед этой бандой? И я решил на суде отказаться от защитника, чтобы не ставить Дину Исааковну в дурацкое положение. Буду вести свою защиту сам, все равно исход суда предрешен.

Суд «открытый». Чуть ли не показательный: в будний день в

помещении библиотеки, где он происходит, полным-полно зэков вперемежку с надзирателями и офицерами.

Я не ждал на суде ничего нового, приготовился услышать то, что уже читал в протоколах и слышал на очных ставках. Но я ошибся, переоценил срепетированность спектакля, переоценил старательность режиссера. Судебное разбирательство принесло мне несколько приятных для меня неожиданностей.

Провалился эпизод с выкрикиванием в карцере «клеветнических лозунгов». В деле он выглядел так: четыре свидетеля — дневальный ШИЗО зэк Седов, два надзирателя и зэк Дмитриенко, ремонтировавший печи в коридоре, — написали четыре заявления, что такого-то числа заключенный Марченко всякий раз, как открывали кормушку, выкрикивал в нее эти самые «лозунги».

Ни одного из них я не видел на очной ставке. И вот на суде вызывают Дмитриенко. Я помню его заявление и жду соответствующих показаний.

— Свидетель Дмитриенко, вы знаете подсудимого Марченко?

— Нет, я его вижу впервые.

— Как?! А ваше заявление?!

— Да, я написал заявление по указанию Антонова. Я слышал эти выкрики, но не знал, кто кричал. Антонов сказал: «Кричал Марченко, так и пиши». Теперь я знаю, что это был не Марченко, а другой заключенный, из другой камеры. Если суд меня спросит, я назову этого человека: он присутствует здесь, в зале…

Нет, прокурор не хочет узнать имя настоящего «виновного». И судья, и заседатели не задают Дмитриенко этого вопроса. Мог бы спросить я — но не стану я навлекать неприятности на голову неизвестного мне зэка, хоть бы он вопил, что не коммунисты, а я сам выпил его кровь.

— Свидетель Дмитриенко, кто еще вместе с вами слышал эти лозунги? — спрашивает судья.

— Вместе с оперуполномоченным Антоновым меня убеждал показать на Марченко дневальный, заключенный Седов. Он тоже написал такое же заявление. Недавно Седов помилован по представлению администрации и уже освобожден из лагеря…

Седов помилован! Он отсиживал в ПКТ (и дневалил там) за систематические и злостные нарушения, его шестимесячный срок отсидки еще не кончился — а он уже выпущен не только из ПКТ, но и из лагеря. Заслужил! Какую же характеристику написал ему Антонов на помилование?

Я прошу суд точно занести в протокол показания Дмитриенко. И еще я просил вызвать свидетелями тех заключенных, которые вместе со мной сидели в карцере. В деле

нет их показаний — значит, Антонов либо поленился, либо не сумел обработать их.

— Кого именно? — спрашивает судья Хреновский. — Назовите фамилии.

— Я не знаю их по фамилиям.

— Ну, подсудимый, как же мы сможем найти ваших свидетелей?

— Найдете легко: по журналу, где регистрируются все заключенные в ПКТ и в ШИЗО, — и фамилия, и день, и час, даже минуты.

Суд решает удовлетворить мое ходатайство. Пока что до завтра объявляется перерыв, и меня уводят в камеру. Здесь я вечером снова вижу Дмитриенко: он раздает ужин в кормушку. До этих пор мне не удавалось увидеть раздатчика — он опасливо отходил от моей кормушки, сунув мне в руки миску; я видел только его руку, которая моментально отдергивалась. Теперь я понимаю, Дмитриенко знал, что в камере сидит Марченко — тот самый, на кого он написал донос, к тому же ложный! Как бы этот Марченко из мести не выколол ему глаза или не плеснул в лицо горячей баландой! Это старый лагерный способ отомстить врагу. А сегодня Дмитриенко увидел, что «тот самый Марченко» вовсе не тот и, значит, мы уже не враги. Он стоит у кормушки и улыбается:

— Прости, земляк, я же вправду не знал, Седов, подлюга, и кум впутали меня: «Марченко и Марченко, пиши, что Марченко…»

Коридорный торопит его, захлопывает кормушку, и уже через дверь я слышу:

— Седов-то знал, он за помиловку куму продался!

В этот вечер у меня было отличное настроение: Дмитриенко испортил им представление. К тому же у меня в руках небывалая передача: жареная курица, виноград, пирожные, огромная сочная груша. Все это привезла мне из Москвы молодая адвокатесса, приехавшая на суд вместо Дины Исааковны. Я отказался от ее помощи, как решил заранее. Постарался объяснить ей мои причины. Мне было очень перед ней неловко, она летела ради меня в такую даль — получается, чтобы передать мне курицу и грушу. Но чувство неловкости не испортило мне аппетита.

Передали мне передачу прямо в суде, и я под конвоем возвращался в камеру, торжественно неся авоську с торчащими из нее куриными ногами, а виноград и грушу, чтобы не помять, я положил на самый верх. Навстречу нам попался старшина, который вез меня на суд из Соликамска и злобно издевался надо мной всю дорогу: не дал есть, оправиться заставил на виду у

народа; при этом он еще страшно матерился. Старшина, толстый, как боров, моментально углядел необычные здесь предметы: курицу, грушу, виноград. Глаза у него округлились:

— Ни…! Откуда это у тебя?

— Суд преподнес.

— На каком праве?! Не положено!

— Вез без обеда, так не спрашивал про право, а увидел у зэка курицу, права вспомнил?

— Не давай ему занести передачу! — отдал старшина распоряжение конвойному. — Я сейчас скажу, чтоб ее обратно забрали. Придержи его, пока я сбегаю!

— Пошел ты! — обозлился конвойный. — У себя в Соликамске командуй!

И он отвел меня в камеру.

На всякий случай я съел все, что мог осилить, пока не отняли. Правило зэка: хватай, что тебе досталось, и не выпускай из рук. Лагерные правила и привычки так крепко въедаются в натуру, что сказываются и на воле.

Помню, в 1967 году после десяти лет лагерей освободился Леонид Рендель. Московские знакомые устроили встречу, ужин был со всякими вкусными вещами. Кто-то обратился к нему:

— Леня, а как ты думаешь?..

Готовясь ответить серьезно и обстоятельно, Рендель тщательно облизал ложку с двух сторон — *отшлифовал,* по-лагерному, и сунул ее в верхний карман новенького, сегодня впервые надетого костюма. Зэк носит ложку всегда при себе, в единственном кармане лагерной робы.

В другой раз я, выходя через контрольный пост в большом московском гастрономе самообслуживания, совершенно автоматически поднял руки вверх, подставляя бока под привычное ощупывание, как на шмоне в предзоннике. Публика вокруг замерла, а я даже не сразу понял, в чем дело.

А когда мы с Ларисой регистрировали наш брак в московском загсе, разыгралась комическая сцена. Свидетелями у нас были Люда Алексеева и Коля Вильямс — он отсидел свой срок еще при Сталине. Распорядительница с лентой через плечо торжественно приглашает нас:

— Проходите вперед, по одному, пожалуйста.

И вот впереди шествует жених, то есть я, а в затылок ему бредет свидетель кандидат наук Вильямс — и оба взяли руки назад! Картина под названием «Прогулка заключенных».

…На следующий день в суд привели «моих» свидетелей — тех, кто сидел со мной в карцере. Их прошло человек двадцать. Я едва мог их вспомнить, там ведь в камере состав каждый день

меняется. Ни один из них не подтвердил, что я что бы то ни было кричал там:

— Этот, глухой-то? Да он и к кормушке при мне ни разу не подходил.

Двадцать человек в одной камере со мной не слышали от меня никаких выкриков. А Седов в коридоре слышал!

После показаний этих свидетелей и Дмитриенко суд должен был усомниться в достоверности всего остального: ведь Дмитриенко ясно сказал, что Антонов велел ему написать на Марченко. Но этого, конечно, не будет. Хорошо хоть эпизод с дурацкими «лозунгами» провалился.

Среди вызванных свидетелей, моих сокамерников, вдруг появляется один, которого я раньше никогда не видел, ручаюсь: очень изможденный, типичное восточное лицо, узбек, что ли; я бы запомнил, если бы видел. Фамилии его я не расслышал. Неожиданное сразу настораживает: наверное, Антонов сунул своего человека в общую массу. Я спешу заявить:

— С этим человеком я не был в одной камере и никогда его не видел.

— Я сам скажу! Не надо за меня говорить! — перебивает свидетель.

С минуту мы бестолково препираемся, я свое — «Никогда не видел», он свое с легким восточным акцентом — «Я сам скажу!»

Наконец судья прерывает нас, начинает спрашивать свидетеля. Еще один настораживающий момент: образование среднетехническое плюс вечерний университет марксизма-ленинизма. «Уж этот скажет!» — думаю.

— По какой статье осуждены? — спрашивает судья.

— Сто девяностая-первая, срок три года.

«Что-что? — чуть не закричал я вслух. — И такой здесь нашелся! Коллега, откуда ты и за что?»

Прокурор тоже оживился. Он даже обратился к новому свидетелю с речью-призывом: «Ваши показания будут очень ценны для суда».

— Я постараюсь. Я все понимаю, — соглашается тот. — Я сижу в карцере постоянно, так как отказываюсь работать. А работать отказываюсь, потому что не в состоянии справиться физически. И я решил лучше сидеть на голодном пайке в карцере, чем на полуголодном надорваться на работе. Таким образом, я был в карцере и тогда, когда там был Марченко, которому приписывают выкрики, — я этих выкриков не слышал…

— Свидетель, почему вы говорите «приписывают»?

— Не я один говорю, весь лагерь говорит. И надзиратели тоже.

— Суду ясно, что вы ничего не можете сказать по существу дела…

— Могу сказать. По существу дела говорю: выкрики — по существу, да? Я в лагере таких выкриков наслушался, повторить боюсь. Не от Марченко, я Марченко не видел. От всех. Сначала я пробовал останавливать их, так меня оскорбляли, обзывали коммунистом и комсомольцем — в ругательном смысле. Даже били.

— Свидетель, это все к делу не относится. Идите.

Я не все разбирал, что говорил этот парень: он торопился успеть побольше, пока его не оборвали. Так и не пришлось узнать его фамилию.

Эй, приятель! Где ты? Досидел ли до конца срока в карцере? Пригодилось ли тебе твое марксистское образование?

И других свидетелей я часто не слышу. Ни слова не разобрал из показаний молоденького парнишки — солдата срочной службы, присланного служить в лагере. Он стоял совсем рядом со мной, я видел, как он едва шевелил губами. Отвечал он, опустив голову, глядя себе в ноги. Вот бедняга!

Многие другие держатся так же. Но немало и таких, кто ораторствует с удовольствием, хотя и без особого мастерства:

— Да, клеветал. Не помню, что именно говорил, но клеветал, это точно.

— Ложно утверждал, что в ЧССР танками задавили свободу, а какую свободу, не сказал.

— Я пытался Марченко переубедить, но он со мной не соглашался.

Эта фраза в единственной редакции присутствует в показаниях всех «запрограммированных» свидетелей. И еще все они повторяют: «Клеветал, но никогда не навязывал своих взглядов» — это странное словосочетание, вряд ли понятное тем, кто его здесь произносит, вполне понятно мне. Оно обозначает, что мне велено дать именно сто девяностую-первую, никак не выше. И то слава богу.

Свидетелей прошло столько, что их показаний хватит на каждый проведенный мной в Ныробе день. Такого-то числа клеветал, такого-то заявлял, такого-то выкрикивал. Словом, болтал без умолку, рта не закрывал. Притом единодушная характеристика рисует меня как человека мрачного, замкнутого, недоверчивого, неразговорчивого.

На том, собственно, и конец. Барабанную речь прокурора, если б и хотел, я не мог бы повторить. Как и на всех известных мне у нас политических процессах, она состоит из набора бессодержательных газетных штампов: «под руководством

коммунистической партии», «строительство коммунистического общества», «идейнополитическое единство», «идеологические диверсии Запада», «несколько отщепенцев» и тому подобная дребедень.

Примечательно было лишь обращение прокурора к специфической аудитории: «Хотя каждый из вас отбывает здесь справедливое наказание, все вы здесь люди советские и показали это своим отношением к поведению Марченко. Что же, как говорится, в семье не без урода…»

Я защищал себя без азарта — бесполезное дело. Но все же не упустил, кажется, ничего: ни свидетельства Дмитриенко, ни показаний моих сокамерников, ни провала Рыбалко на опознании. Говорил я и о существе обвинения, о произвольном толковании понятия «заведомо ложные измышления». Судья Хреновский несколько раз останавливал меня, но все же я договорил, закончив тем же, с чего начал: «Дело сфабриковано Антоновым и Камаевым».

Приговор был: два года лагерей строгого режима. Мягче, чем я ожидал. Могли дать максимум, три года, а дали на год меньше; могли признать особо опасным рецидивистом и отправить на спец, к «полосатикам». Да что я говорю! Могли бы, если бы им приказали, дать с тем же успехом 70-ю, срок до семи лет. Хозяева проявили милость и гуманность. Не благодарить ли их за это?

Если бы без суда, без этой комедии, в которой тебе отведена роль и ты поневоле, нехотя вживаешься в нее, включаешься в игру, — если бы так просто, *от фены,* спускалось тебе на голову предопределение: «Отсиди два года! А тебе три, тебе все семь — по щучьему велению, по моему хотению!» Право, это было бы не так обидно и не так унизительно.

В моем приговоре, в части обоснования, сказано, что моя вина подтверждается свидетелями — дальше перечислены все, кто что ни говорил, даже и Рыбалко: его показания тоже «подтверждают». Что касается моих сокамерников, то их показания «не опровергают вины» — так как они могли и не слышать «клеветнических лозунгов», которые выкликал Марченко.

Дмитриенко в приговоре вообще не упомянут — как бы его и не было.

Так для чего было устраивать всю эту говорильню?

Черт побери, мне-то зачем нужно все это?!

И все-таки я добиваюсь, чтобы мне показали протоколы суда. По закону полагается всем участникам процесса, и обвиняемому тоже, подписать протоколы — обычно их подписывают, не читая, обвиняемый даже не знает, что он подписывает. Потом подает

апелляцию, мол, то-то и то-то суд рассмотрел неправильно, и получает ответ: «Материалы дела не содержат оснований для пересмотра». А он эти материалы подписал не глядя!

Я не собираюсь подавать на пересмотр, но все же требую:

— Я хочу ознакомиться с протоколами.

— Зачем вам? — ворчит судья Хреновский. — Вы же все слышали. Или вам что-то неясно?

А Соликамский старшина здесь же, в зале суда, набрасывается на меня с матюгами и чуть ли не с кулаками: ему неохота торчать, дожидаясь меня, в этой дыре еще день-два.

В протоколах я обнаружил то, что и ожидал. Все записано кое-как, небрежно, переврано все, что только можно переврать; это обычно, девчонки-секретарши сами не понимают, что пишут. Но вот показаний Дмитриенко нет вообще, даже его имя не упоминается — это намеренное искажение исходит, конечно, не от секретарши.

К явному неудовольствию Хреновского, я дополняю протоколы показаниями Дмитриенко, подписываю сам и предлагаю подписать судье мои дополнения.

Нет, мне кажется, психологию человека в моем положении можно понять. Но психология поведения государства в таких случаях для меня всегда загадочна.

Вот, например, в 1930-1940-е годы миллионы людей гонят в лагеря или прямым ходом в могилы. Гонят без разбора, чуть ли не без учета. Но перед тем колоссальная армия следователей и их подручных по всей стране выколачивает из арестованных: «Подпиши да подпиши показания! Подпиши, что ты шпион!» Зачем? Для открытых процессов нужны были десятки, а это ж из миллионов старались выбить. В конце концов, подписал — не подписал, одна судьба: какая-то тройка, пятерка, три нуля — и всех гуртом на Колыму, на Воркуту, в Норильск или к стенке. Это сколько ж бумаги перевели, сколько следовательских человеко-часов, сколько им зарплаты переплатили за двадцать лет! И кормить их, следователей, надо было все ж таки калорийно, чтоб хватало силы бить по зубам. Да и на арестованных за время такого «следствия» какои-никакои казенный харч шел — безо всякой отдачи. Зачем? Не могу понять.

Нынешние политические суды менее разорительны, поскольку их меньше числом. Но тоже пустые траты: за одного меня — Камаеву три месяца зарплата шла? Шла. Возили меня из Валая в Соликамск, в Пермь, в Соликамск снова, в Ныроб, обратно, опять в Ныроб на суд, еще раз в Соликамск: то машиной, то поездом, то даже на самолет пришлось разоряться. Конвою плата, и корми его. А сколько зэков сорвали с работы, дергая

свидетелями то на следствие, то на суд, то на очные ставки! Небось квартальные планы из-за меня недовыполнили, влетел я лагерю в копеечку. А дали бы срок сразу, без суда-следствия, без всей этой волокиты — глядишь, какой я ни работник, хоть собственное содержание (включая охрану, амортизацию колючей проволоки и прочее), хоть эти траты оправдал бы.

С первого дня обвинения и до конца, до приговора, все, все участники дела — и я, и Антонов, и прокурор, и судья, и свидетели, и те, кто дал указание, — все знают, что плетут бесполезный узор, не имеющий к жизни, к реальности никакого отношения. И все-таки каждый старается сплести свою часть покрасивее, поискуснее.

По полтора года продержали под следствием Орлова, Гинзбурга, Щаранского — для чего? И к лету 1978 года следователи за полуторагодовую зарплату не накропали больше, чем было у них в феврале 1977-го: фальшивые доносы Петрова-Агатова и Липав-ского повторены в наших газетных сообщениях о судах даже теми же самыми словами.

Мне приходит в голову, что смысл всех этих действий, всех этих следствий и судов тот же, что в каких-нибудь ритуальных плясках, — символический смысл. Повторение слов «клевета», «измышления», «шпионская деятельность» и тому подобных нужно вроде заклинания «сгинь, сгинь, пропади». Прокурор шаманит, а все прочее — необходимые декорации. Вот только не знаю, бывают ли при обычном шаманстве человеческие жертвоприношения.

Вечером мне в окошко камеры через решетку влетела записка — мелко-мелко исписанный тетрадный листок, туго скатанный в пулю. Там говорилось, что на Рыбалко было заведено уголовное дело за хищения стройматериалов с объекта и Антонов обещал закрыть дело за плату — показания против меня.

Многих других свидетелей Антонов ловил так же: не дашь показаний на Марченко — сам пойдешь под суд, на тебя хватает материалов. Другим говорил: Марченко сам во всем признался, а ты его покрываешь, будем тебя за это судить. Вся зона это знает.

Нового для меня в записке ничего не было, но приятна была доброжелательность кого-то, мне неизвестного, после того падения и подлости, которые я видел на суде.

Я долго в тот вечер проторчал у окна. Барак ШИЗО стоял на бугре, и из окна хорошо видно было пространство за запреткой. За деревянным забором с карнизом из колючей проволоки — запретка по ту сторону: мотки проволоки, скрученные большими кольцами, проволока, настеленная низко над землей замысловатыми узорами, с навешенными на ней пустыми

консервными банками. Дальше забор из колючей проволоки, за которым бегают на цепях сторожевые псы. Метрах в двадцати от псов находился старый полуразрушенный сарай, вокруг него и над ним резвились, носились воробьи. Они, конечно, здорово шумели, чирикали, но звуков я не слышал, только догадывался.

Галки не носились, вели себя очень важно и деловито. Они расхаживали по крыше и то и дело вертели головами. А высоко над сараем в чистом предзакатном небе кружил не спеша большой коршун. На высоте трудно было разобрать цвет его оперения, но я видел, как он часто вертит головой, видно, высматривая добычу под собой. Иногда он камнем падал к земле неподалеку от сарая. Но не всегда долетал до земли, а чаще где-нибудь на полпути неожиданно распускал свои широкие крылья и начинал делать плавные круги. Постепенно он снова набирал высоту. И пока он ее набирал, я успевал хорошо рассмотреть его окраску: он был темно-коричневого цвета, скорее даже бурого, и вдоль темных крыльев ярко вырисовывалась светло-желтая полоска.

Ночью я не спал. Не бог весть какой срок мне отвалили — всего два года. Этот срок меня не пугал нисколько (или мне только казалось так): ведь в 1967-м я готовился к худшей участи. Во всяком случае, мне казалось, что, если бы я получил не два года, а семь по 70-й, но не по ложным обвинениям, а за книгу, за открытые письма — за то, что я на самом деле совершил, — мне было бы легче, не было бы ощущения подавленности и угнетенности, как сейчас. Помимо унижения из-за всем очевидного вранья, которое невозможно опровергнуть, я чувствовал безысходность своего положения, полную свою зависимость от невидимого хозяина. Захочет — отпустят меня через два года, а нет — снова дадут такую же «говорильную» статью, 190-1 или 70-ю, на тех же основаниях. «Он говорил», «он утверждал», «он клеветал».

В какие-то моменты этой ночью я так и думал, что конца моему сроку не будет, станут мотать мне нервы, добавляя каждый раз то два, то три года в надежде добиться-таки от меня отречения, опровержения моей книги, моей позиции. И это чувство неуверенности не оставляло меня все следующие два года заключения.

Часть вторая
Соликамск — Красный Берег — Чуна

На следующий день с утра меня вывели за зону, посадили в машину с тремя автоматчиками, собакой и повезли в Соликамск. Сзади нас шла другая открытая машина, полная автоматчиков. Меня это обстоятельство тревожило до самого Соликамска. Где-то на окраине города они отстали.

В Соликамске, в старинном монастыре, приспособленном под тюрьму, просидел я в ожидании утверждения приговора Москвой четыре месяца. Ничего особенного за эти месяцы со мной не произошло. Время тягуче тянулось от подъема до отбоя и от пайки до пайки. И здесь я тоже находился в привилегированном положении — не в общей камере, а в тройнике. Но этот тройник из-за перегруженности тюрьмы уже не был тройником. В нем стояли три двухъярусные кровати. Но нас тут находилось не шесть человек, а одиннадцать. Иногда было и двенадцать. Кому не было кровати, тем давали деревянные щиты-топчаны на ночь. Их клали на цементный пол и спали. И ночью в нашем тройнике не было и пятачка свободного места.

К нам регулярно, раз в месяц, захаживал прокурор по надзору. Сокамерники мои указывали ему и начальнику тюрьмы на тесноту, что, мол, на полу приходится спать.

— Зачем камеру так набивать? — возмущались зэки и тыкали пальцами в правила, висящие в камере. — Тут же сказано, что каждый должен иметь спальное место. Где оно? У нас даже на пятерых, кто без кроватей, щитов-то всего три!

Но прокурору к такому не привыкать, на то он и прокурор. Ему об этом говорят в каждой камере и все время его службы. Он ободряюще-весело отвечает:

— О! У вас еще хорошо. В других камерах еще гуще! — И в этом мы ему верили.

— А закон!.. — выли зэки.

— Закон я не хуже вашего знаю. Вас сюда никто не звал, сами лезете. Я не виноват, и он тоже, — прокурор кивал на начальника тюрьмы, — что желающих попасть сюда больше, чем тюрьма может вместить.

Обычно тут долго не задерживались. Это была камера с уже осужденными, кто, как и я, ждал утверждения приговоров вышестоящими инстанциями. Не все зэки после суда пишут кассационные жалобы. Многие на это занятие смотрят иронически-скептически. Другие предпочитают побыстрее

вырваться в лагерь из этой теснотищи и не задерживаться на лишний месяц из-за подачи кассационной жалобы. Без кассации обычно приговор утверждается в десять дней, самое большее в две недели.

Все, кто прошел через мою камеру, были судимы местными судами: районными или городскими, и их кассационные жалобы рассматривались в Перми областным судом. Обычный срок для этого — месяц. Меня же судила выездная сессия областного суда, и кассация должна была рассматриваться высшей инстанцией — Верховным судом РСФСР в Москве.

Сначала я не хотел никуда ничего писать. Но в последний день, когда истекал срок обжалования, я все же написал в Верховный суд РСФСР. Я не рассчитывал на то, что в Москве к моему делу отнесутся иначе, чем тут. Я считал как раз наоборот, что тут делали именно то, что требовали в Москве для меня. Написал же я с единственной целью — не дать возможности кому-либо истолковать мое нежелание обратиться с кассацией как мое согласие с решением суда, с приговором.

Я не мог спокойно писать о суде. Сам приговор, его содержание было издевательством над правосудием. Черное называлось белым и наоборот. «Да тебе-то что, — стыдил я иногда в мыслях самого себя, — впервые это видеть? Или ты был лучшего мнения о наших судах до этого приговора?» «Да нет же, — отвечал себе же на это. — Знал. Знал». И все равно бесился, видя эту демонстративную грубость, ложь и насилие.

* * *

Сам я уже который раз перечитывал копию приговора. Ложь, ложь и ложь!

Вся эта ложь подтверждается показаниями… и перечисляются фамилии этих лагерных Иуд, которые уже получили свои сребреники или ждут таковых. Среди них назван и свидетель Рыбалко. И это после позорной инсценировки опознания и даже после того, что на суде сам Рыбалко признался, что он действительно «ошибся», не опознал меня и указал на другого зэка.

И если суд счел уместным после этого сослаться в приговоре в числе прочих свидетелей на Рыбалко, то этим он только сам продемонстрировал, что и остальные свидетели такие же, как Рыбалко.

А вот что сказано в приговоре о показаниях моих свидетелей, вызванных по журналу ШИЗО: «Эти свидетели не подтвердили…

Но это не опровергает показаний остальных свидетелей (то есть Рыбалко, Седова и др.)», — делает заключение суд в приговоре.

А почему не опровергает?

И суд отвечает на этот вопрос: «Так как часть этих свидетелей выводилась на работу, а остальные могли быть заняты своими делами и могли не обратить внимания на эти высказывания Марченко».

«Чем могут быть заняты зэки в камере ШИЗО? Какими такими „своими делами"?» — спрашивал я в своей кассационной в Москву. «Только онанизмом — это единственно доступное занятие в этих условиях. Но, чтобы не слышать моих высказываний из-за „занятости", нужно, чтоб этим занимались все двадцать человек одновременно, и именно в тот момент, когда открыта кормушка и подают пищу, именно в тот момент, когда я митингую».

Не утерпел я, чтобы не пройтись и по показаниям Дмитриенко.

Разве не долг членов суда выяснить истину? Но вот предлагает им свидетель Дмитриенко назвать фамилию провокатора (или просто болтуна), чьи высказывания приписал Антонов мне и которые послужили поводом для возбуждения уголовного дела. Но суд промолчал, и никто не задал Дмитриенко ни одного вопроса.

В приговоре сказано, что Марченко себя виновным не признал и заявил, что дело сфабриковано на ложных показаниях подставных свидетелей оперуполномоченным лагеря Антоновым.

Суд опровергает заявление Марченко: «В судебном заседании было опрошено более двадцати человек, следствие вел помощник прокурора области, и не доверять ему у суда нет оснований».

Очень убедительно, не правда ли?

Если бы Антонов тогда задушил меня, а прокурор подтвердил бы версию, что он это сделал в целях самообороны, то и тогда у суда не было бы оснований «не доверять» ему.

И вот в ожидании ответа на кассацию я отсиживаю три месяца. Сколько людей прошло за это время через мой тройник!

Очень близко познакомился я здесь с так называемыми химиками.

Каждую весну, в марте, объявляются «тайные» указы ПВС об амнистии заключенным, «вставшим на правильный путь». Но это не простая амнистия, а, так сказать, с привеском. Амнистированные обязаны до конца своего срока работать на стройках химической промышленности. На практике же они работают не только на стройках химии, а на всех стройках страны. Мне попадались даже зэки, которые отрабатывали свою

«амнистию» в Волгограде на знаменитом тракторном заводе. Стоило бы знать об этом тем на Западе, кто завидует нашему быстрому экономическому росту. И помнить тем, кто импортирует наши волгоградские тракторы.

После объявления «амнистии» этих «химиков» под конвоем, кого на машинах, кого на поездах, привозят на место. Они работают на правах вольных, но не имеют паспортов и права уехать. Самовольный выезд считается побегом. Таких разыскивают, судят и отправляют обратно в лагерь. Та же судьба ждет и тех, кто плохо работает или вообще избегает труда. Всем возвращенцам приходится в лагере досиживать свои сроки. Время, проработанное на стройках, им в срок не засчитывается вовсе. Они как бы побывали в отпуску не в счет своего срока. Много есть таких, кто отказывается от такой амнистии, заранее зная, чем это в конце концов обернется. Но с их желанием никто не считается, им прямо заявляют: там, на месте, зарабатывай себе возвращение в лагерь.

Здесь, в Соликамске, многие из них работали на стройках. В основном «химики» строили в Березниках под Соликамском очередной калийный комбинат.

Тут же подслушал одну историю о доблестной нашей милиции, как она воплощает в жизнь ленинский принцип «ни одно преступление не должно остаться нераскрытым!».

В Березниках в полночь трое молодых парней поймали на улице женщину. Они ее изнасиловали и отобрали сумочку. В ту же ночь, как только жертва заявила об этом в милицию, милиция нагрянула в спецобщежитие для «химиков» и схватила наугад одного из тех, кто возвращался после второй смены с работы. Его доставили в райотдел милиции, и там буквально в два-три дня он во всем признался. Вот только своих товарищей, сволочь, так и не назвал. Но эту мелочь следственные органы надеялись исправить, посадив «преступника» в следственный изолятор Соликамска. И «преступник» назвал бы фамилии своих соучастников, но в эти же дни попался на ночном ограблении молодой парень, который в ходе следствия чистосердечно признался не только в ограблении, но и в старых нераскрытых грехах. Он признался, что вместе с двумя своими дружками ограбил и изнасиловал женщину. Ту самую, за которую уже посадили признавшегося.

Эта история с хорошим концом. Но сколько таких историй остается на шее невинных?

Где-то на третьем месяце моего пребывания я поцапался с прокурором при его очередном обходе.

По закону все арестанты в тюрьме до вступления приговора в законную силу имеют право покупать продукты в ларьке на

десять рублей в месяц.

Но в законе есть оговорка: если арестант прибывает в следственный изолятор не со свободы, а из лагеря, то он отоваривается в ларьке так же, как он отоваривался в лагере, в зависимости от того, на каком режиме он был в лагере.

Поэтому я, в отличие от остальных, отоваривался только на пять рублей. Но, прочитав правила, я нашел в них упущение и решил им воспользоваться. Дело в том, что в тюрьме помимо ограничения по деньгам арестанта еще дополнительно ограничивают в наборе и количестве продуктов, которые он может купить. Ларек бывает два раза в месяц по пять рублей каждый раз. Но существуют еще и количественные ограничения. Например, не более одного килограмма сахара, не более двух килограммов хлеба, не более полукилограмма маргарина и т. д.

В лагере же тебя ограничивают деньгами, зато ты можешь брать продукты без ограничений: хочешь, бери на всю пятерку жиров, конфет или чего другого.

Вот я и заявил прокурору: раз вы меня на основании этих правил держите на моем лагерном режиме, позволяя мне отовариваться не на десять, а только на пять рублей, то придерживайтесь правил до конца и не ограничивайте меня в выборе продуктов.

Я хочу, как в лагере, брать на свои пять рублей по своему усмотрению. Но прокурор был искренне убежден, что я неправильно понимаю правила. Он убеждал меня, что отовариваться я буду на сумму как в лагере, а покупать столько и то, сколько и что разрешено содержащимся в СИЗО.

— Вы хотите сказать, что из двух видов отоваривания — лагерного и тюремного — для меня отбираются одни минусы. То есть преимущества лагерного перед тюремным — отменяются, а минусы тюремного перед лагерным — распространяются?

— Нет, вы неправильно толкуете… — и поехал вокруг да около.

Здесь же, в Соликамске, прочитали в газете и изучили основы нового Исправительно-трудового кодекса. Он давал, в отличие от старого закона, право заключенным на свидания не только с «близкими родственниками», но и с иными лицами.

В начале срока я сам отговаривал своих родных от свиданий. Мать моя плохо переносит вид и обстановку лагеря, а меня это только здорово выводит из равновесия. Я решил подождать конца срока: там либо меня освободят, либо Антонов намотает второй срок — вот тогда и решу. Теперь же, если уж разрешают свидания и с друзьями, я решаю оставить личное свидание для матери, а на общее может приехать кто-нибудь из друзей. Сразу пишу в

Москву об этом. На всякий случай, чтобы едущему ко мне было легче меня отыскать в Соликамске, предупреждаю, что после рассмотрения кассации в Москве меня могут переправить из СИЗО на пересылку.

И еще одна маленькая история. В Соликамске вспыхнула эпидемия гриппа. В тюрьме тоже стали проводить противогриппозную профилактику. Вот что это такое.

Однажды днем открывается дверь камеры и в камеру входят несколько надзирателей, дежурный офицер и тюремная врачиха. Врачиха объявляет, что и в городе, и здесь, в тюрьме принимаются меры против гриппа. У нее в руках алюминиевая миска с какой-то желтовато-сероватой мазью. Она маленькой пластмассовой палочкой черпает из миски мазь и, обходя нас по камере, пихает каждому в ноздрю немного мази. Когда доходит очередь до меня, то я отворачиваюсь от ее руки с мазью.

— В чем дело?

— Не буду!

— Как не буду? Вы обязаны!

— Вы этой палкой побывали уже не в одной сотне ноздрей. И если я еще не заболел гриппом, то вы мне его занесете этой вашей профилактикой.

— А где на вас набраться отдельных ложек, мисок, мазей? — взъярился офицер на меня. А надзиратели встали теснее ко мне — на всякий случай:

— Здесь не хочешь, так в карцере сам запросишь!

Но врачиха смилостивилась:

— Ну ладно, не хочет и не надо. Пусть болеет гриппом.

И обошлось. А ведь могли бы и упечь суток на пять в карцер.

После утверждения приговора меня очень скоро перевезли из СИЗО на пересылку. 23 января, в день своего рождения, я получил много поздравительных телеграмм и открыток. Присылали мне их друзья, знакомые и даже люди, с которыми я совсем не был знаком.

А к вечеру того же дня меня повели на вахту. Уже на улице, по пути к вахте, надзиратель мне сообщил: «На свидание!»

А я гадал: «Кто?»

И встретил Л.А. Приятно было увидеться здесь со своим человеком. Тридцать минут пролетели, как одна. И вот мы уже прощаемся. И ни она, ни я не можем знать, на сколько.

А еще через несколько дней меня в битком набитой машине довезли до Сима. Здесь находился центр лагерей. Но нас прямо из машины погрузили в маленькие вагончики и по узкоколейке повезли на Красный Берег.

* * *

Свой следующий круг я начал с Красного Берега. Так называлось одно из многочисленных лагерных отделений на Северном Урале. Головной лагерь в самом поселке Красный Берег расположен в нескольких десятках километров от Соликамска. Еще дальше в тайгу и, как говорят зэки, от советской власти. Как и в Ныроб, нас везли на «Авророах» по такой же по-зимнему красивой дороге, проложенной узкой лентой сквозь тайгу.

Этап наш впускали в зону не через предзонник, а через вахту. Когда я в очередной пятерке проходил через коридор вахты, открылась дверь внутрь и я успел увидеть на противоположной стене плакат: офицер в форме МВД тыкал пальцем перед собой и внизу была надпись «Заступая на пост, помни поступок Павлова!» Этот плакат по внешнему виду напоминал плакат времен Гражданской войны «А ты вступил добровольцем?»

Я сразу вспомнил все рассказы о Павлове. Я их слышал еще в первый лагерный срок в Карлаге и потом в каждом лагере. Павлов превратился в легенду. Я до сих пор — до Красного Берега — считал, что никакого Павлова и не было вовсе. Мало ли баек, легенд и параш сочиняет лагерная публика. В Павлова не верилось мне еще и потому, что в рассказах он всегда рисовался зэковским «Зорро», но только без черной маски на лице. А тех, кто мстит жестоко эмвэдэшникам, зэки чтят как своих героев и не жалеют для них комплиментов. В основном легенда об этом Павлове такая.

Где-то в конце 1940-х или начале 1950-х годов в одном из лагерей на Северном Урале отбывал свой срок заключенный по фамилии Павлов. За что он попал в лагерь, я ни разу ни от кого не слышал. Кем он был на воле — говорили всякое: бывший офицер милиции, бывший фронтовой разведчик, десантник-смертник и даже шпион и диверсант.

В лагере Павлов работал в бригаде на прорубке просек в тайге. Обычно такие бригады маленькие: от семи до пятнадцати человек. И конвоирует такую бригаду один или два солдата. И вот этот Павлов, ни с кем из бригадников не сговариваясь, один разоружил конвой и забрал оружие. Вооружившись не то карабином, не то автоматом, он спросил бригаду: кто пойдет со мной? Но никто не решился. Только самый молодой бригадник-малолетка присоединился к нему (малолетка — зэк, только что переведенный из колонии для несовершеннолетних в колонию для взрослых). И они вдвоем ушли в тайгу, оставив бригаду. Они не просто ушли в побег, а стали ходить вокруг лагерей и убивать охранников. Охранники окрестных лагерей, а вслед за ними и

местное население были охвачены паникой. Павлов наводил ужас в округе. Оно и понятно: много может сделать даже один человек, если он хорошо вооружен и на всё решился. Тайга огромна, и укрыться в ней всегда легко. К тому же у Павлова было всегдашнее преимущество беглеца: у него в этом море тайги тысячи дорог, у его преследователей — одна-единственная.

Я сам разговаривал с двумя пожилыми надзирателями, которые в то время служили здесь и помнили Павлова. Они, не стыдясь, рассказывали, как все они были перепуганы. «Уходя на пост в тайгу на поимку Павлова, мы с семьями прощались!» — так они нам говорили. В тайге находился не просто беглец, которого можно затравить собакой или безнаказанно пристрелить. Он сам искал своих «преследователей», находил и обстреливал их, иногда даже устраивал засады. Рассказывали такую его хитрость: ночью на поляне Павлов со своим товарищем разводил костер, а рядом они укладывали две куклы из трофейных шинелей. Костер быстро засекали чекисты, окружали и, приняв куклы в отсвете костра за спящих беглецов, подкрадывались плотным кольцом, намереваясь схватить их сонными. А беглецы в это время сидели рядом под деревом или под кустом в засаде и, выждав удобный момент, в упор расстреливали эмвэдэшников. Устраивали они и засады на дорогах, расстреливая чекистов, едущих на машинах.

А вот еще один рассказ о действиях Павлова. Однажды Павлов, переодетый в форму офицера МВД, зашел в одну деревню напиться. Хозяин дома, к которому Павлов обратился с просьбой дать попить воды, спросил «своего» человека:

— С поста? Павлова караулите?

— Да, караулим, — подхватил разговор и Павлов.

— Хоть бы скорей эту сволочь поймали: в тайгу выйти нельзя из-за него!

— Никуда не денется! — заверил Павлов своего собеседника. — Поймаем!

— Я в свое время никогда не приводил их в лагерь, — хвастался отставной чекист, — собакой травил или прибивал на подходе к лагерю: всё меньше труп везти — пусть сам дойдет, своим ходом!

— Добегается и этот!

— Попался бы он мне! Я б его собственными руками удавил бы!

— Да? — спросил Павлов.

Он взял тут же оказавшийся под рукой топор и отрубил хвастуну обе руки.

— Теперь-то ты меня уж не сможешь удавить! — И он скрылся снова в тайгу.

Его напарник был убит эмвэдэшниками. Но я не слышал никакой версии того, как это произошло. Слышал только, что сам Павлов после гибели своего товарища еще сильнее озлобился и стал еще активнее расправляться со своими врагами.

Надзиратели нам рассказывали, что они, уходя в секреты на поимку Павлова, на самом-то деле просто прятались от него. Павлов для них не был «пудиком»: не прельщало этих героев дешево заработать лишний пуд муки или десяток килограммов селедки — обязательную поощрительную премию за поимку беглеца.

Кончилась эта история тем, что однажды в лагерь, из которого сбежал Павлов, привезли и сбросили около вахты труп (тогда это было правилом, для устрашения). Начальство объявило, что это убитый Павлов. Зэки же, знавшие Павлова в лицо, говорили, что это не Павлов, а кто-то другой. А на следующий день для опознания трупа приехала из Москвы жена Павлова. Говорят, что в первый день она не признала в трупе Павлова. Но на другой день будто бы ее снова подводили к трупу во время развода, и она при скоплении любопытных зэков громко сказала, что это Павлов.

Существует и еще одна версия этого опознания: начальство, пользуясь тем, что никто из зэков не знал жены Павлова, подготовило для опознания вместо нее другую женщину.

Зэки вообще не верят в смерть Павлова. Они остались верны традициям и легендам: герои не умирают! Рассказывают, что Павлов проходил по тайге все лето и убил много лагерного начальства и солдатни. А с наступлением зимы куда-то исчез. То ли он ушел за границу и там благополучно живет, то ли сделал себе другие документы и сейчас живет под чужим именем.

Трудно сказать, что здесь правда, а что вымысел. Настоящую правду знают архивы МВД, да кто их откроет! Вот и довольствуемся мы устным народным творчеством.

И последнее о Павлове. Я видел несколько раз в Соликамской тюрьме врачиху пожилого возраста. Про нее там говорили, что это жена одного из начальников лагерей, которого убил Павлов.

* * *

Все это я перебрал в памяти, глядя на плакат и ожидая, пока нас примут и выпустят в зону.

А зона оказалась переполненной. И здесь нехватка мест. И сюда, по выражению Соликамского прокурора, желающих больше, чем администрация может принять и разместить.

Все бараки тут переполнены. Спальные места — вагонки, рассчитанные на четырех человек каждая, в два яруса. Они расположены двумя рядами вдоль стен барака во всю его длину. Теснотища жуткая. Но новички начинают свою жизнь здесь не с барака, а с палатки. Стоит она в дальнем конце зоны, рядом с бараком ШИЗО. В палатке тоже теснотища. И спят тут уже даже не на вагонках, а на нарах. Нары тоже вдоль стен, и между нарами узенький проход. В этом проходе стоит печка-бочка, и когда ее топят, то в палатке не продохнуть от дыма и копоти.

Мне повезло, так как прожил я в палатке всего лишь с неделю. Всю эту неделю я ходил на работу. Зачислили меня в бригаду, которая занималась колкой и штабелевкой дров для паровозов местной узкоколейки. Работа не из легких и все время на морозе. Дрова, завезенные с лета, засыпаны снегом. Их приходится выбирать из-под снега, чтобы колоть. Поэтому к концу дня мы обычно бывали мокрыми. В палатке не разденешься — холодно. Спишь одетым.

Но было еще одно неудобство в палатке. Там была анархия: ни подъема, ни отбоя в ней не знали. И днем, и ночью в полумраке и копоти здесь шла картежная игра. Играли в карты и в бараках, но там хотя бы после отбоя и до подъема была тишина. Надзиратели в палатку почти не заглядывали. Разве что во время проверки, когда кого-нибудь недосчитаются, или во время розыска зэка, скрывающегося от водворения в ШИЗО.

Процветало тут и воровство: исчезало все тряпье, а о продуктах и говорить нечего.

Мне повезло: я в первый же день встретил тут несколько человек из своих бывших сокамерников. Кого по следственным камерам в Перми и Соликамске, а кого по пересылке.

С их помощью я и перебрался через неделю из палатки в барак. Не пожившему в этих условиях вряд ли понять мою радость от этого события. Да и всего-то перемен: я имею индивидуальное спальное место на втором ярусе вагонки. Имею свою постель: матрас, подушку, одеяло, две простыни и наволочку. Ни на пересылке, ни в палатке я ничего этого не имел, как и все зэки.

И еще тумбочку на двоих. Я делил тумбочку с соседом под собой. И с соседом мне тоже повезло — старик пенсионного возраста, очень спокойный и тихий человек.

Теперь я могу «уединяться» на своей верхотуре, отключаться от назойливого общества окружающих.

В первый же день меня вызвал к себе для беседы начальник лагеря Иванов. У него в кабинете находился начальник режима капитан Медведько. Это было чисто формальное знакомство.

Сверка по формуляру дела и несколько ничего не значащих вопросов. В том числе мне объяснили мои права и обязанности.

Когда они заговорили о праве на свидания, то сами мне пояснили, что теперь, мол, осужденные могут иметь общие свидания на несколько часов не только с близкими родственниками, но вообще с кем угодно: с друзьями, знакомыми. И я тут же уцепился за это и уточнил:

— Если я напишу кому-нибудь из друзей, чтобы приехали ко мне на свидание, то вы разрешите?

— А как же мы не разрешим? — удивился Иванов. — Мы обязаны теперь разрешить.

Здесь же они определили меня в бригаду № 23.

— В основном у нас работа — лесоповал, — объяснял Медведько. — Но раз у вас плохое здоровье, то мы вас направляем на заготовку дров для УЖД (узкоколейная железная дорога).

Во время этой беседы они ни словом, ни намеком не дали мне понять, что им известно обо мне больше, чем сказано в формуляре дела. Я вышел от них и гадал: чем для меня кончится здесь? В Ныробе Антонов сразу откровенно заявил: раскайся, или получишь новый срок. Эти ведут себя так, как им и положено вести себя с зэком.

Может, это осторожность, чтоб при фабрикации нового дела я не мог бы сказать про них, как про Антонова?

Чем-то все это кончится?

В тот же день я написал друзьям в Москву о том, что ко мне можно приехать.

И потекли лагерные дни. И счет времени шел от воскресенья до воскресенья. Этот день был весь мой.

Да и на работе тоже ничего особенного не происходило.

Бригадиром у нас был старый зэк по имени Виктор. Фамилии я его сейчас не припомню, да это и ни к чему. Старым он был не по возрасту — лет ему было не более сорока. Но больше половины из этих сорока лет он сидит в лагерях. Начал сидеть с малолетки. Позже стал «в законе», то есть настоящим вором. Сейчас он отсиживал последний довесок, заработанный в лагере за то, что прирезал «ссучившегося». Выглядел он как покойник. Помимо обычных лагерных невзгод на нем отразились и пороки: чифир, наркотики, алкоголь, картежная игра.

Бригадой он руководил без горла. Там, когда обычно другие срываются на крик, вырывая или отстаивая свое, он действовал иначе. На собеседника или бригаду он смотрел тогда тяжелым усталым взглядом (его глаза, когда-то голубые, сейчас были обесцвеченные и пустые), голос его, и без того тихий, переходил в

шепот. Весь вид его в такие моменты как бы говорил, что он устал от всего и ему все уже безразлично, он даже не считает нужным тратить свой голос. Но это не было безразличие к происходящему. Оно означало, что ему ничего не стоит пойти на все: что таракана прихлопнуть, что человека. Была ли это игра артиста, бьющего на психологию, или действительная его манера держаться — я так и не разгадал.

Бригадники дорожили этой работой, так как у нее были определенные преимущества перед другими работами, не говоря уж о каторге — лесоповальных бригадах.

Здесь — отдельная точка. Есть своя будка — она же и инструменталка, и обогревалка, и столовая, и курилка. От жилой зоны в десяти минутах ходьбы (это преимущество особенно ощущалось в сильные морозы). И никто из начальства не требовал выполнения ежедневно нормы.

В сильные морозы обычно мы не работали. Дни такие не актировались, конечно, но мы, выйдя на работу, отсиживались в своей будке у горячей железной печки. Дров-то у нас полно. С нами тут же отсиживались и конвоиры, поочередно меняясь.

Зато в сносную погоду нам приходилось наверстывать упущенные морозные дни. Нужно было к концу месяца обязательно дать план по бригаде чуть более 100 %. Это чтобы получить каждому бригаднику ДП (дополнительный паек).

Говорят, что сейчас в лагерях не морят голодом. Но это зависит от того, что называть голодом. С голоду не пухнут, не умирают. Но могу сказать по собственному опыту: находясь только на законном лагерном пайке, заключенный страдает от ежедневного недоедания. И люди по-разному переносят это. Кто-то «шустрит» и как-то добывает себе лишний кусок хлеба, а кто-то не умеет, не может. Такие люди тоже по-разному переносят голод. Более сильные — терпят и не опускаются. Слабые опускаются и идут на всякие подлости ради утоления голода хотя бы на сегодня. Кто-то ворует из чужих тумбочек продукты — «крысятничает». Кто-то выигрывает у другого в карты. И есть до сих пор случаи, когда с педерастами расчет идет продуктами или куревом.

Если еще пятнадцать лет назад я был свидетелем того, как в Карлаге на штрафном лагпункте люди продавали свою задницу за пайку черного хлеба, то в 1970 году на Северном Урале — за несколько пачек сигарет или полкило рублевых конфет.

Если человеку законом запрещены сливочное масло, сахар, молочные продукты и так далее, то за долгие годы этих лишений слабые натуры становятся готовыми на все, лишь бы попробовать хоть разок человеческой еды.

Я знаю, что среди моих современников, моих соотечественников и особенно лиц официальных найдется немало таких, кто назовет меня клеветником за такие слова.

Я с такими спорить не буду. Доказывать им свою правоту тоже. Но пусть нас рассудит беспристрастный читатель по такому факту.

По закону и по спец, инструкции МВД СССР тех заключенных, кто выполняет дневную норму на сто процентов и более, премируют и поощряют ДП — дополнительным питанием. Что это за награда, как поощряется хороший работяга? 200 граммов черного хлеба, 15 граммов крупы, 15 граммов сахара, 15 граммов жиров.

Разве можно поощрить неголодного двумястами граммами черного хлеба?

И кто согласится ежедневно перевыполнять дневную норму выработки на тяжелой работе всего лишь за двести граммов черного хлеба?

Только голодный.

А бригадир должен ежедневно выкручиваться и добывать своей бригаде ДП. За каждый отработанный день он должен добыть у вольного мастера, прораба или десятника справку о том, что его бригада выполнила дневную норму. Без такой справки не видать ДП.

На практике мы часто не выполняли нормы. Но наш бригадир умел держать на крючке мастера, который писал ему такие справки. Вместе с бугром они «тухтили», делали приписки в нарядах на никогда не выполняемую нами работу. Писали нам часто расчистку железнодорожных путей от снега, мы расчищали для вида сто метров, а писали семьсот и более. Писали штабелевку дров, которые мы никогда не штабелевали; колку уже пять раз колотых дров и так далее.

Мы получали ежемесячно рублей по пятнадцать-двадцать. По договоренности мы из разрешенных для отоваривания пяти рублей должны были брать в лагерном ларьке каждый по нескольку пачек папирос или сигарет. Все это мы отдавали бугру для мастера. Отдавал ли он мастеру или использовал сам — мне неизвестно. Зато точно знаю, что поили мастера бригадники часто.

Однажды, когда начальник конвоя утром на разводе стал поименно вызывать мою бригаду, дежурный офицер отложил мою карточку. Мне было велено оставаться в зоне и на работу не выходить. Это было неожиданно и загадочно. Уже в бараке, размышляя о случившемся, я догадался: ко мне приехали на свидание.

Администрация не хотела, чтобы я увиделся по пути на работу со своими. Весь день меня никто не вызывал и не тревожил. Сразу после развода обычно всех отказников, кто остался в зоне, по радио вызывают в штаб к начальству. Меня все забыли.

Но к обеду мне уже сообщили, что ко мне приехала родственница на свидание. Не администрация лагеря, конечно, нет. Сообщил мне зэк, возчик-ассенизатор. После обеда он же мне сообщил, что моя родственница на просьбу о свидании получила отказ.

Узнав об этом, я кинулся к администрации выяснять, почему мне отказано в свидании.

Первым поймал я в штабе Медведько. На мой вопрос он завертелся и твердил одно и то же: «Я ничего не знаю, ко мне никто не обращался, я никому не отказывал». В конце концов я его допек, и он велел мне обратиться с этим вопросом к начальнику лагеря, капитану Иванову.

Как назло, Иванова нигде не было, и я около штаба прогуливался в ожидании его появления.

Уже после возвращения зэков с работы в зону въехала большая грузовая машина, и в кабине рядом с шофером сидел Иванов. Машина привезла в зону мешки с цементом для заливки фундаментов под строительство новых бараков, которые собирались строить с весны.

Почему-то именно нашу бригаду вызвали на разгрузку машин. Выгружая цемент, я и спросил у Иванова об отказе в свидании. Иванов этот дослуживал последний год до пенсии и был эмвэдэшником еще со сталинско-бериевских времен. Он изобразил искреннее удивление на своем огрубевшем морщинистом лице деревенского мужика и ответил: «Я ничего не знаю!»

— Здорово! Начальник лагеря и не знает. К кому ж мне обратиться за разъяснением?

— Это в Управлении отказали. А я тут ни при чем.

— Но ведь вопрос о свидании решает начальник лагеря?

— Меня никто не спрашивал.

Больше мне от него ничего не удалось услышать. Пробовать ловить кого-нибудь из Управления, чтоб выяснить, — мало надежды, так как вечером никого из Управления в нашей зоне обычно не бывает.

В этот же вечер мне еще многие зэки, вернувшиеся с работы, передавали, что видели мою родственницу около вахты.

Так я и не получил свидания. А моя родственница уехала ни с чем.

Я решил все же до конца выяснить этот вопрос. Поймал както в зоне зам. начальника Управления, майора по кличке Губа. Так его звали и зэки, и надзиратели за изуродованную губу. На мой вопрос о запрещении свидания он ответил, что ничего не знает. И взялся мне объяснять, что свидания разрешает или не разрешает только начальник лагеря. Никому другому, заверял он меня, не дано права решать этот вопрос. Только начальник лагеря или его заместитель. А Управление тем более не может отказать. Управление вот разрешить вопреки отказу администрации лагеря может. А отказать — нет!

— Значит, мне отказано в свидании начальником лагеря?

— Да. И никем другим.

Через несколько дней я улучил момент, когда в штабе, в кабинете начальника лагеря, вели прием зэков по личным вопросам одновременно и Иванов, и Медведько.

Я им напомнил, как они мне сами вот так же вдвоем объясняли положение о свидании.

— Почему вы мне отказали в свидании, сначала убедив и заверив, что разрешите? Даже объясняли, что обязаны будете дать?

— Мы не отказывали. И вообще мы ничего не знаем, — пытались они вначале отделаться от меня. — Это в Управлении отказали. Мы же вам, Марченко, объясняли именно так.

— Да, вы мне именно так и объясняли. Но только сегодня вы говорили, что вообще ничего не знаете, а через десять минут тут же сказали, что это Управление. А вот я обратился к зам. начальника Управления, и он мне сказал, что не Управление, а именно вы лишили меня свидания.

И завертелись зам с начальником. В конце концов заговорили по-другому:

— Да, да, конечно, по новым правилам администрация может разрешить заключенному свидание не только с близкими родственниками, но и с иными лицами. Но только если она будет уверена, что это свидание будет способствовать перевоспитанию осужденного.

— Короче говоря, вы отказали в свидании?

— Какая разница, кто отказал? — завертелись они снова.

Так ни с чем я и ушел от них.

Уже выходя от них, я еще раз спросил:

— А чего же вы ничего этого не говорили, когда я у вас спрашивал? Я бы и не писал, чтобы ко мне ехали.

Они промолчали.

А я вышел.

* * *

К весне ко мне приехала на свидание Ира Б.[37]

Но результат был тот же, что и зимой.

Я работал все там же, на дровах УЖД. Однажды перед самым обедом к нам на работу пришел офицер дивизиона и велел конвою снимать бригаду и вести в зону. Зэки были удивлены: бригады с работы снимают очень и очень редко. Все были рады, что к обеду будут в зоне, и только гадали: «В чем же дело?»

Но и в зоне мы ничего не узнали. Никто ничего ни нам, ни бригадиру не объяснил. На следующее утро меня опять не выпустили на работу, а вся бригада ушла. Вот это-то и подсказало мне, что ко мне снова кто-то приехал. Это же мне подсказывали и зэки, знавшие о первой моей истории со свиданием.

Вечером, когда бригады вернулись с работы, мне несколько человек сказали, что ко мне приехала на свидание родственница.

Интересно, что зэки из моей бригады мне тоже об этом сказали, но с просьбой не рассказывать никому, что я об этом узнал от них. Оказывается, старший лейтенант Сирик — кум нашего лагеря, приходил на работу к моей бригаде и предупреждал бригадира и бригаду, чтобы мне ни слова не говорили о том, что ко мне приехали на свидание. Позже, дней через десять, бригадир мне сам признался в этом.

— Только не подводи меня, — просил он, — не проговорись, что это я тебе сказал. Ведь эта сволочь (он имел в виду Сирика) сгноит меня потом.

Дня два меня не выпускали за зону на работу — именно столько, сколько Ира Б. находилась в поселке. Она знала из моих писем, отправленных мимо лагерной цензуры, где и в какой бригаде я работаю. Она легко нашла мою бригаду, видела ее, но меня там не было. А Сирик, как рассказывали зэки (как мои бригадники, так и бесконвойники), шнырял за ней тенью, не спуская с нее глаз. Он прятался от нее за углами домов, за заборами и штабелями дров.

А солдаты рассказали, что слышали и видели они. Иру встретили еще на местном аэродроме. Только она сошла с самолета, как к ней подошли и стали расспрашивать: куда едете, к кому едете, зачем едете. Она, как мне рассказали те же солдаты, попробовала схитрить, чтобы от нее отстали, и сказала, что едет к родственнику на свидание, но не в лагерь на Красном Берегу, а в соседний поселок, в котором тоже есть лагерь. Ей, конечно, не поверили и все время строго следили за каждым ее шагом. Мне кажется, что за ее поездкой ко мне следили еще из Москвы.

После этого меня больше вообще не стали выпускать на

работу за зону и определили на работу в ремонтную бригаду, которая занималась ремонтом лагерных бараков.

В основном я работал в паре с печником. Ходили мы с ним по баракам и ремонтировали печи.

Звали моего печника Александром, и мы с ним хорошо ладили. Он был из Мытищ — это почти Москва. Когда он узнал, что я перед арестом жил в Александрове и, часто наезжая в Москву, каждый раз проезжал через его город, он стал считать меня своим земляком. Парень он был вообще-то хороший, если не считать того, что увлекался чифиром. Но это общая черта у зэков, и обычно на это не обращают внимания.

Обычно никто не контролировал, как мы работаем. Ни комендант, ни завхоз и никто из администрации не стоял над нами. И не было у нас твердого распорядка дня. Мой напарник часто куда-нибудь убегал в поисках чая на заварку, а я или уходил к себе в барак и читал там, а если было солнечно, то пристраивался где-нибудь под весенним солнцем и грелся.

Но такое удовольствие длилось недолго. Где-то в начале мая стали укрупнять бригаду, которая строила в зоне новые жилые бараки. Вот в эту-то бригаду и перевели меня с печных работ. В эту бригаду рвались многие зэки. Но когда бригаду стали расширять, то туда направили тех, кому, как и мне, по режимным соображениям был закрыт выход за зону.

Обычно весной идет отсев потенциальных беглецов из лесоповальных бригад. Пока тайга в снегу и побег практически неосуществим, на лесоповал отправляют всех, кого можно выгнать туда по состоянию здоровья. А как только снег сходит и тайга начинает зеленеть, бригады чистят. В тайгу выпускают только тех зэков, у кого срок маленький, три-пять лет. Или тех, у кого срок большой, но уже подходит к концу. Если у кого-то срок маленький, но нет на воле семьи или он жил до ареста без прописки — тому тоже летом в тайгу выход закрыт.

Вот из такой братии и шло пополнение в строительную бригаду.

Бригадиром в этой бригаде был болынесрочник по имени Иван. У него был большой опыт бригадирства, и он умел вертеться между начальством и зэками. Мужик он тоже был в общем-то хороший, отношения у меня с ним были нормальными.

Недели через две после перевода в строительную бригаду у меня опять создалась конфликтная ситуация с администрацией лагеря.

Дело в том, что перед отправкой из Соликамска на Красный Берег я обменялся барахлишком с кем-то из освобождающихся зэков: вольную рубашку и туфли с брюками я обменял на кое-что

из лагерной одежды. Вольные тряпки в лагере носить не дадут, а отберут в каптерку. Да и я после последнего суда уже мало верил в освобождение по окончании приговора. И все равно придется в лагере выписывать одежду и расплачиваться за нее из заработка, в котором зэк никогда не уверен, будет он у него или нет. Основная одежда лагерного образца у меня осталась еще с Ныроба, и в нее я был одет по прибытии на Красный Берег.

В апреле я написал в письме родителям и друзьям в Москву, что раз не дают мне свидания с друзьями, то пусть приедет мать на личное свидание. Эти письма я отправил как и положено зэку — через цензора.

А недели через две-три меня вдруг вызывают к себе Иванов и Медведько.

Сначала разговор шел ничего не значащий: как живешь, как работаешь, чем занимаешься в свободное время и так далее.

Потом вопрос:

— Вы получали у нас вещевое довольствие?

— Нет.

— А откуда у вас то, что на вас?

— Я же к вам приехал не с воли, а из лагеря. Там-то я и получал вещевое довольствие.

— А у нас, значит, вы не получали ничего из одежды?

— Нет.

Иванов вертел в руках мою карточку вещевого стола и показал ее мне:

— У вас вот записаны только теплые рукавицы.

— Да, только рукавицы я и выписал. Остальное привез с собой из Ныроба.

И разговор на этом закончился.

Вечером же по лагерному радио зачитали приказ начальника лагеря, в котором сообщалось, что «за незаконное приобретение одежды лагерного образца (телогрейки и куртки х/б) заключенный Марченко лишается права на очередное личное свидание с родственниками».

Ни Иванова, ни Медведько в зоне уже не было.

На следующий день я поймал Иванова, и он мне не моргнув глазом сказал, что ему известно, что я купил телогрейку и куртку здесь, на Красном Берегу, за наличные деньги.

— Это ложь. Вы сами знаете.

Но объясняться было бесполезно.

То же самое мне ответил и Медведько днем позже.

Я написал жалобу прокурору по надзору. Дней через двадцать меня вызвали в штаб и зачитали ответ. В нем прокурор мне сообщил, что мое заявление с жалобой на незаконное лишение

свидания он направил на рассмотрение начальнику Управления. И тут же мне дали прочесть и ознакомиться под расписку с ответом начальника Управления. В этом ответе говорилось, что я незаконно обменял вещи на пересылке в Соликамске.

Хотя меня все это и бесило здорово, но я решил на все плюнуть и больше не заводиться на эту тему. Я ведь знал, что кому-то, кто контролирует мое поведение, не хочется, чтобы я виделся со своими с воли. Поэтому меня лишат законного свидания любым путем и независимо от моего поведения. Вот и придумали «нарушение» мной лагерного режима.

Но когда через месяц в зону приехал этот самый прокурор по надзору для приема зэков, то он вызвал меня к себе сам. Я к нему не записывался — не испытывал в этом ни нужды, ни желания.

Когда меня к нему вызвали, я и не подумал, что разговор будет вновь идти о лишении меня свидания. Я думал, что будет что-нибудь новенькое.

Я сразу же, как только вошел, попросил его объяснить мне, зачем он меня вызвал. Услышав же от него, что опять о том же самом, я поморщился и сказал, что мне хватило его письменного ответа, чтоб понять, с каким прокурором я имею дело.

— Но ведь вы действительно не получали здесь вещевое довольствие?

— Я сюда приехал не с воли, а с такого же лагеря строгого режима в Ныробе. Там я одевался, и там есть карточка с записью всех набранных мною вещей, в том числе и телогрейки с курткой х/б.

— Но администрация располагает сведениями, что вы эти вещи выменяли на пересылке в Соликамске. А это является нарушением режима.

— Это голые слова. А в Ныробе есть документ — вещевая карточка. И потом, у меня есть два ответа: один от начальника лагеря, который в постановлении о лишении свидания говорит, что я купил вещи здесь, на Красном Берегу, другой — от начальника Управления, на ваш запрос он отвечает, что я эти вещи выменял на пересылке в Соликамске. Которому прикажете верить?

— Ну, Марченко, ведь ваша карточка чистая? Чистая. А одеты вы по форме. И у лагерной администрации были основания заняться выяснением этого обстоятельства.

— Никто ничего не выяснял. Нужен был предлог, чтоб лишить меня свидания с родственниками. И его придумали. А вы узакониваете произвол.

— Как не выясняли? — он начал перебирать какие-то бумажки на своем столе, выбрал нужную и, указывая мне на нее,

продолжал: — Вот начальник Управления сообщает мне, что проверкой установлено…

Он подчеркнул интонацией слово «проверкой» и вылупился на меня.

— Простите, а как проверяли? Что, нашли здесь того, у кого я купил вещи за наличные? Или нашли того, с кем я в Соликамске обменялся вещами? Или, может, нашли свидетелей того или другого варианта приобретения мной вещей? Ведь ничего этого администрация не имеет!

— Да, конечно, ничего этого нет, но…

— Но зато есть вещевая карточка в Ныробе, — перебив его и в то же время как бы его же и продолжив, снова заговорил я, — вещественное доказательство надуманности обвинения.

Прокурора все это не смущало. Он был спокоен и уверен, что все будет так, как он захочет, и наоборот, что любое мое законное право можно игнорировать и попирать.

А я уже завелся и не мог удержаться, чтоб не высказаться полностью.

— Какой вы прокурор! Ведь вы прекрасно знаете, что даже если утверждение администрации и верно на все 100 %, то и в этом случае она не имеет права подвергать меня взысканию.

— Это почему же? — спросил он равнодушно и чуть поерзал на стуле.

— В исправительно-трудовом законодательстве ясно сказано, что если со дня совершения проступка осужденным прошло более месяца, то по истечении этого срока администрация уже не имеет права накладывать взыскание. А в моем случае, если допустить версию начальника Управления, со дня обмена мной вещей в Соликамске до момента вынесения взыскания администрацией прошло три-четыре месяца. То же самое и с версией покупки мной вещей по прибытии сюда. Меня сюда зимой не голого привезли, а в телогрейке и в бушлате. И в день прибытия я был принят Ивановым и Медведько — что, я перед ними стоял голый? Я был в той же самой одежде, за которую они меня через три-четыре месяца лишили свидания. И чего стоите вы и ваши законы после всего этого?

А прокурор спокойно посматривал на меня. Он не прерывал меня, не возражал. Весь вид его как бы говорил мне:

— Говори, говори, это твое право.

И когда я кончил, он тоже молчал, посматривал на меня. И непонятно было, чего он сейчас больше хочет: чтобы я говорил? Спрашивал у него? Или чтобы я поскорее ушел?

Я выбрал последнее, так как чувствовал, что завожусь основательно.

И в бараке, и на улице я еще долго не мог успокоиться после этого разговора. Не мог отделаться от мысленного продолжения спора с прокурором.

* * *

А на работе было не очень-то сладко. Работал я в основном на рытье траншей под фундамент. Земля оттаяла только тонким слоем сверху, и мы ее долбили ломами. Глина отламывалась мелкими кусочками, и работа двигалась очень медленно. Зато выматывала она нас быстро. Зэки, сначала рвавшиеся в эту бригаду, ворчали и высказывали недовольство. Ждали лета, когда земля полностью оттает и будет легче копать. Бараки строились огромные, на четыре секции каждый. Под фундамент рыли сплошные траншеи, а по углам для прочности рыли большие квадратные ямы, чтобы летом фундамент не ушел в болото, на котором строились бараки. И прораб с мастером, и начальство торопили нас — надо было побыстрее вырыть траншеи, чтобы заливать бетон в мерзлый грунт — ведь летом все поплывет и в траншеях будет полно воды.

Бригадир решил разделить бригаду на два равных звена. Ведь нам нужно было не только рыть котлован, но и готовить щиты для опалубки, строгать брус и кантовать круглые бревна. Чтобы люди поровну уставали, бригадир менял звенья бригады, заставлял работать на рытье траншеи по очереди через день.

За пару дней до введения такой системы Иван отозвал меня в бараке в сторону и взял с меня слово, что я никому не проговорюсь о том, что он мне сейчас скажет.

Оказывается, Медведько, который по нескольку раз на дню наведывался к нам на работу и лично контролировал ход работ, потребовал от бригадира, чтобы тот ставил меня ежедневно на самую тяжелую работу.

Иван мне и раньше говорил, что Медведько почти ежедневно справляется у него, как я работаю. Бригадир удивлялся такому интересу и допытывался у меня о его причинах. Я отшучивался, не объясняя ничего. Мне не хотелось привлекать к себе еще и любопытство зэков. Иван понял, что от меня он ничего точного не услышит, и в насмешку над Медведько называл его при всей бригаде моим другом. Заявится Медведько в бригаду, ходит вместе с бригадиром вокруг траншеи с ковыряющимися в ней зэками, и оба удаляются в глубь зоны. Потом бугор возвращается к бригаде и с насмешкой скажет:

— Твой друг спрашивал, как ты работаешь.

Или завидит Иван приближающегося Медведько и хохочет:

— Эй, Марченко, вон твой друг прет!

И уже вся зона знала об этом, и всем было любопытно. Все понимали, что не из хороших чувств ко мне так внимателен зам. начальника.

А летом Иванов ушел на пенсию, и начальником лагеря стал Медведько. И напялили ему еще одну звездочку, сделавшую его капитаном.

Иван сообщил мне требование Медведько и жаловался, что он не знает, что делать со мной:

— Я буду менять звенья, поочередно ставя их то на рытье траншей, то на плотницкие работы. А с тобой что мне делать? Ведь этот х… ежедневно по нескольку раз приходит и проверяет.

Договорились мы с ним, что пока я буду работать со своим звеном и вместе с ним менять работу. Если Медведько это не устроит, то я с ним объяснюсь сам, не выдавая и не подводя Ивана.

И вот однажды Медведько заметил, что среди зэков, занятых на рытье траншеи, нет меня. Он поинтересовался у бригадира, и тот объяснил, что я в другом звене, которое вчера было на траншее и завтра опять будет. Медведько поморщился и высказал свое недовольство этим, но довольно сдержанно. Так все и продолжалось.

Под первый барак заливали мы фундамент в сухие траншеи, так как грунт оттаял еще не на всю глубину. И тут Медведько следил, чтобы я работал именно на бетонных работах.

А здоровье у меня было не таким уж соответствующим этой работе. Часто, долбя мерзлую глину, я ощущал головокружение. Наступали моменты приятной слабости, когда я становился безразличным ко всему, как под действием наркотиков. Я догадывался, что это связано со старой болезнью ушей, с нарушением вестибулярного аппарата. Пару раз обращался в санчасть, но там не было врача ЛОР, а местная врачиха беспомощно пожимала плечами. Вторым врачом-хирургом был зэк, но он, даже при хорошем ко мне отношении, помочь мне не мог ничем, хотя и давал несколько раз освобождение от работы на два-три дня.

Заливка фундамента шла медленно. Мы часто стали простаивать часами из-за неорганизованности. То нет цемента, то нет гравия, то возчик не подвозит воды. И бегает наш Медведько, психует, но тут уж к нам претензий быть не может. Одно дело бегать и кричать «давай, давай» на рытье траншеи, когда все зависит от зэков, которым, кроме ломов и лопат, ничего не нужно. А тут другое дело: зэки сидят без работы, и начальник

бессилен исправить положение. Так и тянулась эта волынка до осени. Где-то в сентябре мы покончили с фундаментом и стали собирать из бруса первый барак.

А ближе к зиме стали рыть траншею под фундамент второго барака. И тоже рыть было трудно: стены траншей плыли, и их заливало водой. Работать приходилось в воде, а сапог нам резиновых не давали. Зэки часто простужались и болели. Но дело двигалось. И рос второй барак.

* * *

Зимой, примерно в январе, меня перевели работать на лесобир-жу. Там основная работа — разделка хлыстов и штабелевка готового леса вдоль берега реки для сплава. Хлысты возили из леса километров за тридцать-сорок от биржи. Шоферами были и зэки, и вольные.

Меня определили в бригаду, которая занималась заготовкой дров. Нам оставались после разделки хлыстов вершины, комли, весь сухостой и гнилые цельные хлысты. Их мы разделывали электропилой на чурки и потом кололи на дрова и либо штабелевали, либо грузили на машины для отправки в поселок, в дивизион, в зоны — нам и на особый, в Соликамск.

На работу нас возили машинами, человек по тридцать пять — сорок в каждой. Выезжало на биржу ежедневно человек сто пятьдесят. Наша бригада была самой маленькой и тоже имела отдельную будку с железной печкой. Это была наша курилка, обогревалка и инструменталка. Кухня-столовая здесь была общая на всех. Помещалась она в отдельном домике и была еще грязнее, чем столовая в зоне.

Возили нас на работу через тайгу на огромных трехосных машинах со всеми ведущими. И называли эти машины почему-то «Аврорами». Сама работа была не из легких. Весь день пилили, кололи, грузили. И на этой работе в мороз и метель не отсидишься в курилке, так как дрова требовались всем и их нужно было готовить и отгружать ежедневно.

Весной на бирже стало хорошо: оцепление огромное, и ты в свободное время можешь бродить по большой территории, не замечая ни забора из колючей проволоки, ни сторожевых вышек с автоматчиками на них. А времени свободного стало выпадать достаточно — чем теплее на улице, тем меньше дров требуется на вывоз. И весной, когда уже окончательно зазеленело, нам было приказано сжигать штабеля дров, так как дрова загромождали место, которого к моменту сплава уже не хватало для готового леса.

Каждую весну в местных лагерях идет сплав леса, это самый ответственный момент в работе. Начальство, чтобы успеть по высокой весенней воде спустить в реку весь заготовленный за зиму лес, старается выгнать на сплав всех — сгоняют и бесконвойников, и даже вольных. И меня в общем потоке направили на сплав. А вот самые страшные преступники-рецидивисты, которые сидят под замком в соседней зоне, от этого

аврала избавлены, они не используются на сплаве по режимным соображениям, во избежание побегов. Зимой их даже в тайгу не пускают валить лес, и они работают всю зиму только на бирже: принимают лес в хлыстах, обрабатывают его и складируют в штабеля, готовя к весеннему сплаву.

Обычно на эту работу зэки идут охотно. Даже те, кто всю зиму считал за счастье отсидеться на работе внутри лагеря, весной рвутся на сплав. Я впервые вышел на биржу еще при снеге, когда весна чувствовалась только днем, а с утра были настоящие зимние морозы. Но вот в конце марта, а тем более в апреле солнце стало сильно пригревать в обед. Хорошо было в свободное от работы время или в обеденный перерыв забраться на самую верхотуру какого-нибудь из многочисленных штабелей леса. Нагретые солнцем бревна пахнут смолой. Приятно на них посидеть или прилечь. А с высоты штабеля, как с крыши многоэтажного дома, можно обозревать недоступное пространство во все стороны. Штабеля тянутся вдоль берега реки, а на другом берегу хорошо просматриваются две деревеньки: Иваньково и Степаньково. Противоположный берег очень крут и холмист. Вдоль него много леса, но попадаются и широкие поляны. Деревеньки стоят каждая на своей горе, и с нашего берега очень хорошо видна дорога между ними: она то тянется вдоль пашни по склону горы, то ныряет в лес и снова выныривает на поле. Часто по этой дороге ходят пешеходы, двигаются телеги и реже — машины. Эти наблюдения были для меня как кино. А летом к другому берегу реки пригоняли в обед стадо коров. Стадо было казенное: скоро сюда приходил трактор с прицепом, в котором сидели женщины. Трактор останавливался около стада, женщины высыпали из прицепа, снимали с него же белые бидоны. Потом женщины надевали белые халаты и шли к коровам. Доили они их руками. Надоив ведро молока, каждая из них шла к трактору и выливала молоко в бидон. После дойки они все вместе грузили бидоны на прицеп и уезжали. Стадо еще некоторое время оставалось здесь, но потом тоже уходило из поля нашего зрения. Эту картину можно было наблюдать ежедневно. И казалось невероятным: по одну сторону сторожевые вышки с автоматчиками, колючая проволока, овчарки и несколько сот зэков, а на другом берегу такая тихая и мирная идиллия! Коровы, доярки в белых халатах, белые бидоны!..

Доярки каждый раз подъезжали к стаду с песней и с песней же уезжали, но я из-за своей глухоты песен слышать не мог.

Как часто я рассматривал две эти тихие деревеньки! И мне не могло прийти в голову, что в один из дней лета 1971 года с другого берега смотрела одна из моих знакомых, москвичка Сима

Н.[38] Она большая охотница ходить в походы и экспедиции, и на этот раз она забрела с какой-то экспедицией именно сюда. Узнал же я об этом, когда мы с ней встретились году в 1974-м.

Летом мы здесь не только сплавляли лес, но и проводили время в свое удовольствие. Многие здесь рыбачили самодельными и запрещенными орудиями. Тут же варили уху тайком от конвоя и начальства, часто совершавшего набеги на биржу из-за ответственного момента — сплава. Костры нам строго-настрого были запрещены во избежание пожара. Но зэки народ изобретательный и хитрый. Здесь было полно малины, и мы паслись под носом у конвоя, который завидовал нашей возможности лакомиться спелой ягодой. Осенью здесь были и грибы, но я их уже не захватил…

Начальство на все это смотрело сквозь пальцы, хотя нет-нет да и устроят облаву на отлынивающих от работы. Но в карцер во время сплава обычно никого не сажали даже за пьянку. Начальство считало, что каким бы плохим работягой ни был иной зэк, выгодней его было гонять на биржу, чем сажать в карцер. Хоть одно бревно да столкнет он за день в реку. А в карцере от него не будет и этого.

А уже шло лето. Зэки в моем положении считали дни до освобождения. Многие заводили самодельные календари и ежедневно отмечали прожитые дни. А я чем ближе приближался к июлю, тем чувствовал себя беспокойнее. Жил ожиданием, что вот-вот мне вновь предъявят какое-нибудь липовое обвинение.

* * *

В разгар весны мне пришла посылка — законные пять килограммов продуктов. Выдавал мне ее лично опер Сирик, хотя обычно посылки выдает цензор. Но Сирик сам все перещупал своими пальцами. Сам протыкал халву шилом, ломал плитки шоколада, разворачивал конфеты и ножом резал каждую из них надвое. Но так ничего и не нашел.

С самого моего прибытия Сирик строго следил за мной. Когда я был на работе, он с помощью надзирателей лично перетряхивал мою постель и тумбочку. Иногда он ловил меня где-нибудь в зоне и устраивал мне обыск на месте.

Однажды, стоя перед обыскивающим меня Сириком, я не выдержал и спросил его:

— А вам не стыдно? Офицер обыскивает заключенного! Ведь эту работу могут сделать ваши подчиненные — сержанты и старшины.

— Нисколько, — было мне ответом под многозначительное хихиканье зэков, окруживших нас.

Зэки такому вниманию Сирика ко мне дивились — я не играл в карты, не был наркоманом и вообще не занимался в лагере ничем недозволенным. А я не раскрывал его причин.

Вообще эта публика — чекисты, как они именуют себя, — пародия на человека. Все человеческое для них, в отличие от знаменитого выражения основоположника марксизма, не только чуждо, но и враждебно, непонятно. Человеческое достоинство они не только не ценят в другом человеке, но и вообще не знают, что это такое. Честь, совесть, принципиальность, убеждения… все это далеко за пределами их воображения. И не понять иной раз: то ли они считают себя выше всего этого нагромождения человеческих ценностей, то ли сие им просто неведомо. Служат они фанатично, по большей части бездумно, и готовы на любые действия, лишь бы они были санкционированы начальством, властью. Нет такой пакости или преступления, которое заставило бы их хотя бы задуматься, прежде чем совершить его.

Вот у меня в Чуне делают обыск кагэбэшники из Иркутска. Со знанием дела и серьезно мужчина средних лет в чине подполковника ощупывает собственноручно наше грязное белье, «разбирает» в уличном сортире использованную бумагу…

На замечание Ларисы, что в дореволюционное время такую работу выполняли чины рангом пониже, он отмалчивается.

Вот другой чекист — начальник чунского КГБ майор Елизаров. Все время, пока я находился в ссылке, он усиленно искал ко мне ход. Вербовал рабочих чунского ЛЗК, чтобы ходили ко мне в гости и потом докладывали ему обо всем услышанном и увиденном. А потом, возможно, рассчитывал использовать их просто как провокаторов. Вербовал он людей обоих полов и всех возрастов, даже целыми семьями.

С семьями он поступал так: вызывает для беседы жену и уговаривает работать на него. После беседы предупреждает, чтобы об их «беседе» никому не рассказывала, даже мужу и детям. То же самое проделывает с мужем и детьми. У одних брал подписку о неразглашении, у других нет.

Если у тех, кого он выбирал себе в сексоты, были дети, то обещал помощь и содействие им при поступлении в институт после школы. В случае несогласия, наоборот, явно намекал, что отказ может отрицательно повлиять на судьбу дочери или сына при поступлении.

Был крючок и для детей. Им он участливо говорил: на твоего отца или мать достаточно материала для привлечения к суду, сейчас его судьба в твоих руках, все зависит от тебя…

Подговаривал женщин «закрутить» со мной роман и даже предлагал для этого коньяк; интересно, из собственного заработка или из фонда КГБ?

Все это мне известно от людей, которых он вербовал и которые не согласились с его предложением. Смею предполагать, что нашлись и такие, кто согласился или поддался на шантаж. Но их я не знаю, лишь догадываюсь о некоторых.

Это же Елизаров, как уж, уползает по опилкам и стружкам, пачкается в деревянной пыли, когда во время «беседы» с одним из рабочих в цехе ЛЗК старается не попасть на глаза остальным.

Шантажировал он людей даже так: приглашает человека к себе в машину и увозит в тайгу далеко от поселка. В машине он не один, с ним еще два человека, которые таинственно молчат, пока Елизаров уговаривает.

В этой же Чуне на меня готовят материал «на всякий случай». До меня доходит только какая-то часть работы Елизарова, и мне остается только гадать, что же мне уготовано.

А вот случай, который я предал огласке и о котором расскажу и здесь. С первых же дней моего пребывания в Чуне ко мне стал навязываться на знакомство молодой врач-стоматолог из районной больницы. Он пару лет назад окончил в Иркутске мединститут и теперь отрабатывал в Чуне свое бесплатное образование. Одновременно он был комсомольским активистом и даже членом бюро райкома комсомола. И на работе, и в райкоме комсомола он на хорошем счету. Со всем начальством в Чуне состоит в приятельских отношениях: во многом благодаря тому, что он единственный на весь район врач-стоматолог и к нему на прием записываются за полгода вперед.

Я долгое время уклонялся от такой компании и всячески уходил от Николая. Но за год с небольшим перед моим освобождением из ссылки он подошел ко мне с просьбой, отказать в которой я ему просто не мог. Он должен был ехать в Москву, но у него там не было где переночевать. Вот он и обратился ко мне с просьбой, зная, что я москвич.

— Ведь в Москве ни в одной гостинице мест не будет, — жаловался он, — это я знаю по прошлому разу. А на вокзале ночевать несколько ночей тоже неудобно.

Это мне было понятно, и я не мог ему отказать. Дал ему адрес одного своего знакомого в Москве и пообещал, что сам сегодня же позвоню тому по телефону и попрошу встретить. Когда через несколько дней Николай вернулся из Москвы и встретил меня, то он был в большом восторге от поездки в Москву и высказывал мне очень горячо и искренне свою признательность и благодарность за оказанные услугу и помощь.

А мне-то, собственно, эта услуга ничего не стоила. Отправляя Николая к своему знакомому, я не опасался ни за себя, ни за знакомого, ни за самого Николая. Я его ни о чем не просил и даже не написал записки. Если он подослан КГБ, то у него ничего не выйдет. Если же из него попробуют что-то выжать по возвращении, то он тоже ничего сказать не сможет.

После его поездки в Москву мы с ним все же сошлись довольно близко. Он стал бывать у меня в доме. Приходил один и с семьей. Бывали и мы у Николая. Это не прошло мимо внимания КГБ. А так как все заходы КГБ к моим знакомым и друзьям в Чуне до этого срывались, а людей мало мне известных я к себе близко не подпускал, то Елизаров решил не упускать возможности использовать Николая.

Почему-то Елизаров и его начальство решили, что Николая можно будет уломать. В октябре семьдесят седьмого его внезапно арестовывают и с первого же дня ареста ошарашивают целым букетом статей. Ему вменяют в вину такие мелочи, как использование казенного оборудования и техники (например, специальной автомашины) в личных целях и в целях наживы. Машина была предназначена для поездок по району для оказания медицинской помощи на местах. А кто из начальства не использует свои казенные машины в личных целях? Тот же Елизаров и другие начальники на казенных машинах не только ездят на охоту или на рыбалку, но и возят любовниц в тайгу, на лоно природы. Все это они проделывают, не очень-то маскируясь. Им можно. А другой не моги. А если и моги, то плати.

Но наряду с «мелочью» Николаю предъявили и серьезные обвинения. Одно из них касалось золота. Будто бы он кое-кому делал зубы и коронки из золота. А это уже тянуло лет на десять.

Расчет был прост: оглушить человека предстоящим осуждением на большой срок и с первого же дня предложить впрямую сделку: или дай нам Марченко, или получи срок в червонец. Мне сразу же стало известно, что от Николая добиваются показаний на меня. Я только не мог догадаться, чего именно добиваются от него и в чем же меня хотят на этот раз обвинить.

Если хотят состряпать мне обвинение по 190-й или 70-й статье, то я в этом отношении был совершенно спокоен. Не в том дело, что я был уверен в порядочности Николая. Просто я с ним не вел никаких подобных разговоров, и он не мог дать на меня никаких точных и правдивых показаний. Я даже в какие-то моменты утешал себя тем, что Николаю будет легко отклонять домогательства КГБ, не прибегая ко лжи, ему не нужно будет ничего выдумывать в мою пользу. Он может просто позволить

себе роскошь быть откровенным.

Пока шло следствие по делу Николая, мне уже остались считанные месяцы ссылки. И я готовился не к освобождению, а к новому сроку.

И вот мне становится точно известно, чего же требуют от Николая на следствии. Ему предлагают подкинуть мне в дом мешочек с золотым песком. После этого от него хотели бы получить показания, будто у нас с ним об этом золоте был разговор и я просил его сделать мне из него зубы. Когда я узнал об этом, то не поверил своим ушам. Долго не могла прийти в себя от такой вести и Лариса. Мы почему-то ожидали от властей всякой пакости, но не этой. Это не обвинение по 190-й или 70-й статье, где можно обойтись такими «уликами» и «криминалом», как «он сказал» или «он утверждал». Здесь налицо была неприкрытая провокация. Эти идиоты даже не поинтересовались тем обстоятельством, что у меня отличнейшие зубы, которые никогда не болели! Но, думается мне, если бы дело дошло до следствия, а потом до суда, то мастера по фабрикации дел приписали бы мне намерение сделать запасные челюсти из золота на всякий случай, так сказать, про запас. И загреметь бы мне лет на десять по золотому делу.

Но просчитались в КГБ. Слишком плохо они знают людей, если в каждом видят подлеца и подонка, способного откупиться от них чужим несчастьем. Это уж точно они по себе и других меряют! Николай никаких показаний против меня так и не дал.

Судили его в Чуне. В дни суда я узнал еще одну подробность: от него добивались и показаний против меня по участию в групповом изнасиловании. Вот только неизвестно было мне, кого КГБ определило на роль нашей жертвы.

Николаю обещано было, что его выпустят на время следствия под расписку на волю, если он согласится посадить меня, а суд приговорит его потом к условному сроку или вообще освободит прямо из зала суда с применением амнистии и прочих смягчающих обстоятельств.

Когда мне стало известно об этих домогательствах КГБ, я написал подробное письмо шефу КГБ Андропову.

Интересна такая деталь в этой истории. Лариса в первую же ночь, как только мы узнали о «золоте», позвонила об этом в Москву по телефону. Она подробно рассказала про всю эту готовящуюся провокацию. А на следующее утро Елизаров начал свой трудовой день с того, что потянул к себе на «беседу» жену Николая. Его сильно интересовал один вопрос: откуда Марченко узнал обо всем, кто ему рассказал? Вот и верь теперь, что наши телефонные разговоры не прослушиваются ушами

госбезопасности.

На суде Николая приговорили всего лишь к трем годам лишения свободы. К нему применили амнистию и заменили срок лагерей работой на стройках химической промышленности. С него сняли самые нелепые и ничем не доказанные обвинения о махинациях с золотом. Они и были-то ему приписаны лишь с надеждой оглушить серьезностью обвинения, чтобы легче было обрабатывать в нужном направлении.

Направили его работать на стройки в Братск, что в трех часах езды поездом от Чуны. Отработав неделю, Николай отпросился съездить домой в Чуну, к семье и за вещами. Тут-то его сразу и поймал Елизаров. От него потребовали на этот раз объяснений: кто рассказал Марченко о том, чего от него требовали на следствии?

Я в свою очередь показал Николаю письмо Андропову, чтобы он знал его содержание и мог бы разоблачить гэбэшников, если они его будут вводить в заблуждение по поводу содержания этого письма. В письме Андропову я не указывал фамилию своего информатора, что давало возможность Николаю легко отделываться от домогательств ГБ: ничего не знаю, я ничего Марченко об этом не рассказывал, я не знаю, откуда Марченко все знает.

Но когда и в Братске обеспокоенное КГБ стало тягать Николая и требовать от него все тех же показаний, Николай заявил открыто, что сам все рассказал мне. Тогда от него потребовали письменного объяснения. Он подробно написал обо всей этой истории. Кагэбэшник, прочитав его объяснение, обозвал кого-то дураком и был очень недоволен Николаем.

В следующий раз, когда Николая снова вызвали в Братске в КГБ, у него стали требовать других показаний: будто я с ним вел антисоветские разговоры, давал ему читать антисоветскую литературу и вербовал его. Но не объясняли даже, куда же я его вербовал. То ли в лес пойти по грибы, то ли искупаться в речке Чуне, то ли печатать листовки.

Николай уперся и здесь. А ему нашептывали: чего ты его боишься? Пиши! Вот тебе бумага, ручка. И не бойся его. Как только напишешь, больше с ним не увидишься!

Видя, что ничего из Николая не выжать, гэбэшники с сожалением сказали ему: уже успели распропагандировать!

Да, точно, распропагандировали парня! Только не я. Власти и КГБ своими незаконными и прямо преступными действиями и намерениями распропагандируют не только Николая, но и самых преданных советской власти людей. Действуя так, КГБ может добиться желаемого. Но это будет не убеждение собеседника, не

агитация, а шантаж и запугивание. И люди, пропущенные через КГБ, уже вряд ли будут верить громким словам о чистоте советской власти.

Сколько врагов советской власти создало ведомство на Лубянке за всю свою историю! Мой маленький опыт в одной лишь Чуне показывает, что ради того, чтобы любым путем упечь в тюрьму одного нежелательного человека, КГБ «распропагандировал» множество людей, от школьников и пионеров до пенсионеров.

Если кто упирается, то его упрекают: вы же советский человек! Вот и видно, каким хочет видеть советская власть каждого своего подданного.

История с Николаем на этом не закончилась. В конце концов его стали шантажировать пересмотром дела, заменой мягкого приговора на более строгий. Для этого подключили областную прокуратуру. Из Иркутска специально для этого приехал в Чуну прокурор и устроил новую возню с делом Николая. Но то ли ничего нельзя было переделать в смысле ужесточения приговора, то ли побоялись огласки, и Николай все же благополучно отбыл свой срок «на химии». Правда, ему пришлось порядочно понервничать и попереживать.

Вот список кандидатов в депутаты, опубликованный в районной газетке «Коммунистический путь». В этом списке есть и Елизаров. Очень жаль, что история с «золотом» и «групповое изнасилование» стали мне известны уже после выборов в местные советы. Иначе я бы обязательно пришел на встречу кандидата в депутаты Елизарова со своими избирателями. После его выступления я обязательно бы встал и рассказал присутствующим все, что мне известно об этом «слуге народа». Не уверен я только, что мне дали бы сказать всё: такие незапланированные выступления у нас пресекаются. Но все равно я бы постарался успеть сказать хоть основное и тем самым испортил бы это представление. Вряд ли даже публичное разоблачение могло бы помешать Елизарову быть избранным. Это-то я прекрасное знаю.

Сегодня Елизаров заседает в местном совете Чуны вместе с начальником районного отделения милиции капитаном Михайловым, который не чище него. И что может сказать или предпринять в этом «совете» какая-нибудь передовая доярка или лесоруб, даже если они этого захотят и осмелятся? Вершить дела здесь положено Елизаровым и Михайловым совместно с партактивом. А все остальные, действительные трудящиеся, набраны сюда для приличия, для статистики, прикрыться ими и показать: у власти стоят трудящиеся.

* * *

Где-то ближе к весне на головной лагерь пригнали большой этап с маленькой командировки, из лагеря, который назывался Талый. Благодаря этому я удостоверился еще в одной трагической истории: на Талом была расстреляна целая бригада зэков. И это произошло не в какие-то отдаленные времена Сталина — Берии, а сегодня. Историю эту я впервые услышал на Соликамской пересылке, когда попал туда зимой 1968/69 года, а произошла она летом 1968 года.

Вот что мне рассказывали непосредственные участники. В лагере на Талом, как и везде на Северном Урале, основная работа для зэков — лесоповал. Трагедия произошла с бригадой, которая работала на прорубке просеки. Обычно в такие бригады набирают зэков с маленьким сроком, да еще и тех, у кого уже заканчивается срок: такой зэк не убежит. По той же причине туда берут в основном людей семейных, а не молодежь. Поэтому и охрана там чисто символическая: два автоматчика. Там нет забора, запретная зона точно не определена.

Взаимоотношения между конвоем и зэками складываются, как правило, хорошо. Конвою нечего опасаться, что кто-то из бригады надумает убежать, и поэтому солдаты не очень-то строго следят за передвижением зэков. К тому же конвой зэки подкупают деньгами. Солдаты в этой глуши, как правило, очень падки на выпивку. Но денег у солдат нет, а у зэков они водятся. Зэки договариваются с конвоем, и тот отпускает кого-нибудь одного из бригады сбегать тайком в ближайшую деревню за самогоном. И пьют вместе конвой и бригада. Не раз бывало так, что в лагерь с работы возвращались пьяными и зэки, и солдаты конвоя: зэков сажали в карцер, как правило, до утра, а солдат на губу.

Вот и на Талом однажды бригада перепилась вместе с конвоем. Начальник конвоя, поручив охрану своему напарнику и отдав ему свой автомат, завалился спать. Так делают здесь часто: спят по очереди. А второй солдат от нечего делать спьяну стал искать себе развлечение. Нашел его в том, что стал баловаться оружием и целиться в зэков, пугать их своим оружием. Один из зэков ушел к ближайшему ручью за водой с котелком. Когда он возвратился, пьяный солдат стал в него целиться и, дурачась, орать, что может вот сейчас спустить курок и пристрелить того как беглеца. Зэк, в свою очередь, ему грубо ответил, требуя не играть по пьянке с автоматом. Солдат то ли нечаянно, то ли с умыслом выстрелил. К счастью, а может, солдат так и стрелял, пуля в зэка не попала, зато выстрел возмутил зэка и всю бригаду. Солдата стали всячески оскорблять и обзывать. Солдат заорал на

бригаду:

— А, б…и, вы еще орать! — и дал короткую очередь в воздух.

Кое-кто из зэков, конечно, после этого присмирел, но нашлись и такие, что снова заорал на солдата. В ответ тот дал длинную очередь по бригаде. От этой очереди попадали все: убитые, раненые и уцелевшие. Но солдат дал еще одну очередь по уже лежавшим зэкам. После этого он громко спросил:

— Живые есть?

— Я услышал это, — рассказывал мне мой бригадник, — и не знаю, что же делать: встать или продолжать лежать, прикидываясь убитым? Мордой уткнулся в траву, а одним глазом вижу соседа, Мору, цыган у нас в бригаде был. Он тоже плюхнулся вместе со всеми после второй очереди. Смотрю, Мора вскакивает на ноги и кричит: я живой, начальник, не стреляй! А в ответ короткая очередь, и Мора валится прямо на меня. Ну, думаю, если мент сейчас выпустит очередь по упавшему Море, то зацепит и меня. Зажмурился так, что аж глазам больно стало. И слышу, орет мент: «Ну, суки, еще есть живые?» Да теперь уж не было дураков отзываться.

Видно, начальник был настолько сильно под мухой, что не слышал ни первого выстрела в воздух, ни первой очереди. Когда он проснулся и прибежал, то бригада уже лежала молча и не понять было, кто жив, а кто ранен или мертв. Старший был здорово напуган увиденной картиной. На его вопрос, что произошло, солдат ответил: бригада взбунтовалась и пыталась напасть на него, что и вынудило его применить оружие. Начальник ему не поверил. Он попросил солдата отдать ему его автомат. Тот автомат отдал, но вытащил из него рожок с патронами; запасной рожок тоже был у него. Старший потребовал отдать и рожки, но солдат отказался. Он предложил начальнику уходить в тайгу вместе. Тот, видно, решил схитрить и согласился. Во время их разговора из тайги на просеку, видно, на звуки выстрелов, вышла местная женщина с корзинкой ягод или грибов. Солдат дал короткую очередь и по ней, женщина тоже упала. Зачем он стрелял по женщине? Может, убирал свидетеля? Или ему уже было все равно, в кого стрелять?

После этого он сказал своему начальнику: «Пошли!» — и зашагал первым.

Начальник дал отойти солдату от себя на несколько шагов, а потом быстро вскинул свой автомат и в упор выстрелил. Солдат упал мертвым. Отбирая рожки, солдат не догадался проверить автомат начальника, когда возвращал его. Оказывается, в ствол автомата был загнан патрон. Этот единственный патрон и использовал старший.

А дальше было все совершенно необъяснимо. Старший, вместо того чтобы собрать бригаду и предпринять что-нибудь дельное и законное, ушел в тайгу.

Бригада еще долго продолжала лежать, не решаясь заговорить или подняться. Потом уцелевшие стали подниматься и убегать. Раненые, кто мог, тоже поплелись, а тяжелораненые остались. Кто-то из зэков на пути к лагерю встретил офицера из дивизиона, который ехал в тайгу проверять конвой. Видя бегущего в тайге зэка, тот без предупреждения выстрелил в него и убил. Такая же судьба ожидала бы и остальных зэков; ведь все они бежали к лагерю единственной дорогой, навстречу этому дивизионнику, но их спасла случайность: из тайги по офицеру выпустили автоматную очередь, и он с перепугу вовсю погнал лошадь к лагерю. Начальство бросилось в тайгу выяснять, что произошло, а тем временем зэки прибежали к вахте и все рассказали.

Уцелевших зэков заперли под замок в карцер. И стали ловить начальника конвоя. А он не только убегал, но и отстреливался: убил офицера, нескольких солдат и служебную собаку. Живым его не взяли, он сам покончил с собой последним патроном. Что его толкнуло на такой шаг? Струсил ответственности за происшедшее? Или он помешался?

Этот случай долго разбирало всякое начальство — от местного до приезжего. Говорят, что приезжали даже из Москвы. Задергали всех зэков: и раненых, и уцелевших. Расспрашивали обо всем подробно. Но никто из местного начальства от этой истории не пострадал и никак не был наказан.

Историю эту знают только зэки и передают ее теперь из года в год. Это не в Америке произошло, общественность и даже родные погибших солдат и зэков вряд ли узнают подробности. Родственники погибших зэков получат извещения, что их сын или муж погиб при попытке к бегству, а родные солдат — что погиб при исполнении воинской службы.

* * *

К празднику 1 мая, как обычно в каждом лагере, у нас намечали торжественные мероприятия. Во-первых, нерабочий день, во-вторых, внеочередной кинофильм. Непременная торжественная часть, которую вел капитан, начальник КВЧ, потом концерт художественной самодеятельности зэков. После подведения итогов соревнования между бригадами и отрядами обычно зачитывали приказ начальника лагеря о поощрениях

отличившихся зэков. Этого-то многие и ждут от праздника.

А что это за поощрения?

Самые ценные из них — представление не более одного-двух зэков на помилование. Обычно на это подбираются такие, у кого срок уже на исходе, и обязательно из заслуженных, то есть непременно активисты и стукачи. Далее идет поощрение дополнительным личным свиданием с родственниками — так отмечают тоже не более одного-двух зэков. Далее идет поощрение внеочередной посылкой от родных — пять-шесть человек (этот вид поощрения не может быть применен к тем зэкам, кто не отбыл половину срока). Далее идет поощрение правом отовариться в ларьке на дополнительные два рубля сверх установленной нормы. Обычно так поощряется большинство хорошо работающих зэков, то есть те, кто не имеет отказов от работы (а это редкое явление в лагере). Потом идет объявление благодарности с занесением в личное дело. Над этими благодарностями зэки зло посмеиваются (ибо на практике они ничего не дают), часто кричат, что два рубля лучше. И последний вид поощрения — снятие ранее наложенных взысканий (не более одного) с тех зэков, у кого они есть. Всеми этими «поощрениями» охватываются далеко не все зэки, а только не имеющие грехов в несколько последних месяцев.

Начальство поручает составлять списки на поощрения бригадирам, и если бугор не сволочь, то каждый раз перед праздником бригадир обсуждает с работягами, кого из них чем поощрить.

Вот в бригаде и договариваются, кому что нужнее. О досрочном освобождении и о свидании тут не говорят, ибо все знают, что этот вопрос решает администрация. Посылку не каждому зэку есть кому прислать — вот и подбирают такого, кто мог бы ее получить.

Некоторым нужны благодарности в дело — если зэк собирается выехать на поселение или «на химию» до конца срока. Такие предпочитают не два лишних рубля в ларек, а благодарность — это увеличивает шансы выехать за зону или хотя бы на бесконвойку.

Мне раздумывать было нечего. Посылки, освобождения, свидания — их мне не видать как своих ушей. В благодарности я не нуждался — она мне, даже если это и пройдет, ничего не даст. Снимать нарушения? У меня оно единственное и к маю снимается автоматически — исправительно-трудовое законодательство гласит, что взыскание снимается, если зэк продержится год без нового.

Мне оставалось два рубля. И я их получил.

В начале мая в столовой лагеря вывесили список тех зэков, кто освобождается в ближайшие три месяца. В списках указывалось, есть ли у освобождающегося какие-нибудь дополнительные ограничения после конца срока: ссылка или административный надзор.

К своему удивлению у себя в списке я не нашел надзора. Судя по списку, я должен был освободиться вчистую.

Но мое беспокойство и сомнения от этого не уменьшились. Я хорошо помнил о коварстве и вероломстве властей. Со мной могут поиграть как кошка с мышкой — до самого последнего момента не будешь знать, что тебе готовят. Я даже не исключал и такого варианта: меня освобождают, выдают справку об освобождении и тут же, на выходе с вахты лагеря, предъявляют ордер на арест по новому делу.

В конце июня я еще более укрепился в мысли, что не выйти мне на волю и на этот раз. Меня вызвали на допрос к старшему куму Управления.

«Вот и началось», — думал я, сидя перед майором, заполнявшим титульный лист и официальную часть протокола.

Я сразу же потребовал, чтоб мне объявили, по какому делу и в качестве кого меня будут допрашивать.

— По делу Румянцева А.З. и в качестве свидетеля.

У меня немного отлегло, но тут же охватила тревога за брата моего друга. Валерий еще в лагере — досиживает свои пятнадцать лет. Если арестован и Анатолий, то мать их, Н.Д., осталась совершенно одинокой. А ведь она инвалид — совершенно ослепшая женщина преклонного возраста, совершенно беспомощная. Да и арест второго сына не доконает ли ее окончательно?

Да и о себе я беспокоился: сколько я знал примеров, когда человека сегодня допрашивают в качестве свидетеля, а потом превращают в обвиняемого.

Я отказывался отвечать на вопросы майора.

Хотя вопросы и были пустыми и вряд ли могли дать следствию что-нибудь против Анатолия, но я решил вести себя по заведенному правилу, руководствуясь своим принципом: самые лучшие показания — отсутствие их.

Никогда нельзя поручиться, что твои, данные из лучших побуждений показания не будут использованы во вред тому, кому ты желал ими помочь.

Я убежден, что, когда речь идет о политическом процессе, следствие никогда не использует показаний в пользу обвиняемого. А если уж следствие решило как-то облегчить участь подследственного, то оно это сделает и без участия

свидетелей. Есть такой прием у ГБ для тонкокожих интеллигентов, когда нужно выжать из них улики на подследственного, а другие способы — шантаж, угрозы, выматывания и прочее — на свидетеля не действуют. К такому подъезжают с благими намерениями и внушают, что его показания могут облегчить участь подследственного товарища или родственника.

А вопросы были такие: знаете ли вы Анатолия Румянцева, когда и где с ним познакомились, при каких обстоятельствах, что он из себя представляет. Знаете ли вы его брата Валерия Румянцева, где и при каких и т. д.

Откровенно говоря, вышел я от майора не в лучшем настроении. Беспокойно было и за себя, и за тезку. А главное, что я не знаю, в чем там дело, что произошло и что происходит в данный момент с моими друзьями на воле. Кто еще идет по этому же делу?

Это была задача со многими неизвестными.

Я об этом думал до самого конца срока, ожидая подвоха.

Но вот недели за три до конца срока меня вызывают в спецчасть. Инспектор спецчасти объясняет, что вызвал меня для окончательного оформления документов на освобождение. И не одного меня: вместе со мной были вызваны еще человек восемь — те, кто освобождается почти одновременно со мной. Здесь шла окончательная сверка данных и записывали место, куда зэк поедет на жительство. Тут же объявляли еще раз, есть ли у освобождающегося надзор или ссылка после срока.

Когда очередь дошла до меня, то я сам спросил, могу ли я поехать, например, в Москву.

— Нет.

— В Калинин?

— Нет.

Я перебрал с десяток городов в центральной части России, и на все это был один ответ — нет!

— Тогда давайте мне направление или в Питтсбург, или в Чуну, — стараясь быть серьезным, попросил я, — оба эти места за тысячи километров от Москвы, и никто мне там не откажет в прописке.

— А где эти Чуна и, — начальник спецчасти замялся, пытаясь выговорить незнакомое название города, — как второй город ты назвал?

— Питтсбург.

— Где они?

— Чуна в Сибири. Иркутская область.

— А второй?

— В США.

— Что ты мне голову морочишь! — с раздражением и повышая голос прикрикнул на меня тип. — Что записывать? Куда поедешь?

— Выбирайте сами, мне все равно.

— Записывать Чуну? — он вопросительно смотрит на меня.

— Я же сказал: мне все равно, Питтсбург или Чуну — куда направите, туда и двинусь.

— Нечего дурака валять, ведь серьезное дело, а не шутки, — уже примирительно ворчал он и оформлял меня в Чуну.

И ходил я как чумной после этого и в зоне, и на работе. С одной стороны, ожидание: остаются считанные дни до освобождения. С другой стороны, тревога: не намотают ли еще раз срок по надуманному обвинению?

На нашем лагпункте было правило, что освобождающихся за три-четыре дня увозили по узкоколейке до Сима, а оттуда машинами в камеру на Соликамскую пересылку. Из камеры и освобождали.

Я рассчитал, что я (если мне суждено освободиться) выеду с четвертой партией. И с нетерпением и тревогой ждал этого.

Но вот дней за шестнадцать до освобождения меня вызывают в штаб прямо с развода, не выпустив на работу.

И опять тревога — неужели новый срок?

В присутствии Сирика и при его личном участии меня раздели догола. Тщательно перещупали каждую складку в моей одежде.

Мозг сверлит навязчивая мысль: срок! срок!

Отказываясь что-либо мне объяснить, Сирик велит трем надзирателям вести меня в барак. Сам он шел рядом со мной. В бараке Сирик и его служаки наводят такой порядок, что ко мне не то что никто подойти, но и словом обмолвиться не может. Но мне-то терять нечего и бояться некого, и, пока я собираю по приказу Сирика свое барахлишко и постель, говорю зэкам в бараке о происходящем. Сначала Сирик пытался меня заставить собираться молча, но я послал его подальше, сказав:

— Я пока что не подследственный и даже не свидетель!

Видя, что меня ему не унять, он выгнал всех зэков из барака.

И вот я, навьюченный постелью и своим лагерным скарбом, уместившимся целиком в наволочку, под конвоем Сирика и трех надзирателей снова на вахте в пустом кабинете.

Первым делом отбирают и тщательно обыскивают постельные принадлежности. Обыскав их, зовут из коридора каптерщика, которого вызвали заранее, и велят ему их забрать. Каптерщик уходит. И меня вновь обыскивают. Я завожусь:

— Ведь только что сами же обыскивали! Неотступно были все время при мне! Делать нечего?

— А я и сам себе не верю, — грубо пытается шутить Сирик.

Голый стою в углу кабинета. Прощупав какую-нибудь тряпку из моей одежды, кидают ее мне, и я надеваю. Так постепенно я превращаюсь из Адама в современного человека-зэка.

У меня в вещах были кое-какие записи, копия приговора и обвинительное заключение по последнему делу. Сирик все это забрал и заверил, что не вернет мне. Мои протесты ничего не дали.

Мне велели выходить за вахту, но я требовал вернуть хотя бы копию приговора. В ответ меня схватили за руки и вытащили в предзонник. В нем уже находилось человек семь зэков с вещами. Все они ехали освобождаться, но, в отличие от меня, сроки у них кончались через два-три дня. Многие из них знали, что я тоже освобождаюсь. Когда они увидели, что надзиратели вместе с Сириком силком вытаскивают меня из зоны, им было смешно; они острили, что, мол, человека насильно выгоняют из лагеря.

Да, редкое явление!

Пробыли мы в предзоннике минут тридцать.

Потом появились Медведько и начальник спецчасти с пачками наших личных дел.

Начали сверять нас всех с формулярами дел. Когда дошла очередь до меня, я стал требовать, чтобы мне вернули мои записи и тем более приговор и обвинительное заключение.

Начальник спецчасти был удивлен, что у меня изъяли приговор, и вопросительно уставился на Медведько с Сириком.

— А зачем тебе они? — прикидываясь удивленным и непонимающим, спросил Медведько.

— Но они мои и могут мне понадобиться. К тому же вы не имеете права их отбирать.

— Ни за чем тебе они, — отвечал Медведько. — Освободят тебя и без них.

— Я без приговора и обвинительного никуда не поеду! Отдайте!

— Ничего, конвой справится с любым.

— Верните приговор!

— Не получишь! Если кому потребуется, напишет запрос, и ему вышлют. А тебе он ни к чему!

Сколько уже раз попирали твое законное право и топтали сам закон, издевались и смеялись над ним. Можно ли к этому привыкнуть? Можно ли с этим смириться? Признать нормой государственной власти? Мой жизненный опыт говорит мне, что для подавляющего большинства моих соотечественников, так

называемых советских людей, можно.

Но у меня лично не получается.

И вот мы уже в единственном вагончике, прицепленном к дрезине. Этот вагончик — такой же вагонзак, разновидность «Столыпина». Разделен на две камеры: одна большая — для зэков, вторая поменьше — для конвоя с собакой. Их разделяет сплошная стенка-решетка. У нас есть и окно с решеткой. Да и у конвоя обе двери открыты, и нам сквозь перегородку виден Урал в зелени.

Несколько часов едем по старой, плохо поддерживаемой узкоколейке. Хотя скорость и очень маленькая, но из-за скверного состояния дороги вагончик наш так трясет и кидает из стороны в сторону, что кажется, что мы едем не по железной дороге, а по таежной просеке, то и дело наскакивая на невыкорчеванные пни. За те несколько десятков километров, что мы проехали от Красного Берега до Сима, я насмотрелся на всякие виды и пейзажи Северного Урала. Есть места, на многие километры обезображенные давней сплошной вырубкой тайги. Впечатление от таких мест жуткое, и становится стыдно за человека перед его матерью-природой. Эти вырубки еще 1930-1940-х годов иногда тянутся вдоль дороги, но больше простираются в глубь тайги, уходя за сопки и скрываясь за горизонтом. Необозримая пустошь обезображенной природы!

Но есть и места, почти не тронутые человеческим присутствием. Они покоряют своей первозданностью.

Эти контрасты, так быстро меняющиеся, не суровое ли предупреждение и предостережение обезумевшему от своего кажущегося всесилия над природой человечеству?

И еще одна мысль неотступно сверлила мозг всю дорогу, пока я обозревал открывающиеся просторы Северного Урала. Кто строил эту узкоколейку сквозь таежные дебри и болота, при сорока-, пятидесятиградусных морозах зимой и при гнусе, сырости и слякоти весной, летом и осенью? Как и в Норильске, на Колыме, на Воркуте и во всей «обновленной» России — каторга, невиданная и неслыханная по своей жестокости за всю историю человечества.

От действующей УЖД, по которой мы ехали, то и дело ответвлялись следы заброшенных узкоколеек. Иногда на них еще виднелись догнивающие и заросшие травой шпалы, иногда они просто угадывались по заросшим травой насыпям через топь или выемкам сквозь возвышенности. Вдоль самой УЖД попадались целые поселки с бывшими лагерями — но уже разрушенные человеком и временем.

И я пытался представить себе тех, кто здесь тянул свои сроки от нескольких лет до четверти века, тех, кто положил под шпалу

свою жизнь — единственную. Мне мерещились скелеты под каждой шпалой, на каждом метре и вдоль действующей УЖД, и вдоль уже заброшенных, исчезающих на десятки лет позже тех, кто сгнил, строя их. Жизнь человеческая, отданная сваленной на нужды строительства социализма сосне. Сколько их, загубленных ради чудовищного опыта и уже всеми забытых, лежит на этих оголенных их руками пространствах?

Есть памятники безымянным солдатам — от скромных обелисков до монументальных комплексов. Есть братские могилы на несколько человек или десятков.

Но кто поставит памятник этим миллионам, пот, кровь, кости которых легли в основу фундамента всего нашего строя?

До тех пор пока мы не воздадим им должное, пока не осудим морально, юридически и исторически это позорное явление — мы не смеем называть его нашим прошлым. Оно будет всегда нашим настоящим, нашим сегодняшним днем. Ни мы не гарантированы от повторения этого зла — мы это чувствуем на своей шкуре — ни наши потомки. Мы передаем им это в наследство — забытием. И забытое может в одно прекрасное время воскреснуть. История повторится, и потомки с удивлением отыщут прецедент в нашем времени.

Любопытна еще одна деталь в жизни зэков и системе ГУЛАГа: тебе остались до освобождения считанные дни или даже часы, но с тобой обращаются с обычными строгостями и ограничениями, как будто ты не кончил срок, а только его начинаешь. У моих попутчиков было празднично-возбужденное состояние, и я, глядя на них, нет-нет да и отвлекался от своего тревожного ощущения неизвестности и поддавался общему настроению.

То и дело на нас по-прежнему рычал конвой: отойди от решетки, не стоять, не говорить громко, курить по одному и так далее. Одним словом, не ощущалось ни малейшей разницы между этим этапом и обычными. И пристрелить тебя могут за какую-нибудь оплошность, не считаясь с тем, что везут освобождаться.

В пути мы часто останавливались. То и дело попадались «посты-секреты» из двух-трех солдат с собакой и рацией, которые от нашего конвоя получали свой сухой паек на несколько дней. В летнее время на всех дорогах и тропах выставляются «секреты» — преграда для беглецов, коих становится полно при «зеленом прокуроре».

А сколько очаровательных мест мы проезжали! И не верилось, что здесь, в этих прелестных уголках природы, люди годами морили и убивали себе подобных, уничтожали за просто так изнурительным непосильным трудом на голодном пайке и

расстрелами, массовыми и одиночными. Как эти люди должны были воспринимать дивные красоты природы? Можно ли передать это, не побывав в их шкуре?

Иногда попадались нам и труженики: преклонного возраста мужчина, а чаще уже дед вековечной косой обкашивал траву вблизи УЖД. При виде нашего транспорта он задерживал косу или грабли и смотрел на нас. Мы безошибочно определяли: бывший эмвэдэшник. Выдавало его чаще что-нибудь из одежды — то фуражка, то гимнастерка, или китель, или брюки. Таким уже под семьдесят. Значит, их служба отечеству проходила в 1930-е, 1940-е и 1950-е годы. Кто эти встреченные нами старики крестьянского вида? Охотники за селедкой и мукой? Вахтеры, ломом разбивавшие головы уже мертвых зэков при их последнем выходе за зону — на кладбище?

Но это, так сказать, неудачники, домыкивающие свои последние пенсионные дни в родных и близких местах.

А сколько их доживает по-человечески среди людей, на курортах Крыма и Кавказа? В Москве и на дачах Подмосковья?

В Симе нас пересаживают в машину, уже ожидающую нас. За нами едет на Соликамск вторая машина — в ней везут на освобождение зэков из лагерей Сима. Нас могли бы увезти и на одной машине, но почему-то начальство решило иначе.

В Соликамске на пересылке всех зэков из моего лагеря сразу запустили в зону и поместили в барак, в камеру для освобождающихся.

Меня же оставили в предзоннике, позже соединили с симовскими и поместили в одну камеру с ними.

В разговорах выяснилось, что все они освобождаются позже меня, то есть я должен выйти на волю из камеры первым.

И я догадался, что не зря меня отделили от своих и поместили с незнакомыми, с теми, кто выйдет на волю позже меня.

Одно из двух: либо мне собираются намотать срок, либо не хотят, чтобы меня при освобождении встретили у ворот приехавшие друзья. Ведь друзьям известен день моего освобождения — 29 июля.

Мои сокамерники возмущались тем, что их привезли не за два-три дня до освобождения, а за две недели. Им выгоднее было сидеть в зоне, а не в вонючей и грязной камере с парашей. Я же свои догадки им не высказывал.

Здесь освобождающихся, у которых есть на лицевом счету деньги, водят в лагерный магазин шестой зоны, где специально для таких случаев имеется в продаже самая необходимая одежда. Почти все зэки предпочитают здесь переодеваться из лагерного в

вольное.

Повели и нас. Мои сокамерники в меру своих финансов обретали человеческое оперение.

Я был в лагерных темных брюках, которые ничем не отличались от тех, что выдают на воле рабочим как спецодежду, лагерных ботинках, на голове — зэковская кубышка. Денег у меня было около двухсот рублей, и я мог бы переодеться во все из магазина. Но…

Опять это «но». А если меня в последний момент перед освобождением «арестуют»?

Да и деньги жалко тратить на покупки — ведь в Москве у меня осталась моя одежда. А я знал, что мне деньги пригодятся и на жизнь.

И махнул я рукой на тряпки и на переодевание. Купил себе только дешевую рубашку и ремень для брюк — на всякий случай, если меня действительно освободят.

Лишь бы освободиться! И плевать мне, что я среди разодетой публики буду в зэковском.

Меня никогда не волнуют ни мнение, ни взгляды окружающих.

28 июля мои сокамерники то и дело повторяли: завтра Глухой откинется! И я тоже уже верил в это. Последнюю ночь в камере долго не мог уснуть, а проснулся самым последним.

Мы уже точно знаем, когда выводят из камеры на освобождение: часа за полтора до отправления из Соликамска поезда. Если кому ехать в европейскую часть страны, того освобождают перед уходом московского поезда, а кому ехать на восток — того перед свердловским. Томительно тянутся часы. Но вот из соседней камеры кого-то выводят, и зэк кричит на весь корпус прощальные слова остающимся товарищам. Я жду, когда загремит засов двери нашей камеры. Но никто к ней даже не подходит. Мои сокамерники начинают стучать в дверь и кричат: у нас тоже один освобождается сегодня, выпускайте! Но в ответ надзиратель громко стучит ключами по кормушке и тоже кричит:

— Без вас знаем, кого освобождать!

Зэки в ответ матюгаются и советуют мне скандалить с надзирателями. А у меня опять возникают подозрения, что снова замаячил новый срок.

Вот уже и время отправления последнего поезда. Значит, мне сегодня уже не выбраться на волю…

Зэки в камере допытываются у меня: не перепутал ли я день своего освобождения?

Настроение у меня хуже некуда!

Я падаю на нары и прикидываюсь спящим. Точно знаем и я, и

сокамерники, что поезд уже ушел. Но вот минут через тридцать гремит дверь, и меня толкают сокамерники:

— Глухой, давай на выход с вещами!

В кабинете, куда меня привел надзиратель, несколько человек: двое в штатском, начальник спецчасти и начальник пересылки.

— Сейчас плохо с местами на поезд. Для вас не оказалось места, и поэтому придется машиной везти вас до Березников. Там вас посадят на поезд.

— Так в нем же, вы сказали, нет свободных мест? — съязвил я, не удержавшись. Я знал, что это тот же поезд Соликамск — Свердловск. Он идет медленно и долго стоит в Березниках. Если выехать вслед за ним машиной из Соликамска, то нагонишь его в Березниках.

— Бывает так, что в Соликамске нет мест, а в Березниках есть, — неуклюже стал выправлять неловкость начальник спецчасти.

— А если мест не будет и в Березниках, то меня опять сюда привезете?

— Хватит острить, Марченко, получайте документы, и поехали!

Чувствую ложь в словах начальника пересылки, но молчу. Я же знаю, что для освобождающихся зэков всегда есть места и билеты, их стараются во что бы то ни стало выпроводить из Соликамска, чтобы они не ошивались в городе. Что же все это значит? Что еще они замышляют?

Но от этих размышлений меня отрывает начальник спецчасти:

— Так как вы освобождаетесь с административным надзором по месту жительства, то вам запрещено отклоняться от маршрута. Вы должны ехать в Иркутскую область и никуда не сворачивать…

Я ошарашен. Я был готов услышать об аресте по новому делу, но о надзоре у меня и мысли не было. Ведь чтобы осудить, нужен материал — хотя бы липовый. И его бы собрали, это уже проверено. Но додержать меня без единого нарушения до последних минут перед освобождением, а при выходе влепить надзор — это не лезло ни в какие ворота. Это понимали и все присутствующие в кабинете.

— Надзор устанавливается администрацией того лагеря, в котором отбываешь срок. А вы — кто?

— Я начальник пересыльного пункта, — отрекомендовался один. Остальные на меня и не смотрели.

— При отправке из лагеря мне было объявлено, что я освобождаюсь без надзора.

В ответ молчание и улыбка на физиономии одного в штатском.

Тогда я прямо обращаюсь к начальнику спецчасти:

— У вас в руках мое личное дело, и там за последний год нет ни одного взыскания. Так на каком основании меня ставят под надзор?

— Я ни при чем, — стал неловко и смущенно оправдываться тот. — Я только объявляю то, что в документах, и выдаю документы. А оформляю не я.

Все мои протесты отклонялись с одним и тем же ответом: мы ничего не знаем и исправить сейчас ничего не можем. Приедете на место и там можете опротестовать в прокуратуре.

Наш спор с начальником спецчасти затягивался, и один из тех, что в штатском, заторопил: вы опоздаете на поезд, времени уже не остается для разговоров! Меня уже никто не слушал. Сунули мне расписаться в получении денег и вывели из корпуса без паспорта, а только со справкой об освобождении. Это и есть указание о надзоре — иначе бы мне здесь же выдали на руки паспорт. А так я его буду получать в Чуне.

Когда мне выдали деньги и справку, у меня еле хватило выдержки, чтобы не порвать справку в клочья. Я был в мелком ознобе. Чтоб не выдать голосом, что меня окончательно вывели из себя, я решил молчать. От взвинченности у меня стучали зубы, и мне, чтоб скрыть это, пришлось крепко сжать челюсти. Сознавая свое состояние, стыдясь за себя, я готов был провалиться сквозь землю. Я чувствовал, как горят у меня уши.

В предзоннике стоит крытая машина типа грузового такси. Меня посадили в кузов, рядом сел один в штатском, напротив начальник тюрьмы. Какой-то офицер сел у защелкнутой дверцы заднего борта.

— Из машины не высовываться, в окно не смотреть и никому не кричать!

«А это что еще за секретная транспортировка? От кого скрывают меня?» — подумал я и догадался сам: кто-то из друзей приехал меня встретить, но начальство не желает этой встречи!

Так оно и оказалось на самом деле. Это были Люда Алексеева и Ира Белогородская. Они приехали еще вчера и вчера же заявились в спецчасть пересылки, чтобы узнать обо мне. Но им ответили, что Марченко еще вчера был освобожден и уехал в Чуну. Люда с Ириной почувствовали в этом что-то неладное, так как хорошо знали день моего освобождения. Поэтому они остались и ходили сегодня все время около пересылки. Они спрашивали обо мне всех выходящих из ворот зэков, и бесконвойников, и освобождающихся. Но никто ничего им не мог

сказать. Так я и проехал мимо них.

В брезентовом верху и стенках кузова машины было два крошечных окошечка, но мне было мало что видно в них.

Дорога была асфальтированная и в неплохом — редкость в нашей стране — состоянии. Машина шла на большой скорости, и очень скоро мы подъехали к вокзалу Березников. Из машины в помещение вокзала мы вошли все вместе, но по дороге к кассам все куда-то исчезли, и я остался один на один с офицером, который в машине ехал у задней дверцы. Он был очень тактичен — даже не тыкал, а обращался только на «вы» — это такая же редкость для эмвэдэшника, как… Я уж не говорю о том, что он меня вообще не стеснял в передвижении по помещению вокзала и за его пределами. Он только попросил не отстать от поезда, который должен был вот-вот подойти. И чтобы мы не потеряли друг друга в толпе — ведь билет-то мой был у него. Он был обязан посадить меня прямо в вагон.

Когда он отдавал мой билет проводнику вагона и что-то ему объяснял, указывая на меня, я заметил двух неброско одетых типов, подошедших к ним. Они сели со мной на соседние места, а офицер, простившись с ними, остался на перроне.

Но эти мои сопровождающие проехали со мной очень недолго и сошли где-то через три-четыре остановки — а поезд ведь не скорый, останавливается почти у каждого столба.

По моей одежде, по стрижке наголо легко угадывался зэк. А трасса от Перми до Соликамска усыпана лагерями и вдоль дороги, и в глубь тайги. Поэтому в вагонах полно военных в форме МВД — и солдат, и офицеров. Да и в штатском их немало. Они едут и по своим личным делам, и по служебным.

Где-то на полпути между Соликамском и Пермью ко мне подошел ехавший в этом же вагоне старший сержант. Он меня подозрительно осмотрел и со строгостью солдафона и охранника спросил:

— Куда едем?

— В Париж на ярмарку, — его же тоном ответил я.

Мне было невмоготу противно сидеть и чувствовать рядом присутствие этого эмвэдэшника. Я взял в руки свою почти порожнюю авоську, напялил на голый череп кубышку и пошел в тамбур. А эта сволочь увязалась за мной туда же.

Я стоял лицом к выбитому стеклу и пытался отвлечься от неприятного ощущения, рассматривая мелькавшую в проеме окна природу.

Сержант стоял рядом. Он курил и «изучал» меня, прислонясь к покачивающейся стенке тамбура.

— Куда едете? — снова спросил он меня.

Я посмотрел на него внимательнее, чем в первый раз, — обычная физиономия русского парня, каких полно можно увидеть и в Москве, и на Волге, и в Сибири. На груди его кителя было множество всяких значков, полученных им за спорт и стрельбу, за всякие отличия в боевой и политической подготовке. По этим регалиям — маршал Жуков передо мной. И меня это рассмешило, рассмешили это попугайское оперение и служебное рвение.

Во мне он заподозрил беглеца и проявлял бдительность.

— Езжай за мной и увидишь. Только паек получи и собаку прихвати.

— А может, вы заключенный и убежали из лагеря?

— Так оно и есть. Чего ж стоишь? Хватай меня, а то выскочу в форточку, — и я указал рукой на выломанное стекло в двери вагона.

В это время в тамбур заглянула проводница, которой мои сопровождающие отдали мой билет.

Сержант, увидев ее, обратился к ней:

— Он с билетом, — как отмахиваясь от навязчивой мухи, ответила она и скрылась в вагоне.

Я тоже пошел в вагон и сел на прежнее место. Сержант тоже вошел в вагон, но не сел рядом, а стоял в дверях, ведущих в тамбур. Так он стоял, не спуская с меня глаз, до ближайшей остановки.

Но как только поезд тронулся дальше — сержант исчез.

«Или отстал от меня, если не совсем дурак, или пошел сообщать обо мне по поездной рации ближайшему эмвэдэшному посту», — подумал я.

К следующей остановке он был уже снова на своем посту у дверей и не спускал с меня глаз.

«Сволочь и дурак», — глядя на него, думал я.

А через две остановки в вагон влетел патруль из трех человек. Мой пастух сразу кинулся к ним и указал на меня. Старший — не в форменной куртке, но в фуражке эмвэдэшника, очень развязный малый — сразу требует у меня документы.

— Сначала вы свои покажите. Кто вы такие? — взъярился я.

— Что, форму не видишь? — ощерился один патрульный.

— Демонстрируй ее своему начальству, а мне она не авторитет.

Старший молча полез к себе во внутренний карман куртки, а ощерившийся обратился оскорбленно уже к нему:

— Чего ты перед ним…

— Ладно, не лезь! — одернул старший и протянул мне удостоверение начальника оперативной группы с фотографией.

Я протянул ему свою справку. Он ее быстро пробежал

глазами, и я заметил в его руке несколько фотографий — он сверял мою физиономию с беглецами в розыске.

Потом справку молча вернул мне, и, ни слова не говоря, они все вышли из вагона.

Успокоился и мой пастух, сел ко мне спиной у окна в проходе следующего купе.

И ехал я дальше без приключений.

Я решил вопреки «советам» и предупреждениям типов в штатском заехать в Москву. Мне не терпелось повидаться со своими друзьями. Некоторых, и очень близких из них, там уже не было. Я говорю о тех, кто 25 августа 1968 года вышел на демонстрацию на Красной площади, протестуя против оккупации ЧССР.

Не было в Москве и П.Г. Григоренко — его замуровали в сумасшедший дом, не было Андрея Амальрика — его уволокли в лагерь на Колыму, в сумасшедшем же доме оказалась Наташа Горбаневская.

Обо всем этом я узнал, будучи в лагере, узнал вопреки цензуре и Сирику, окружившему меня «санитарным кордоном».

Заехать в Москву мне стоило хотя бы для того, чтобы переодеться в свою одежду, взять с собой в Чуну необходимые документы, например трудовую книжку, которая необходима для устройства на работу.

Я доехал до первой крупной станции, на которой северная трасса от Соликамска соединяется с Транссибирской магистралью, — кажется, это была станция Чусовская. На ней я вышел. До ближайшего поезда на Москву нужно было ждать часа два. Была полночь. Толкучки на перроне не было. Я не обнаружил за собой слежки, но решил проверить. Но чтобы не рисковать остаться без билета, я решил сначала купить билет до Москвы, а уж потом проверять. И это была ошибка, я это чувствовал, но тем не менее делать было нечего. Ведь, покупая билет, я выдавал через кассира и номер поезда, и вагон, и даже место. Да и стукач мог стоять за моей спиной в очереди.

Я пошлялся по предутреннему городу, по улочкам, прилегающим к вокзалу, и мне казалось, что никто мной не интересуется, никому я не нужен.

Поезд пришел точно по расписанию, и я спокойно сел в вагон.

Нужно отметить, что я несколько раз прохаживался по залу вокзала, по пустынному перрону и несколько раз попадался на глаза милиционерам. Но ни один из них не обращал на меня внимания. А ведь во мне виден был стопроцентный зэк.

Что это? Шаг вперед в вопросах нашей демократии и

законности или совместные рассчитанные действия агентов ГБ и железнодорожной милиции станции Чусовской?

Хотелось бы верить в первое. И несмотря на трагический исход моей затеи с заездом в Москву, я не берусь дать определенный ответ на эти вопросы и сейчас, по прошествии нескольких лет, когда вспоминаю и пишу об этом.

Я специально взял билет не в общий вагон, а в купейный, чтобы проще заметить слежку. Место мне досталось, как по заказу, в пустом купе. Проехав, не выходя из купе, две или три остановки, я вышел в коридор. Напротив моей двери у окна стоял и курил тип, по роже которого я сразу узнал своего «пастуха». Теперь я стал следить за ним. Оказалось, что он ехал в купейном вагоне, не имея ни своего места, ни вещей. Так он и ехал, стоя у моего купе, всю ночь до самого Кирова. В Кирове я выскочил на вокзал и отправил в Москву телеграмму, что буду в Москве утром, часов в восемь-девять. На всякий случай — авось я ошибаюсь, что за мной едут по пятам, — я не указал ни номер поезда, ни время точного прибытия.

«Если не едут со мной, — рассчитывал я, — то, укажи я точное время, перехватят телеграмму и вместо друзей на вокзале меня встретят гэбэшники».

Зайдя в свое купе, я обнаружил попутчика — офицера-артиллериста. Сейчас точно не помню — капитан или майор.

Попытки артиллериста войти в контакт со мною выдавали в нем агента ГБ.

Из него перло уголовно-розыскное нутро. Наглость и нетактичность — качества, могущие быть присущи и офицеру, как и любому человеку. Но я чутьем, интуицией увидел в нем агента или уголовного розыска, или ГБ.

Обычно офицеры, едущие в отпуск или в командировку, попадая в купе, берут постель и отдыхают. Моему же попутчику, наверное, не выдали рубля на оплату постели. Да и был ли у него билет именно в мое купе? Да и вообще был ли билет? До самой Москвы он ехал не раздеваясь и подремывал. В Кирове сменился постовой у окна в коридоре. Я уже был точно уверен — я в кольце, под зорким оком властей.

И гадал: что они предпримут, что сделают со мною — снимут в пути, не дав доехать до Москвы, или снимут в Москве? Может, пустят в Москву и проследят мои визиты?

Через несколько часов все выяснится.

Не раз я ловил себя на мысли: «А не зациклился ли я на преследовании своей особы со стороны власти? Не мания ли преследования охватила меня?» При подходе поезда к Ярославскому вокзалу в Москве я вышел в тамбур вагона. За мной

никто не пошел. Оба агента остались в вагоне. У меня мелькнула мысль: «А не открыть ли дверь вагона да и выскочить на ходу в пригороде Москвы?» Оставить свою авоську с мылом и зубной пастой сторожам. И поезд шел медленно.

С другой стороны, сделав это, я рискую быть задержанным уже на законном основании. И хотелось проверить свою догадку о слежке.

Я вернулся в купе. Оба стукача стояли у окна в коридоре. Начинали выходить в коридор и пассажиры с вещами.

Вот и Ярославский вокзал. Замелькал под окном серый асфальт платформы. Медленно остановился поезд, потом чуть-чуть проплыл в обратном направлении и замер окончательно.

Чтобы удостовериться, есть ли слежка, я решил выйти последним — на опустевшей платформе легче заметить стукачей. Почему я должен бежать, прятаться, скрываться, приезжать тайком? Я «уже не преступник», я свободный человек. И нет у меня темных намерений.

Еще в Березниках я твердо и принципиально решил открыто приехать в Москву. И так и ехал.

Я не ждал, что меня друзья встретят на вокзале. Но знал, что они ждут сейчас моего звонка у своих телефонов. И так оно и было, как впоследствии они все говорили. Выхожу последним в коридор. Меня ждут «попутчики». При подходе к тамбуру вижу у дверей троих милиционеров и несколько штатских — они не вышли из вагона и не думают уходить с толпой. Они всматриваются в выходящих и кого-то ждут.

«Меня!» — мелькает мысль.

Один из моих попутчиков, идущий впереди меня, махнул рукой «встречающим», и те оживились, засуетились. Только моя нога коснулась асфальта перрона, меня схватили: по бокам два милиционера, а третий держал сзади за ворот. Штатские, как бы не вмешиваясь, кружили вокруг нас. Сначала мы все молча постояли в таком нелепом положении. Видно, выжидали, когда толпа пассажиров схлынет с перрона. Как только перрон опустел, меня повели, минуя вокзал, в отделение милиции. На этот раз я решил вести себя пассивно — посмотрим, что они сделают.

Меня доставили в кабинет, где уже ждали несколько человек в штатском. Двое или трое стояли у окна и стены, а один сидел за столом.

Я решил, что пусть они начинают разговор, а я буду выжидать.

Сидевший за столом велел выйти тем, кто меня доставил.

Когда те удалились, он обратился ко мне:

— Кто такой? Откуда и куда едешь?

Уже в самом тыканье и манерах чувствовались профессиональное хамство и наглость, свойственные работникам уголовного розыска и низшему звену ГБ.

— А вы что, не знаете, кого двое суток пасли и кого приказали к вам доставить с поезда?

— Здесь вопросы задаем мы.

— И тем не менее я не стесняюсь и спрашиваю вас, на каком основании меня схватили ваши держиморды?

Я знал, что передо мной сидит простой исполнитель чужой воли. Вполне возможно, что он и не гэбэшник, а работник уголовного розыска, которому поручили выполнить определенную грязную работу. И он ничего не решает, а разыгрывает все по ролям. И он «решит», как со мной поступить, независимо от своего отношения ко мне лично и независимо от моего поведения. Конец спектакля предрешен, и я это знал. Сознание этого и трезвая оценка ситуации освобождали меня от необходимости даже думать, как себя вести.

За мной не было свежих грехов, а если они что надумали — то опять же не в моих силах что-либо изменить.

Я и во времена, когда у меня были «действительные» грехи перед ГБ, не скрывал своего отношения к власти и ГБ и вел себя в контактах с ними более или менее независимо.

А сейчас я себя чувствовал совершенно свободным в морально-нравственном отношении.

А тип за столом не был полностью информирован обо мне и начал со своего обычного метода работы: наглости, грубости и демонстрации могущества.

Нарвавшись на мое решительное отрицание их превосходства, видя, что так даже обычного разговора не получится, он помягчел, стал вежлив и сдержан.

Он начал мне сбивчиво объяснять причину моего задержания, либо сочиняемую на ходу им самим, либо подсказанную главным дирижером.

— В вагоне, в котором вы находились, произошла кража.

— И какое я имею к этому отношение?

— Нам поступил сигнал, и мы обязаны принять меры.

— Какое мне до всего этого дело? — повторяю свой вопрос.

— Есть основания подозревать вас.

— Я ехал в купейном вагоне. В моем купе я был один с вашим агентом-артиллеристом, — последнее слово я произнес с иронией. — Ни в какое другое купе я ни разу не заходил. У моих дверей бессменно дежурил ваш второй агент. Не разыгрывайте комедию с кражей!

— Пропали деньги и документы, — как бы не слыша меня

говорил сидевший за столом. — У вас есть при себе деньги и документы? Покажете?

На обыск не напирали — не видели в этом нужды. А я бы потребовал санкции прокурора.

Я показал типу справку — свой единственный волчий документ.

Он стал ее изучать и не то по привычке, не то из каких-то своих соображений стал мне задавать вопросы, как по анкете.

— Я вам дал справку, и там все обо мне сказано. А у меня нет ни нужды, ни желания общаться с вами.

— Сколько вы получили денег при освобождении?

— Я вам ответил на все ваши вопросы. Добавить нечего.

Тип за столом похмыкал, поерзал на стуле, продолжая вертеть в руках мою справку, и начал о том, ради чего меня и сняли с поезда.

— В справке сказано, что вы освобождены и направлены под надзор милиции в Иркутскую область. Так? — он уставился с улыбкой на меня.

— Можете продолжать, — тоже улыбаясь, ответил и я.

— Иркутск во-он где, — протянул он, — а вы поехали в противоположную сторону. — И он опять сделал паузу, глядя на меня и ожидая ответа.

— Ну, ну, продолжайте, не стесняйтесь.

Ему почему-то нравилась эта игра. Он совсем раздобрел и говорил без злобы, а скорее с сожалением, юмором и почти с сочувствием. Остальные в кабинете были манекенами.

— Ну, Марченко, зачем вы приехали в Москву?

— Нельзя?

— Вам нет. У вас надзор.

— Меня здесь арестовали, здесь мои вещи, и я хочу переодеться и увидеться с друзьями. Это что — криминал?

— Вам нечего делать в Москве.

— А кто решает, кому есть что делать, а кому нет? Уж не вы ли?

— Какая вам разница…

— Я требую, чтоб меня отпустили сейчас же…

— Вас никто не держит. Вот разберемся только, и все.

— Нечего мне с вами разбираться.

— Мне с вами тоже. Другие займутся вами.

И меня повели к машине, привезли в какое-то другое отделение при Ярославском вокзале.

Несколько часов держали в дежурке вместе с несколькими пьянчужками. Мы сидели, отгороженные от большого коридора деревянным барьером. Вокруг шныряли милиционеры, в том

числе офицеры.

Потом меня вызвали к какому-то полковнику, который пробовал меня спросить: к какой железной дороге относится станция Чуна и где примерно она находится. Я отказался с ним говорить, объяснив причину произвольным задержанием.

После этого меня не трогали до самого вечера.

За это время то и дело приводили и привозили разных нарушителей: за кражи, пьяных дебоширов, в том числе одну женщину средних лет. Привели двух девиц с вокзала — проституток. Они обе молоденькие — лет по семнадцать-восемнадцать, не более. Почти все милиционеры этих девиц знали, и со многими из них они имели какие-то интимные отношения. Сами девицы откровенничали за барьером с пьяными мужчинами, что, мол, вся милиция у них в п… перебывала.

Оказывается, что они здесь частые посетители и их в любой момент могут выслать из Москвы за проституцию. Но пока все обходится простым задержанием на несколько часов.

За время, что я провел в отделе милиции, мне кроме девиц-проституток запомнился один пьяный мужчина лет тридцати пяти, которого подобрали вдрызг пьяным где-то около вокзала. Его привезли вскоре за мной. К вечеру он вполне очухался, поднялся и стал безобразно кривляться. Он воспитывал всех в духе подчинения «органам» — так он величал милицию. С милиционерами он был по-свойски, на равных. Такой обычный тип рядового работника уголовного розыска. Дальнейшее подтвердило мою догадку.

Я уже знаю от своих соседей, когда уходит ближайший поезд, — а он один прямой до Чуны, «Москва — Лена», и ходит только в летнее время. Из Москвы он отходит где-то часов в девять вечера.

Часа за два до отправления поезда меня вновь отвели к полковнику милиции. Зачитали постановление, подписанное генералом милиции, что меня повезут в Чуну в сопровождении работников милиции. Было объявлено, что мне нельзя выходить даже из купе в коридор, а в туалет ходить только в сопровождении, под конвоем. За продуктами будут бегать в вагон-ресторан и на вокзалы на остановках сопровождающие. И велено сидеть тихо и смирно: сотрудники милиции вооружены.

— И вещи не дадите взять?

— Приедете на место, сообщите, и вам пришлют.

— Дайте мне позвонить по телефону друзьям — они разыскивают меня и волнуются!

— Приедете на место и позвоните, — отвечал полковник.

— Вы трус, как и вся власть ваша, — не выдержал я.

— Давай-давай, — спокойно, с чувством своего физического превосходства и с иронией сказал, как пропел, полковник с ромбиком на кителе, поди, выпускник академии МВД — юрист.

К поезду меня повели хитро — до объявления посадки, когда вагон был еще совершенно пустым.

Двое молодых и здоровенных сержантов милиции вели меня к вагону, вежливо, но крепко держа за руки с обеих сторон. Еще один шел впереди и двое сзади. И несколько человек в штатском. Вот такой компанией мы и ввалились в вагон. Меня провели в самый конец вагона и завели в самое последнее купе. Вагон был не купейный, а плацкартный. Мое купе было завешено от глаз остальных пассажиров одеялом. Там уже сидели двое: один в штатском и второй в офицерской форме танковых войск. Из всей компании, пришедшей вместе со мной, в купе вошли только два милиционера. Вот впятером мы и поехали из Москвы. Милиционеры мои весело болтали с двумя, что находились в купе ранее нас, и не скрывали от меня, что они знакомы. Эти четыре человека — моя охрана. Билеты всем за казенный счет.

Меня и сейчас поражает трусость власти. Столько средств и людских сил, огромный механизм огромного государства направлен на подчинение или хотя бы на сдерживание одной личности — маленького человека, песчинки в пустыне.

К милиционерам пришли их молодые жены или невесты. Видно, отъезд в командировку им всем был неожиданно объявлен. Они шутили и весело переговаривались, и, если бы не форма МВД на двоих, я бы и то посчитал их за обычную публику. Их не смущал произвол власти, орудием которой они были. И мне представилось отчетливо, что советский человек вот так же, пошучивая и похохатывая, между делом расстреляет и прикончит любого по приказу властей.

Нет, думал я, наблюдая, переживая и осмысливая происходящее со мной в последние годы, 1937 год и все ужасы — это не наше прошлое, а наша действительность сегодняшнего дня. Пока она проявляется в малом, но нет сдерживающей пружины, и мы всегда, в любой момент можем втихомолку, по-домашнему, по-семейному, оказаться в новой бойне.

Мне отвели среднюю полку, и я там лежал в ожидании отправления. Почти вагонзак — только окно не в решетке и открыто. Я могу смотреть в него сколько угодно.

Я ждал отправления, ожидая, как еще раз (и кто знает, может, последний раз в своей жизни!) проеду знакомые до мелочей подмосковные места. Ведь поедем через Александров.

И вот тронулись. Замелькали платформы подмосковных городков, поселков и сел, где останавливаются на минуту

александровские и загорские электрички. Вот промелькнули Мытищи — родина моего шефа, печника Саньки с Красного Берега. Пошли леса, перелески, проплыли купола и шпили соборов Загорска. Скоро Александров, а за ним уже незнакомые места. За окном темнеет. Часа через четыре остановка в Ярославле. Под Ярославлем был обход ревизора, проверка билетов. Зашел он и к нам вместе с проводником. Мои сторожа ему что-то показывали — не то билеты, не то документы какие-то. Я не слышал большей части их короткого разговора, но отчетливо уловил удивленный вопрос контролера — пожилого железнодорожника в форме. Он посмотрел на «офицера-танкиста» и спросил: «А почему танкист?» Все засмеялись в купе, а «танкист» весело и довольно ответил: «Потребуется — завтра буду летчиком!» И опять смех. Ко мне ревизор не обращался, мы с ним молча обменялись взглядами. Но в его взгляде я ничего не увидел — пустые глаза.

Ночью где-то сошел «танкист», и когда я утром на рассвете проснулся, то двое моих охранников спали — один на верхней полке, второй на нижней. Третий же — милиционер — бодрствовал на посту, сидя на нижней полке напротив меня.

Днем исчез с концами и тип в штатском, и мы поехали дальше втроем.

Видно, в вагоне ходил слух о нашем купе. Да и как ему не пойти, когда меня в туалет впервые повели четыре лба в различных формах. Это было где-то у Ярославля. Пассажиры готовились ко сну, и в туалет была очередь. Я, не видя этой очереди из своего завешенного и охраняемого угла, изъявил желание выйти в туалет. Меня вывели без всяких разговоров: милиционер с танкистом впереди меня, а позади милиционер с типом в штатском. Меня провели мимо очереди, и дурак-милиционер стал вертеть ручку двери и стучать, чтобы находящийся там человек поторопился. Дисциплинированные и вышколенные советские люди в лице очереди из пассажиров молчали. Мне было неловко, я считал себя виновником их унижения. Я готов был повернуть назад, но дверь туалета открылась и в двери показалась физиономия возмущенного интеллигента. Он гневно возмущался «хамством» в неопределенный адрес. Увидев первого милиционера и, по-видимому, еще не сообразив, что это именно он и торопил его, он продолжал возмущаться, стоя в дверях туалета. Но блюститель его укротил при молчании толпы:

— Идите на свое место и там возмущайтесь!

— Быстрей, быстрей, — поторопил его и танкист.

И гнева на лице как не бывало. Покорно и тихо он

прошмыгнул между очередью и нами, стоящими вдоль противоположных стен вагона.

Танкист сдуру, не остыв от наслаждения властью, велел мне не закрывать дверь, а оставить ее чуть приоткрытой.

— Когда с женой поедешь в отпуск — вот за ней так будешь следить! — и я хотел закрыть дверь.

Но танкист успел всунуть через порог ногу и решил не давать мне закрыться.

— Болван, убери, или отдавлю! — и я шире открыл на себя дверь, давая понять, что сейчас покалечу ему ногу.

Дверь узкая, в проходе тесно, все это создавало хаос. Милиционер ладонью налег на дверь через голову «танкиста», намереваясь помешать мне хлопнуть ею.

Но все быстро изменилось: тип в штатском протиснулся к двери, быстро сказал что-то на ухо «танкисту», и тот сразу убрал ногу и вышел в тамбур.

— Закрывайтесь! — сказано было мне.

Милиционер убрал свою лапу с двери, и я закрылся. Толпа любопытствовала и молчала.

«В тамбуре, поди, открыли дверь на улицу и следят за окном туалета — не выломаю ли я его», — думал я.

В последующие разы я ходил в туалет спокойно. И когда при мне остались лишь одни милиционеры, я шел между ними. Один оставался в коридоре, а другой в тамбуре.

В Москве, отправляя меня с охраной, мне предлагали услуги: за мои деньги мне купят в магазине на дорогу продуктов. Но я отказался.

В дороге мне не раз предлагали чего-нибудь купить на стоянке — я все время отказывался.

Приглашали к своему столу — отказывался.

Мне всегда неприятно получать что-либо от охранников или надзирателей, а тем более просить их о чем-то.

Раза два, пока мы ехали до Чуны, к нам заходила девица из ресторана, предлагая горячий обед. Вот это и была моя еда.

— Голодовку, что ли, объявил? — спрашивали мои охранники. Они вообще пытались со мной поговорить, но мне было неприятно само их присутствие рядом. И они скоро оставили меня в покое.

* * *

По прибытии в Чуну меня сдали в участок железнодорожной милиции. Тут я дожидался, пока за мной придут или приедут из

РОВД.

И вот я в РОВД, в кабинете начальника по политчасти. Несколько офицеров милиции после формальных вопросов пытаются завязать разговор. А мне хочется побыстрее от них уйти.

Их интересовало, и я чувствовал — искренне, много ли в СССР политзаключенных.

И еще мне был задан смешной вопрос:

— А кто, по-вашему, хуже, КГБ или милиция?

— Для меня нет разницы.

— Ну как же? — удивился кто-то из них.

— У вас красный кант, а у них голубой — вот и вся разница.

— Милиция с уголовниками имеет дело, а не с политическими.

— Во-первых, если даже это и так, то, как она имеет эти дела, — это тоже еще вопрос. Во-вторых, сейчас милицию используют и для расправы с людьми по политическим мотивам. И КГБ остается в тени. Милицию сейчас используют, поручая ей самую грязную работу.

— Загибаешь ты…

— Загибаю? Вот кто из вас осмелится не выполнить приказ, не послушаться? Даже если будете прекрасно понимать, что вас заставляют идти на нарушение закона, — вы все сделаете, как и ГБ.

Сколько раз каялся и плевался, что связываюсь с милицией, прокурором и прочими властями и законниками. И вот опять завожусь.

Ловлю, внутренне кляну себя последними словами и резко обрываю этот треп.

— Когда я смогу отсюда выйти?

Они тоже сворачивают разговор. Так меня и отпускают до вечера. А вечером велено явиться, и мне объяснят, на каком положении я буду тут жить.

Чуна — это станция на трассе Тайшет — Братск. Поселок называется Чунский. И станция, и поселок названы по ближайшей речке Чуне. Сейчас это райцентр. Две центральные улицы асфальтированы, идут параллельно друг другу. Из всех переулочков, связывающих их, только три-четыре с асфальтом. Остальные улицы и переулки — обычные деревенские. Под ногами и в огородах голый песок. А вокруг глухая тайга, вся обезображенная старыми вырубками. Вокруг поселка в тайге — сплошная городская свалка.

Раньше в поселке и вокруг по всей трассе были лагеря. Они вели лесоповал, а позже и строили трассу железной дороги от

Тайшета до Лены. И строили, и обживали города, поселки, станции зэки-первопроходцы. Сейчас в самой Чуне лагерей нет. Но есть рядом.

В поселке глаз бывшего зэка сразу определит дух лагерей: по планировке поселка, по архитектуре. Да и следы бывших зон еще не стерлись окончательно и напоминают о страшном прошлом страны и этого края. В поселке некоторые жилые кварталы так и называются местными жителями по номерам бывших на этих местах зон. Четвертая, седьмая и т. д. Хотя сейчас здесь улицы и переулки носят современные названия.

Основное предприятие — ДОК, деревообрабатывающий комбинат. До недавнего времени он был рабочей зоной пятьдесят восьмой статьи. В его цехах работали политические, пока в конце 1950-х годов их не вывезли в Мордовию.

Многие из бывших зэков остались тут после освобождения — по окончании срока или по амнистии 1956 года. Кому-то повезло хотя бы умереть на воле, кто-то доживает на воле, а есть и те, кто продолжает работать вольным. Есть и такие, кто их охранял и работал в МВД — ГБ, но таких мало. Эта публика предпочитает не жить на месте своей бывшей службы. Они разъезжаются по стране и не откровенничают на новом месте жительства, скрывают свое бывшее ремесло.

Когда я приехал в Чуну, ДОК обновляли и расширяли — старые, деревянные цеха с маленькими окошечками постепенно заменяли современными зданиями и оборудованием.

Вокруг ДОКа все еще была запретка — вернее, от нее остались лишь деревянный забор и вахта, превратившаяся теперь в заводскую проходную.

Есть женщины — работницы ДОКа, которые при пятьдесят восьмой начинали здесь работать еще девчонками. Они поступали на легкие работы: учетчиками, контролерами ОТК, кладовщиками и работали без страха.

Но когда заменили пятьдесят восьмую уголовниками, то стало опасно. Они поувольнялись. А позже, когда ликвидировали совсем лагеря в Чуне, — вернулись на ДОК. И сейчас работают.

В августе я получил паспорт с клеймом «выдан на основании справки №…» Это все, крышка. Шлагбаум при прописке, через который не перепрыгнешь. Получив паспорт, сразу же прописался и стал устраиваться на работу.

Пришлось идти на ДОК.

А куда еще?

Объявили мне под расписку и условия надзора: срок надзора установлен пока в шесть месяцев, до 17 февраля 1972 года. Условия надзора следующие: не появляться в пивном баре. Это

единственное тут заведение для любителей раздавить бутылку или попить пива. Не выезжать за пределы поселка и с десяти часов вечера до шести утра не выходить из дома. И еще ходить трижды в месяц, по десятым числам, отмечаться в РОВД.

Так я жил и работал, почти не ощущая зоркого глаза властей.

В конце сентября кончался срок ссылки у Ларисы, и она перед отъездом в Москву решила съездить к нашему другу и ее подельнику П. Литвинову.

Павел находился в ссылке в Читинской области, в Верхних Усуглях. Сроку ему досталось на год больше, чем Ларисе.

Мне тоже очень хотелось повидаться с Павлом и его семейством. Более трех лет мы не виделись. У Павла и Майи к этому времени уже родилась дочурка, которую назвали Ларисой.

Лариса могла ехать, ни у кого не спрашиваясь. Мне же нужно было специальное разрешение от милиции. И я обратился в РОВД с просьбой разрешить поездку в Верхние Усугли на десять дней. Тогдашний начальник милиции взял мое заявление и велел подождать в коридоре. А минут через тридцать позвал меня и вернул мое заявление со своей резолюцией «в просьбе о поездке в В. Усугли Читинской обл. отказать».

Мы с Ларисой другого ответа и не ждали. Обращение за разрешением было сделано на авось, по принципу: хуже не будет.

Поэтому отказ восприняли как должное.

— Вот если б разрешили, — отшучивались мы с ней, — то было бы чему удивиться.

Я получил отказ часов в пять вечера, зайдя с заявлением в милицию по пути с работы.

А на следующий день, придя вечером с работы, услышал от Ларисы, что приходил мой комендант — старший лейтенант милиции — и велел мне зайти по вопросу о поездке в Усугли.

— Так вчера ж начальник отказал, — удивился я.

— Я ему об этом и сказала, — ответила мне Лариса, удивленная не менее моего, — а он ответил, что, мол, то было вчера, а это сегодня. И велел зайти срочно.

Мне было любопытно, и я решил пойти сейчас же, даже не переодеваясь.

В милиции меня принял зам. начальника и без лишних слов объявил, что мне разрешено съездить в Усугли.

— Если вас отпустят на работе, то можете ехать. Только укажите дни, чтобы правильно заполнить маршрутный лист.

И снова мы дивились с Ларисой — теперь уже милости, свалившейся неожиданно.

«А не подвох ли это?» — раздумывали мы. Милиция разрешает, но одновременно можно приказать отделу кадров не

отпускать меня с работы. И оснований у моего начальства на работе для отказа — больше требуемого.

Во-первых, я только что поступил на работу.

Во-вторых, мои отношения с начальством плохи — особенно с начальником отдела кадров. И рассчитывать на снисхождение мне вовсе нельзя было.

Да и кто даст отпуск на работе при нехватке рабочих, когда ежемесячно горит план? И людей заставляют работать даже в выходные, без дополнительной оплаты за это?

Но я обратился с заявлением. Опять же по принципу: хуже не будет.

В отделе кадров начальник — бывший лагерный пес, узнавший во мне зэка, — спросил меня, прочитав заявление:

— Хоть бы причину указал в заявлении — отпуск ведь просишь не на три дня и внеочередной!

Врать, указывая в просьбе какую-нибудь уважительную причину, мне было неприятно. И, не веря в удачу, я ответил весело, нагло:

— К другу в гости хочу съездить. Три года не виделись!

О чудо! Начальник молча пишет резолюцию — разрешить!

Воистину: пути начальства неисповедимы!

Мы с Ларисой подивились всему творящемуся, но гадать не стали, а в один день собрались и выехали.

У меня на руках был выданный милицией маршрутный лист с моим маршрутом следования от Чуны до Верхних Усуглей.

В нем по возвращении в Чуну должны быть четыре отметки: день выезда из Чуны, день прибытия в Усугли, день убытия из Усуглей и день прибытия в Чуну. За отклонение от маршрута я подлежу заключению в пути.

Слежка за нами, конечно, была, особенно строгая — в Иркутске. В аэропорту, куда мы прилетели из Братска, мы с Ларисой взяли такси и сразу же обнаружили, что за нами следует машина со шпиками.

В поезде мы их не видели. Но в Чите обнаружили другую группу стукачей, таскающихся за нами по пятам.

От Читы до Усуглей лучший способ добраться — маленьким самолетом местной авиалинии до Нижних Усуглей. От них до Верхних Усуглей два-три километра, к самолету приурочен автобус.

Встреча наша с семейством Литвиновых была необычайно радостна, и передать наши чувства словами я не могу и сейчас, по прошествии четырех лет. Сами же Усугли произвели на меня самое гнетущее впечатление. Был разгар сибирской зимы, а тут не было на земле ни снежинки. Мороз стоял сорокаградусный.

Голая, беззащитная земля под ногами потрескалась от мороза. Она казалась такой безжизненной, что я испытал ощущение, будто оказался вдруг на необитаемой, другой планете.

И сам поселок был таким убогим, состоял из сплошных развалин и дряхлых лачуг. Какие-то сбитые и собранные домишки из тонкого коротья — поди, из шахтных стоек, а то и просто из досок: двойные стены и засыпка. Некоторые из них наполовину мазаны не то навозом, не то глиной.

Домишки, казалось, должны вот-вот рассыпаться.

Только чуть выше, ближе к шахте, стояло два или три домика в два этажа. Они были даже по-человечески оштукатурены. Но они не спасали вида.

Единственное предприятие тут — шахта, где добывали молибден. Жили тут шахтеры. На этой же шахте работал слесарем-электриком Павел — бывший преподаватель физики в одном из московских вузов.

Литвиновы, как и мы в Чуне, купили себе тут маленькую хибарку — стандартную для этого поселка «избу». Я специально взял в кавычки это слово, чтоб читатель не спутал это жилище с настоящей русской избой.

Как и мы, они эту развалюху купили на собранные друзьями и родными деньги. Срок у Павла был уже на исходе, и они заранее подыскивали покупателя на это жилище. С этим делом им намного труднее, чем нам в Чуне. Вообще, после того как я увидел Усугли, Чуна подскочила в моих глазах до райского места. В Усуглях даже телефона не было — он находился в Нижних Усуглях, куда Павлу как ссыльному был запрещен выезд. Его полностью оторвали от остального мира.

Правда, и Павел, и Майя нахваливали здешнее лето — мол, край неузнаваемо преображается, особенно когда цветет багульник. Но мне, глядя на зимнюю инопланетную необитаемость Усуглей, как-то даже не верилось, что и тут может наступить весна, весна с солнцем, капелью, сосульками и ручьями. Не верилось, что и тут можно будет услышать птичий гомон. И тем более не верилось, что эта земля может украситься живыми цветами.

Да и людей-то в поселке мы почти не видели. Но в этом уж больше мы сами повинны: мы трепались напролет дни и ночи, засыпая ненадолго лишь под самое утро. И сколько раз, к нашему общему стыду, нас будили дети. Димка не раз уходил в школу из спящего дома. Младшая, Ларка, просыпаясь или еще при Димке, или после его ухода, принималась хозяйничать или одеваться, бегая по комнатушкам между спящими. А мы часто и засыпали как в сказке под действием волшебства — не раздеваясь и не

постелив постели. Спали как придется.

А Павлу, бедняге, еще нужно было бегать на работу.

Но мы были счастливы и не ощущали неудобств от беспорядка.

Днем маленькую Ларису по заведенному у Литвиновых порядку обычно одевали потеплее, заворачивали еще во что-нибудь и выносили на улицу. Там ее клали не то в какое-то корыто, не то в старые санки, и она часа два спала на свежем воздухе. И это при сибирских холодах!

И еще мне запомнился случай из нашего пребывания у Литвиновых. Как и у всех тут, у них была своя маленькая банька. Она же служила хозяйке и прачечной.

И вот я, как имевший практику топки печей, решил услужить хозяевам. Пока Павел был на работе, я нарубил дров и решил «как следует» протопить баню.

Я действительно натопил баню так, что внутри у вошедшего трещали уши. Литвиновская баня, поди, не знала такой жары. И все бы ничего, но я не учел одного обстоятельства: на улице минус сорок, а в бане адская жара. А так как окна в бане одинарные, то от такой разницы температур все стекла в них полопались. Стены баньки были старые, плохо проконопаченные, тепло и пар валили из нее во все щели и в полопавшиеся стекла. Баня с улицы парила, как перегретый паровой котел, прохудившийся в десятке мест.

Мне почему-то хорошо запомнился именно этот эпизод нашего пребывания в Усуглях. А что запомнилось накрепко из нашей встречи вам, милое семейство?

И вспоминаете ли вообще что-нибудь об этой нашей встрече, отделенные от нас теперь уже океаном?

Но вот и время нам собираться в путь, обратно в Чуну. Сколько переговорено, обсуждено, договорено, но до последнего часа не иссякал поток тем и вопросов. Расставаясь, мы ощущали, что не обо всем переговорили, не все сказали, чем-то забыли поделиться.

Я смотрел на остающихся, и эта унылость и безжизненность огромного пространства способствовали появлению у меня ощущения, которое испытывает уезжающий со свидания в лагере или тюрьме друг или родственник. Мы уезжаем, улетаем, а они остаются в этой дыре…

На обратном пути мы не раз ловили на себе взгляды преследующих нас стукачей. С нас не спускали глаз. Да мы и не ждали другого. Такова наша действительность.

И вот мы в Чуне. Я сдал в милицию свой маршрутный лист со всеми отметками, и мы стали готовиться к отъезду Ларисы в

Москву.

От одного сознания, что после ее отъезда я останусь совсем один в Чуне, мне становилось грустно.

Через пару месяцев у меня кончался надзор, но даже на два месяца не хотелось оставаться одному. Хотя у меня здесь и были уже друзья из местных семейств, но они достались мне, так сказать, по наследству от Ларисы. Это были хорошие семьи, добрые люди, но, как и все новые знакомства, они не могли заменить старых друзей.

Примерно за неделю до окончания срока надзора прихожу я домой на обед (столовой тогда еще в ДОКе не было) с первой смены в полдень и вижу: взломан замок в двери, ведущей из сеней в дом. Тут же у дверей валяются стамеска и молоток — мой инструмент, который я обычно хранил в сенях. Ими-то и вскрыл кто-то дверь.

Я не стал ни до чего дотрагиваться руками, дверь открыл, вообще не берясь за ручку.

Войдя в дом, я осторожно стал выяснять, что же украдено, стараясь меньше ходить, ничего не брать в руки и не переставлять.

Кража была налицо: забрали «Эрику» — новенькую пишущую машинку, подарок друзей, обошедшийся им в двести пятьдесят рублей. Исчезли все мои рукописи — черновики, написанные от руки или отпечатанные на машинке. С книжной полки не исчезло ничего. Но под тахтой у меня в комнате лежал чемодан, и там среди белья хранились книги: два томика «Ракового корпуса», моя книжка «Мои показания», а на самом дне его лежала куча фотографий.

Я перебрал фотографии и обнаружил, что исчез портрет П.Г. Григоренко, где он снят в полном парадном мундире генерала и при наградах.

Нетронутыми оказались все вещи, в том числе и только что полученная из-за границы посылка. Наконец, не тронули деньги, которые я, уходя на работу, вынул из кармана и оставил на самом виду на столе. Грабители были очень деликатны: машинописные черновики, которые я хранил в специальной папке, были вынуты из папки и похищены. Но сама папка оставлена, и ее даже снова завязали на тесемочки.

Я, не запирая уже дверь, кинулся в милицию. Меня попросили написать подробное заявление о случившемся и перечислить, что похищено.

Все это время я общался с лейтенантом Беневским.

Мне велели идти домой и ждать: приедет милиция и будет на месте разбираться.

Я прождал часов до шести вечера, сидя в доме и ни к чему не прикасаясь, чтобы следствию было легче работать.

Уже почти в темноте приехал следователь с двумя мужиками-понятыми. Составили протокол со всеми формальностями и подробностями и обещали «искать».

После этого я несколько раз наведывался в РОВД узнать о результатах расследования, и каждый раз мне Беневский или другой офицер с ухмылкой отвечал: пока ничего не обнаружено. Сам вид отвечающего как бы говорил мне: чего зря спрашиваешь, ведь и ты, и мы знаем, в чем дело.

И точно: я ни минуты не сомневался, что, кроме ГБ, никого тут винить нельзя.

Если можно поверить в обычную версию с кражей машинки, то никак не поверишь, что преступники не брали новенькие заграничные вещи, а брали рукописи, в которых только я и мог разобраться. А фотография Григоренко? А книжки?

И как тут не вспомнить одно из определений фашизма и тоталитаризма, данное этим формам государственной власти на Нюрнбергском процессе, смысл которого примерно такой: «Фашизм не может существовать законно и закон не может существовать при фашизме». Но когда я позвонил об этом друзьям в Москву, то оказалось, что не со мной первым проделала такой фокус ГБ. То же самое или почти то же они проделали недавно и с Солженицыным.

* * *

И вот день 17 февраля — конец срока моего надзора. Иду в милицию узнать, что же со мной будет дальше. Мне велят зайти завтра после обеда.

В Москве друзья тоже волнуются: продлят или нет?

За все время, что я пробыл под надзором в Чуне, у меня не было со стороны милиции ни одного замечания. Да и что могло быть? Только какая-нибудь ложь. Я никуда не ходил и в поселке почти не бывал. Все время, когда был не на работе, сидел дома.

А кража? — напоминал я себе. А само установление надзора?

А…?

Где гарантия, что и на этот раз ты не окажешься вне закона? На следующий день прямо с работы иду в РОВД. Зам. начальника по политчасти объявляет мне в своем кабинете:

— Надзор вам решено продлить еще на шесть месяцев.

— Основания?

— Вы не соблюдали правил надзора.

— Не смешите людей, мне по закону должны были об этом объявить под расписку после установления факта нарушения. А у меня нет ни одного замечания.

— Наш сотрудник, знающий вас лично, видел вас после двадцати двух часов в кинотеатре. А в это время вам запрещено выходить из дома.

— Во-первых, это чистейшая ложь. Я ни разу не покидал свой дом после двадцати двух часов. Во-вторых, если это и так, то почему этот ваш сотрудник, знавший меня, меня не задержал? Почему мне вообще об этом факте, если он и был, сообщили только сейчас?

— Сотрудник допустил ошибку и будет за это наказан.

— Правильно, по анекдоту: сержант по ошибке нажал не ту кнопку — Голландии и Бельгии не стало. А сержант получил выговор.

— Можете обжаловать прокурору…

— …это ваше право, — закончил я вместо него. — Вы это хотели сказать?

— Да.

— Я могу уйти?

— Да, можете. Завтра зайдите, вам под расписку объявят о продлении надзора.

Шел я домой злой, как собака.

Переодевшись, я решил пойти на почту и позвонить в Москву и родителям в Джамбул[39], — огорчить их тем, что остаюсь в Чуне еще на неопределенное время, чтобы они не ждали меня.

По дороге на почту меня встретил милицейский газик. Беневский, сидевший рядом с шофером, открыл дверцу и пригласил ехать с ними в РОВД.

— К кому и зачем?

— К начальнику, по поводу надзора вашего!

— Еще и часа не прошло, как я оттуда. Не терпится до завтра подождать?

Я считал, что меня торопят расписаться за продление надзора. Меня ввели в тот же кабинет и к тому же заму, где я был час назад.

Молча сел я на стул. Стал ждать. Говорить что-либо, спорить, спрашивать было так же противно, как и смотреть на равнодушную физиономию капитана.

— Мы пересмотрели наше решение о надзоре над вами, и решено надзор…

— Слышал это от вас, час назад тут же, на этом месте.

Я даже не разобрал смысл фразы, не осмыслил ее всю, а только отреагировал на равнодушный тон капитана.

— Надзор с вас снимается, — закончил он так же равнодушно.

Это меня возмутило. Казалось бы, радуйся, дурень, и чеши подальше, пока в третий раз не передумали.

— Вы ж мне час назад объявили совсем обратное! — взъярился я на капитана.

— Вы недовольны? — Тупое равнодушие чуть осветилось чем-то вроде улыбки.

— Я могу уйти?

— Сначала ознакомьтесь с документом. Распишитесь, что вам объявлено.

Он протянул мне через стол бумагу, и я, ознакомившись, расписался.

— Все? — нетерпеливо спросил я.

— Нет.

«Опять что-нибудь неожиданное, — подумалось мне, — и не может быть, чтобы снова в мою пользу».

— Мы вот забыли своевременно выдать Ларисе Иосифовне ее справку. Не возьметесь ли вы передать ей? Вы ведь с ней увидитесь?

— Смотря какую справку.

Он протянул мне синюю справку того же формата и почти той же формы, что и моя справка об освобождении. Я прочитал ее быстро и охнул про себя: в ней говорилось, что Лариса была освобождена по приговору Мосгорсуда из зала суда. Такую фальшивку было бы непростительно выпускать из рук. Но почему ее решили выдать? И почему именно мне?

Я не стал тут решать этих вопросов, забрал справку и вышел.

После этого я позвонил в Москву и родителям.

В несколько дней рассчитался с работы, оформил продажу дома своим соседям и, простившись с друзьями по Чуне, вылетел в Тайшет.

Из Тайшета поехал в первую очередь в Джамбул к родителям.

И опять же всю дорогу чувствовал я присутствие стукачей.

Только в Джамбуле, как мне казалось, они меня оставили в покое.

Около двух месяцев я пробыл в доме у родителей.

Но оставаться в Средней Азии на жительство, даже у родителей, мне не хотелось. Это для меня были совершенно чужие края. Меня тянуло в среднюю или центральную европейскую часть России.

Простившись с родителями, я вылетел прямым рейсом Джамбул — Москва и через четыре часа прибыл в Домодедово.

Много друзей у меня в Москве, еще больше знакомых и не

знакомых мне доброжелателей. Многим, очень многим я обязан тем, что вырвался на свободу. Это их внимание, внимание активное, вместе с активностью многих людей и организаций Запада укрощали чрезмерные желания властей.

Но я не хотел по прибытии в Москву объявляться всем. Мне не хотелось привлекать к себе большого внимания властей, дразнить их попусту. Я приехал с намерением устроиться на жительство где-нибудь в ближайшей от Москвы области. И должен был скрывать это от окружающих и властей, чтоб не навредить делу.

Лишь с узким кругом людей виделся я тогда в Москве. С теми, кто по моей просьбе никому не сообщал, что я в Москве. Я не исключал, что ГБ проследило за моей поездкой в Москву, хотя я и выехал от родителей внезапно и скрытно. И все же я решил не афишировать свое пребывание в Москве. Я не прятался, не скрывался, жил, как все москвичи, но только избегал визитов сам и визитеров к себе. Избегал компании.

Да и некогда было. Надо было срочно искать жилье, а для этого нужно ездить, ходить, искать.

Я наезжал в Москву дня на два-три, отдыхал от мытарств и снова ехал по какому-нибудь адресу в какую-нибудь область.

Сколько исколесил, сколько обходил пешком, и везде отказы и отказы под разными предлогами.

Часть третья

Москва — Таруса

Дошла очередь и до Калининской области. Туда мы решили ехать вдвоем с Ларисой. Опыт показал, что частники охотнее пускают на квартиру семейных, чем холостых мужчин. Хотя и к семейным тоже не одинаковое отношение: с малолетними ребятишками не пускают.

Нам предстояло добраться до деревень, что расположены вдоль берега Волги напротив Конаково. В летнее или зимнее время проще было бы доехать до Конаково прямой электричкой или автобусом. От Конаково же можно было бы переправиться на противоположный берег летом на лодке, а зимой — перейти по льду. Но сейчас стоял конец апреля, и Волга должна была вот-вот тронуться. Переходить ее по вспученному льду было уже опасно. Мы решили поехать через Калинин.

Но все оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. Приехав с железнодорожного вокзала на автовокзал, мы узнали, что из-за весенней распутицы многие дороги в области пришли в негодность и сообщения с целыми районами нет. Тут же мы прочитали и расклеенные объявления, в которых об этом предупреждались пассажиры. В этих объявлениях сообщалось также, что по той же причине и самолеты на местных авиалиниях не летают — вышли из строя взлетно-посадочные полосы.

Вокзал оказался забит людьми так, что ни присесть, ни даже притулиться к стенке было невозможно. Обсудив создавшееся положение, мы с Ларисой решили добираться до назначенных мест как придется. Среди застрявших пассажиров мы нашли таких, кто из тех мест, куда мы добираемся. Порасспросив их, мы выяснили, что мы можем половину пути проехать автобусом, а дальше добираться попутным транспортом или пешком. А «попутным транспортом» может быть только лошадь или трактор-молоковоз. После обеда мы выехали рейсовым автобусом, который вообще-то ходит от Калинина до райцентра Рождествено. Теперь же он идет только половину пути. Дорога была отвратительной, и битком набитый автобус кидало и подкидывало так, что через час такой езды у людей болели все внутренности. И это несмотря на аккуратность водителя, который вел автобус осторожно и буквально с куриной скоростью. Часа через два мы въехали в большое село. Автобус остановился, и водитель объявил, что дальше он не поедет: «Досюда и то еле-еле

добрался, а дальше вообще дороги нет». Под такое напутствие пассажиры стали выходить из автобуса, и нам ничего не оставалось, как последовать за всеми.

Село гуляло: была Пасха. По улицам, еще грязным и местами непроходимым, шатались подвыпившие компании из мужчин и женщин. Из многих домов доносились песни, гармошки, смех и ругань. Мы попытались узнать о транспорте до села Устье, но от полупьяных прохожих слышали одно и то же: сегодня ничего не будет, праздник. Только древние старушки, сидя на завалинках и греясь на солнышке, составляли трезвую часть населения. Но и они нам ничего утешительного сказать не могли. Оставалось рассчитывать только на собственные ноги. От этого села нам предстояло добираться до райцентра Рождествено. Хотя рейсовые автобусы здесь и не ходили, но дорога казалась сносной, даже лучше той, по которой мы ехали первую половину пути. И лишь местами попадались непролазные участки. Шли мы весело и часто шутили, вспоминая Русь-тройку и быструю езду, которую так любит русский человек.

Дорога проходила сплошь лесом, и красота стояла кругом изумительная. За все время, что мы шли до Рождествено, нам не попался навстречу никто: ни пешеход, ни транспорт. Только однажды, где-то посередине пути, встретились два мальчика-подростка на велосипедах. Грязнющие, как и их велосипеды.

Войдя в Рождествено, мы первым делом стали спрашивать у тоже гулявших селян о магазине. Мы за дорогу здорово проголодались, а с собой ничего не взяли ни из Москвы, ни из Калинина. В магазине сельпо из продуктов были только дешевые конфеты и черствый-пречерствый черный хлеб. Это и была наша еда.

С транспортом тут было не лучше, и нам снова предстояло топать на своих двоих. И вот тут-то, по дороге от райцентра до Устья, мы и увидели, что такое настоящее русское бездорожье. Большую часть пути мы пробирались, еле вытаскивая ноги из грязи. Иногда по дороге вообще пройти было невозможно, и мы уходили в сторону, пробираясь кромкой между дорогой и лесом. Но попадались и такие места, где дорога и пространство между ней и лесом были полностью под весенней водой. Тогда нам приходилось забираться в лес и пробираться параллельно дороге. Бывало и такое, что, выбравшись из леса к кромке, вдруг обнаруживали, что насыпь дороги возвышается посреди образовавшегося озера или между дорогой и лесом тянется сплошная лента воды: стоячей или несущейся бурным потоком. Перейти вброд такие места не всегда было возможно, и нам ничего не оставалось, кроме как пробираться дальше краем леса

и выжидать, когда попадется какой-нибудь перешеек, соединяющий дорогу с лесом. Иногда нам не удавалось выбраться на дорогу очень долго, и мы по два-три километра тащились вблизи дороги, не выходя на нее. Сама дорога очень глинистая, глина налипает на ноги огромными тестообразными кусками, и их невозможно отодрать или соскоблить. И вот всю дорогу до Устья мы только и делаем, что то прыгаем с кочки на кочку, рискуя провалиться в весеннюю холодную воду, то бредем лесом, то еле вытаскиваем ноги из непролазной грязи на самой дороге. Иногда мы помогаем друг другу, подаем по очереди один другому руки, когда нужно перепрыгнуть. Бывало и так, что нам приходилось поневоле «разуваться», то есть, утонув и застряв обеими ногами и кое-как вытянув одну ногу, оставлять обувь в грязи. И стоишь, ждешь помощи от другого, чтобы он подошел — тоже с риском разуться — и помог тебе, стоящему на одной ноге, вытащить сапог и обуться. Слава богу, что мы были вдвоем и могли помогать друг другу!

Как тут не согласиться с мнением тех историков, конечно, западных и, конечно, фальсификаторов, которые, объясняя причины неудавшегося наступления немцев, указывают на наше бездорожье как на одну из первых причин. Если и пешему человеку это бездорожье оказывается не по силам, то каково двигаться по ней современной армии с танками, артиллерией и материальной частью! Так сказать, одно из тех преимуществ, присущих социализму, которые обеспечили нам победу над Гитлером.

Так мы с горем пополам, уставшие и голодные, грязные, как черти, наконец-то добрались до Устья. Это оказалось довольно большое село. У его окраины мы сели передохнуть и немного привести себя в порядок. Проходя по улице, мы присматривались к домам. Нас особенно интересовали те из них, которые не были жилыми. Большинство домов тут были старой постройки, новых почти не попадалось. Нежилые дома мы сразу оценивали: этот можно отремонтировать, этот нужно совсем ломать и строить новый, а этот совершенно хорош: только вот вставить стекла, и еще несколько лет можно жить. Интересно было узнать, сколько будет стоить здесь дом.

С этими вопросами мы и обратились к нескольким старушкам.

— Дома продаются ли? — переспрашивали они нас, переглядываясь между собой и осматривая нас с любопытством, которого и не скрывали от нас. — Есть, есть такие.

И они называли нам незнакомые имена и фамилии — продавцов или тех, у кого можно подробно узнать, если самих

хозяев пустующих домов уже нет в селе. Тут же нам предложили зайти в сельпо:

— Вот у Полины продается домишко, — направляли они нас, — она сейчас только что прошла в сельпо. Идите и у нее все узнаете.

Тут же нам разъясняют, что дом у нее у самой здесь, в этом селе, а продает она дом родственников, которых уже несколько лет тут нет.

— Только дом этот не в этом селе, а рядом, в маленькой деревушке через речку. Но это совсем рядом.

И еще нам посоветовали не то от доброты к нам, не то от недоброжелательства к своей односельянке:

— Если будете рядиться и покупать, то не давайте за дом больше пятисот рублей. Он больше не стоит.

Поблагодарив за информацию, мы быстро направились в сельпо, где и разговорились с пожилой женщиной, той самой Полей.

Нас очень устраивала цена дома, которую нам назвали старушки. Такой домик мы бы купили, на большее мы в то время не могли и рассчитывать. Тетя Поля не стала ждать нашей просьбы показать нам дом, а сама охотно предложила «пройти» с ней посмотреть. Видно, в этих местах не так-то просто найти покупателя на дом и мы верно выбрали место для своих поисков.

Деревушка оказалась очень близко от села, она отделялась от него всего лишь маленькой речушкой, тут же впадающей в Волгу.

— Сейчас еще можно перейти по льду, — пояснила нам тетя Поля, — а вот-вот лед тронется, и летом только на лодке. И сюда на лодке, и в Конаково. — Она при этом кивнула и махнула рукой на противоположный берег Волги, по которому раскинулся город.

Деревенька состояла из двух улиц, на каждой из которых на большом расстоянии друг от друга стояло не более шести-семи домов. Вернее было бы сказать, не улицы это, а два хутора, отделенные один от другого большим лугом. И там, и там дома стояли в один ряд, окнами к Волге. Одна улица была расположена прямо у Волги, а вторая чуть подальше от берега, через луг.

Красотой вокруг нельзя было не восхищаться. И мы не скрывали своего восхищения от тети Поли.

— Да, — подтверждала она равнодушно, — у нас тут очень красиво. А летом и того пуще. И ягоды полно, и грибов тоже…

Мы уже прошли три усадьбы, впереди осталось три или четыре.

— Тетя Поля, а почему дома все у вас здесь пустые? — спросили мы, видя, что вся улица состоит из нежилых домов.

— Молодежь в город уезжает. В колхоз не идет никто работать. А старики перемирают. На нашей улице вон в самом последнем доме только живут старик со старухой. Да на той улице в двух домах. Вот и все наше население.

С этими словами мы и вошли в просторный двор четвертой усадьбы на нашем пути. Она была в запустении. Дом снаружи выглядел неважно. Он оказался типичным деревенским пятистенком. Изнутри он разделялся огромной русской печкой на две одинаковые комнаты: кухню и горницу. Все в нем требовало ремонта: пол был плох, крыша, печь и стены. Но мы были бы счастливы заиметь и такую развалюху.

Во-первых, мы были рады любому собственному отдельному углу за сносную цену.

Во-вторых, кругом была такая красота, что мы готовы были поселиться здесь даже в шалаше или в любой лачуге.

Когда мы снова вышли во двор и тетя Поля стала нам показывать дворовые постройки, то заговорили о цене.

— Да я и сама не знаю сколько, — ответила, замявшись, тетя Поля на наш вопрос. — А сами вы сколько думаете дать?

Она выжидающе смотрела на нас.

— Ну, тетя Поля, — допытывались мы ее слова, — так не годится. Вы продавец — говорите свою цену. Если нас устроит цена — мы скажем, а если нет — тоже.

— Меньше чем за шестьсот не отдам, — еще немного помявшись с ответом, сообщила она нам, — все тут так продают. Дешевле вам не найти. — И она опять выжидающе посмотрела на нас.

Конечно, мы рады были услышать такое, но, как и подобает покупателям в таких случаях, не показали своей радости. Так уж заведено, что продавец запрашивает с покупателя немного больше, чем намерен получить. Это для того, чтобы «порядившись» можно было немного «уступить» не в ущерб себе.

Но мы не стали торговаться, а сообщили, что если мы не подыщем ничего лучшего, то договоримся о цене.

Мы были уверены, что сотню рублей она охотно скинула бы и мы могли бы заиметь этот домишко рублей за пятьсот.

На наш вопрос, как тут с работой, тетя Поля со вздохом сказала, что только в колхозе.

— Но колхоз бедный, и работой в нем не проживешь. Люди живут своим хозяйством.

Этого мне только еще и не хватало! Отработать день на барщине задарма, а оставшееся время, если останется, на себя.

— Но ведь можно жить здесь, а работать в Конаково? — заикнулись мы.

— А там с нашего берега не берут на постоянную работу никого. Ведь дважды в году мы отрезаны от всего света водой: осенью и летом. Переправа прекращается, и ни на какую работу не выберешься.

Тут мы узнали еще об одной особенности деревеньки. Она расположена как бы на полуострове: с одной стороны Волга, с другой — та самая речка, которую мы перешли, идя сюда. А теперь вот тетя Поля сказала, что и с третьей стороны в километре от деревни протекает еще одна речка и тоже тут впадает в Волгу.

С покупкой дома в этих местах, вероятнее всего, ничего не выйдет по той причине, что дом продается только с разрешения правления колхоза, а оно разрешает только тем, кто намерен работать в колхозе. Залезать в колхоз даже по-настоящему «добровольно» мне не хотелось. Поэтому мы и не стали договариваться о покупке. Это была, так сказать, наша разведка боем — мы на месте изучали обстановку и выясняли возможные варианты.

От этой так полюбившейся нам деревеньки мы направились дальше вдоль берега Волги. Мы намеревались пройти несколько деревень и узнать, какие еще имеются возможности прилепиться с пропиской и с работой. Скоро мы пересекли по льду речку и сразу оказались в деревне, ничуть не больше первой. На протяжении всего пути от одной деревни до другой мы не переставали восхищаться окружающей красотой. Даже как-то не верилось, что среди этой изумительной природы можно запросто жить. Интересно, а замечают ли местные жители эту красоту? Или они настолько к ней привыкли, родившись и состарившись в ней, что воспринимают эту прелесть как нечто неотъемлемое от своего существования? Как, например, привыкает москвич или питерец к ровному асфальту у себя под ногами.

На берегу, уже оттаявшем и покрывшемся свежей зеленью, у перевернутой вверх днищем лодки возилось несколько деревенских мужчин. Они конопатили и смолили эту посудину, готовя ее к предстоящим плаваньям. Из короткого разговора с ними мы выяснили, что ничего нового для себя в их деревне мы не найдем. Здесь то же самое, что и в той деревне, где мы только что были. Зато нам посоветовали пройти до села Глинники, которое стоит на этом же берегу Волги.

— В Глинниках, может, что и найдете с жильем и с работой, — напутствовали нас, — деревня большая, не то что наша. У них там и ферма есть, и строительство…

И мы двинулись. Меня воодушевило сообщение, что в Глинниках не колхоз вовсе, а совхоз. Я по своей наивности считал

тогда, что в совхозе больше порядка, чем в колхозе, и что в совхозе я вполне мог бы прижиться. Лариса с недоверием отнеслась к такому моему оптимизму и уверяла, что не видит большой разницы между этими «хозами». А я, дурень, за годы лагерей и тюрем как-то вообразил, что в совхозе «жить можно», и старался переубедить Ларису.

И еще меня подталкивало в Глинники сообщение о том, что там помимо сельскохозяйственных работ имеется еще и какое-то строительство. Уж где-где, а на строительстве-то всегда можно пристроиться на какую-нибудь работу, если тебе приспичило и ты не привередничаешь.

— Ведь топор в руках я могу держать, — ободрял я Ларису, — да и землю рыть или таскать носилки тоже не привыкать.

Добрались мы до этих Глинников поздним вечером, когда солнце уже село за колючим горизонтом. Само село выглядело очень привлекательно. Центральная его улица по обеим сторонам дороги украшалась высоченными густыми липами. Была улица по-деревенски широкой и как бы не имела проезжей части. Так казалось потому, что она на всем протяжении поросла густым зеленым ковром.

Все дома здесь были старинной постройки, почти каждый имел когда-то высокое крыльцо с парадным входом с улицы. Сейчас же эти двери были заколочены, и вход в дом был со двора. Все подсказывало, что когда-то это село было процветающим и многолюдным. Сейчас же стояла удивительная тишина. Был поздний вечер, и ни коров, ни кур не было видно. Даже собаки редко давали о себе знать. Было приятно и даже как-то необычно шагать по такой улице в наше время. Казалось, что вот сейчас из какого-нибудь переулка или с околицы раздастся колокольчик и по зеленому ковру улицы пронесется такая знакомая нам всем по картинкам тройка. Или наткнешься вдруг на цветастый хоровод молодежи с гармоникой и плясками. Но нет. Все это уже давно забыла эта милая улица. Село казалось вымершим. Если и угадывались в каких-нибудь домах признаки жизни, то и в них даже не зажигали света, и дома смотрели друг другу в слепые глазницы через не тронутый ни следом машины, ни даже телеги ковер улицы.

Мы шли под густыми кронами величественных деревьев, присматриваясь к домам. Здесь тоже много было домов, у которых окна были заколочены крест-накрест досками. И мы их оценивали и примеряли к себе. Где-то ближе к центру деревни мы наткнулись наконец на живых жителей. Маленькая компания старушек сидела у калитки одного из домов на широкой скамейке. Они о чем-то тихо и мирно беседовали. У некоторых из

них в руках были суковатые палки. Эти посохи были до блеска отшлифованы ладонями хозяек. На нас они смотрели равнодушно, но в разговор вступили охотно. Оказалось, что и тут дома тоже продаются. А вот квартирантов никто не пускает. Нас это удивило. Ведь обычно в тихих местах охотнее пускают квартирантов из-за безденежья. И здесь должны были быть еще более заинтересованы в этом виде дохода, так как остались в селе одни старики и старухи, которые уже или совсем не работают, или работают нерегулярно из-за преклонного возраста.

— Это раньше за квартирантов держались, — разъяснила нам совсем древняя на вид старушка во всем черном, — а теперь не пускает никто. Сейчас пенсии стали получать и в колхозе.

— Пенсии хоть и до смешного малы, но кому дети из города помогают, а кто и сам еще свое хозяйство держит, вот и хватает, — поддержала ее более молодая и довольно еще крепкая на вид соседка.

Она держала свой крупный подбородок на кистях рук, которые лежали на конце палки. Потом она оторвала подбородок и руки от палки и, чертя что-то невидимое нам ее концом у себя под ногами, закончила:

— Много ли нам теперь надо? На кусок хлеба, и все. А с квартирантами тоже еще какие попадутся, а то намучаешься…

Кое-что и о работе мы узнали от них же. Работать можно только на ферме. Сами они в большинстве своем давно уже не работают. А раньше все работали доярками — это когда здесь еще не было совхоза, а был колхоз.

— Мы уж свое отработали. Считай, лет по пятьдесят, а кто и больше. — Снова заговорила та, что выглядела еще крепкой. — Это уж когда совсем некому коров подоить, то выйдем. Скотину жалко, она ж бессловесная.

Надвигалась ночь, и мы решили попроситься к кому-нибудь из них переночевать. Но они от нас избавились, направив к какой-то Анне, живущей с мужем и детьми в одном из новых домов, только что выстроенных совхозом недалеко отсюда. Мы немало подивились этому, так как обычно в деревнях охотно пускают переночевать запоздавших путников. Тем более многие, как оказалось потом, жили одиноко в больших домах. Мы согласны были заплатить и за ночлег, и за ужин, если что дадут. То ли тут так принято всегда было, то ли их когда-то напугали такие вот прохожие, как мы? Нам казалось, да так оно и есть на самом деле, что вообще-то люди в деревне более человечны и доверчивы, чем в городе.

Нам ничего не оставалось делать, как поторопиться по указанному адресу к неизвестной нам Анне-доярке. К двум новым

домам подошли уже в темноте. Оба дома были двухквартирными и построены из светло-серого кирпича. У одного все еще не было окон, значит, он еще не был отделан изнутри. Другой был жилым, но только одной половиной, в которой и жила Анна. Вторая же квартира была пустой, и за ее отделку еще и не принимались.

Через темные сени мы на ощупь отыскали дверь в квартиру и постучали. На наш стук отозвался детский голосок. Это оказался младший сын Анны — мальчик лет семи-восьми. Он с чем-то возился на полу, в сумерках нам не было видно, с чем именно. Воздух в квартире был пропитан запахом не убранной долгое время посуды и варящейся на плите бурды — помоев для кур и поросенка. Вообще было ощущение такое, что мы попали не в человеческое жилище, а на скотный двор. И мы не ошиблись. Здесь же, в соседней комнате, смежной с кухней, похрюкивал поросенок.

Узнав от мальчика, что родители все еще на работе и должны скоро прийти, мы решили обождать их прихода где-нибудь, но только не здесь. Не от брезгливости мы бежали, нет. На улице уже стало довольно холодно, и мы бы предпочли все же быть под теплой крышей, по соседству с поросенком. Просто было неудобно оставаться в чужом доме без разрешения хозяев. Да и мальчик мог нас побояться: ведь мы для него совершенно незнакомые люди.

На улице нам некуда было податься. Мы обошли дом вокруг и решили осмотреть внутреннюю планировку новейшего сельского дома. Оказалось, что не так уж плохо он спланирован. Каждая квартира состояла из четырех комнат: кухни средних размеров, гостиной в 15–16 квадратных метров и еще двух маленьких, метров по 9-10, комнаток. Квартира, в которую мы вошли, изнутри еще и не начинала отделываться. Даже пол был настелен только в двух комнатах. В будущей кухне стояла на земляном полу железная бочка — печка. Это еще строители обогревались, да так и оставили. Кругом было полно строительного мусора и щепок, и мы решили разжечь печку. Мы рассчитывали согреться и посидеть до прихода Анны с огоньком, чтобы было веселее. Растопив печь, мы стали затыкать чем придется единственное в комнате окно. Дверь, к нашему счастью, была уже навешена. В комнате скоро стало тепло, и мы уже не так беспокоились о ночлеге. Несколько раз мы проверяли, не пришла ли Анна, но мальчик нам всякий раз повторял: «Еще не пришли», и мы снова и снова возвращались к нашему очагу. У потрескивающей и раскалившейся железной бочки мы уже мечтали и обсуждали, как можно здесь неплохо устроиться, если договориться и получить такую вот даже неотделанную квартиру.

Мы рассчитывали, что при такой огромной нехватке рабочих рук могут дать и квартиру. А отделать ее можно было бы и своими силами, не дожидаясь, когда отделают совхозные строители. Жить на такой природе и на берегу самой Волги — это же наша давняя мечта!

В одну из таких минут, когда мы обсуждали возможность моего устройства здесь, вдруг кто-то вошел в сени и нам слышно было, как вошедший пробирается в темноте к двери. Мы приготовились держать ответ за самовольный захват квартиры и за огонь в печке перед каким-нибудь начальством или сторожем. Я не стал ждать, когда человек впотьмах нащупает ручку, и открыл дверь сам.

На пороге, в отблесках прыгающего пламени из неплотно прикрытой дверцы печки, стояла женщина во всем сером. Из-за полумрака и пламени, часто замигавшего при открывшихся дверях, возраст женщины нельзя было определить по лицу.

— Это вы к нам заходили? — спросила она приятным голосом.

— А вы Аня, да? — спросили вместо ответа мы. — За стенкой живете?

Аня оказалась словоохотливой и очень приветливой женщиной лет тридцати — тридцати двух. Она даже не дослушала нас до конца, а только поняв, что нас старушки не пустили переночевать, сразу же потащила к себе.

В квартире у них уже горела керосиновая лампа, а муж, незавидный и малорослый мужичок лет под сорок, растапливал печь. Он не был таким разговорчивым, как его жена, но не от недоброжелательства к нам, а просто по характеру. Аня в двух словах рассказала ему про нас, и они вместе неодобрительно высказались о местных жителях.

А она, пока готовила ужин, успела нам рассказать почти все о себе и об их жизни здесь.

Оба они искренне советовали нам не совать голову в этот хомут, то есть не устраиваться ни в коем случае в совхоз.

— Нам податься некуда, — пожаловался как бы муж, — вот и тянем упряжку от темна и до темна.

— И дня бы здесь лишнего не задержались, если бы было куда голову приклонить. Нас никто нигде не ждет, а с квартирами везде плохо. Тут вот хоромы настоящие, из-за них и держимся на месте, — поддержала хозяйка мужа.

Аня нам поведала о том, что они не местные жители, а приезжие, совершенно тут одинокие. Григорий (так звали хозяина) четыре года назад вышел из заключения и долго не мог нигде прописаться. Докатались и доездились до того, что уж и без

копейки денег остались, и никакого просвета на будущее. А в эту дыру взяли без всяких расспросов и запросов. Даже квартиру дали сразу. Теперь вот в новом доме поселили. И то только потому, что оба работают.

Нам хватило нескольких минут разговора с ними, с этими действительными тружениками села, чтоб уже не мечтать, как мы только что мечтали, сидя у железной печки.

На мой вопрос, всегда ли они так поздно приходят с работы, ответила Аня:

— Раньше мы и не бываем дома. Уходим — темно, приходим — вот сами видели.

— А чего же так? Ведь не колхоз это, а совхоз? — спросила Лариса, многозначительно посмотрев на меня. И я понял ее. Она как бы говорила мне: «Вот сейчас от твоего оптимизма ничего не останется!» Только он уже улетучился и без этого.

— А разница-то какая: колхоз или совхоз? Только в том, что у нас паспорта при себе и мы можем свободно уволиться, — добивала Аня мой оптимизм. — Работать-то некому: молодежь или людей из города сюда и палкой не загонишь, и квартирой не заманишь. А старики уже свое отработали или дорабатывают последние годы.

— И мы здесь тоже временные, — присоединился к жене Григорий, — это вот лето отработаем и уедем.

— Мы же четвертый год без передышки, как каторжники, ни тебе выходного, ни отпуска.

— Как? — враз удивились мы. — И выходных, и даже отпуска у вас не бывает?

— Чего ж тут удивляться, — пожала Аня плечами, — пастух он один, и ни смены ему, ни подмены, а приболел как-то на три дня — так подпаски вдвоем справлялись кое-как.

— А у нее тоже не легче, — снова заговорил Григорий, — она числится-то дояркой, но работает и за скотника. Ведь некому!

— Тут от одной дойки без рук остаешься: не так-то просто выдоить двадцать шесть коров. Потягай-ка их за дойки! А ведь еще и вымя каждой обмыть надо, а здесь и воду на себе из колодца таскаешь.

— А у вас разве все еще ручная дойка? — снова подивились мы.

— А то какая ж? — Аня невесело рассмеялась. — Думаете, если под боком у Москвы, так здесь и «елочка», и автокормушка, и автопоилка? А мы тут вилами накладываем и на себе таскаем корм. А зимой еще прибавляется чистка помещения: навоз тоже вилами и на себе на улицу. Вот и уловите разницу между колхозом и совхозом.

— Я стадо пригоню и вместо того, чтобы домой, иду к ней, — Григорий кивнул на жену, — то воды натаскаешь, пока она доит, то корму.

— Если б он не помогал, — согласилась Аня, — то хоть переходи жить прямо к коровам, да и там спать не успевала б.

— А как же мальчик у вас? Все время один дома?

— А с кем же ему быть? Старшие у нас в интернате, и мы их только на каникулы и видим. Здесь ведь вообще школы нету. Вот и этому, — Аня кивнула на мальчика, уплетавшего жареную картошку со сковороды, — уже восьмой год, и нужно было в школу отдавать, а жалко. Мал совсем. Вот мы и решили год пропустить. А к следующему учебному году переедем к мужу на родину. Там и школа будет, а не интернат.

— Этот интернат с нас шкуру спускает, — пожаловался Григорий, — там ведь высчитывают за детей в зависимости от заработка родителей! А у нас по ведомости получаются заработки высокие — что у меня, что у нее. Вот с нас и дерут за двоих ребят. Получается, что мы живем не одной семьей, а как бы на два дома. А это, сами знаете, двойные расходы. То, что высчитывают за интернат, — это само собой. Но ведь их одеваем и обуваем сами. Да еще подкармливать приходится: возим знакомым и мясо, и яйца — все, что нужно ребятишкам из продуктов. Знакомые их и подкармливают, а заодно и знакомым надо чем-то платить. Ведь на интернатском питании от детишек кости да кожа только и останутся.

— А он вот меня убеждал, — Лариса кивнула на меня, — что сейчас в совхозе не то, что в колхозе. Говорит, что жить можно.

— Конечно, с тем, что было раньше, несравнимо, — поддержала меня Аня. — Вот только…

Но договорить ей не дал муж:

— Это тоже еще смотря с чем сравнивать. Если вот взять налоги, то, конечно, она (Григорий кивнул на жену) права. Действительно несравнимо. Ведь раньше с колхозника драли буквально три шкуры. Еще удивительно, как люди в те годы жили в деревне, а не перемерли. Хуже всякого крепостного права. Опять же и с оплатой тоже несравнимо — если ты, конечно, работаешь в животноводстве или механизатор. На общих работах или в полеводстве и сейчас не заработаешь. Но вот что касается работы, то уж тут мы как были рабы, так ими и остались. От темна и до темна, ни тебе выходных, ни тебе отпуска. Так что сами судите — можно жить сейчас в колхозе или нет.

— А может, мы просто уже избалованы? — засмеялась Аня. — Если б мою бабку спросить сейчас об этом, так она б нас так отделала! То, что для нас и сейчас каторга, тем, кто работал в

колхозе лет двадцать с лишним назад, — райская жизнь.

Лариса уже спала в комнате на полу, где ей постелила Аня. Мы же с Григорием еще долго толковали о жизни в колхозе и вообще о жизни.

Ложился я спать с дурным настроением, предчувствуя, что ничего у меня и здесь с работой не выйдет. И уснул я только под утро с такими мыслями.

Хозяева нас разбудили еще до света в окнах: так мы договорились с ними вчера. Нам нужно было не прозевать трактор-молоковоз, который повезет молоко отсюда на молокозавод в головной усадьбе совхоза. Завтракать нам не хотелось. Да и торопились все мы, каждый по своим делам: Аня с мужем спешили на работу, а мальчик их все еще спал. Мы тепло попрощались и поблагодарили хозяев за гостеприимство. Они нас просили, если обратно пойдем мимо, то чтоб обязательно зашли к ним.

На головную усадьбу мы добрались кое-как: все из-за невообразимой распутицы. Даже трактор в иных местах с великим трудом мог двигаться, волоча за собой маленький прицеп с молочными бидонами и сидевшими на них вместе с нами еще несколькими пассажирами. До усадьбы мы добрались часов в одиннадцать утра и легко отыскали правление совхоза. Оно располагалось в новом длинном здании барачного типа из нового бруса, еще не успевшего потемнеть. В кабинете директора было полно народу, и они громко спорили, обсуждая свои совхозные дела. Поэтому мы решили обождать и зайти к директору, когда он останется один.

От нечего делать мы с Ларисой стали осматривать доску показателей совхоза по отделениям и читать всякую информацию, развешанную по стенам помещения. Здесь висели и графики работы бригад и звеньев, и графики отпусков и выходных рабочих, и приказы директора. Здесь же висели социалистические обязательства совхоза, и можно было ознакомиться с правами и обязанностями рабочих и служащих совхозов. Мы только что получили информацию из первых рук о положении дел в этом совхозе. Какая непроходимая пропасть между пропагандой и реальной жизнью!

А в кабинете продолжали громко разговаривать, и из него то кто-нибудь выходил, то, наоборот, заходил. Мы уже всю наглядную настенную пропаганду перечитали и вдоволь поиздевались над преимуществами социалистического сельского хозяйства. А со стены плакат призывал выискивать скрытые резервы и даже утверждал, что их, этих неотысканных резервов, непочатый край.

Но вот Лариса показала мне кивком головы на дверь, из-за которой отчетливо даже для моих совершенно негодных для подслушивания ушей слышались пререкания. Какой-то бригадир или заведующий животноводческой фермой жаловался директору и просил у него помощи. Оказывается, несмотря на то что времени уже было около двенадцати часов дня, коровы на ферме до сих пор не подоены. И доить их сегодня некому. Кто-то из доярок заболел, кто-то на два дня уехал в город. И вот директор набрасывается на зава из-за этой уехавшей:

— Почему уехала? Ты отпускал?

— Да не отпускал я, — оправдывался тот, — она за мной уже две недели ходила, вымаливала отпустить на пару дней, но я же ей объяснял. И по-хорошему, и ругался, что сейчас не могу отпустить. Ведь доярок не то что в подмену, а и так-то не хватает. Кто коров ее подоит эти дни?

— Понятно, — устало и как-то безнадежно проговорил директор.

— Так как быть? — допытывался у директора завфермой.

— Ну найди кого-нибудь, — умоляюще и беспомощно говорил в ответ директор. — Ну не мне ж самому идти и тягать за дойки коров. Ты ж заведующий!

— Так некого ж! Я вчера кое-как уговорил, — зав назвал две женские фамилии, — так этим старушкам уже за семьдесят обеим, их надо к коровам под руки вести, еле ж ходят.

— Ладно, ладно, ты ищи иди, ищи! — умолял директор. — Ведь времени-то уже сколько!

— А что время! Коровам нашим не привыкать, — тоже беспомощно и безнадежно отвечал зав, — вчера их ведь тоже доили только после обеда.

— Хоть бы Макариха поскорее после свадьбы очухалась. Уже четыре дня не просыхает вместе с мужем.

Так мы стали еще больше осведомлены о положении дел в этом хозяйстве. И тоже, как говорится, информация из первых рук. Хотя после ночного разговора с Аней и ее мужем мы уже все это знали, я все же не окончательно был разубежден: может, попытаться пристроиться тут хотя бы на время? Но услышанное здесь сломило меня окончательно. И уже и не хотелось заходить к директору. Ведь все ясно и так!

Но мы не уходили, а продолжали стоять и ждать. А на меня попутно нашли воспоминания.

Зимой 1966/67 года, сразу после лагеря я поехал на родину в Новосибирскую область. Километрах в двадцати от моего родного городка и райцентра Барабинска в одном из совхозов жила тогда моя двоюродная сестра. Ее муж после окончания Новосибирского

сельскохозяйственного института работал заведующим отделением совхоза. Он агроном по специальности и вообще-то парень довольно толковый. Родился и вырос в колхозе, как и эта моя сестра, и к тому же искренне привязан к земле и любит сельское хозяйство. Он и поступал-то в институт по любви, в отличие от большинства сегодняшней молодежи, которая поступает в сельхозинститут из-за отсева в остальных вузах. Прожил я в ту зиму у них несколько дней и насмотрелся тоже всякого. И там главная проблема была — рабочая сила. Мой родственник часто вместе с бригадирами бегал по домам и уговаривал женщин выйти и подоить коров. А несчастная скотина, бывало, ревела недоеная целый день.

Не хотели работать женщины в сибирском совхозе из-за того, что ручная дойка — труд каторжный. Хотя и платили им хорошо, но они не шли на эту работу. Многие прямо говорили, что им вполне хватит на жизнь заработка мужей. Мужья у них в основном работали механизаторами и шоферами и зарабатывали прилично. Да и дома у женщин при нашем неблагоустройстве быта — он такой же, каким был и сто, и двести лет назад, — работы хватает на целый день: дети и собственное хозяйство отнимают весь день от темна до темна.

Вот мой родственник мне жаловался, что у него сейчас дорабатывают до пенсии по последнему году несколько доярок и через год или два уйдут. «А где мне смену им брать? Молодежь вся в город бежит и на селе не оседает».

— Что я буду делать с коровами, — говорил он, — когда провожу на пенсию доярок? И сейчас-то некому доить, а ведь уйдут последние!

Совхоз богатый, и денег у рабочих много.

— Я мог бы сегодня два десятка легковых машин взять на свое только отделение, — говорил он, — желающих полно на машины. Но их нам не дают.

На мое напоминание о бездорожье он морщился и разводил руками: не до этого! Клуб строить некому — без клуба живем! Некому строить сушилку, и полученное оборудование из-за этого уже несколько лет ржавеет под открытым небом. Вся надежда на шабашников: приезжают сюда из Центральной России и с Кавказа калымщики, и им приходится переплачивать в несколько раз — лишь бы хоть что-то сделали. Даже шоферов не на все машины хватает.

Это в Сибири.

Когда же мы вошли в опустевший кабинет директора совхоза, то на наш вопрос о работе для меня услышали от него: только скотником.

— Позарез нужны скотники и доярки! — закончил он.

Я попробовал узнать о строительных работах в надежде все же прицепиться и в то же время избежать по возможности каторги. Но директор отрицательно мотал головой:

— Не до строительства!

С тем мы и ушли.

Выбирались мы из этих мест таким же образом, как и попали сюда.

Несколько дней мы решили отдохнуть от мытарств и никуда из Москвы не выезжали. И за эти дни надумали попробовать счастья в Конаково или около него.

Нам предстояло обойти деревни и городки на противоположном берегу Волги. По прибытии в Конаково мы решили первым делом отыскать здесь нашего приятеля и моего коллегу по мордовским лагерям. С Леонидом Ренделем мы сидели одновременно на ll-м, откуда я освободился, а он оставался досиживать. Его жизнь после освобождения была сплошным кошмаром.

Освободился он летом 1967 года, отсидев свои десять лет по известному делу МГУ. Он из группы Краснопевцева и упоминается в мемуарах М. Молоствова «Моя феноменология». Один из тех, кто сел за марксизм, будучи марксистом, в лагере остался марксистом и на свободу вышел при том же.

Сам он москвич. В Москве у него одинокая мать, жить с которой ему не разрешили: отказали в прописке как освободившемуся по политической статье. Мать совсем старая и безнадежно больная, за ней требовался постоянный уход. Пока Леонид сидел в лагере, за матерью ухаживали знакомые и друзья. И можно ясно себе представить его состояние, когда ему даже приезжать в Москву навестить больную, прикованную к постели мать запрещено. Пусть читатель этих строк поставит мысленно себя на место этого человека: Леонид тайком от всех, даже от соседей (что почти невозможно, так как квартиры у матери нет и она живет в комнатке в коммунальной квартире, где и Леонид прожил всю свою жизнь), приезжает навестить лежачую мать. Несколько раз его брала милиция от матери и увозила за нарушение паспортных правил то в отделение, а то и просто вывезут за город на машине и там выпустят.

При этом ему вполне реально грозит угодить за это под суд и быть осужденным за нарушения паспортных правил.

А каково его матери? Ведь все это происходит у нее на глазах! Она жила все последние десять лет только одной мечтой — увидеть своего сына освободившимся. И вот увидела. Было ли ей легче от такой свободы для сына?

После освобождения Леонида она прожила около года и умерла. Леониду было разрешено похоронить мать в Москве. Ну не высшая ли это форма гуманизма самого передового в мире общественного строя! А ведь могли бы и не разрешить!

Леонид пытался прописаться где-нибудь поближе к Москве, чтоб не уезжать далеко от матери. Но ему, как и большинству нашего брата, везде отказывали в прописке: где под надуманными предлогами, а где и впрямую заявляя, что лиц с политической статьей в центральных областях РСФСР не прописывают. Нашел он где-то квартиру в Калининской области, но деревушка оказалась рядом с железнодорожной линией Москва — Ленинград. Ему в отказе прямо написали, что отказано именно по этой причине: рядом трасса.

Но вот в конце концов он все же прицепился в Конаково. У нас был его домашний адрес, но так как время, когда мы приехали в Конаково, было дообеденное, то Леонид, по нашим предположениям, должен был быть на работе. Мы и решили пойти искать его на место работы. Работал он на овощном складе, на переборке картофеля. Нашли мы нашего Леонида быстро и были немало удивлены его положением. Собственно говоря, мы о нем знали все и могли бы не удивляться увиденному и услышанному от него самого. Но, по-видимому, так уж устроен человек, что на него большее впечатление производит то, что он сам непосредственно видит, а не знает понаслышке.

Рендель — выпускник МГУ. Он историк по профессии и до ареста преподавал историю в одном из московских вузов. Но вот он освободился, и мало ему было мытарств с пропиской — еще хуже положение с работой. Работать по специальности он не может и мечтать. И все по той же самой причине: инакомыслие. Самое подходящее, что нашлось для него в Конаково, — это работать на переборке овощей, или дворником, или на разных работах. Он любит свою профессию и не собирается ставить на ней крест. Пытается как-то заниматься и пишет исторические статьи. Ему необходима специальная литература, доступ к архивам — но ничего из этого ему теперь недоступно все по тем же идеологическим соображениям властей.

Да разве одного Ренделя постигла такая участь — лишиться любимой работы и работать вынужденно, буквально лишь за кусок хлеба? Можно составить бесконечный список имен моих соотечественников, чьи критические высказывания по поводу нашего политического и общественного устройства так или иначе послужили причиной увольнения с работы. Тех, кто после отбытия срока в лагерях навсегда лишен возможности работать снова по специальности. Я назову только людей, близких мне:

Константин Бабицкий — ученый-лингвист, участник демонстрации на Красной площади в 1968 году против оккупации Чехословакии войсками СССР и его сателлитов. После возвращения из ссылки вот уже более пяти лет безуспешно пытается устроиться по специальности. Так и не добившись ничего, с кучей отказов, устроился сторожем в музей; вышеупомянутый Леонид Рендель; Лариса Богораз — подельница Константина Бабицкого, лингвист и кандидат наук; Юрий Орлов — член-корреспондент АН СССР.

И еще удивительнее случай с Петром Якиром. После его неблаговидного поведения на следствии и на суде КГБ облагодетельствовал его немыслимыми по нашим понятиям благами: ссылку определили в двухстах километрах от Москвы, обеспечили жильем (дали отдельную комнату, за которой рядовой и благонадежный советский человек стоит в очереди годами!), очень скоро помиловали вовсе и разрешили снова жить на старом месте в Москве.

Но, несмотря на все это, работать ему по специальности так и не дали, так сказать, оставили его в этом отношении на общих основаниях. И работает он сейчас сторожем.

В этом перечне я специально не затрагиваю людей, которые лишились работы из-за намерения эмигрировать в Израиль. Потому что перечислять всех не хватит моей рукописи; этот факт уже давно всем известен и у нас в стране и за рубежом.

А наша пропаганда лицемерит, берясь уличать ФРГ и другие страны в подобных грехах.

Вот передо мной статья из «Литературки» № 30 от 28 июля 1976 года. Называется статья «Неугоден…» и подзаголовок «Хельсинки: кто против?». Автор статьи Ю. Осипов негодует по поводу увольнения с работы профессора Питтсбургского университета Поля Найдена. Как же уволили П. Найдена? Цитирую Ю. Осипова: «…перед летними каникулами факультетское начальство отказалось продлить с ним контракт на следующий учебный год, мотивируя свое решение якобы недостаточной квалификацией профессора как ученого и педагога». Общее правило в США.

«Подоплека? — вопрошает тут же Ю. Осипов и дает нам ответ: — Д-р Найден является членом Коммунистической партии США». И только-то!

На этой же странице публикуется открытое письмо президенту Питтсбургского университета от трех наших высокосознательных граждан-ученых, обеспокоенных нарушением прав человека в США. Письмо в защиту этого же самого П. Найдена. Какая чувствительность: «Мы не можем

квалифицировать это иначе, как нарушение гражданских свобод…Подобная дискриминация идет вразрез с конституцией США, гарантирующей гражданские свободы в стране, противоречит духу и букве Заключительного акта совещания в Хельсинки…» И выражается надежда, что П. Найдену будет дана «возможность продолжить свою преподавательскую деятельность». Непосвященному читателю может показаться, что эти авторы живут в такой стране, где действительно гарантированы гражданам их гражданские права и совершенно исключено нарушение прав человека. Но вот каково об этом читать нашим ренделям и бабицким?

Про себя скажу откровенно, что когда я постепенно выбирался из-под хлама нашей пропаганды о заграничной действительности, то поначалу в моей голове не могло никак уместиться понятие такого факта: член партии, ставящей своей целью свержение существующего строя, может преподавать в университете. Не так-то просто, оказывается, избавиться от того груза пропагандистского вранья, которым от рождения придавлен советский человек. Сказывается впитанная и усвоенная нами с пеленок нетерпимость ко всему иному, не спущенному сверху умными дядями, которые все за нас решают и определяют: что читать и как думать, вернее, вовсе не думать, а повторять за ними. По команде поднять руку и опустить. И с трудом и постепенно выкристаллизовывается убеждение, что лишь уверенный в себе общественный строй может позволить своим гражданам иметь и пропагандировать свои идеи и убеждения.

Можем ли мы, граждане страны победившего социализма, хотя бы мысленно представить себе такое: в каком-то вузе в Москве или в другом городе профессор кафедры — антикоммунист? Или просто сомневающийся в том или ином положении марксистской идеологии и мировоззрения?

Вещь и в самом деле немыслимая и невозможная. Да власти наши никогда и не скрывали и не скрывают, что чуждой идеологии нет места в нашем обществе. Конечно, подводится полуприличное оправдание такой нетерпимости: не для того наш народ совершал революцию и т. п. Но это сплошная демагогия, ибо подавляющее большинство критиков существующего строя вовсе не против социализма вообще, а не согласны с тем или иным его несовершенством или отрицательным явлением нашей действительности.

Статьи, подобно той, с которой я начал говорить на тему об увольнениях с работы людей по политическим соображениям, появляются в советской прессе довольно часто. Особенно наша пропаганда негодует по поводу так называемого закона о

радикалах в ФРГ. Но пусть знают сегодняшние оппоненты Найдена и его коллег по «несчастью» из ФРГ, что сегодня они свободно спорят с коммунистами и тем самым способствуют проникновению в свободное общество марксистской идеологии. Но завтра, если, не дай бог, Найдены захватят власть, споры эти вмиг прекратятся. Марксисты, придя к власти и узурпировав ее, могут позволить дискуссию только в тюремной камере перед следователем. У них для оппонентов лишь одно место: за решеткой концлагеря или под замком психушки.

Но вернемся в Конаково и к Ренделю. В ближайшем кафе мы провели с ним около часа и вместе перекусили — это было время его обеденного перерыва. Успел он нам рассказать о себе, что живет в углу частного дома, за который платит 15 рублей в месяц — при своем заработке 65 рублей в месяц. Это не место для проживания человека — закуток за печкой в одной комнате с хозяйкой и ее детишками. Жил Леонид там, как курица в курятнике: отгораживался от хозяйки занавеской. К этому времени он уже похоронил свою мать, женился. Но так как жена его москвичка, то видятся они с женой по воскресеньям — приезжает она к нему на свиданку (ну не лагерь ли, а!), он же к ней приехать не может: запрещено «законом» приезжать в Москву. Его жена не может переехать к нему в Конаково, так как, во-первых, с ее специальностью здесь не устроиться на работу, а жить на его зарплату невозможно, тем более что у Нелли взрослый сын — ученик старшего класса. Попробуй проживи на зарплату мужа в 65–75 рублей! Это вам не Америка, как любят у нас говорить в подобных случаях. Во-вторых, у Нелли в Москве квартира, а в Конаково никто им квартиры не даст. Вот так они и живут, как я уже сказал, по воскресеньям.

И как тут не позубоскалить над нашей гордостью — самыми дешевыми в мире квартирами!

Потом мы с Леонидом провели вместе весь вечер в гостинице, где мы с Ларисой остановились. Тут тоже было интересно. Когда мы с Ларисой заявились в городскую гостиницу, нам сообщила администраторша, что места свободные есть. С оформлением Ларисы все обошлось гладко. А вот со мной она замялась. Дело в том, что в моем паспорте нет отметки о прописке. Ведь я все еще числился «без определенного места жительства». А в гостиницах у нас такой уж порядок, что лиц, в паспортах которых нет штампа о прописке, в гостиницу не пускают. К тому же в моем паспорте ясно сказано, что я из заключения. А уже одно это всегда приводит к тому, что нашему брату отказывают в месте, даже если у тебя имеется штамп о прописке. Со мной это бывало не раз. Но тут, по-видимому, сыграло роль то обстоятельство, что мы

были вдвоем с Ларисой, и администраторша заранее нам проговорилась, что места есть и в женских, и в мужских номерах. С явным неудовольствием и нежеланием мне дали место в одном из мужских номеров. Будь я один, пришлось бы мне либо потеснить Леонида в его закутке на ночь, либо перекантоваться ночь на вокзале, при этом рискуя быть изловленным милицией как «бродяга без места жительства и работы».

Несмотря на наше с Леонидом плачевное положение, мы все же с удовольствием пообщались. Просидели допоздна и о многом переговорили. Ведь нам было и что вспомнить, и о чем поспорить. Да и вообще Леонид здесь был как белая ворона, ему и поговорить было не с кем.

Заодно он нам дал несколько дельных советов, где вернее всего искать жилье. Ведь ни я, ни Лариса раньше никогда не были в Конаково и ничего здесь толком не знали.

Сейчас, когда пишутся эти строки, Леонид наконец-то прописан в Москве и живет в квартире жены. И это на девятом году после освобождения из лагеря! Теперь он, поди, с юмором вспоминает, как в дни его отлучки из Конаково, когда тамошняя милиция вдруг плошала и теряла его из поля зрения, в квартиру к жене в Москве вваливалась милиция и искала его в платяном шкафу и в ящиках. Это они предполагали, что он у жены скрывается. А он, чтоб лишний раз повидаться с женой, договаривался с ней о встрече в определенный день на квартире у кого-нибудь из знакомых. Хочется повторить известную банальность: все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Но такова наша родина сегодня.

А с работой у Ренделя все так же, как и после освобождения: по специальности до сих пор не работает. Бегает и разносит по Москве телеграммы. Какая роскошь для общества: выпускник МГУ — разносчик телеграмм!

* * *

Два дня мы с Ларисой бегали по городу в поисках какого-нибудь жилья, но безуспешно. Во всем городе мы не нашли ни одного объявления о сдаче комнаты или хотя бы угла. Мы просто ходили по улицам и наугад спрашивали, не пустит ли кто на квартиру или не сообщит ли, где можно найти жилье. Беда еще в том, что никогда в нашей стране не знаешь, где тебя могут прописать, а где пошлют подальше и откажут. Поэтому и бывает с людьми в нашем положении, что ищут-ищут и наконец что-нибудь находят, а в милиции им отказывают в прописке под разными предлогами. Вот и мы искали здесь на авось во всех отношениях. Мы надеялись на то, что раз Ренделя прописали, то должны прописать и меня. Но такой расчет не всегда оправдывается. Я в этом убедился еще раньше на собственном опыте. И все же мы надеялись и искали.

На третий или на четвертый день мы оставили надежду на то, что нам удастся найти жилье в Конаково, и стали бродить по окрестным деревням. В этих местах многие бездомные и бесквартирные люди, в том числе и семейные, из-за невозможности устроиться в городе стараются устроиться в селе. Правда, неудобно, что на работу в город нужно добираться автобусом, а иногда его и не бывает. Но нужда в жилье заставляет людей мириться с чем угодно.

В одном месте мы с Ларисой решили пройти от одной деревни к соседней напрямую через лес по тропинке, которую нам указал местный житель. То ли мы перепутали тропинку — их ведь в лесу полно, — то ли этот житель нас не предупредил, но мы скоро вышли на асфальт. Пройдя немного по асфальту, мы наткнулись на шлагбаум. От шлагбаума дальше в лес шла хорошая асфальтированная дорога, а когда мы углубились по ней в лес, то наткнулись на железные ворота. В эти ворота и упиралась загадочная дорога. По обе стороны от ворот тянулся высокий — в два человеческих роста — забор из железных прутьев. Та сторона забора, которая уходила вправо от ворот, доходила до берега и спускалась прямо в Волгу. Другая его сторона уходила далеко в лес. Мы решили обойти забор и направились в глубь леса. Сквозь прутья забора ближе к воротам хорошо просматривалась огромная, в два этажа, вилла. Белоснежная красавица в тишине и безлюдье смешанного подмосковного леса выглядела дворцом из сказки. На асфальте двора под открытым небом блестела новизной лака черная

«Волга». Через двор просматривался и берег Волги, к которому вела от виллы асфальтированная дорожка, а на берегу видны были моторные лодки. Присутствие «Волги», да еще под открытым небом, говорило о том, что вилла сегодня обитаема. Так как забор уходил далеко в лес, то мы, по мере удаления от ворот, теряли из виду белевшую среди деревьев виллу. Вот уже и не отличить: то ли в просвете деревьев мелькнул кусок виллы, то ли это ствол березы. Скоро мы перестали вообще оглядываться на загадочную виллу и только иногда пошучивали об этом. Например, было высказано, сейчас не помню мной или Ларисой, предложение: попробовать зайти на виллу и предложить услуги в качестве сторожа или дворника. Забор не кончался, и мы уже стали сомневаться, правильно ли мы сделали, что пошли вдоль него. Может, нам было лучше вообще держаться подальше? Но вот в заборе мелькнула дыра, и по тропинке, идущей по обе стороны от нее, можно было понять, что дыра эта служит кому-то калиткой. А раз так, то и нам можно рискнуть. И снова мы долго шли лесом уже внутри ограды.

Когда мы добрались до противоположного забора, то он оказался в гораздо худшем состоянии и мы легко вышли с территории «не для всех». Рядом справа поблескивала весенняя Волга, невдалеке от нас на берегу стояла маленькая деревенька. Между нами и деревенькой простирался пустырь. Он был здорово заболочен, и по нему мы с трудом пробирались еле заметной тропинкой. Наконец мы выбрались на дорогу, не асфальтированную, но частично отсыпанную гравием. Откуда эта дорога шла — нам было неизвестно, но шла она в деревеньку, а это нас устраивало.

Деревенька оказалась почти пустой. Было несколько жилых домов, а остальные пустовали. Обычный вид деревенской улицы вымершего села: заколоченные досками окна и двери, нежилые дворы и безлюдье на улице.

Отыскав один жилой дом, мы разговорились с хозяйкой — довольно пожилой женщиной. Оказалось, что деревня эта относится к совхозу, который находится в соседнем селе Вахонино. Из местных же жителей только один мужчина работает — дорабатывает до пенсии. Живут здесь только пенсионеры в четырех домах. Сначала нас это обрадовало: раз пустуют дома, то можно будет купить по дешевке и работать в совхозе. Но нам тут же сказали, что дома не продаются, так как пустуют они только зимой. Летом же приезжают из Москвы хозяева с семьями и живут до поздней осени. Тоже обычная история: население переселилось в город, а дома в селе, с урезанными до минимума из-за отъезда земельными участками, используются как дачи. Бывает, что

старики доживают свою жизнь в селе, а дети, уехав в город, привозят к ним на лето свои семьи. И летом село наполняется жизнью. Но нас порадовали тем, что здесь можно построить себе дом: поступив на работу в совхоз, можно получить земельный участок и строить самому. Совхоз даже может помочь своему рабочему строительными материалами. Нет худа без добра! Лишь бы пристроиться, а уж домишко как-нибудь построили бы.

Нам опять посоветовали идти в Вахонино не дорогой, а через лес. Снова показали тропинку, предупредив, что сейчас там трудно пройти из-за распутицы, но зато очень близко — минут тридцать ходу пешком.

Прежде чем отправиться в Вахонино, мы решили еще раз обойти деревеньку: не терпелось высмотреть возможный участок под дом. Мы уподобились той самой хозяйке, у которой курица еще сидит в гнезде на яйцах, а она уже торгует цыплятами на рынке.

Мы высмотрели несколько совершенно пустых участков на единственной улице, из которой и состояло село. Это были давно заброшенные усадьбы. Домов уже и в помине не было — их либо продали на вывоз, либо перевели на дрова и сожгли. Даже от печей почти ничего не осталось. Только по каким-то неведомым признакам угадывалось, что на этом вот месте давным-давно, должно быть, стоял дом.

Одна такая бывшая усадьба нам очень приглянулась, и уходить было жалко с этого места: до того оно было удобно и привлекательно. Усадьба была угловой. Дом раньше стоял вдоль улицы, как и все дома здесь. Переулок перпендикулярно отходил от улицы и спускался вдоль огорода прямо к Волге. А по краям усадьба была обсажена высоченными вязами, ряд которых тянулся вдоль огорода до самой Волги. Огород тоже спускался к Волге. Место действительно было на удивление милым, лучшего, по-моему, и не бывает. Я, кажется, ради того, чтобы жить в этом райском уголке на такой природе и в тишине, готов был согласиться на любую каторгу.

И мы всю дорогу до самого Вахонино только и обсуждали и фантазировали, как можно здесь прекрасно пристроиться.

А дорога была на самом деле отвратительной. Как и по дороге к Устью на противоположном берегу Волги, мы с трудом пробирались даже по проезжей дороге, на которую скоро вывела нас тропинка. Скрашивала все эти неприятности перспектива жить на том месте, что мы облюбовали. Да и дорога проходила в красивых местах, которыми можно было залюбоваться, несмотря на непролазную распутицу под ногами.

Мы и на самом деле от деревеньки до центральной усадьбы

совхоза добирались не более сорока минут. Летом и зимой, когда под ногами прочнее грунт, можно и быстрее добираться. Нас это меньше всего смущало. Мы утешали себя сравнением с Москвой: ведь в Москве иной раз на дорогу к работе в один конец тоже тратишь больше часа.

Директором совхоза оказался мужчина лет тридцати — тридцати двух. Он производил хорошее впечатление. Узнав, что я ищу работу, сразу поинтересовался, есть ли у меня какая специальность. Мне нечем было похвастаться в этом отношении, так как специальности для работы в сельском хозяйстве у меня никогда не было.

— Топор можете в руках держать?

По его вопросу, по тому, как он это сказал, чувствовалось, что ему не хочется выпускать лишнюю пару мужских рук и он старается найти им работу в своем хозяйстве.

А мне раньше в лагерях приходилось работать на строительстве, в том числе и плотничать, поэтому я уверенно ответил, что могу.

— Ну и прекрасно, — весело объявил директор. — Строить нам нужно много и долго, а плотников у меня всего три мужика. Да пьют они частенько. Беда с этим у них.

При этом он испытующе смотрел на меня, как бы спрашивая: «А ты не зашибаешь ли тоже?»

Не дождавшись от меня ответа на свой немой вопрос, он спросил напрямую:

— А вы как относитесь к этому делу? — и он поднял над столом руку, кистью изобразив известный символ выпивки.

Я замялся с ответом. Каждый раз чувствуешь себя по-дурацки при таком вопросе. Я на самом деле могу ответить, что не пью. Но когда тебя спрашивает об этом человек, принимающий тебя на работу, поневоле замнешься с ответом.

Пьяниц у него полно. И каждый из них, без сомнения, при приеме на работу отвечал на поставленный вопрос отрицательно.

Заяви я директору откровенно, что не пью, — не поверит. Это точно. На словах этого он не скажет, но наверняка подумает про себя: «Знаем мы вас! Все вы так говорите!»

Я вот и для себя пытаюсь определить, что такое пьющий и непьющий человек.

Про себя скажу, что грешен: с удовольствием выпиваю в день бутылку пива. Иногда появляется желание выпить рюмку-две хорошего вина. Терпеть не могу крепких спиртных напитков, будь то водка или коньяк.

Так что все основания причислить себя к категории пьющих налицо.

Но вот стоит перед директором при приеме на работу один из тех трех плотников, что сейчас у него в запое.

Он наверняка выпивает пол-литра в день, а спросите его, пьет он или нет. Он вам искренне ответит, что нет, а только выпивает иногда. Ведь у нас давно уже принято считать того пьющим, кто в канаве валяется и частенько наведывается в вытрезвитель на «общественном транспорте». Да еще про тех, кто гоняет под этим делом своих домочадцев и соседей.

Сейчас вот, когда я пишу об этом, живя в сибирском поселке на трассе БАМа, ежедневно наблюдаю картинки из местной экзотики: лежит у забора мужчина, уткнувшись лицом в дорогу. Он чувствует себя в раю. А мимо ходят люди и не обращают на него внимания. Даже проезжающая мимо дежурная милицейская машина не всегда остановится, наткнувшись на пьяницу. И увидеть можно не только мужчин всех возрастов, но и женщин. Часто мне приходится выходить из дому по утрам и идти мимо нашего железнодорожного магазина. Еще задолго до его открытия на крыльце и около толпятся в нетерпении желающие опохмелиться или наоборот — начать выпивку, чтоб завтра с утра влиться в эту же очередь на опохмелку. И это возле каждого магазина в нашем маленьком поселке! А у продавцов, в магазинах которых продажа водки почему-либо запрещена, от этого здорово страдает план выручки. И там эта продукция продается тайком из-под прилавка. Не понятно только одно: от кого скрывается продажа водки? Ведь все прекрасно знают об этом, и все покупают, и никому продавцы не отказывают. Все становится ясным, если знаешь хорошо нашу действительность: на бумажках все должно быть прилично и в соответствии с принятыми решениями партии, правительства или местной, на уровне райисполкома или сельсовета, власти. И никого не интересует нереальность этих решений и предписаний, что не увязываются, а часто и противоречат действительности.

Как часто мы пишем про волну алкоголизма, захлестнувшую капиталистический мир! И, как противоположность ему, освещаем собственное благополучие в этом вопросе. Там это зло не иначе как порождение порочной по своей природе капиталистической формы правления. И решение этой проблемы советская пропаганда предсказывает только путем замены этой отжившей и прогнившей системы на социализм.

Мои наблюдения и мнение многих, с кем мне приходилось обсуждать эту тему, говорят о том, что в нашей стране эта проблема никогда серьезно не ставилась и не решалась. Во все времена советской власти наш народ испытывает недостаток в продуктах питания; я за всю мою почти сорокалетнюю жизнь не

помню и одного дня — где бы я ни жил, в большом городе или на селе, — чтобы, зайдя в один магазин или обойдя их все, можно было купить все, что тебе необходимо. Я уж не говорю о мясе, этот продукт у нас, как пары эфира: появится вдруг где-то и, не успел ты еще уловить его запах, а его уже и след простыл. Недаром в последние годы про мясо стал ходить модный анекдот: при коммунизме органами КГБ была ликвидирована банда наркоманов, собиравшихся в каком-то подвале и по очереди нюхавших контрабандный кусок мяса.

Зато в спиртных напитках наш народ никогда не ощущал недостатка: даже в голодные военные годы на черном рынке легче было достать водку, чем хлеб.

Поскольку наше государство по природе своей антинародное, то ему наплевать на народные интересы и нужды. Наше пьянство — это национальное бедствие, несчастье нашего народа. Это тот же наркотик, но в интересах государства узаконенный. Государство вместо действительной борьбы с этим общенародным злом спекулирует на народном несчастье.

И если мы справедливо считаем, что алкоголизм в царской России был порождением социального строя, забитости и бесправия народа, то трижды справедливее это объяснение в отношении сегодняшней нашей действительности.

Эта забитость ныне распространена не только на обыкновенного, рядового гражданина, но и на нашу интеллигенцию, на носителей нашей культуры. Забитость бывает разная. Считает себя забитым рядовой гражданин, видя свое бесправие и беспомощность перед государством. И в запое он находит как бы отдушину накопившейся злобе.

Но не в запое разве искали забвения от своей беспомощности и от осознания ее известные наши писатели? Достаточно будет назвать имена Фадеева и Твардовского. Всем известно, как приходилось прилаживаться А. Фадееву к потребностям и надобностям власти и партии хотя бы при работе над романом «Молодая гвардия». Также известно и то, как пил А. Твардовский, угнетенный в своей редакторской работе в журнале «Новый мир».

Наша интеллигенция недалеко ушла от забитого обывателя: на открытый протест против существующего положения не хватает духу (а иногда и мозгов!), и вот остается наименее опасная форма протеста — запой, уход от действительности.

Отключишься хотя бы на время от гнета.

Конечно, всегда и при любом строе возможны отклонения от нормы отдельных членов общества. Но когда это отклонение принимает глобальный характер и охватывает все общество, то это уже кризис системы и признак ее непригодности.

Я под конец разговора с директором все же не утерпел и поинтересовался: если я пожелаю построить себе собственный дом, то дадут мне тут участок или нет?

Директор охотно сообщил, что хотя по генеральному плану жилищное строительство намечено вести только здесь, в Вахонино, но желающие могут строиться и в любом другом месте в деревнях на территории совхоза.

— Своим индивидуальным застройщикам совхоз помогает стройматериалами и транспортом, — обрадовал он нас, — пожалуйста, устраивайтесь, стройте себе и живите на здоровье. Мы в этом сами заинтересованы.

Радостные и окрыленные надеждой, мы с Ларисой направились искать коменданта, к которой у нас была записка от директора.

Общежитие находилось в одном из трех двухэтажных зданий. Это были кирпичные оштукатуренные жилые дома для рабочих совхоза. Удобств в них не было никаких, если не считать центрального отопления. За водой люди ходят к ближайшей колонке, туалеты — обычное русское сооружение из досок посреди двора. Хотя деревня и находилась в красивом месте, но эти три дома стояли особняком от остальной деревни и своим запущенным видом наводили уныние и тоску. Они были тут чужеродным элементом: к деревне не прилипли и не представляли куска городского пейзажа. К тому же под ногами непролазная грязь.

Коменданта мы нашли у нее дома — квартира ее находилась в том же доме, где и общежитие, но только общежитие было на первом этаже, а комендант жила на втором. Прочитав записку, она охотно оделась и повела нас за собой. По пути предупредила нас о грязи немыслимой в общежитии: свинарник и то производит лучшее впечатление. Когда мы вошли в первую комнату, то сразу удостоверились в правоте ее слов.

Под общежитие была отведена одна из квартир нижнего этажа. Квартира была двухкомнатная, с отдельной кухней и маленьким тесным тамбуром вместо прихожей. Одним словом, это обыкновенная квартира из двух комнат, в которых живет большая часть наших граждан в городах — те из них, кому повезло!

Грязища во всех помещениях была невероятная. Эту грязь невозможно даже сравнить с той грязью, которая нам надоела на пересылках. Пол был так загажен, что не угадывалось даже, из чего он сделан, уж не говоря о цвете. Единственное, что было в порядке, — это окна. Я имею в виду не их чистоту — она была такой же, как и все здесь, — а то, что все стекла были целыми.

Если здесь приниматься за уборку, то нужно обзаводиться лопатой.

— Проживают у меня здесь по документам трое парней, но вижу я тут раз в неделю только одного. Один появляется иногда на работе, а где пропадает все остальное время — неизвестно. Другие двое как прописались и получили постельное белье, так сразу все куда-то снесли и продали за водку. С тех пор их и не видно: может, посадили уже, может, убили давно или просто сбежали.

Комендант, как мне показалось, отнеслась к нам иначе, чем к этим троим. Поэтому она предложила:

— Я вам дам ведро, веник с тряпками, и наводите порядок. Поселяйтесь в этой вот комнате, — она показала на комнату поменьше, — я дам вам для нее отдельный замок с ключом, и живите отдельно от них.

Сказав это, она показала головой на вторую комнату.

Та комната, где жили трое парней, была проходной, и, чтобы попасть в ту, что теперь стала моей, нужно было пройти через нее. Но все же можно было отделиться от всех. Ну а грязь ни меня, ни Ларису не пугала: привести все в порядок — это дело наших рук и желания, этого нам не занимать.

Комендант попросила у меня документы: паспорт и военный билет.

— А дня через два я вам их верну, как только пропишу вас.

Вот тут-то снова екнуло у меня внутри. Подавая документы, я уже предвидел, как мне их вернут и скажут, что с такими нужно ехать самому в милицию и там решать вопрос о прописке.

Так оно и произошло.

С комендантом мы договорились, что, если я получу прописку, она мне сразу выдаст все, что обещала, и я смогу переселиться.

— Вы не подумайте, что я против того, чтоб вы поселились, — успокаивала она нас, видно, заметив, что нам не понравилась концовка переговоров. — Нас строго предупредили, чтобы всех, кто был в заключении, мы сами не прописывали, а направляли в Конаково.

И уже в подъезде она нас напутствовала довольно доброжелательно, и я почувствовал, что искренне:

— Да вы не огорчайтесь! У нас еще не было случая, чтобы кому отказали. Всех прописывают.

Нам предстояло после этого сходить в сельсовет и взять бланки для прописки.

С бланками из сельсовета мы снова нашли коменданта, и она написала на них, что жилье нам предоставлено. И снова в

сельсовет — заверить печатью.

Куда приятнее было ходить по деревенской улице, не тронутой еще генеральной застройкой! И было жаль этих домиков, от которых так и веяло вечным миром и покоем. Вряд ли на смену им придет что-либо радующее глаз и душу. Наставят таких вот коробок-инкубаторов с обязательной машиной для отлова беспризорных собак. Приедешь сюда лет через двадцать и не ошибешься, если скажешь, что приехал ни к селу, ни к городу.

На другой день с утра мы уже в городском отделении милиции. Там очередища: кто на прописку, кто на выписку.

Дошла где-то часа через два и моя очередь подавать документы паспортистке. Подавая их, я уже предвидел, как она, взглянув на паспорт, выданный на основании знаменитой в нашей стране «справки номер такой-то», уйдет с ним куда-нибудь в глубь помещения в один из кабинетов, а мне велит подождать.

Так все и получилось. Потом мне велели «пройти в кабинет начальника».

А в кабинете обыкновенный допрос: откуда освободился, когда, откуда приехал сюда, зачем и почему именно «к нам», а не в другое место. И это несмотря на то что все эти данные у него перед глазами: в паспорте и в «справке». Несмотря на то что я уже после лагеря почти год жил и работал на воле. И в конце разговора мне выносится решение:

— В Вахонино мы вас не пропишем.

— Это почему же? — Хотя всегда в такой ситуации ждешь для себя отрицательного ответа, и все же на этот раз я немного опешил.

— Милиция не обязана отвечать вам о мотивах, которыми она руководствуется.

— Хорошо, а что вы мне напишете на моем заявлении-бланке? Ведь мне в совхозе предоставлены работа и жилье.

— Кто там директор совхоза?

Я назвал фамилию директора, и подполковник стал набирать какой-то номер телефона. Я подумал, что он будет звонить в совхоз и как-то повлияет на решение директора дать мне работу и жилье, чтобы отказать мне в прописке «обоснованно». Но полковник меня ошарашил откровенностью с другой, совершенно неожиданной для меня стороны:

— Сейчас позвоню в Комитет безопасности.

Разговор он начал при мне: «Гражданин Марченко прописывается в Вахонино. Кто, он? Да вот у меня в кабинете…» Зажимает рукой трубку и довольно вежливо просит меня подождать в коридоре.

Вот такого у меня в практике еще не было: чтобы с такой

прямотой тебе говорили, что вопрос о прописке решается через КГБ.

А в коридоре меня ждала с нетерпением Лариса. Когда я ей рассказал о том, с чем вышел в коридор, она от изумления только и проговорила:

— Ну и ну!

Не успели мы с ней обменяться мнениями по этому поводу, как меня пригласили снова в кабинет.

— Вот вам наше решение, — протянул мне начальник милиции все мои бумажки, как только я переступил порог.

Взяв бумаги, я стал отыскивать его резолюцию, но ее не было.

— А где же ваше решение? — не найдя ни письменного отказа, ни разрешения, снова спросил я.

— В прописке вам отказано. В Вахонино вас не пропишут. — И начальник категорически положил руку ладонью на стол.

— А где пропишут?

— Не знаю.

— Так напишите, что отказываете! Я даже и пожаловаться не могу, не имея от вас никакого письменного ответа.

— Можете жаловаться, никто вам этого не запрещает. А писать я вам ничего не буду.

— Вы сами мне только что сказали, что будете звонить в КГБ по вопросу о прописке, и звонили при мне. Могу я ссылаться в жалобе, что мне отказано вами в прописке по указанию КГБ?

— В прописке вам отказывает милиция. Я вам отказываю. И вы можете на меня жаловаться куда хотите.

Я стал заводиться и сам чувствовал это: вместо того чтобы уйти из кабинета, наседал на подполковника с расспросами. А он не то дразнил меня, не то, проявляя сверхтерпение, твердил на все мои вопросы одно и то же: жалуйтесь, жалуйтесь… Под конец он устало махнул мне рукой и проговорил, тоже устало и равнодушно:

— Это же пустой разговор, и мы попусту тратим время. Я же вам ясно все сказал…

И я вышел из кабинета, злой, как всегда в таких случаях, на «Р-р-родину!» Хотя Лариса по одному моему виду сразу догадалась обо всем, но все же спросила упавшим голосом:

— Ну, что?..

Моей выдержки только на то и хватило, чтобы повторить, теперь уже вслух: «У-у Р-р-родина».

Лариса все поняла. И когда мы вышли на улицу, спросила:

— Ну, что он тебе сказал? Почему отказал?

После моего рассказа она тоже повозмущалась вместе со мной и предложила уехать в Москву и несколько дней переждать

и обдумать спокойно, что делать дальше. Так мы и сделали.

* * *

А в Москве в это время творилось черт знает что: правительство готовилось к встрече с президентом США Ричардом Никсоном. Наводился глянец на время встречи: по местам предполагаемого маршрута президента красились и подштукатуривались дома, а те, которые нельзя было почему-либо подкрасить, одевались в леса (после его отъезда леса убирались и дом продолжал стоять неотремонтированным), насаживались деревья, которые гибли только ради того, чтобы на день-два украсить собой какой-то участок территории. И вещи творили московские власти невероятные в связи с этим визитом. Вот один из примеров, который происходил на моих глазах.

Моя жена живет на Ленинском проспекте — артерии Москвы, по которой из аэропорта Внуково в Кремль и обратно едут все высокие гости СССР. В том числе и космонавты после успешных полетов. По этому проспекту выстраивают москвичей для «встреч» высоких гостей, и они должны по часу, а когда и по пять, ожидать проезда, чтобы быстренько махнуть ручкой или выданным флажком со своего строго отведенного места и убежать по своим делам. Дом жены, как и вообще весь этот конечный участок Ленинского проспекта, строили в конце 1950-х годов, и когда они вселялись в свои новые комнаты (отдельные квартиры получали счастливчики), вокруг был пустырь. Жильцы этих домов сами устраивали субботники и воскресники по благоустройству своих дворов. Сами они и озеленяли их.

Когда я появился там впервые в конце 1966 года, дворы этих домов представляли собой хорошо ухоженные маленькие парки и скверы. Особенно это бросалось в глаза летом, когда весь просторный двор утопал в зелени и даже в самую знойную пору здесь можно было отдохнуть в прохладе.

И вот вдруг под окнами слышим какой-то шум и гул моторов. Глянули в окно и ахнули от удивления: во двор въехали автокран и грузовик. Несколько человек суетятся возле крана и топчутся вокруг деревьев. И вот уже одно дерево опутано тросом, автокран вырывает его из земли с корнем и переносит в кузов грузовика. Не одни мы видим это, люди повыскакивали из подъездов и стали возмущаться этим варварством.

Но это выполнялось задание вышестоящих органов власти. И на возмущение жильцов, которым больно было смотреть, как пропадает и губится их многолетний труд, ответ был самым

хамским, какой только можно было придумать:

— Мы хозяева!

Оказывается, что на каком-то участке предполагаемого маршрута Никсона не хватило декораций, и вот решено повырывать деревья во дворах жилых домов. Уехали автокран с грузовиком, нагруженным вырванными деревьями, а на месте роскошного сквера под окнами домов осталась голая площадь, изрытая воронками, как после артобстрела или налета вражеской авиации.

А между прочим, в каждом городе, поселке, даже имея собственный дом и земельный участок, хозяин не имеет права срубить дерево без специального разрешения властей. Разрешат срубить только в том случае, если дерево старое, грозит повалиться и причинить вред окружающим постройкам или людям. За самовольную порубку на собственном участке людей штрафуют. Так будет позже с нами: в Тарусе наш сосед без разрешения властей срубил сирень и липу — они затеняли его участок огорода. Вот его и оштрафовали.

Но это, так сказать, цветочки по поводу приезда Никсона.

Ведь у нас есть недреманное око — КГБ. Может ли он не внести свой вклад в общенародное дело? Конечно, нет. И он принимается за работу. А так как работа этого необходимого органа власти состоит в том, чтобы хватать и не пущать, — вот оно и принимается хватать и не пущать. Похватали всех активистов-евреев, добивающихся отъезда в Израиль. Хватают их, кого где прихватят. Но всем шьют мелкое хулиганство — это чтобы упечь по приговору, который обжалованию не подлежит и по которому судье, чтобы вынести приговор, не нужны свидетели. К тому же срок по этой статье — до 15 суток заключения под стражу. Нашего приятеля Романа Рутма-на пришли забирать, когда он спал. Прямо с постели и в камеру — за мелкое хулиганство.

Когда другой наш приятель, Александр Воронель, решил поспорить на эту тему с прокурором, находясь в камере тюрьмы, то прокурор вместо того, чтобы признать или опровергнуть факт произвола властей, спросил его:

— Вам что, поговорить хочется?

Вряд ли нашим студентам юридических факультетов преподают что-либо подобное. Ведь наше право не признает превентивных арестов.

Вот и держали наших евреев в тюрьмах, пока господин Никсон знакомился с нашей страной. А тюремное начальство и прокуроры успокаивали их тем, что после отъезда Никсона их освободят.

Так было с евреями.

А как же поступить в таком случае с диссидентами?

Да очень просто: разогнать из Москвы под любым предлогом. Вот и началось: демократы поехали в разных направлениях от Москвы по всему Союзу по служебным командировкам. Ведь большинство активистов демократического движения — люди интеллигентного труда, научные сотрудники разных НИИ. Вот им и выписывают командировочные удостоверения. А ведь в командировку научного сотрудника отправляют не без согласия и уж во всяком случае не без ведома руководства НИИ. Так что директора, начальники и завы отделами, доктора и академики без стыда и совести сотрудничают с КГБ в этих, мягко выражаясь, дурно пахнущих делах, выпроваживая своих подчиненных и коллег по пожеланию КГБ из Москвы. У нас есть приятельница, которая в этом отношении служит верным и безошибочным барометром: если ее директор НИИ отправляет в командировку, то это означает, что либо в Союз приезжает очередная группа американских конгрессменов и сенаторов, либо над кем-то из арестованных в эти дни состоится суд. Ее обязательно на дни таких мероприятий выпроваживают из Москвы. Первые несколько раз она по наивности спрашивала у директора в таких случаях: зачем и что там делать? Но ей толком не отвечали. Когда же она приезжала на место, то местное начальство пожимало плечами в недоумении от такого непредусмотренного и ненужного визита из Москвы. Ей там давали на эти дни полную свободу.

Последнее время, раскусив до конца эти фокусы, она, как только ей предлагали уехать куда-нибудь в командировку, прямо спрашивала у своего начальства: это опять по линии ГБ? И ей отвечали очень красноречиво: «Вы же сами понимаете…»

На этот раз с приездом Никсона советская власть окончательно потеряла голову. И я это почувствовал на себе.

КГБ в силу каких-то неведомых мне соображений предпочитает вести переговоры со мной не непосредственно, а через посредников. Наверное, из-за моего отказа вообще общаться с этой организацией.

Вот ГБ и пытается высказать иногда мне свои пожелания, советы или прямые угрозы через друзей или знакомых.

Так произошло и на этот раз. Нашу приятельницу, наши отношения с которой хорошо известны госбезопасности, пригласили на беседу в КГБ. Не по повестке, нет. Запросто позвонили по домашнему телефону и предложили, вернее, попросили встретиться. И при встрече без предисловий велели передать мне, чтобы я на время пребывания Никсона уехал из Москвы.

Та же не обещала «повлиять» на меня, но согласилась передать мне это пожелание КГБ.

У меня не было никаких планов, которые я хотя бы косвенно связывал с пребыванием Никсона. Я не собирался ни восторгаться его приездом в нашу страну, ни возмущаться, ни тем более бросать в него цветы или бомбы или кидаться к нему с жалобой на советское правительство. Мы с Ларисой просто устали от непрерывных мотаний в поисках прописки и решили несколько дней отдохнуть. И мой ответ на предложения и советы КГБ был вполне естественной реакцией: пусть не суются и оставят меня в покое. Мое решение не уезжать из Москвы на эти дни вовсе не было противостоянием наглости КГБ. Решено это было мной еще задолго до «советов» из КГБ; мало ли чего это учреждение потребует или посоветует нам делать или не делать завтра.

Но на нашу приятельницу здорово наседали, еще несколько раз встречались и звонили по телефону все с той же целью: повлияйте, пусть уедут. При последней встрече с КГБ ей даже откровенно сказали, как бы даже с обидой на мою неблагодарность:

— Ведь мы же знали все это время, что Марченко находится в Москве. Мы даже не мешали ему лечь в больницу и лечиться. А сейчас от него всего-то ведь нужно, чтобы он уехал на время пребывания Никсона.

Вот, оказывается, и КГБ способен на гуманные акты по отношению даже к таким несимпатизирующим этой организации лицам, как я.

А ведь и в самом деле, могли и не дать мне лечь в больницу. Могли в первый же день по прибытии из Джамбула выставить меня из Москвы. Все могли. Так что и у меня, а не только у А. Чаковского, есть основания сказать доброе слово о КГБ.

Это напоминает мне где-то прочитанное или слышанное. Сидит человек на лавочке, никому не мешает. Мимо проходит прохожий. Человек вскакивает с лавочки, догоняет и рассыпается перед ним в благодарностях. Тот спрашивает в недоумении:

— Помилуйте, за что?

— Ну как же за что, — отвечает тот, — за то, что в морду не заехали мне!

— Но за что же я вам мог такое сделать? — недоумевает прохожий.

— Но ведь могли же! Могли! И не съездили!

Вот так и строятся наши отношения с советской властью. Ведь все может! Все!

А тут еще и друзья некоторые стали тоже советовать: да уезжайте вы с Ларисой куда-нибудь на эти дни, не дразните

понапрасну «Софью Власьевну». Сами не уедете — схватят на улице или заберут из дома и будете отсиживать за хулиганство, как все евреи, в камере.

Но мы решили с Ларисой не менять своих планов и вести себя независимо ни от желаний ГБ, ни от наличия в Москве Никсона.

Конечно, имея такие резкие предупреждения от ГБ, мы готовы были ко всему.

А ГБ меж тем, как говорится, не слезала с телефона нашей приятельницы, настаивая на нашем отъезде из Москвы. Та им передала наше с Ларисой мнение на этот счет.

И вот с ней снова договариваются о встрече для беседы. Во время этой встречи ей высказывают неудовольствие моим поведением и снова упреки: мы же ему не мешали и т. п…

Она, в свою очередь, возмутилась тем, что мне чинят препятствия с пропиской и нигде не прописывают. Представитель КГБ, беседовавший с ней, удивился этому и поинтересовался:

— А где он хотел прописаться?

— Да уже в нескольких местах отказали.

— Где ему отказали в последний раз?

— В Калининской области, в селе Вахонино.

— Это самовольство. Не имели права отказать.

Кагэбэшник тут же вызвал кого-то из своих подчиненных и приказал:

— Соедините меня сейчас же с Калинином.

Через несколько минут этот подчиненный вошел в кабинет и доложил:

— Калинин на проводе.

Беседовавший оставил нашу приятельницу в кабинете, а сам вышел. Через несколько минут он вернулся и извиняющимся тоном сказал:

— Понимаете, на самом деле там его не пропишут. Пусть ищет в любом месте, кроме Вахонино, и мы ему гарантируем прописку. Только не в Вахонино. Это невозможно.

Теперь пришла очередь удивиться и нашей приятельнице:

— Ничего себе: ищи и не знаешь заранее, где тебе могут отказать, а где нет. Они потратили массу времени, сил, энергии, и по неведомым причинам им отказывают. Теперь снова повторится то же: найдут, а им вот так же, ничего не объясняя, откажут.

— Пусть найдут в любом другом месте, кроме Вахонино. В Вахонино мы ничего сделать не можем. Это исключено.

— Да что это за Вахонино — паршивая деревушка и даже в стороне от оживленных трасс? Может, оттого, что оно на Волге?

Своими вопросами она наконец доконала КГБ, и беседовавший признался:

— Знаете, вообще-то я вам не должен был этого говорить, да уж ладно, на свой страх и риск объясню. Но только это должно остаться между нами.

И ей объяснили, что рядом с Вахонино находится заведение, куда приезжают поохотиться иностранные гости. Вот и причина, вот и разгадка таинственного захолустного Вахонино.

Ее долго и на этот раз уговаривали повлиять на нас с Ларисой выехать из Москвы.

И хотя многие наши приятели и знакомые «советовали» не конфликтовать с ГБ по пустякам, а уехать, мы все же остались. Ждали, что где-нибудь схватят, но наши ожидания на этот раз не оправдались.

Заодно уж хочется полностью высказаться по поводу визита Никсона. Вернее, о том, до какого уродства в нашей стране доводят любое мероприятие.

Власти очень опасались, как бы москвичи стихийно не высказали отношение к Америке и лично к Никсону. Поэтому были приняты все меры к тому, чтобы в глаза не могло броситься, будто люди проявляют интерес к этому визиту. Я лично наблюдал такую картину: по Ленинскому проспекту едет грузовик, и стоящие в нем люди спешно втыкают на столбы американские флажки — вдоль всего Ленинского проспекта и дальше до самого Кремля, то есть по всей линии маршрута Никсона из аэропорта. Обычно такие флажки висят несколько дней, все время пребывания высокого гостя в Москве. Для американского президента было сделано исключение: флажки повесили за несколько минут до его проезда по Москве и сразу же вслед за ним шли грузовики и снимали флажки. Помню, как иронизировали и хихикали москвичи по этому поводу.

А вот наш приятель, тоже живущий в самом конце Ленинского проспекта, почти у березняка напротив Университета дружбы народов, сидит у телевизора и смотрит, как на аэродроме советские руководители встречают прилетевшего Никсона. Никсон сходит с трапа самолета, и наш приятель срывается с места: ему хочется увидеть, как Никсон проедет в машине почти мимо его дома. Он кидается от дома к березняку, чтобы выскочить к проспекту кратчайшим путем и успеть увидеть. Но в березняке и вдоль всего проспекта через равные интервалы стоят солдаты, никого не пропускают и гонят обратно: чтобы ни души не было на пути у Никсона. А из ближайших домов многие прибежали сюда, чтобы увидеть своими глазами.

Но раз «нэ положено», то и не надо. Мы же народ

вышколенный, можем посидеть дома и посмотреть все по телевизору.

То же самое можно было наблюдать по всему Ленинскому проспекту: агенты в штатском и милиция дежурили у подъездов и арок, во дворах домов. И все ради того только, чтобы, не дай бог, советские люди не проявили себя самостоятельно.

Любопытна еще одна деталь в том, как был обставлен визит Никсона в Москву. Ведь обычно, встречая высокого гостя, советская власть организует «встречу» его москвичами. Все это разыгрывается, как в театре.

На предприятиях, в НИИ назначают людей, которые должны выйти на «встречу». Никому не хочется, и каждый старается как-то отвертеться от этой общественной нагрузки. То и дело слышно оправдательное: я не пойду, я в прошлый раз ходил (или ходила), что, мне больше всех нужно! Но вот назначенные к условленному времени занимают свои заранее отведенные места и стоят в ожидании и час, и два, и три. Плюнуть и уйти — на это у нашей публики духу не хватает: вышколенные. Между собой можно и поругать и гостя, и своих, но «выстоим» и встретим. Знают ли наши высокие иностранные гости, что выстроенные вдоль их маршрута улыбающиеся москвичи ждут не дождутся их проезда, чтобы быстрее разбежаться по своим делам? Угадывают ли они за этими улыбками озлобление согнанной публики?

До чего может эта показуха все испоганить, можно увидеть на таком примере. Когда у кремлевской стены решили перезахоронить прах неизвестного солдата, то тоже по пути перевозки праха таким же вот способом организовывали массовость мероприятия. И люди по привычке реагировали на эту затею: отказывались под разными предлогами выйти на свое место и отстоять. Каково это было наблюдать тем, у кого кто-нибудь из близких погиб на войне, а их коллеги теперь торгуются из-за того, кому пойти и кому на этот раз не надо ходить.

Для американского президента было сделано исключение: ему подобающей встречи со стороны населения не организовывали. Наоборот, как я рассказал выше, было сделано все, чтобы население вообще не заметило пребывания Никсона.

Таруса

Мы давно собирались съездить в Тарусу, но никак не могли выкроить времени для поездки. Все откладывали до тех пор, когда я где-нибудь пропишусь и устроюсь работать. Но мы уже столько откладывали эту поездку, а впереди не было никакого просвета в решении наших проблем, так что мы решили

попробовать совместить приятное с нужным — съездить не только для приятных встреч, но и в надежде найти там жилье.

В Тарусе прописался и работал после освобождения из лагеря Алик Гинзбург. Мы с ним познакомились за несколько дней до его ареста в январе 1967 года и с тех пор не виделись.

И вот мы в Тарусе. Гинзбург жил на квартире у своих друзей Н.Д. и Е.М. Оттенов. Я с ними не был знаком, но Лариса была: она приезжала сюда после своего освобождения. Я по рассказам Ларисы и многих друзей имел представление о хозяевах как о хороших и порядочных людях. Хозяева были дома, а Гинзбург был на работе.

Первым нас встретил в этом доме пес по кличке Тимофей. Он отозвался громким лаем на наш звонок в ворота дома. Тогда еще ни у меня, ни у Ларисы и в мыслях не было, что этот дом с Тимофеем надолго станет для нас своим. Как не было в мыслях и того, что Таруса станет нашим давно желанным пристанищем. Пока же я был представлен Ларисой Елене Михайловне и Николаю Давыдовичу, а с их помощью установились приличные отношения и с Тимофеем. Пес оказался очень добродушным и к тому же любил побаловаться с гостями. Кроме Тимофея в этом доме жили еще две сиамские кошки. Вся эта четвероногая тройка довольно мирно уживалась.

Хозяева, как мне и говорили, оказались действительно приятными людьми. Должен сказать, что у меня осталась давняя предвзятость к людям того поколения. Ведь все они так или иначе причастны к тому позору и к трагедии нашей страны, которые сейчас зовут одним словом — 1937 год. Хотя на самом деле это не только 1937-й, а все годы после октября 1917-го. И не ограничилось это, не остановилось в 1937-м, а пошло дальше — и в 1940-е, и в 1950-е. Рано и сегодня говорить об этом как о нашем прошлом.

Поэтому я к людям того поколения отношусь больше с недоверием и всегда, глядя на них или слушая их, думаю: «А кем вы были тогда? Что вы делали тогда?»

И это относилось не только к таким, кто, как Оттены, благополучно пережили те годы, но также и к тем, кто «пострадал», но кому все же повезло пройти лагеря и потом дожить до освобождения.

И вот мы приятно беседуем в столовой-полуподвале в ожидании Алика. Смотрю я на хозяйку, Елену Михайловну, и иногда сам себя спрашиваю: много лет она прожила в эмиграции на Западе и неужели не догадывалась, куда, в пасть к какому чудовищу возвращается? В Россию Джугашвили, бр-р-р-р…

Позже, когда мы действительно очень близко познакомились

с Оттенами и стали друзьями, я не раз задавал себе вопрос и касательно самого Н.Д. При его характере и независимости суждений было удивительно, что он уцелел. Он же отделался исключением из Союза писателей и всего лишь лишился работы. По тем временам это было, так сказать, детское наказание.

Об Оттенах и их доме мне придется говорить на этих страницах еще не раз.

Вечер мы провели в приятном трепе с Гинзбургами и Оттенами. Немного побродили по Тарусе. Сводили нас и на место паломничества, куда бегут все приезжие: на кладбище к могиле К. Паустовского. Памятника не было, а был могильный холмик, на котором лежал большой камень с надписью. И выложена от центральной аллеи тропинка к могиле из каменных плит. Бросается в глаза, что тот, кто выбирал место для могилы, выбрал самое удачное. Само кладбище находится на возвышенности и господствует над окружающим пейзажем, а могила Паустовского чуть на отшибе, на маленьком бугорке на самом краю кладбищенской возвышенности. И вид с могилы неописуемый. Крутой спуск ведет прямо к Таруске, и просматривается все вокруг на многие километры: видна поблескивающая излучина Оки во всю ее ширь и впадающая в нее, извивающаяся, как змея, Таруска. За Окой и Таруской поля и леса.

На другой день мы с первым же автобусом уехали на поиски. Несколько дней у нас ушло на то, чтобы объездить и обходить пешком окрестные села в поисках прописки. И опять одни неудачи. Находилось в селе Роща жилье, можно было купить домик. Но работа только в колхозе. Это такая глушь, что даже и при наличии работы не в колхозе вряд ли этот вариант мог нас устроить. От Тарусы два часа езды автобусом. Автобус ходит дважды в сутки, а в весеннюю распутицу и осенью вообще не ходит. Неделями нет сообщения и зимой, из-за заносов.

За эти несколько дней бесплодных поисков мы были вознаграждены тем, что могли любоваться подмосковной природой. Однажды мы почти целый день шли вдоль берега Оки, обходя деревеньки в надежде найти жилье. Бродя вот так в бесплодных поисках, мы не раз обсуждали с Ларисой такую ненормальность: огромные, никем не заселенные пространства в огромной стране, и в то же время множество людей мыкаются в поисках жилья или ютятся по углам, которые никак нельзя назвать человеческим жильем. Но тебе, если ты пожелаешь остановиться в каком-нибудь из этих пустующих уголков для жительства, не позволят построить дом, не дадут участка. Какой-то злой умысел властей во всем этом: с квартирами проблема неразрешимая, и этой проблемы хватит еще не на одно поколение

наших соотечественников, а в то же время сам себе строить не моги. Какая цель во всем этом и кто от этого в выигрыше — народ, государство?

Сколько раз у нас захватывало дух от открывшейся красоты — будь то на Волге или на Оке, и каждый раз у нас невольно вырывалось желание: вот тут построить бы себе какую угодно халупу и остаться жить.

В деревеньках нам говорили то же самое, что и везде: работать — только в колхозе, дома продают только с разрешения колхоза, то есть опять же, только если будешь работать в колхозе.

«Широка страна моя родная…» Это как про тюрьму: «Огромная, да черт ей рад!»

Так мы ни с чем и вернулись в Тарусу, намереваясь на другой же день выехать в Москву. Отчаяние и уныние нас охватило такое, что хотелось выть.

Я в этот же день решил навестить своего старого знакомого по мордовским лагерям Анатолия Футмана. Я о нем уже писал в «Моих показаниях». Но здесь стоит упомянуть о его судьбе после освобождения. Я освободился из Мордовии раньше него, а когда он освободился, то меня на воле уже не было: меня уже осудили и отправили на Северный Урал. Там, в лагере, я и узнал из писем Ларисы, что Футман освободился. И у него начались такие же мытарства с пропиской, что и у меня. Освобождаясь из лагеря, он взял направление в Горький. На несколько дней он заехал в Москву повидаться с друзьями. Сам он не москвич и друзей заимел в Москве, как и я в свое время, благодаря Юлию Даниэлю, с которым оба мы были очень близко знакомы. Эти-то друзья и приняли большое участие в судьбе Футмана. Остановился он у нашей общей приятельницы Люды Алексеевой и от нее же уехал в Горький. В Горьком ему в прописке отказали, и напрасно он показывал там во всех инстанциях свою справку об освобождении с направлением в этот город. На все его жалобы и просьбы ответ был один: «Мы вам справку не выдавали, мы вас не приглашали, пусть тот, кто вас сюда направлял, и устраивает вас».

Видя перед собой глухую и враждебную стену, он отчаялся как-то устроиться и поехал снова в «родные места», то есть в Мордовию. Там он обратился в спецчасть своего лагеря с просьбой, чтобы ему переменили в справке направление в такой город, где его пропишут. Но и в этом ему отказали. И ответ такой же идиотский, что и в Горьком: «Мы ничего не знаем, сами назвали город Горький, когда у вас перед освобождением спрашивали, мы вас туда насильно не направляли…» и т. д.

Можно себе представить его состояние.

Нашему брату очень легко сорваться в таком положении,

заработать себе новую статью и прописаться снова в лагере. У Футмана хватило ума и выдержки, чтобы не попасть за просто так снова в Мордовию. Он решил уехать туда, где, как в лагере, принимают всех: в Сибирь, в глушь. Приехал он в Чуну к Ларисе. Здесь у Футмана не было проблемы с пропиской. Да и с квартирой на первое время проблемы тоже не было: жил у Ларисы. В Чуне Футман прожил до снятия надзора, которого никто, освободившись из Мордовии, не избегает, и работал на том же ЛЗК, что и Лариса, а позже и я. Будучи в Москве, он благодаря Толе Якобсону познакомился со своей будущей женой. Мила приехала к нему в Чуну и работала в швейной мастерской. Я их уже не застал в Чуне. После того как у Футмана кончился надзор, они уехали в Россию и вскоре прописались с помощью Оттенов в Тарусе. Оттены прописали их у себя в доме и приютили. Я еще на Урале получил от них несколько писем и знал об их житье-бытье. Футман, освободившись из лагеря без специальности, устроился работать на автобазу слесарем по низшему разряду и одновременно поступил на курсы шоферов от этой же автобазы. Мила с юмором писала мне: «Толя работает ночным слесарем…» Да, нелегко приходилось ему: отработав смену на ремонте машин в ночную смену, днем, не выспавшись и не отдохнув как следует, сидеть весь день на занятиях. Конечно, можно было бы просто учиться и жить на стипендию в тридцать рублей в месяц от автобазы, но попробуй на них прожить. Вот и приходилось, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, и работать, и учиться, и жене тоже устраиваться на работу. Мила устроилась в дом отдыха секретарем-машинисткой и по совместительству инспектором отдела кадров. Через какое-то время им дали квартиру от дома отдыха, а Футман стал работать в том же доме отдыха шофером. В Тарусе у них родился сын Санька. Еще когда я был на Урале, Мила писала мне о рождении малыша и жаловалась, что с маленьким ребенком никто их не пускает на квартиру. Бедняги! Каково бы им пришлось, если бы не участие и помощь Оттенов!

И вот я, оставив уставшую и вымотавшуюся в мытарствах Ларису у Оттенов, отправился к Футманам. Интересно встретиться со своим солагерником через несколько лет, на воле. Мне даже не верилось, что вот сейчас мы встретимся с Футманом не в лагерной обстановке. Дом отдыха находится в нескольких километрах от Тарусы на берегу Оки, и туда от Тарусы ходит автобус. Но я, по совету Оттенов, не поехал автобусом, а отправился туда пешком по прямой дороге. Это оказалось намного ближе: автобус идет дугой мимо села Архиповки, а тропинка — вдоль Оки, через каменный карьер. Сам поселок, где

жили Футманы, находился как раз между Тарусой и домом отдыха. Квартира Футманов оказалась в старом и прогнившем бараке: весь этот поселок состоял только из таких вот развалюх лагерного типа. Он когда-то принадлежал каменному карьеру, но когда карьер закрыли, то в нем стали давать квартиры рабочим дома отдыха.

Оттены мне сообщили, что Футман несколько дней отдыхает после возвращения из командировки: он куда-то был послан получить и пригнать из капитального ремонта машину для дома отдыха. Так оно и было. В квартире оказались мать Милы и Санька, а сам Футман в это время возился в сарае. Там-то мы с ним и встретились. На мой вопрос, чем он тут занимается, Футман с веселой иронией ответил: «Улучшаю и расширяю свои жилищные условия».

— Дачу летнюю, что ли, делаешь?

— Да как тебе сказать: и то, и другое, и третье, и все вместе.

Сарай был построен недавно ими самими из всякого старья, какое Футман сумел навозить попутно на машине: из досок и горбыля, жердей и столбов. Покрыт он был и толем, и кусками старого железа, и несколькими кусками битого шифера. Внутри сарая стояла постель и сбитый из досок же маленький столик.

— Ну ладно, — прервал мой осмотр Футман, — пойдем в комнату.

Но и в комнате мы задержались ненадолго. Футман попросил тещу что-нибудь приготовить закусить и предложил мне пройти с ним в их магазин за бутылкой. Я ему в ответ показал на прихваченную с собой дешевенькую поллитровку вермута.

— Если тебя не устраивает, то пойдем. Но мне вполне хватит и этого.

Я знал, что Футман почти не пьет спиртного, а он, в свою очередь, знал обо мне то же самое. Поэтому нам не пришлось бежать в магазин за добавкой. Пока теща готовила что-то на плитке, Футман потащил меня в другой сарай и на огород, расположенный за этим сараем, показывать свое подсобное хозяйство. Прихватили мы с собой и Саньку. В этом втором сарае Футман держал кур и даже кроликов.

— Что поделаешь, — объяснял он, — приходится вертеться. Либо воруй, либо как вол паши днем и ночью без передышки. Иначе не прожить.

И уже сидя за столом за бутылкой вермута, опять о том же, но с другого конца:

— Даже если и будут деньги в кармане, то снабжение здесь такое паршивое, что ничего не бывает в магазине: ни мяса, ни яиц, ни молочных продуктов.

Вот и приходится местному населению самому заботиться о снабжении себя продуктами и не рассчитывать на магазин.

Стоит отдельно сказать, в каких условиях жило это семейство. Вся «квартира» состояла из крохотной кухоньки метра в три квадратных, не более, и такой же комнатки. Эти жилые помещения отделялись одно от другого печкой. Каково здесь было жить семье из четырех человек! В комнате кое-как уместились две постели, между которыми был проход в полметра. На одной из них спали молодые супруги, а на другой теща с внуком. Вот почему Футман строил себе в сарае отдельную спальню хотя бы на лето.

И при всем этом еще и никаких удобств: ни отопления, ни воды, а о канализации и говорить нечего. Единственное, что здесь облегчает быт населению, так это газ для кухонных плит, который развозят на спецмашинах в баллонах.

Иногда в нашей печати встречаются статьи о положении с жильем в странах капитала. И в них постоянно мелькает такой факт: многие семьи живут в жилищах, не отвечающих нормам. Интересно, а каким нормам? Как определяется, нормальное жилье или нет? Мы подсчитываем и обыгрываем эти факты из капиталистической действительности, пытаемся убедить и своих, и чужих, что, мол, вот как там плохо, и в то же время скрываем свои пороки.

Интересно бы у наших кремлевских крикунов спросить, а вот такое жилье, как у Футмана, — нормальное оно или нет? А ведь оба супруга работают на это государство. Таким видел я жилье Футмана в 1971 году, такое оно и сейчас, в конце 1976 года. И впереди еще неизвестность. В этом поселке у всех такие жилищные условия. И это еще людям повезло: сколько людей мыкаются в поисках любого угла! Соседи Футмана и не пытаются оттуда уехать, дорожа этими углами. Ведь на любом новом месте никто им жилья не даст. Позже, когда мы сами стали жить в Тарусе, сколько нам приходилось видеть горемык, ищущих любой угол: среди них и семейные с детишками, и одинокие люди. Вообще, стоило бы кому-нибудь хорошенько заняться изучением проблемы жилья в нашей стране. Но именно потому, что картина в этом вопросе вырисовывается ужасная и разоблачительная, никто не позволит самостоятельно заняться таким обследованием. Наша пресса любит оперировать цифрами: в девятой пятилетке будет построено столько-то миллионов квадратных метров жилья, в десятой еще столько же. Масштабы! Но ведь по нашим нуждам это капля в море! Из шестидесяти лет советской власти она только в последние пятнадцать лет стала строить жилье своим гражданам. Только Хрущев сдвинул эту

проблему с мертвой точки в конце 1950-х годов. А с 1917 года и по конец 1950-х население ютилось кое-как, в нечеловеческих условиях. И с каждым годом население росло, а вместе с ним росла и проблема.

Мне помнится, на одном из пленумов ЦК КПСС не то 1963-го, не то 1964 года руководство КПСС торжественно заявило, что жилищная проблема в нашей стране будет окончательно решена в ближайшие десять лет. Давно минуло это обещанное десятилетие, а проблема не только не решена, но и нельзя предсказать, когда она решится. И правители не объясняют народу, почему они не выполнили провозглашенного. А народ и не спрашивает: ему не привыкать к надувательству.

Зато вот член Политбюро Кириленко, выступая в мае 1975 года в Риме на съезде итальянских коммунистов, признал, что при нынешних темпах ввода жилья для решения жилищной проблемы только в Москве потребуется…[40] лет. Он тоже забыл об обещании своей партии 1963 года. И теперь уже говорит о решении проблемы в масштабах не всей страны, а только Москвы. Простите, а что будет с жильем не в Москве?

Когда я сейчас пишу эти строки, в Чуне полно ищущих снять угол (не комнату, нет, а именно ренделевский угол!) за 20 рублей в месяц. И это при минимуме зарплаты в бо рублей!

Самые дешевые! Самые удобные!

В 1950-х годах в Москве был в ходу такой анекдот. Приезжают иностранцы к себе домой из поездки по Москве. Любопытные соотечественники интересуются у них, как живут советские люди в Москве. И те рассказывают: москвичи народ очень небережливый, неэкономный. В чем же это, интересно? Да вот, мол, идешь поздно вечером по городу, а у них в каждом окне свет горит: не экономят электроэнергию.

Вот вам образчик, как они со своими мерками нас меряют. И вот как они нас видят!

Им и невдомек, что у нас тогда, да и сейчас еще, многие живут не в отдельных квартирах, а только в комнатах, в каждой комнате семья. Вот вам и свет во всех комнатах! Во всех окнах.

Футман мне сообщил, что Оттены помогли ему получить в Тарусе земельный участок для постройки дома. Я это уже слышал и от самих Оттенов, но мне хотелось услышать дальнейшее от самого Футмана. Он отказался потом от участка. На мой вопрос, почему он отказался, Футман ответил, что строить дом ему не по силам и не по карману.

— Сбережений нет никаких, да и одному физически невозможно построить, а нанимать людей не на что…

Вот так-то. А тут еще по закону застройщик обязан в первый

же год приступить к строительству дома, а если через год на участке не будет никакого строения, то участок отбирают и передают другому застройщику. Футман получил последний участок в Тарусе. С тех пор там запретили давать участки под индивидуальное строительство. Вот оно родное «все для народа» и «все вокруг мое»! Вокруг просторы: поля и леса, реки, пустующие пространства, но местные власти не разрешают желающим строить себе жилье. Так дайте же тогда, сволочи, людям, нуждающимся в жилье, квартиры! А квартир нет! Спрашивается опять же: кому это нужно?

Немного погодя мы с Футманом отправились в дом отдыха повидаться с Милой.

Когда я увидел ее, то первое, что мне бросилось в глаза, так это напоминание о Саньке. Сынишка здорово походил на мать.

Потом мы ушли с Футманом на набережную Оки в парке дома отдыха и там посидели часа два, вспоминая и перебирая свое прошлое. Поделились новыми известиями о наших общих лагерных знакомых и друзьях.

Коля Юсупов где-то у себя в Аварии, и нет от него ни слуху, ни духу. Я и до сих пор ничего о нем так и не знаю. Не случилось ли с ним чего во время большого землетрясения? Эпицентр его был как раз на его родине, в Тляратинском районе.

А Валерию Румянцеву в то время было еще сидеть да сидеть, добивать свои пятнадцать лет.

К вечеру я снова был в доме у Оттенов. Сейчас точно не могу припомнить, что заставило нас с Ларисой не выехать на следующий день в Москву. Кажется, недомогание Ларисы. Я же, чтобы не болтаться впустую целый день, решил оказать услугу хозяевам: они выписали себе на зиму дрова в Петрищевском лесничестве, но им что-то долго их не привозили. Должен был туда поехать Гинзбург, но он днями на работе и поэтому все откладывал эту поездку. Вот я и вспомнил об этом и предложил свои услуги. Лесничество находилось в двух десятках километров от Тарусы, и туда ходили два автобуса: на Калугу и на соседний райцентр Ферзиково.

Остановка автобуса, где мне нужно было выходить, так и называлась: «Лесничество». Я вышел из автобуса на участке асфальтированной дороги, которая серой лентой спустилась сюда и убегала дальше снова ввысь. На взгорье, куда сейчас поднимался оставивший меня автобус, хорошо просматривалось село Петрищево. Место, где я вышел, ничем не напоминало автобусную остановку. Но от дороги, по обе стороны которой тянулся сплошной смешанный лес, направо вела грунтовая дорога. Она тоже шла через лес, перпендикулярно шоссе. Видно

было, что эта дорога где-то в полукилометре от асфальта упиралась в горы деревянных отходов. Как потом оказалось, это и были отходы от работающей там пилорамы, которая располагалась в новом цехе, сколоченном из свежих досок собственного производства. А отходы заваливали всю территорию вокруг. На этой территории, отвоеванной у леса, сейчас работал бульдозер. Он расчищал площадку, гонял впереди себя горбыль и дрова, щепу, перемешанную с корой и опилками, и всю эту массу сгребал вплотную к лесу. Таким образом центр территории расчищался от гор отходов. Отходы не убирались, не ликвидировались, а просто уминались под гусеницами бульдозера и разравнивались по всей территории.

Производство располагалось между шоссе и жилым поселком лесничества, до которого от пилорамы было тоже с полкилометра. Маленький поселок находился в красивом месте среди смешанного леса. Он казался затерянным на земле, и не верилось даже, что где-то в полутораста километрах отсюда бурлит и гудит Москва. Когда идешь к поселку со стороны пилорамы, то проходишь через вспаханное поле: оно разделено на участки между семьями рабочих лесничества и засаживается обычно одним картофелем. Через это поле тоже хорошо просматривается село Петрищево. От окраины села до поселка совсем недалеко, не более километра, и издали Петрищево выглядело очень привлекательно.

Поселок же лесничества состоял из пяти-шести одинаковых до мелочей бараков, уже прогнивших и с прохудившимися крышами из дранки. Рядом с конторой лесничества строились два деревянных здания: одно — отдельный дом лесничему, а другое — жилой барак.

В конторе мне сообщили, что дрова скоро будут отправлены, и с этим моя миссия здесь была окончена. Хотя следующего автобуса надо было ждать около двух часов, я все же направился к шоссе в надежде сесть на попутный грузовик до Тарусы. Шоссе это днем довольно оживленное, то и дело снуют машины между Тарусой, Ферзиково и Калугой.

Проходя вторично мимо пилорамы, я не удержался, чтобы вблизи не полюбопытствовать, как уничтожается ценное добро — древесные отходы. Отличный строевой горбыль, осиновый, березовый, дубовый и еловый. В городах на лесоторговых складах его не достать, и люди переплачивают втридорога ловкачам, которые на этом наживаются. Здесь же это добро гибло под гусеницами бульдозера или гнило в огромных нагромождениях.

Я расхаживал по этим горам и ахал про себя от досады и недоумения: такое добро!

За этим занятием меня и прихватил какой-то мужчина, как потом оказалось, мастер. Поинтересовался он у меня, что я тут делаю, а узнав, заговорил о том, что штабелевать горбыль нельзя, так как машин для отправки на железную дорогу нет.

— Да и на станции вагонов под горбыль никто нам не дает. Тут под готовую-то продукцию и то выбить вагон — проблема.

— А чего же не штабелюете? — недоумевал я. — Когда-нибудь найдется место этому добру.

— Во-первых, некому. Рабочих нет. В цехе и то нехватка, и лесорубов не хватает даже в бригадах. Во-вторых, штабелевать без всякой надежды на отгрузку нельзя — может загореться.

— Но ведь добро же гниет! — не удержался я, хотя и не надеялся получить вразумительного ответа.

Мастер был немного под мухой, и от него попахивало перегаром.

— А чего у нас не гниет? — равнодушно спросил он меня в свою очередь.

Это уже касалось всей страны. Я промолчал, так как возразить было нечего.

— Мы вон сколько навалили лесу, а вывезти не можем, он так и гниет в лесу в штабелях. А за работу бригадам выплатили деньги. Вот так-то!

Вдруг меня как кто подтолкнул: «А почему у вас рабочих не хватает?»

— А кто здесь будет работать? Заработки маленькие, а работа тяжелая, условия бытовые хреновые. Старые рабочие держатся за квартиры, да и трудно семейным срываться с хоть и плохого, но обжитого места. А новички больше, чем два-три месяца, не держатся — убегают.

Выдав мне эту информацию, мастер испытующе посмотрел на меня и прямо спросил: «Что, вместе с дровами и работу ищете?»

Вместо ответа я снова спросил: «А как у вас с жильем?»

— А вон в бараках, — он махнул рукой в сторону поселка, — сейчас пустуют две квартиры. А холостякам место есть в общежитии.

Я старался не выдать своего волнения. Мне даже как-то не верилось всему этому.

— Специальность какая у вас?

— Да никакой. Таскать-подтаскивать, кантовать.

— Это и в цех можно, и в строительную бригаду, и лесорубом.

И я, вместо того чтобы уехать в Тарусу, снова кинулся в контору. Лесничего хотя и не было в конторе, но мне сказали, что он должен подъехать.

В ожидании лесничего я обошел поселок, выискивая глазами пустующие квартиры. Одну вроде бы определил: по запущенному и, похоже, нежилому дворику, по отсутствующим занавескам на окнах.

Я уже говорил, что бараки были очень старыми и гнилыми. Каждый барак был поделен на восемь отдельных квартир. Каждая квартира имела кухню, комнату и маленькие сени.

Обойдя поселок и заглянув в магазин, я вернулся в контору. Лесничего еще не было. Из бухгалтерии вышел мой знакомый мастер и, узнав, что я дожидаюсь лесничего, обнадеживающе проговорил: «Он обычно к обеду приезжает».

Он тут же мне выдал дополнительную информацию о лесничем:

— До этого я был лесничим, да вот за пьянку сняли в мастера. Новый до этого работал лесничим в Барятино. Семья у него там еще, не переехала сюда, вот он и мотается между Петрищево и Барятино.

— Так это ему хоромы отдельные отстраивают? — Я указал на строящийся рядом большой дом.

— Да. Он же из института только что. С дипломом. — Последнее разжалованный лесничий произнес с ударением и с иронией. — Тебе лучше проситься на работу в строители. Это лучше, чем в лес или к пилораме.

— Посмотрим, я недавно из лагеря, может, еще и вовсе откажет.

— Ну и что, что из лагеря, — равнодушно успокоил меня собеседник, — здесь все оттуда.

Было похоже, что во всяком случае себя он точно относит к этим «всем». Когда подъехал на «козлике» лесничий, я немного подождал, дав ему разделаться с текущими делами и с посетителями — своими работниками.

Разговор с лесничим состоялся запросто и откровенно. Мне не хотелось умалчивать о судимости, чтобы потом это выяснилось в процессе оформления документов. Его мало интересовала моя судимость, видно, мастер говорил правду: «Здесь все сидели». Его интересовало лишь, не пью ли я в рабочее время. Вот и все. Поинтересовался моим семейным положением. Узнав, что я с женой и без детей, спросил:

— Снимать будете жилье в Петрищево или дать квартиру здесь?

Тут же, после ознакомления с моими документами, он написал записку к коменданту, чтобы та показала мне пустующую квартиру.

Побежал я к коменданту, не чуя под собой ног от радости и

тревоги: неужели вот так все просто и уладится, неужели это все?

Комендант, полная добродушная женщина, жила в соседнем бараке и оказалась женой того самого мастера. Бросила стирку белья и повела меня к последнему бараку у самого леса. Мне было совершенно безразлично, где и в каком бараке будет квартира и то, какая она будет. Я был без ума от радости, что наконец-то я определяюсь. Квартира оказалась запущенной настолько, что было трудно поверить, что это человеческое жилье. Она состояла, как и все здешние квартиры, из кухни и комнаты. Эти два помещения разделялись печкой. И каждая из комнат была метров по шестнадцать. Я не стал долго задерживаться с осмотром квартиры, а, забрав ключи у коменданта, кинулся к шоссе, чтобы быстрее добраться до Тарусы и обрадовать Ларису. С комендантом я договорился, что мы приедем завтра, окончательно договоримся и я сдам документы на прописку.

Когда я в Тарусе объявил о том, что нашел и жилье, и работу, это была настоящая сенсация для всех присутствующих. Сначала мне просто никто не поверил, думали, что я их разыгрываю. А потом просто удивлялись этому неожиданному решению проблемы.

И вот на следующее утро мы с Ларисой уже в лесничестве. Вдвоем мы сделали основательный осмотр квартиры и нашли ее ужасной: в кухне бывшие хозяева держали не только кур, но и теленка, поросенка. И пола там почти не было. Большущие дыры в полу были и в комнате. Пол нужно было основательно ремонтировать и красить. Барак был построен из круглого леса, но не оштукатурен изнутри, а обит листами сухой штукатурки. Поскольку бревна круглые, то между штукатуркой и бревнами были большие пустоты и в них по ночам, а иногда даже и днем, бегали крысы. Они же шныряли смело по всем дырам в полу и в подполье.

После основательного осмотра мы подсчитали примерно, что нам потребуется для ремонта. Прикинули, что мы можем достать здесь и в Тарусе, а что придется привезти из Москвы. И только после этого мы отправились к лесничему. Выслушав нас, он без возражений согласился, что нужно основательно ремонтировать квартиру, и пообещал не только помочь с материалом, но и заплатить мне за ремонтные работы. Он распорядился выдать нам доски, гвозди. Краски не было у него в хозяйстве, и мы должны были достать ее и известь сами. Договорились с ним, что я выйду на работу только после того, как закончу ремонт квартиры. В этот же день я сдал документы коменданту для прописки. Подал я ей паспорт и военный билет и несколько замешкался в раздумье:

отдать справку об освобождении или подождать, пока сама спросит? Она же, взяв документы, полистала их и сказала, что паспорт она вернет мне завтра же, а с военным билетом придется подождать несколько дней. Дело в том, что паспорт прописывают они сами в Петрищевском сельсовете, военный же билет должны свозить на учет в Тарусу. Я-то знаю, что раз мой паспорт выдан мне на основании справки об освобождении, то милиция обязательно спросит при прописке эту справку. После некоторого колебания я решил сам предложить коменданту свою справку. Какой интерес оттягивать? Ведь все равно потребуют, так лучше пусть сразу решают окончательно.

Но комендант от справки отмахнулась, равнодушно повторив слова своего мужа:

— У нас все здесь сидели.

С этим мы и уехали снова в Тарусу. Теперь мы с нетерпением ждали результатов прописки. Волновались мы с Ларисой, и волновались и переживали за нас все наши знакомые: как-то оно обернется?

До обеда следующего дня, пока мы не приехали снова в лесничество, у нас на уме только и было: пропишут или откажут.

Я уже ругал коменданта за то, что она не взяла у меня справку, так как предвидел, что ей велят ее взять и тем самым решение вопроса оттянется еще на день-два. А ожидание было очень тягостным, и хотелось его сократить.

И вот мы во дворе у коменданта. Она выходит на лай пса и вручает мне паспорт. Снова повторяет извиняющимся голосом, что с военным билетом нужно подождать несколько дней. Я нетерпеливо листаю листочки паспорта, ища штамп о прописке, а в голове одна мысль: неужели, неужели прописали?

Нахожу штамп Петрищевского сельсовета о прописке и показываю его Ларисе. Не верилось своим глазам, и в то же время мы оба были переполнены счастьем. Я не могу припомнить, чему бы я за последние годы так же радовался, как этой прописке. Как тут не вспомнить А. Галича: «Лишь при советской власти такое может быть». Советская власть дала своим гражданам неведомые им ранее радости, наградила их новым смыслом бытия. И могут ли нас понять, например, американцы или западноевропейцы? Куда уж! Они догниют, так и не познав этих невиданных прелестей.

А может, мы их познакомим еще, а?

Когда мы через несколько дней вернулись из Москвы, нагруженные, как верблюды, нужными нам инструментами и материалом, комендант вручила мне и военный билет со штампом Тарусского военного комиссариата о воинском учете.

Фу-у-у! Наконец-то можно начинать жить на законных основаниях. И начали мы с ремонта. Распределили обязанности: мне ремонтно-строительные работы, а Ларисе мытье, чистка, побелка-покраска.

Именно в этот день мы обнаружили, что около нашего барака нет столь привычного русскому глазу архитектурного сооружения: деревянной будочки-уборной. Прошу прощения у читателей за такую прозу, но умалчивать об этом не хочется.

Стал я обходить соседние бараки в поисках этого коммунального удобства. Но ничего подобного не обнаружил. Я помнил, что около конторы такое сооружение есть, и оно оказалось единственным на весь поселок. Спросил я у соседа по бараку об этом деле, а он смеется надо мной и говорит: «В тайге, на свежем воздухе. Выбирай себе по вкусу: под елкой, кустом или на полянке!»

— Ну а зимой-то как же? А дети?

— Зимой в сарай, к скотине ходим.

Вот так-то, толстозадая Россия! Это в сорока километрах от Калуги, так сказать, под боком у отца советской космонавтики.

Когда мы захотели побродить по лесу, отдохнуть вечером после работ, то оказалось, что около бараков лес загажен. После мы всегда старались побыстрее проскакивать эту «нейтральную» полосу между поселком и лесом.

Здесь-то я и вспомнил слышанный в детстве от кого-то из вернувшихся с фронта рассказ или, может, даже анекдот про освобождение одного нашего села. Неважно, где это точно произошло, но теперь мне известно доподлинно, что это могло быть и в России, и на Украине, и даже в Сибири. Содержание следующее. Выбили немцев из села, и в него вошли советские войска. Солдаты были удивлены тем, что местные жители с остервенением и радостным возбуждением ломали какие-то будочки на своих дворах. Когда у них поинтересовались, то услышали в ответ, что немецкий комендант, узнав, что в селе нет дворовых уборных, был удивлен, поражен и издал приказ, чтобы каждый двор имел свою уборную. За невыполнение этого приказа, наверное, грозил расстрел. И вот в несколько дней приказ выполнен. А поскольку уборные строились по принуждению, то, естественно, при приходе своих были восстановлены свои привычки и обычаи. Да не посчитает меня читатель хоть в какой-то мере обеляющим фашизм. Не для того я рассказал этот случай, чтобы сказать, что было и в фашизме что-то хорошее. Нет. Я рассказал о наших обычаях и привычках. Так мы живем.

И пришлось мне заняться в первую очередь постройкой уборной. Достался нам вместе с квартирой и сарай. Нам пока что

нечего было в нем держать, и он пустовал. Вот за ним я и строил будочку. Ко мне то и дело подходил кто-нибудь из аборигенов и, видя выкопанную яму и контуры будки над ней, спрашивал и интересовался. На мои ответы реагировали с недоумением, насмешкой, иронией. С этого дня, то есть с первого дня в поселке, мы и зарекомендовали себя в глазах населения как чужаки и избалованные москвичи.

Потихоньку мы приводили свое жилье в порядок, и через несколько дней весь ремонт был закончен. Правда, от крыс совсем мы избавиться не смогли. В самой квартире их не было, так как все дыры в стенках и в полу я заделал, но они продолжали копошиться в стенах между штукатуркой и бревнами. Чтобы избавиться от их соседства, нужно было сорвать всю штукатурку и что-то предпринимать основательное, но мы решили пока подождать. Во всяком случае до осени.

Однажды, не то на третий, не то на четвертый день нашего пребывания, нас утром встретила соседка, что жила за стенкой. Она высказала претензию:

— Чего это ваша крыса к нам перешла?

— А они что, у вас тут прописаны по квартирам, что ли? — отшутились мы.

Вообще-то у нас с местным населением и соседями отношения сложились хорошие. Правда, на нас обижались за то, что мы ни к кому в гости не ходим. Соседи-мужчины на меня тоже поначалу немного обижались: «Как-то не по-соседски живешь! С тобой ни разу и не выпьешь!»

Но это на первых порах.

Позже, когда я вышел на работу и ближе познакомился с людьми, эти упреки перешли в шутку.

Пока я ремонтировал жилье, постепенно узнавал от рабочих подробности о работе. К моменту выхода на работу я твердо решил пойти работать все же не на пилораму и даже не в строительную бригаду, а в лес. На пилораме мало зарабатывали, а торчать на рабочем месте восемь часов, ничего не зарабатывая, мне не хотелось. К тому же там и работа тяжелая: катать вручную крючками со штабелей круглый лес к пиле и подавать его на распиловку. Эта работа мне знакома по лагерям: набегался я с этим крючком и накатал баланов вволю. Конечно, можно было бы смириться с тяжелой работой, но ради чего? Я бы пошел ради заработка — деньги нам здорово были нужны, но ведь платить будут копейки!

Или уж если мало платят, то хоть бы не надрываться на тяжелой работе и приходить домой не умотанным, а могущим заняться чем-либо полезным дома. Ни того, ни другого на

пилораме не ожидалось. У строителей, в принципе, можно было бы работать, но там подобрались одни пьянчуги и работали через день. Часто были в загуле: то с утра не вышли — запили, то вышли с утра, собрались, а к обеду все готовы. Так что и это тоже отпало.

В лесу, в бригадах лесорубов, в основном работали «старики». Это люди, давно здесь живущие, у которых и дети здесь уже повырастали. Они здесь держались за жилье и жили своим подсобным хозяйством: обрабатывали огороды, выращивая картофель и овощи не только для себя, но и для продажи в Тарусе и в Ферзиково. Держали коров, молодняк на мясо, свиней и овец. Имели свои пасеки. В каждой бригаде такие «старики» составляли костяк. А остальная публика часто менялась: это были люди вроде меня, которым здесь жить не хотелось, но которым пока что некуда было податься. Они чувствовали себя здесь — и на работе, и в поселке — временными. В общежитии жили парни, которые все недавно вышли из лагерей, и они только и мечтали отработать полгода или год, кто до снятия надзора, а кто до счастливого случая — до прописки в родных местах.

Пили, конечно, и лесорубы, но эта пьянка носила более или менее упорядоченный характер и почти не отражалась на работе и выполнении плановых заданий. Они пили или организованно, то есть все сразу, заранее договариваясь, что сегодня будут пить, а завтра дадут две нормы, или пили не так, чтобы уж совсем нельзя было работать. Бывало, что кто-нибудь один загуливал или появлялся в таком виде, что о работе нельзя было и говорить. Тогда его просто либо отсылали домой, либо не допускали до работы, и он отсыпался здесь же, в лесу, или болтался между работающими. Все это носило семейный характер и создавало круговую поруку: до начальства доходили лишь отдельные случаи, а сами работяги жили и работали в этом отношении по принципу «ты сегодня пьян и не можешь работать — и ладно! Я завтра буду таким же — и ладно!» Конечно, бывали исключения, но в общем-то все шло тихо-мирно. Начальства здесь было мало, и оно редко когда наведывалось на лесосеку. Самым большим начальником, постоянно бывавшим тут, был мастер. Но он шел в ногу с коллективом, и конфликтов почти не было.

Ощущение радости с нас слетело в первые же дни, как только мы стали устраиваться здесь на постоянное жительство. Мы были несказанно рады одному факту: прописке. Но одной пропиской жив не будешь. Лесорубом я мог получать в месяц зарплаты не более двухсот рублей. И этого могло бы вполне хватить на скромную жизнь. Да и Лариса подрабатывала дома: друзья и знакомые, зная, что на работу по специальности ей теперь не

устроиться, доставали ей работу для дома — кто достанет перевод, кто рецензию, а больше всего ей приходилось работать над рефератами. При таком положении мы могли бы жить, даже несмотря на частые поездки Ларисы, да и мои тоже, в Москву.

Но дело все в том, что государство с рабочими своими рассчитывается деньгами, которые не обеспечены товарами. Например, в здешнем магазине можно было купить только кильку, да и то не в консервных банках, а развесную, которую привозят сюда в бочках и она отвратительно воняет в летнюю жару. Сливочного масла не было: говорили, что из-за отсутствия холодильника в магазине. По той же причине не было и свежей рыбы. О мясе и говорить нечего, оно и в лучшие-то годы бывает только в Москве, а остальная страна его видит разве что по праздникам.

Добро бы еще, если бы продукты были в Тарусе: можно было бы иногда ездить туда. Но и там ничего не было. Единственное, за чем можно было ездить в Тарусу, так это за творогом. Там был хороший творог, отличающийся не только свежестью, но хорошим качеством. Таруса же снабжала нас хлебом: приходилось даже и за ним ездить туда. Если в лесничество и привозили когда хлеб, то очень мало, и не всегда его хватало всем, продавцы по настоянию населения поселка продавали не более одной буханки в руки. К тому же Таруса в наш магазин сплавляла хлеб из своих несбытых запасов. Тарусяне могли привередничать и ловить свежий хлеб, а в таких магазинах, как наш, рады любому. Нечего говорить о каких-либо коммунальных удобствах для местного населения: даже баня находилась в селе, а своей поселок не имел. Работала она раз в неделю, а про условия, какие там были для людей, и говорить стыдно. В кино тоже нужно было ходить туда же, в Петрищево. Помещение, в котором крутили фильмы, мне напоминало клуб в сибирских деревнях в 1940-х годах: полуразвалившаяся изба с тесно наставленными рядами скамеек топорной работы, с осыпающейся со стен и с потолка штукатуркой, с прогнившим полом, который, кроме метлы, ничего не знает.

Меня брала оторопь от мысли, что в этих условиях нам с Ларисой суждено стать родителями. Если что, не дай бог, случится с малышом, то и до больницы в Тарусу в ночное время не доберешься. Мы и раньше уже подумывали с Ларисой о том, что нужно постепенно перебираться в какое-то более обжитое место. О Калуге мы и не мечтали. Ближайший от Тарусы город — Серпухов — тоже был за пределами нашей мечты, так как он относился к Московской области и мне нечего было туда соваться с пропиской. В выходные дни мы с Ларисой иногда, когда не было

надобности ехать в Москву, куда-нибудь ехали в поисках нового жилья. Побывали в Ферзиково, но там ничего подходящего не нашли, хотя были там не один раз. Как-то мы надумали съездить в Дугну. Это городок в Ферзиковском районе, вдали от железной дороги, и к нему нужно ехать машиной через Ферзиково. Мы слышали, что там есть маленький металлургический завод, и надеялись, что там что-нибудь нам подвернется подходящее. Шоссе Таруса — Калуга асфальтировано, и Ферзиково стоит как раз на полпути между ними. А вот дорога на Дугну отходит в сторону от шоссе на Калугу. Она неасфальтирована и очень запущена, машина по кочкам и выбоинам более 30–40 километров в час не дает. У этой дороги есть интересная особенность: местами попадаются большие участки, вымощенные булыжником. Этими булыжниками замостили дорогу задолго до советской власти. Теперь же ее не только не улучшают, но даже и не поддерживают в должном порядке.

Дорога проходила в красивых местах, все время лесом. И вот мы выезжаем на крутой берег Оки, и на противоположном берегу у нас на виду вся Дугна. Место дивное и тихое. Но до чего же уныл и скучен городок! Такое уныние и запустение я встречал только в Забайкалье. Очень все похоже здесь было на Усугли, где отбывал ссылку Павел Литвинов, или на поселок рудника Вершина Дарасуна. Домика ни единого нового, а все покосившиеся, полусгнившие, на кривых и тесных улочках. Все здесь говорило об упадке и вымирании. Здесь, поди, за все годы советской власти не построили ни одного дома и все, что видит глаз, — все старорежимное еще. Наверное, город считается неперспективным, и поэтому он в таком виде.

Мы по одному виду городка поняли, что нам тут не жить. Но все же мы решили на всякий случай проверить возможности. Ведь многие наши лагерные друзья после освобождения будут вслепую метаться в поисках места для прописки, а в этом тихом месте, возможно, есть смысл останавливаться на первое время.

Мы направились в продовольственный магазин посмотреть, чем здесь кормят советского человека. Магазин оказался почти таким же, как и наш в лесничестве. Только тут, благодаря наличию холодильника, были в продаже сливочное масло и маргарин. В остальном же он ничем от нашего не отличался.

Около магазина мы узнали и о том, где здесь продается дом, и направились смотреть по указанному адресу. Дом оказался пустым и нежилым. Никого из хозяев в нем не оказалось. Да нам никто и не нужен был: по внешнему виду можно было безошибочно сказать, что это не жилье. Он стоял на углу улицы, которая была покрыта толстым слоем пыли, и чудом не

разваливался в тихую погоду. Если по улице ехала машина, то после нее несколько минут на дороге нельзя было появиться: пыль стояла очень густая и медленно оседала на дома, заборы и прохожих. Дома все были под толстым слоем этой дорожной пыли, их окна были непроницаемы от той же пыли, и сквозь них было бы удобно наблюдать солнечное затмение. Даже трава от пыли была серого цвета.

Стоило ли менять одну яму на другую такую же — Петрищево на Дугну? В Петрищево хоть пыли не было!

А в Петрищево у нас жизнь шла своим чередом: я с утра и до вечера в лесу на работе, Лариса занята весь день домашними хлопотами, переводами и рефератами. По вечерам, когда я не так здорово уматывался с топором, мы делали с Ларисой вылазки в лес по грибы и ягоды. Благо что это добро было рядом, буквально за «нейтральной полосой». По субботам и воскресеньям, когда не нужно было ехать по делам в Москву, мы уезжали в Тарусу. Мы очень близко познакомились с Оттенами и стали хорошими друзьями. Они же нам помогли с устройством в первые дни в лесничестве: очень многое из того, что нужно было нам по хозяйству, нам выделили Николай Давыдович и Елена Михайловна.

В основном нас тянули в Тарусу два обстоятельства. Там снимали комнату Ларисины ребята Саня с Катей, и Лариса старалась больше бывать там, так как Саня мог приезжать только на выходные. Катерина ждала ребенка и поэтому уехала сюда из Москвы отдохнуть на свежем воздухе. И второе — Ока! У нас в лесничестве негде было окунуться в летний зной. Правда, возле пилорамы для купания ребятишкам приспособили пожарный бассейн, вырытый бульдозером и наполненный водой от тающего снега и дождями. Иногда там же окунались и взрослые.

А в Тарусе на противоположном берегу Оки был неплохой пляж, и он в летние дни кишел, как муравейник, от наплыва купающихся.

Моста через Оку в Тарусе нет, и на тот берег людей возит паром. Кроме того, здесь был пункт проката лодок и можно было за маленькую плату взять лодку на несколько часов или на целый день.

Таруса летом наполняется приезжими и становится очень многолюдным городком. В основном приезжают москвичи. Привозят свои семьи на все лето, устраиваются кто как может. Состоятельные имеют свои дома и используют их как дачи. Другие снимают комнаты или углы.

Вот и Саня с Катей сняли комнатушку у одной старушки. Ее домик стоял рядом с домом, в котором мы ночевали несколько

ночей, когда впервые приехали в Тарусу. Нам тогда по просьбе Оттенов оказала приют хозяйка его, Галя Георгиевна Петрова. Сама Галя Георгиевна была уже давно на пенсии и обычно зиму жила в Москве, но с ранней весны и до поздней осени жила в Тарусе. Дом у нее был огромный и когда-то, при жизни мужа, целиком принадлежал ей. После смерти мужа дом пришлось разделить на две половины: вторую половину получила ее падчерица. Падчерица с семьей тоже жила в Москве и только на лето приезжала в Тарусу. Я подробно останавливаюсь на этом доме, так как судьбе было угодно распорядиться так, что в конце концов мы оказались хозяевами одной его половины. Когда мы только приехали в Тарусу без надежды устроиться здесь на жительство, нам сказали, что этот дом продается. Сначала Галя Георгиевна и ее падчерица решили продавать дом целиком, то есть одному хозяину. И просили они за него довольно внушительную сумму: одиннадцать тысяч.

Мы с Ларисой были очарованы тогда не столько самим домом, сколько очень оригинальным участком. Будучи на нем, вы никогда не почувствуете, что находитесь в самом центре Тарусы. Дом стоит между двумя оврагами на бугре. Позади дома овраги тянутся на полкилометра, никому не принадлежа. Овраги лесные: дуб, береза, липа, клен и хвойные деревья. Много кустов. С фасада, со стороны улицы, дом тоже стоит не прямо на улице, а как-то особняком и чуть в сторонке. Кроме того, он стоит на бугре, как бы над улицей. С улицы к дому ведет довольно крутая лестница. И от улицы этот дом отгорожен зеленым забором: много сирени и огромные вековые липы. В любой зной летом на этом участке всегда можно найти не одно прохладное местечко.

Местные жители пользуются тем, что Таруса является как бы курортным городком, и сдают свои жилища внаем на лето. Этим многие и живут.

Мы же с Ларисой приезжали сюда в основном на день: искупаться и повидаться с друзьями из Москвы. В то лето особенно много наших друзей и знакомых поселилось в Тарусе, и часто поездки по делам в Москву заменялись встречами тут.

Лишь иногда, когда нам не хотелось уезжать на ночь в Петрищево, чтобы назавтра с утра снова ехать автобусом в Тарусу, мы оставались на ночь то у Кати с Саней, то у Оттенов, то у Гали Георгиевны.

Галя Георгиевна оказалась дружна с Петром Григорьевичем Григоренко. Это нас тоже как-то сближало.

Мы с Ларисой не только купаться ездили в Тарусу и видеться с друзьями — мы одновременно присматривались к продаваемым домам. Искали себе подходящее жилье внаем или купить по

дешевке.

Когда в очередную субботу мы приехали в Тарусу, то нам сообщили знакомые, что дом Гали Георгиевны приезжал осматривать для покупки Солженицын. Говорят, что ему понравился участок, но сам дом не подошел: слишком уж он был стар и нуждался в ремонте, а Солженицын дорожил временем, предпочитая тратить его на более важное. Цены на дома здесь были высокие: менее чем за пять тысяч никто не продавал, даже если на участке был не дом, а развалюха. Одним словом, продавались скорее участки, а не дома. Плати пять тысяч, ломай развалюху и строй новый дом. Если же дом новый, то за него заламывали цену в десять тысяч и более. О таких деньгах в то время мы не могли и мечтать.

Но у русского народа есть точная поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Именно это нас и спасло. Друзья наши, прослышав о нашем намерении приобрести свое жилье, каким-то способом насобирали нам около пяти тысяч в рассрочку на неопределенное время. Нам только сказали, что можем не отдавать до тех пор, пока не разбогатеем настолько, что у нас окажутся лишними пять тысяч. И как раз в это время нам стало известно, что Галя Георгиевна с падчерицей решили не ждать покупателя на весь дом, а продать его по частям. Конечно, хотелось бы иметь совсем отдельный домик, а не полдома. Не хотелось, чтобы за стенкой кто-то жил, и еще больше хотелось владеть полным участком земли, а не половиной. Но другого ничего в Тарусе нам не попадалось, а время шло и нам нужно было к зиме иметь свое жилье. И мы решили купить половину у падчерицы Г.Г. Но дело осложнялось некоторыми обстоятельствами: во-первых, меня могли не захотеть прописать в Тарусе, воспрепятствовать продать нам дом; во-вторых, мы должны были скрывать от падчерицы и ее мужа свое прошлое и настоящее, не дать обнаружить свою известность. Дело в том, что падчерица Г.Г. и ее муж почему-то считали, что отец никогда бы не продал свой дом таким людям, как, например, Гинзбург.

Бывший хозяин дома, художник Журавлев, — участник трех революций и очень заслуженный у советской власти человек. Он уцелел от сталинского произвола и умер где-то в конце 1960-х годов.

Г.Г. очень часто нам расхваливала его как человека очень справедливого и принципиального. Лично я ничего о нем не знал к тому времени, но мне часто хотелось спросить у Г.Г., например, о том, как он относился в свое время к уничтожению деятелей науки и культуры, в том числе и художников. Но всякий раз, глядя на старушку, снимал свой вопрос о принципиальности ее

покойного супруга.

Г.Г. очень сочувствовала нам, помогала в меру своих сил сговориться с падчерицей и всячески нас ей расхваливала. Такое же участие проявили и ее летние квартиранты, супруги Хенкины, с которыми мы впоследствии близко дружили до самого их отъезда в Израиль.

Мы решили никого, кто не имел прямого отношения к сделке, не посвящать в наше намерение купить дом в Тарусе. Рассчитывали сделать это по возможности если не тайком от властей, то хотя бы неожиданно.

Купчую оформляет нотариус. Не будет же он, думали мы, справляться по всем этим вопросам у милиции: кому можно продавать дом, а кому нет. Мы решили сначала оформить купчую, чтобы дом перешел в мою собственность, а уж после этого и немного даже погодя обращаться в милицию с пропиской уже в собственный дом.

А в Петрищево к этому времени готовилась разыграться история, относящаяся к моей прописке и работе там. Я уже месяца два работал и лишь изредка наведывался в Москву по делам. Поскольку КГБ в Москве не выпускал меня из поля зрения, то им скоро стало известно, что я прописался и работаю в Калужской области. По-видимому, в какой-то момент КГБ сделал запрос в Тарусу обо мне. И началось.

В обычный летний день к нам на лесосеку приехал мастер и велел мне срочно ехать с работы к коменданту.

Только я встретил коменданта в поселке, как она мне выложила: только что звонили из тарусской милиции и велели передать мне, чтобы я завтра же приехал в РОВД.

— Мне из-за вас такой нагоняй по телефону устроили, что я до сих пор еще не могу опомниться.

— А в чем дело? Я-то тут при чем? — искренне недоумевал я.

— Говорят, что мы не имели права вас прописывать. Обещают наказать и меня, и секретаря сельсовета.

— А на каком основании?

— Вот и я у них спрашивала то же самое. А он на меня только орет в трубку.

Встретил меня в конторе лесничий и запел ту же песню. Он тоже спрашивал у меня:

— Чего им от вас нужно? Я ему по телефону отвечаю, что работаете вы хорошо, не пьете даже, а он мне — это все не имеет значения.

И вот утренним автобусом я еду в Тарусу. В РОВД в паспортном столе меня сразу берут, что называется, на горло и на пушку. Старший лейтенант, полистав мой паспорт, закипятился:

— Вы почему проживаете длительное время без прописки?

— У вас в руках мой паспорт. Вы что, не замечаете штампа о прописке?

— Мы вас не прописывали.

— Я тоже не сам ставил себе штамп в паспорт.

— Кто вас прописывал?

— Как и всех там — комендант. Вы сами это знаете.

— Комендант нарушил закон. Они не имели права вас прописывать сами, а должны были направить вас к нам. Мы должны решать вопрос о вашей прописке.

— Ну, это уж вы сами между собой и разбирайтесь.

— И разберемся.

Сказав это, он куда-то вышел с моим паспортом, велев мне обождать. Я сидел минут двадцать в кабинете наедине с женщиной в милицейской форме. Как я потом узнал, это была работница паспортного стола. Вернувшись, офицер сообщил мне, что я могу пока быть свободным.

— А паспорт пока останется у нас. — Он похлопывал им себя по левой руке.

— А если он мне понадобится?

— Дня через три-четыре можете зайти по этому вопросу сюда же.

С тем я и ушел.

Все последующие три дня мы с Ларисой думали и гадали: что будет с моим паспортом? А ну как возьмут да и поставят рядом со штампом о прописке штамп о выписке? Я слышал не раз о таких проделках милиции и не исключал такого варианта.

К тому же мы привыкли к тому, что закон не всегда может защитить гражданина от произвола властей. Таково наше отечество!

И вот дня через три я снова в том же кабинете и с тем же офицером.

— Можете забрать ваш паспорт, — и он протянул мне его через стол.

Я, стараясь не показать своей заинтересованности и волнения, быстро отыскал страничку для прописки и с облегчением увидел, что там ничего не изменено. Я сразу собрался выйти, но меня задержали.

— Одну минутку…

Офицер достал из сейфа какой-то журнал. Как я успел прочитать на его переплете, это был журнал учета лиц, осевших после освобождения на жительство в Тарусском районе.

Мне через стол было хорошо видно, как милиционер на странице с буквой «М» записал мои фамилию, имя и отчество.

Внеся меня таким образом в список своих подопечных, он закрыл журнал, положил его обратно в сейф и обратился ко мне:

— На будущей неделе представьте мне следующие справки, — и он стал называть, загибая пальцы, — с места работы, с места жительства, характеристику с места работы и две фотографии.

— Это зачем еще? — удивился я.

— Милиция не обязана отчитываться перед вами. Вам дается неделя сроку.

— Никаких справок я вам носить не буду. И ни в какие сроки.

— Что-о? — опешил милиционер.

— Я, кажется, сказал довольно ясно, что никаких справок носить вам не буду.

Некоторое время он молча и, видимо, не соображая ничего, смотрит на меня. Потом, переварив сказанное мной, повышает голос и с чувством уверенности в себе поучает:

— Я это делаю не от себя, а по закону. И вы обязаны…

— А я вот не знаю за собой таких обязанностей. А если уж вы заговорили о законе, то прошу ознакомить и меня с ним, поскольку он меня лично коснулся.

— Это инструкция. И я вам уже говорил, что милиция не обязана отчитываться…

— А, простите, чья это инструкция?

— Министра внутренних дел.

— А если инструкция противоречит закону?

— Инструкция — это тоже закон.

Я смотрю на этого офицера со значком на груди, показывающим, что это говорит не просто офицер МВД, а человек, имеющий специальное юридическое образование. И сколько их еще пройдет передо мной, тупых и непробиваемых!

Зная заранее бесполезность разговора о законности с такими юристами, я категорически повторил свой отказ предоставить справки.

Мне снова было велено «обождать». Вернулся он опять минут через пятнадцать.

— Вы же недавно освободились, — начал он, садясь за стол, — и своим поведением сразу доказываете, что так и не научились себя вести. Так и не исправились!

— А мне не от чего было исправляться! — не выдержал я. Ведь решил же не спорить с этим тупицей. — К тому же я освобожден по концу срока, а не досрочно. Дополнительных наказаний не имею. Надзор с меня сняли на прежнем месте жительства.

— И тем не менее вы милиции предоставите все, что от вас

потребуют.

— Я больше повторять не буду. Я об этом уже сказал вам дважды.

— Да кто ты такой! — взорвался милиционер. — Буду, не буду! У тебя никто и спрашивать не собирается. Ты не в детском саду, а в милиции. Нянчиться с тобой…

— Во-первых, на меня не орите, — прервал я его. — Во-вторых, не тычьте. Мы ведь с вами никогда в друзьях не были, и похоже, что не будем.

Замялся мой собеседник на некоторое время. Ковырялся у себя в бумагах, делая вид, что занят. Женщина тоже с любопытством посматривала на меня.

— Хо-ро-шо, — твердо и с угрозой наконец заговорил милиционер, — не хотите со мной, так с начальством будете об этом разговаривать.

Из-за глухоты я не заметил, как в кабинет вошел какой-то капитан. Видно, он слушал часть нашего разговора и неожиданно для меня ввязался:

— А чего это ты артачишься, — это он ко мне, — обратно в лагерь захотел?

Я молча поднялся с места и вышел из кабинета мимо посторонившегося от неожиданности капитана. И только спускаясь по лестнице на первый этаж, я услышал окрик сверху и топот ног вслед за собой:

— А ну вернитесь! Слышите, Марченко, я вас не отпускал! — это мой собеседник нагонял меня.

Он обогнал меня и встал передо мной. Тут же подошел и капитан. Я поднялся снова в тот же кабинет и, не присаживаясь и ни к кому лично не обращаясь, заявил:

— Если здесь мне будут вот так хамить с тыканьем и угрожать, то я вообще сюда являться добровольно не буду.

Капитан сопел и переминался с ноги на ногу. Мой собеседник стал мне довольно вежливо выговаривать за самовольный выход из кабинета. Пока мы перекидывались взаимными обвинениями, капитан не проронил ни слова и скоро вышел так же незаметно, как и появился.

Скоро меня отпустили, пообещав на прощание:

— Мы еще не раз увидимся!

Забегая вперед, скажу, что с этим офицером я больше так и не встретился. Со мной имели дело другие: и худшие, и получше него.

* * *

Где-то в начале нашего проживания в лесничестве к нам приехал в гости Виктор Красин. Это было уже после ареста Петра Якира и незадолго до ареста самого Виктора. Мы с ним не виделись довольно долго, это была наша первая встреча после 1968 года. У меня сложились особые отношения и с Петром Якиром, и с Виктором. С Петром у меня никогда не было тесных отношений; с первой нашей встречи у Павла Литвинова, где мы познакомились одновременно и с ним, и с Петром Григорьевичем Григоренко, уж как-то само так получилось, что я больше тянулся к Петру Григорьевичу. Должен сказать, что позже, когда я обдумывал свои отношения с этими людьми, это мне показалось странным. Дело в том, что Петр Якир обладал даром располагать к себе окружающих. Он был общителен и интересен в общении. Люди, знающие Петра, прочитав это мое суждение, могут подумать, что я неискренен. Но дело в том, что я, из-за того что ни разу не видел Петра не только в пьяном виде, но даже и навеселе, действительно был о нем такого мнения. И лишь позже, когда Петр наделал немало, мягко выражаясь, глупостей и подлостей из-за пристрастия к водке, я сменил о нем свое мнение. Я помню, как мучилась Лариса из-за поведения Петра, как переживали его падение и разложение наши общие знакомые и друзья. Я дал себе слово не иметь никаких дел с Петром. Я достаточно насмотрелся на алкоголиков и наркоманов еще в лагерях, поэтому знал, что для них нет ничего святого, нет ничего такого, на что бы они не пошли. Во всяком случае, из них при желании можно буквально вить веревочки. Неосторожности, по пьянке и по трезвости допускаемые Петром, ставили под удар тех, кто соприкасался с ним. В силу своей популярности, как сын бывшего командарма, расстрелянного Сталиным, зарекомендовавший себя активным противником незаконных действий властей по отношению к своим подданным, он стал магнитом, к которому тянулись люди не только из Москвы, но и со всей страны. Этому способствовало и зарубежное радио, которое освещало его деятельность. Лариса и многие друзья наши не раз говорили о том, что нужно как-то оградить людей от контактов с Якиром. Но как это сделать?

В тесном контакте с Петром в первую очередь были его родные: дочь Ирина и зять Юлик Ким. Им-то и приходилось больше всего страдать из-за Петра. Каково было Ирине — пусть представит себе читатель. Прослышав по иностранному радио о

Петре Якире, к нему со своими жалобами и предложениями приезжают целые делегации со всех концов Советского Союза. Они откровенно выкладывают все это Петру в присутствии других лиц, в том числе явных стукачей и сотрудников КГБ. А Ирина, чтобы уберечь людей от неприятностей, должна тайком от отца умолять этих приезжих не откровенничать с Петром Ионовичем. Ведь эти люди не знают, что Петр уже алкоголик, что с ним нельзя иметь дел.

Можно только поражаться и удивляться, как Ирина не сошла с ума от одной этой обстановки.

Скрывая от посторонних порок Петра, все мы в какой-то мере поступали безнравственно и преступно безответственно. Способствовали сохранению вокруг Петра первоначального ореола человека мужественного и порядочного, у которого многие хотели найти и искали помощи, поддержки или хотя бы сочувствия.

Люди поосмотрительнее стали постепенно отходить от круга Якира. Но эта предохранительная мера принималась только более осведомленными людьми; из такта и деликатности никто не решался влиять в этом направлении на людей малознакомых.

И как каялись многие из нас, когда узнали, что Петр, находясь под следствием, в буквальном смысле заводит уголовные дела на людей, с которыми был в контакте на воле. Но было уже поздно.

Мне хочется здесь высказаться и о своем отношении еще к одному обстоятельству. Многих почему-то влекло к Якиру то, что он сын легендарного командарма Ионы Якира. Якир-отец вновь стал легендарным героем после хрущевских разоблачений культа личности и массовых реабилитаций. Я не знаю, в силу чего — своего характера или склада ума, но после всего известного о 1937 годе никто из этих «героев», будь то Якир, Блюхер, Тухачевский или кто другой, не внушал мне уважения. Более того, все эти «герои» не вызывали у меня никакого чувства, кроме презрения. Осталось загадкой для нашего поколения, да и не только для нашего, как могли военные до мозга костей люди, прошедшие через испытания фронтов Гражданской войны, так низко пасть. Когда началось их падение? А может, его и не было? Может, они всегда были такими? А если падение было, то когда оно началось: до 1937-го или в 1937-м и как оно проходило?

Мне кажется, прав был Тольятти, сказавший в своей предсмертной памятной записке, что явление культа личности пока что не изучено и требует объяснения.

Что касается 1937 года, то можно определенно сказать, что он, как и само явление «культа», является непременным условием

победившего марксизма. Эти пороки не «извращения» и «перегибы», и никакие не «нарушения» демократии, как это пытаются представить лидеры КПСС, — это суть марксистской идеологии. Причастность к этой идеологии освобождает человека от морально-нравственных основ. Член марксистской организации утрачивает свой стержень и превращается в медузу: из него всегда и без особого труда можно сделать что угодно, взывая к партийной дисциплине или «сознательности».

Мне помнится, Красин, находясь у нас в Петрищево, неодобрительно высказывался в адрес Петра Якира. Однако это не помешало ему вести себя впоследствии подобным же образом.

Вообще, если проанализировать поведение этих двух деятелей-приятелей под следствием, то обнаружится интересная деталь. Петра следователи обыгрывали на его животном страхе перед лагерем или тюрьмой, спекулировали на его болезни — алкоголизме — и вообще играли на полном распаде его личности. Красин же не только не был алкоголиком, но и допьяна-то не напивался никогда. Были у него отрицательные свойства в характере, но они были обычными для любого смертного. Но вот одно его свойство ГБ нащупала и использовала очень эффективно: Красин очень страдал от того, что у него нет «имени». Как-то в разговоре с Павлом Литвиновым он высказался по этому поводу откровенно, сказав, что вот, мол, тебе проще было создать имя благодаря известной фамилии и родству (он имел в виду, что Павел — внук известного соратника Ленина и видного советского дипломата, министра иностранных дел при Сталине). Красин переживал, что с ним — другое дело: и фамилия неизвестна, и родственников известных тоже нет. Ему приходится самому создавать все это на пустом месте. Когда вышла на Западе книга о сегодняшней подпольной России, Красин очень заинтересованно занимался подсчетом того, чьих фотографий в ней опубликовано больше. А в других западных печатных изданиях с такой же заинтересованностью подсчитывал, сколько раз упоминается его имя, а сколько — имена других. После очередного такого подсчета он сказал с самым серьезным видом кому-то из наших друзей: тебя упоминают на три раза больше меня, а других и того меньше, а это значит, что мы с тобой самые главные в «движении».

Именно на этой стороне характера Красина и сыграло следствие. А в ходе следствия выяснилось (возможно, что ГБ знала это и заранее!), что Красин, как и Якир, еще и устрашен возможностью оказаться в лагере.

ГБ подыгрывала Красину, говоря ему в глаза, что он (разумеется, совместно с Якиром!) считается признанным вождем

демократического движения. Красину это льстило, и он принял это долгожданное признание за чистую монету. Для такого самолюбивого и тщеславного человека не показалось настораживающим и предостерегающим даже то, что ему это говорят в тюремной камере те, кто на протяжении всей истории советской власти не признает за инакомыслящими вообще никаких качеств, кроме оскорбительных и ругательных ярлыков. А тут его всерьез называют вождем, руководителем. А поскольку Красин находится не в редакции и не на пресс-конференции, а в тюремной камере, и ведется не дружеская беседа и даже не дискуссия с противной стороной, а идет оформление уголовного дела и нужны показания, причем не только против себя, но и против других, то нужно их как-то дать. Интересно спросить у Красина: кто кому подкинул метод ведения следствия в этом пункте? Он следствию, следователи ему или совместно выработали?

Дело в том, что Красин, давая показания на людей, обрекая их тем самым на лишения и в том числе на тюрьму, вовсе, как он считал, не выдавал их, а спасал. Ему, видите ли, пообещали, что никто из названных им людей не будет привлекаться к ответственности.

Верил ли он в это или сделал вид, что поверил, чтобы легче было на душе? Так или иначе, но и Красин, и Якир с легкостью называли имена и факты, известные им, а иногда и неизвестные, но требуемые от них. Казалось бы, Красину подвернулся случай сделать себе имя, о чем он так мечтал. Поведи он себя на следствии порядочно — и это ему было бы обеспечено. Но за это нужно было заплатить самой дорогой для человека ценой — свободой. И на это-то у Красина не хватило ни духу, ни порядочности.

Когда в ГБ убедились, что из Красина и Якира на самом деле можно сделать что угодно, то решили, что могут устроить разгром движения. Имея от подследственных длинный список имен и фактов, трудно не увериться в этом.

Но когда ГБ столкнулась с самими людьми, названными Красиным и Якиром, то оказалось, что ничего сколько-нибудь серьезного состряпать им не удастся. Были попытки привлечь к следствию людей, уже отбывающих сроки в лагерях и тюрьмах, но и они ничего не давали. Не получилось даже получить признания со стороны остальных инакомыслящих права Якира и Красина на роль руководителей движения.

Вот и пришлось довольствоваться ГБ лишь двумя обвиняемыми. Власти не пошли на риск испортить эффект самоотречений и раскаяний Красина и Якира выступлениями

других участников процесса.

Все время следствия Красину и Якиру нашептывали, что они не оговаривают и не предают, а совместно, общими усилиями, спасают заблудших овец. Все время льстили: «От вас, как от руководителей, зависит судьба остальных участников движения».

И эти двое шли на все. Якир даже был использован госбезопасностью с целью повлиять на А.Д. Сахарова. Его письмо, адресованное А.Д. Сахарову из тюремной камеры, принес кагэбэшник. Это тоже должно было бы польстить подследственным: офицеры ГБ выполняют роль их нарочных.

А ГБ была уверена, что приказы и директивы Якира и Красина, разосланные письменно и устно, будут выполняться беспрекословно.

Такую уверенность ГБ приобрела, держа под неослабным надзором всю жизнь Якира и его круга в последние годы. А круг этот был узок. (Только если следить по поверхности, то можно было подумать обратное. Когда я говорю об узости и малочисленности круга, то я имею в виду постоянных его членов. Но ведь к Якиру действительно стекались нити со всей страны, приезжали люди из провинции, у него в квартире постоянно было несколько приезжих. Поэтому и создавалось впечатление бурной деятельности и центра движения.)

В этом кругу указания Якира, действительно, выполнялись беспрекословно, и Якир в силу своего характера вел себя там как настоящий диктатор. Да и окружающие чувствовали себя обязанными подчиняться такому авторитету. Они нуждались в руководителе.

И ГБ, прослушивая круглосуточно на протяжении многих лет квартиру Якира, подсылая туда своих агентов, сделала вывод, что, используя Якира, можно многого добиться и от остальных.

И вот тут-то госбезопасность просчиталась. Окружение Якира в морально-нравственном отношении оказалось гораздо выше его самого. Они подчинялись Якиру и считали его авторитетом только до тех пор, пока считали, что он отвечает их идеалу руководителя. Но, как только просочились сведения, что Якир дает показания под следствием, все они его осудили, а многие просто от него отвернулись и устыдились за него. Когда начались вызовы на очные ставки с Якиром людей, которых он называл, эти люди не только не подтверждали его показаний, но и старались пристыдить и как-то воздействовать на самого Петра. Якир же с большим старанием затягивал людей в «дело», и когда очередной свидетель отказывался подтверждать его показания, он устраивал истерики. Пытался и в камере давать указания людям, как надо себя вести и какие давать показания. И это в присутствии

следователей! Особенно доставалось его дочери Ирине. О том, что этот человек в своем падении не знал никаких границ, говорит хотя бы такой факт, что он много раз настаивал на встречах с Ириной, а на этих встречах требовал от нее показаний, угодных следователям, и устраивал истерики по поводу ее отказа принять участие в этом позорном деле. И он это делал, зная, что дочь находится на последнем месяце беременности.

Подобным же образом вел себя и Красин.

Уже в ходе следствия для ГБ стало ясно, что никто не намерен подчиняться и даже считаться с мнением этих «руководителей». Следователи и те, кто командовал арестом и дальнейшим ходом процесса, мерили все по своим меркам. Они оказались жертвами собственной идеологии: ведь коммунисты возвели покорность руководству и дисциплинированность рядовых членов в ранг высокой сознательности. Они себе и представить не могут, что люди могут жить и заниматься делами, никому не подчиняясь и не нуждаясь в руководящих указаниях и инструкциях на все случаи жизни. Они считали, что уж если Якир с Красиным сломлены и готовы дать любые показания, то с остальными справиться будет легче.

Уместно будет сказать, что тем, кто хорошо знал Якира и обстановку вокруг него, было давно ясно: на следствии он не выдержит и будет «течь». Такого мнения были и те, кто составлял круг Якира. Но к моменту ареста еще немало было и таких, которые готовы были молиться на Якира и смотрели на него как на пример для подражания. На этих людей поведение Якира на следствии подействовало очень сильно, и им долго не верилось в реальность происшедшего. Так, например, Дремлюга, которого привезли в Москву из якутского лагеря для дачи показаний по делу Якира и Красина, отказался давать какие-либо показания, а потом был поражен, когда, вернувшись в Якутию, прочитал в центральных газетах сообщение о проходящем процессе. Он не мог поверить, что его кумир так низко пал.

Среди знавших Якира и Красина или слышавших про них были разные мнения об их поведении. Я очень хорошо помню одну встречу на квартире Якира на Автозаводской в Москве. Собралось очень много народу по поводу, кажется, дня рождения кого-то из членов семьи Якиров-Кимов. Конечно, все разговоры шли вокруг Петра и Виктора. Они еще были под следствием, но об их поведении уже всем было известно, многих из присутствующих вызывали в ГБ на допросы в качестве свидетелей по их делу, некоторые даже имели с ними очные ставки. Среди различных высказываний по этому тогда жгучему вопросу мне запомнились две точки зрения. Одну высказал (и был поддержан

многими присутствующими) Юлик Ким. Он говорил, что «мы не можем их судить хотя бы потому, что сами не были там». Среди присутствующих было несколько человек, которые, говоря словами Юлика, «там» побывали. Я не знаю, что почувствовали другие, услышав такое, скажу про себя. С одной стороны, я как бы получал право судить. С другой же стороны, язык не поворачивался, глядя на вымотавшихся Ирину и Валю, сказать осуждающие слова в адрес их отца и мужа. Такое мнение я в свое время довольно часто слышал от нашего друга Якобсона и не раз спорил с ним на эту тему. В данном же случае мне было неприятно вообще что-либо говорить о Якире. Это все равно, что говорить плохо о покойнике в присутствии его близких в день похорон. Говорить хорошее тоже не считал нужным. Но я не смог оставить без ответа и сказанное Юликом. Да и чувствовал я, как присутствующие — кто откровенно, а кто исподтишка — ждут ответа от бывших зэков. Я знал, что промолчать — значит поддержать точку зрения Юлика. Я с надеждой ждал, что авось кто-нибудь и без меня выскажется на эту тему. Не дождался и с неохотой сказал, обращаясь только к Юлику, что он не прав, что там, как и здесь, люди бывают всякие, что право на суд имеют все — и бывшие, и не бывшие.

Вторая точка зрения была высказана и горячо защищалась Олей Иоффе и ее матерью. Они высказались в духе всепрощения. Мне кажется, что такую позицию занимать безнравственно, ибо она сама ведет к безнравственности. Такую точку зрения могут иметь люди либо совершенно оторванные от земли, либо намеренно принимающие ее «на всякий случай»: сегодня ты сделаешь подлость, и мы тебя простим, а завтра я ее сделаю и могу заранее рассчитывать на прощение. Она как бы заранее снимает с человека всякую ответственность за любые поступки.

В связи с делом Петра и Виктора в обществе возникло еще и злорадство, которое испытывали те, кто по своей трусости раньше завидовал популярности Якира и других известных инакомыслящих. Они имели случай тыкать пальцем в Якира и друг другу сообщать, хихикая, что, мол, и они не лучше нас.

* * *

Между тем в Тарусе наши дела продвигались в нужном направлении, и покупка половины дома стала вполне реальной. Мы с Ларисой оформление держали в тайне от большинства знакомых из-за опасения, что местные власти могут как-нибудь помешать нам. Марина, хозяйка нашей половины, уже собрала все

необходимые для продажи документы, и вскоре мы предстали перед нотариусом. Оформление документов прошло гладко, и мы вернулись от него уже в собственную половину дома.

Я выждал несколько дней и не увольнялся с работы из лесничества. Потом, так еще и не уволившись, я решил обратиться в милицию для прописки в собственный дом. В паспортном столе на этот раз принимала женщина, та самая, которая была в прошлый раз свидетельницей моего разговора с ее начальником. Она меня узнала. Когда я подал заполненные для прописки бланки, она удивленно поинтересовалась:

— Куда вы сейчас прописываетесь?

— К вам, в Тарусу. В собственный дом.

— Как в собственный дом? — она еще больше удивилась.

— Купил и вот теперь переезжаю.

Она пробежала глазами по бланкам, как мне показалось, даже не читая, что там написано, потом попросила меня выйти на время из кабинета и подождать в коридоре.

С моими бумажками она куда-то убежала и явилась минут через десять, велев мне зайти в кабинет.

— С вами хочет побеседовать наш сотрудник, — объявила она мне.

Я не стал ждать ее объяснений и разъяснений по этому поводу и сказал, что не намерен с кем бы то ни было объясняться по вопросам прописки.

— Что вы волнуетесь? — увещевала она. — С вами хотят поговорить, вот и все.

— Мало ли что хотят, — продолжал я свое, — а я вот не желаю ни с кем объясняться по этому вопросу. А если я не имею права жить в собственном доме, то напишите мне на моих бумажках свое решение.

— Ну что вы волнуетесь? — снова запела свою песню она.

И снова я не дал ей договорить:

— Да не я волнуюсь <*Обрыв текста на несколько страниц; по всей видимости, на отсутствующих страницах речь шла о прописке и шоферских курсах*>.

* * *

В начале марта я отвез Ларису в Москву, в родильный дом. Положили ее в одно из лучших московских родильных отделений при Первой градской больнице в центре на Ленинском проспекте. И для меня наступили дни волнений, которые переживают все отцы. Мы уже заранее договорились об имени: если мальчик, то

будет Павел. Для девочки мы оставили два имени: Настя и Анна. Какое из двух будет выбрано, мы так и не согласовали, оставив это до появления новорожденного. Но решать эту проблему нам не пришлось, так как родился мальчик. Первыми мне эту радость сообщили телефонистки местного узла связи. Для меня это и сейчас загадка — как они узнали. Я же ежедневно звонил из Тарусы в родильное отделение и был в курсе дела. Пятнадцатого вечером, после занятий, пришел на переговорный пункт заказать разговор, а меня телеграфистки в один голос поздравляют с сыном. Дозвонившись до родильного отделения, я убедился, что они говорили правду. Только я вошел в дом и спустился в столовую, все еще не опомнившись от нахлынувших чувств, как ко мне ввалились веселые Родыгин и Гинзбург.

Они еще не спустились вниз, я видел только ноги гостей на лестнице, а они уже возбужденно кричали:

— Эй, хозяин, как сына назовешь?

— Договаривались Павлом. — Я не хотел сразу выдавать своей радости и делал вид, что мне еще точно не известно.

— Тогда выпьем за приход в этот мир нового человека Павла Анатольевича, — с этими словами кто-то из них поставил на стол бутылку вина, за которой мы просидели довольно долго.

Шоферские курсы у нас уже заканчивались, и я не мог вырваться в Москву без пропуска занятий. Я только ежедневно разговаривал с Ларисой по телефону. Слава богу, у нее все обошлось благополучно и примерно через неделю она могла выписываться домой.

Своего сына я впервые увидел дома, на Ленинском проспекте. В день выписки Ларисы из роддома я приехал в Москву и хотел сам привезти ее с сыном домой, но ее почему-то выписали чуть раньше, чем обычно выписывают, и я опоздал. Ее встретили родные и привезли на Ленинский.

Не обошлось без обычного комплимента со стороны родных и друзей — вместе с поздравлениями все непременно добавляли, что сын — точная моя копия. А Люда Алексеева даже шутила по этому поводу и говорила, что, глядя на малыша, так и кажется, что он сейчас повторит мою присказку: «У, Р-р-родина!»

С месяц Лариса с малышом еще оставались в Москве, и только в апреле мы решили съехаться все втроем в наш тарусский дом.

За радости, которые выпадают родителям с рождением ребенка, как известно, приходится платить. Особенно доставалось нам, когда ребенок заболевал. Но, на наше счастье, Павел болел не часто. Тем не менее у нас почти не было свободного времени: оно все поглощалось домашними хлопотами, занятиями на

курсах, а потом работой и ребенком.

Так уж у нас получилось, что Лариса, прежде чем стать матерью Павла, стала бабушкой. У ее старшего сына сын родился на полгода раньше Павла. И Михаил Александрович Даниэль уже приходился нашему Павлу племянником. Через эту путаницу я досрочно вышел в деды. И юмора хватало тоже.

После окончания курсов нас с Родыгиным, как и ожидалось, направили в автохозяйство и закрепили за старыми шоферами в качестве стажеров. Родыгин уже подал заявление на выезд в Израиль вместе с женой и тещей. Поработать самостоятельно на машине ему так и не пришлось. До самого дня отъезда он находился под гласным административным надзором милиции и успел заработать себе нарушение и предупреждение.

Говоря о нашей жизни в Тарусе, нельзя не помянуть добрым словом наших первых знакомых — Оттенов. С ними мы очень подружились. Дом их стал для нас своим. Навсегда останутся в памяти и у нас, да и у всех остальных наших друзей, вечера, проведенные в полуподвальной столовой оттеновского дома.

О самих Оттенах мне бы хотелось рассказать поподробнее именно потому, что для нас с Ларисой в Тарусе не было людей ближе, чем они. У них можно было не только новостями поделиться, но и просто приятно потрепаться. Хозяин дома прожил интересную жизнь, много знал того, что уже стало достоянием истории. Его знакомства, дружеские и служебные связи 1930-1950-х годов были очень обширны. Оба они были людьми начитанными и служили нам своего рода энциклопедией.

Я уже упоминал, что первоначально я с недоверием относился к этой паре. Но это недоверие и недоброжелательность опирались не на знакомство с конкретными людьми, а на принцип, который не отвергнут мной и сейчас: человек ответственен за все, что происходит в его стране при его жизни. И поэтому все, кто в разгул сталинского деспотизма служил этой системе и занимался какой-то деятельностью, в том числе и чисто научной, без исключения рассматривались мной как соучастники неслыханных преступлений перед страной и народом.

Но, наверное, не с одним мной так происходит, что когда речь идет не о конкретном человеке, а вообще, то это одно дело, и решается проблема довольно примитивно. И все совершенно иначе, когда тебе приходится иметь дело с конкретными людьми. Тут начинается выделение из общей массы конкретного человека и определение его личной вины и доли ответственности.

Опять повторю, что такое отношение у меня не только к тем, кто благополучно пережил террор. Я так же отношусь и к так называемым жертвам террора. Многие из них повыходили из

лагерей, ссылок и поселений, были реабилитированы. Но ведь большинство из них пострадали не потому, что они противились террору или чем-то провинились перед советской властью. Просто самая передовая в мире общественно-политическая система гарантировала каждому гражданину расправу независимо от его заслуг или его вины. И садились они, и расстреливались по раскладке: кому что выпадет.

Доброта и отзывчивость Николая Давыдовича и Елены Михайловны были искренними, и к тому же постепенно нам становились известны некоторые факты их биографий. Все это способствовало тому, что постепенно мои недоверие и подозрительность сменились на уважение и привязанность.

Уже одно то, что они не боялись принимать у себя дома всех, кого хотели, и рисковали из-за этого потерять доверие властей, говорит о многом. Они, чувствовалось мне, и раньше не очень-то располагали особенным доверием власти, но с тех пор, как приютили у себя бесквартирных Футмана и Гинзбургов, их авторитет быстро падал. И власти, особенно местные, этого и не скрывали.

* * *

На работе у меня дела между тем продвигались в направлении выхода на самостоятельную работу. Вскоре я получил себе машину-развалюху. Это был дряхлый и потрепанный ЗИС. Они, как известно, выпускались под маркой ЗИС только до 1956 года, когда завод переименовали в ЗИЛ. Значит, моя машина была не позднее 1956 года выпуска, то есть ей было уже около двадцати лет. И собирать мне ее пришлось, как и всегда приходится большинству курсантов, по винтикам и гаечкам. О получении запчастей со склада нечего было и думать. Запчасти я доставал обычным путем: шлялся по свалкам и выискивал старье, отмачивал его в солярке, чистил и ставил. Иногда покупал что-нибудь сам с рук у других шоферов. Так или иначе, но я все же собрал эту тачку, не хватало каких-то мелочей, но меня торопили выезжать в рейсы и давать план по перевозкам. Ни один механик не выпустил бы мою машину с территории автохозяйства, в таком непригодном виде она была. Самым серьезным из недостатков было то, что не было спускного клапана в воздушном баке для тормозов. Я облазил все свалки в надежде найти эту часть машины, но ничего не попадалось. Завгар и механик на меня злились за то, что долго простаиваю на ремонте, и гнали меня на выезд. На мои просьбы дать клапан я

получал стандартный ответ: ищи сам.

В конце концов мне механик велел пойти к токарю и выточить заглушку вместо клапана.

Токарь мне выточил заглушку из стали, и я ввернул ее. На следующий день меня наконец-то выпроводили механик с завгаром в первый рейс: в Ферзиково, за мукой на элеватор. Так как мука предназначалась для хлебозавода, я должен был заехать на него за грузчиками. Вместе со мной выехала еще одна машина, которая постоянно возит муку. Оказалось, что грузчики перед выездом собираются купить и распить бутылку водки и поэтому поедут со своим старым шофером, а мне можно было или ждать их, или ехать первым и ждать их в Ферзиково. Я прикинул, что если я поеду со старым шофером, то могу не угнаться за ним и вообще мне будет труднее ехать с кем-то еще. И я решил, что лучше поеду потихоньку, не торопясь, один. Ехать мне нужно было мимо дома, и я решил похвастать своей машиной. Лариса говорила, что, когда я отъезжал от дома, моя тачка гремела так, будто двинулась с места сотня расхлябанных и несмазанных телег. Я опасался, что обязательно сломается что-нибудь в машине и мне придется кукарекать среди дороги. Но скоро я успокоился, а где-то на спуске под Петрищево, когда скорость была километров 50–60, я вдруг скорее почувствовал, чем услышал глухой выстрел за спиной. Я еще не понял, в чем дело, и решил затормозить, чтобы остановиться и осмотреть машину. Нажав на педаль ножного тормоза, я обнаружил, что воздуха в системе нет. Глянул на прибор, а там стрелка стоит на нуле. И тут я догадался, что что-то случилось с баком для воздуха или с клапаном. И мне, что называется, «повезло»: машина сама по себе взвыла и понеслась вниз, стремительно набирая скорость. Вот тут-то я и растерялся. Я ударил несколько раз ногой по педали газа, стараясь убедиться в исправности, но машина газовала, не обращая на это внимания. Я не мог понять причину этого, а скорость все нарастала. Я старался только не выпустить баранку или не съехать на большой скорости в кювет: он здесь был крутой, с откосом высотой метра в три-четыре. Только что прошли дожди, и дорога была в лужах. Внизу под откосом проходила дорога для тракторов-лесовозов: глина, местами сплошные лужи, не дорога, а месиво. В зеркало было видно, что сзади за мной идет на близком расстоянии «скорая помощь». Она приготовилась меня обгонять. Навстречу шел лихач: самосвал на большой скорости ехал не по своей стороне, а посередине проезжей части. Машина сзади, выйдя из-за меня для обгона, зашла обратно. Я хотел воспользоваться ручным тормозом, но решил обождать: сейчас, воспользуйся я им, в меня сзади

врежется от неожиданности «скорая помощь». А лихач в самосвале высунул всю голову из кабины и держит на баранке только одну руку, вторую свесил в окно. Боясь на большой скорости столкнуться с ним, я решил ближе прижаться к краю шоссе, но или слишком повернул баранку, или меня занесло; я почувствовал, что машина пошла вниз под откос. На мое счастье, я случайно повернул баранку еще больше по часовой стрелке, и машина почти развернулась перпендикулярно шоссе и стремительно выскочила на размытую тракторную дорогу. Если бы я не вывернул круто баранку, а попытался бы выправить на большой скорости машину, сползая с откоса, я бы не раз перевернулся вместе с машиной, и неизвестно, чем бы для меня кончился этот первый и последний самостоятельный рейс. Внизу машина продолжала реветь, и я увидел, что она прет прямо на телеграфный столб на железобетонном пасынке. Попробовал я вывернуть машину и увести ее от столкновения со столбом, но безуспешно. Под колесами была раскисшая глина, машина совершенно не слушалась руля. Я успел заметить, что колеса вывернуты до предела, машина идет юзом. У меня только мелькнуло в голове, что от столба мне не уйти и что сзади шла «скорая помощь». Врезался я в столб как по точному расчету: серединой бампера. Машина сразу заглохла. Я не поверил, что со мной ничего не случилось. Ушиб только грудь о баранку. Впереди видел бетонный пасынок столба, переломленный ниже радиатора. Бетон потрескался, и обнажилась арматура. Столб лежал на кабине, я вылез из кабины и стал сталкивать его на землю. А на краю дороги остановилась «скорая помощь» и из нее вышли шофер и врач в белом халате. «Скорая помощь» была наша, а врач делала нам комиссовку перед выездом в рейс.

Узнав меня, она спросила, не спускаясь с шоссе:

— Марченко, вы не пострадали?

— Я-то нет, кажется.

— А вы что, успели выпить?

Я был доволен, что все хорошо кончилось, и позволил себе пошутить:

— Долго ли умеючи!

Она позвала меня к себе и, когда я поднялся, попросила дыхнуть на нее. Обнюхав меня внимательно и не обнаружив признаков опьянения, она удивилась:

— Что же вас туда понесло? — Она показала вниз на машину.

— А интересно было попробовать прочность столбов.

Она покачала головой, а шофер подивился и высказал мнение, что я родился в рубашке. Остановилось еще несколько машин, и они меня скоро вытащили на буксире на шоссе. Я

попробовал завести машину, и она заработала как ни в чем не бывало. Не было полностью одной фары, не было лобового стекла, бампер наполовину лопнул, пробил и смял радиатор. Воды в радиаторе не было — вытекла. Мне надавали шофера ведер и советовали набирать в канавах воды, обвешиваться ведрами с водой и потихоньку добираться в гараж. Так я и сделал.

Наполнив у очередной канавы радиатор и все свои емкости, я ехал и через каждые пятьсот метров подливал воду в радиатор. Когда емкости пустели, я снова наполнял их и потихоньку приближался к Тарусе. Уже в самом городе я заправлялся у колонок несколько раз.

Все же доехал я до гаража своим ходом и этим мог гордиться.

Механик с завгаром не отчитывали меня, так как на такой неисправной машине не имели права меня выпускать, и сами еще были рады, что все так закончилось. Но после того, как я через пару дней привел машину в прежний вид, меня вызвал к себе начальник отдела кадров и предложил:

— Подавайте заявление об увольнении по собственному желанию. У вас ведь плохой слух. Я не знаю, как вы учились на курсах.

— Это что, наказание за аварию?

— Да нет, за аварию наказывать нужно больше механика, а не вас. Просто я не хочу брать ответственность на свою шею.

— Какую ответственность?

— Если с вами что случится, то с вас и спросу не будет: вы не годитесь работать шофером по состоянию здоровья. Увольняйтесь по собственному желанию — так будет всем лучше.

Так я и уволился с шоферов.

* * *

Своего сына мы решили крестить. Этот вопрос для нас был давно решенным, и мы просто приурочили день крещения ко дню святых апостолов Петра и Павла.

Крестить сына мы решили не потому, что оба были религиозными. И Лариса, и я до сих пор не определили своего отношения к религии. Ведь мы выросли в атмосфере оголтелого атеизма, как и все наши сверстники.

Что касается меня, то в раннем детстве, как мне помнится, на меня скорее могла влиять религия, а не атеизм. Это объясняется тем, что мое детство совпало с военными годами, тяжелыми для большинства нашего народа. Государственный атеизм поубавил свою активность, а религия в какой-то степени даже если и не

стала прямо поощряться, то, во всяком случае, гонения на нее немного уменьшились. Появление священников сопровождалось слухами о том, что их повыпускали из тюрем и лагерей. Пооткрывались закрытые раньше церкви. По-видимому, власти не без оснований считали, что церковь вовсе не «опиум для народа», хотя бы в годину испытаний и бедствий. Старый прием большевиков: в борьбе с более сильным врагом (а фашизм был врагом смертельным к тому же!) можно временно примириться с более слабым. Тем более после победы никто и ничто не помешает вновь расправиться с религией.

На наших глазах наши матери, проводившие своих мужей на фронт, становились набожными. Они читали молитвы и молились Богу, прося у него защиты для своих близких на фронте и для себя. Очень хорошо помню свою мать, которая каждую ночь, ложась спать, шептала молитву. Даже меня обучала читать молитвы.

Но вот пришла желанная победа, и жизнь постепенно приобретала свои прежние черты. Исчезали священники. Не знаю, как в других городах, но в нашем церковь превратили в пожарную часть и город остался без церкви. Если у кого-то возникала необходимость в священнике, то за ним можно было обратиться только в соседний городок Каинск. Это когда-то он был Каинск, а в советское время его переименовали в Куйбышев — в честь отбывавшего здесь не то ссылку, не то каторгу видного большевика В. Куйбышева. Он в то время был раза в четыре меньше Барабинска и удален от него на пятнадцать километров.

Я и мои сверстники сразу после войны пошли в школу. А в советской школе, как известно, религии не только не место, но она даже всячески изгоняется. И родители наши, под тяжестью ли новых забот, освободившись ли от переживаний военных лет, постепенно стали терять свою религиозность, хотя мы регулярно праздновали все религиозные праздники. И праздновались они не менее торжественно, чем официальные советские. Разница была в том, что если наши отцы-паровозники являлись на работу под хмельком или прогуливали совсем в праздник светлого Октября или Мая, то им почти прощалось. Во всяком случае, крупными неприятностями это не грозило. Но не дай бог, если рабочий прогулял, или опоздал, или явился под хмельком в праздник религиозный! Ему не миновать наказания вплоть до увольнения с работы.

А мы проходили через пионеры и комсомол. Постепенно религия, церковь, священник — все это становилось каким-то далеким прошлым, пережитком, заслуживавшим лишь презрения и насмешки.

«Религия — опиум для народа» — это определение К. Маркса вдалбливается каждому советскому человеку с пеленок.

Как-то так вышло, что атеиста из меня все же не получилось. Но не стал я и религиозным.

И этот мой, так сказать, нейтралитет говорит как раз в пользу религии. Ведь несмотря на оголтелый атеизм, которым проникнута вся наша действительность, у меня сохранилось уважение к религии и сочувствие к верующим.

Конечно, это можно приписать и обычному в таком случае противодействию действительности. Не может же нормальный человек хотя бы не сочувствовать избиваемому на глазах его. А с религией в нашей стране происходит именно это: ее избивают и не дают защищаться.

Человеку, с детства воспитанному в религиозном духе, легче остаться верующим, даже если он попадает в окружение атеистов. Гораздо труднее, когда человек вырос в таком окружении. Ему необходимы определенные обстоятельства, чтобы прийти к религии. Могу сказать о себе откровенно, что житейские хлопоты и суета повседневности как-то не дают возможности сосредоточиться и поразмышлять на эту тему. Всегда кажется, что житейские проблемы сегодня более важны, а религия и Бог могут подождать до более удобного случая.

И только смерть близкого или знакомого человека или даже вовсе незнакомого на какой-то миг вдруг что-то пошевелит в душе, как бы напоминая и заставляя задуматься о неизвестном.

Но вот с трудностями достал я себе две книжки детского Евангелия. И нашлось время заглянуть в них. И что же? У меня хватило интереса лишь на несколько страниц. А терпения не хватило дочитать и до середины первой книжки. В лагере мне попадало в руки и Евангелие для взрослых, но результат моей попытки прочитать его был не лучше. Похоже, что пишутся эти книжки для людей, в какой-то степени подготовленных и приобщенных к религии. А как быть таким, как я, кто не имеет никакой подготовки, кроме желания понять? Ведь основная масса населения состоит именно из таких. И если церковь действительно желает приобщать людей к религии, то она должна ориентироваться и на эту часть населения. А мне к тому же и неизвестно даже, может, есть и такая литература, которая доступна для понимания таких, как я. Но где ее взять? Отделение церкви от государства запрещает ей навязывать населению религию. А если я сам хочу иметь религиозную литературу? Я бы с интересом послушал и открытый диспут лектора-атеиста со священником. И все это помогло бы мне разобраться в этом вопросе. Но вместо этого я могу только посещать лекции в клубах

на атеистическую тему.

Но вернусь к крестинам своего сына.

Первоначально крестным отцом должен был быть Павел Литвинов. Но потом оказалось, что сам он некрещеный. Нам пришлось подыскивать другого. К этому времени мы близко познакомились с Владимиром Максимовым. Знали, что он верующий, и решили обратиться к нему с просьбой быть крестным отцом нашему Павлу. Из Тарусы созвонились с ним по телефону и получили согласие.

Такое же положение сложилось и с крестной матерью: выбрали Люду Алексееву, но она тоже не была крещеной. Горячо желала в крестные мачеха Ларисы, и мы, несмотря на то что желательно было бы иметь крестную помоложе, согласились с желанием Аллы Григорьевны. Не хотелось огорчать ее.

Володя Максимов с женой Таней, которую он называл не по имени, а обращался к ней «мать», появился у нас часа за два до отъезда в церковь, и это время они просидели с нами, слушая песни Аллы Григорьевны. Оказалось, что они были в одних и тех же местах под Норильском. Иосиф Аронович с Аллой Григорьевной там работали после лагеря до реабилитации. Володя работал там чуть позже и заведовал клубом в одном из поселков. У них нашлось, что вспомнить, а присутствующим было интересно их послушать.

Мне хочется побольше рассказать о В. Максимове не потому, что он крестный отец моего сына. Для меня он вполне укладывался в мою схему человека. Эта схема может быть изображена равносторонним треугольником, каждая вершина которого представляет собой одно из трех обязательных качеств: ум, порядочность и мужество. Людей, в ком сочетались бы все три эти качества, не так уж много.

Такими людьми, на мой взгляд, являются А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын и В.Е. Максимов.

Мне приятно сознавать, что люди, с которыми я сблизился в последние годы и которые стали моими друзьями, в основном этой же породы. Почти все они так или иначе причастны к движению сопротивления насилию и произволу властей. Это движение называют у нас демократическим, а людей, причастных к нему, — диссидентами. Правда, не каждый из моих друзей или знакомых согласится с тем, что его назовут диссидентом. Но я к этому еще вернусь позже. Сейчас же скажу несколько слов лишь о Максимове. Я с ним познакомился сначала, как и большинство людей моего круга, заочно. Он получил большую известность в середине 1960-х годов, когда вышел из печати его сборник рассказов «Шаги к горизонту». Я не ошибусь, сказав, что это было

заметное событие в литературной жизни нашего общества.

Этот сборник открыл для меня одного из тех немногих писателей нашего времени, после знакомства с творчеством которого читатель не пожалеет о потраченном времени.

Позже мне стала известна одна история из творческой жизни В. Максимова. Это история про то, как он опубликовал свой первый отрывок романа «Семь дней творения» в журнале «Октябрь». Публикация состоялась не без содействия КГБ. Это, кажется, единственный случай, когда КГБ сделал доброе дело. Они не предусмотрели конечного результата: автора не упрятали вовремя в лагерь, и страна получила настоящего писателя. Как мне известно, Максимов отдал свой отрывок в редакцию «Октября». А там, как это водится у нас, препроводили рукопись в КГБ. В КГБ же почему-то решили остаться в стороне от решения вопроса и поручили все решать редакции. Неизвестно мне, то ли редакция получила вместе с рукописью и указание «опубликовать», то ли просто получили намек на «добро». В то же время автора пригласили в КГБ на беседу. Володя явился на эту беседу с сидором с предметами первой необходимости для тюремной жизни. Узнав, что собеседник явился с сидором, гэбэшник дружески пожурил Максимова за его неправильное представление о сегодняшних органах безопасности.

И вскоре максимовский отрывок появился в «Октябре».

Личное же знакомство произошло у Максимова на квартире, в Бескудниково. В первый раз мы посетили его вместе с Ларисой, предварительно договорившись по телефону о встрече.

Когда мы ближе познакомились с Оттенами, то поинтересовались у них, как в свое время они добились издания своего литературного альманаха «Тарусские страницы». И узнали о том, что именно в этом альманахе и появился впервые В. Максимов как автор.

История самого альманаха сама по себе заслуживает того, чтобы быть рассказанной отдельно. Но не мне об этом рассказывать, когда живы и здоровы еще его непосредственные участники и авторы. Вернемся опять к крестинам.

В день крещения у нас собралось много народу. Пришли все тарусские друзья и приехали многие из Москвы. Кроме того, пришли и те из москвичей, кто в это время отдыхал в Тарусе. Набралось довольно много народу — даже огромная наша полуподвальная кухня-столовая с трудом вместила присутствующих.

Поскольку публика в основном была своя, то и атмосфера была соответствующей: никто не чувствовал себя гостем, и каждый принимал посильное участие в мероприятии. Желающих

поехать в церковь было много, но всем ехать было нельзя из-за отсутствия транспорта. Автобус ходил редко и был маленьким. Он и без нашей огромной компании всегда был переполнен до невозможности. Тем не менее компания собралась довольно большая, и мы почти все ехали стоя.

Я еще заранее разузнал, что до церкви нужно ехать сначала автобусом, а там еще от шоссе добираться пешком. Таруса — это райцентр, и будь церковь здесь, верующим удобнее было бы добираться к ней из окрестных сел. Кроме того, основная масса верующих живет здесь же. Тем не менее церкви в Тарусе нет — она находится в соседнем селе. Это тоже один из способов борьбы с религией.

Вот мы вышли из автобуса и, проводив его, остались в раздумье на дороге. Нашим автобусом верующие не ехали из Тарусы в церковь — они уехали самым ранним автобусом, чтобы не опоздать к службе. У каких-то теток, которые вышли вместе с нами, узнали, что нам теперь нужно идти налево, через пахоту. От тех же попутчиц мы услышали, что сейчас, после дождей, по пахоте пройти почти невозможно; лучше пройти немного обратно по дороге на Тарусу и, дойдя до речки, свернуть и идти вдоль берега. Но и сами женщины эти были неодинакового мнения о том, как лучше идти. Мы же решили разделиться на две партии и пошли: одни по пахоте, а другие вдоль берега.

Этот путь от шоссе до церкви нам всем запомнился навсегда. Те, кто шел по пахоте, увязали в густом месиве по икры, и иногда надо было разуваться, чтобы вытащить ноги. Те же, кто пошел вдоль берега, тоже не выгадали: местами попадали в непроходимое болото, приходилось подолгу кружить, обходя опасные места.

Несмотря на такой оборот дела, все мы с юмором относились к нашему путешествию. Вот только Аллу Григорьевну было жалко. Ей эта дорога была явно не по силам. И Саня почти тащил ее на себе всю дорогу.

Я с Пашкой на руках пошел берегом и где-то перешел речку вброд, рассчитывая, что на том берегу будет дорога лучше. Но я и тут не выиграл. Чтобы окончательно не застрять, я углубился дальше в лес и у самого выхода к селу встретил на берегу молодоженов с младенцем на руках. Это были тарусяне; позже, уже в Тарусе, они рассказали мне, что тоже ходили — тайком от своих родителей — крестить ребенка. От них я узнал, что служба в церкви уже кончилась и сейчас там как раз крестят младенцев.

На окраине села мы собрались все вместе и стали приводить себя понемногу в порядок, так как все сильно устали и были перепачканы грязью.

Сама церковь производила тягостное впечатление своей запущенностью. Священник, еще довольно молодой мужчина, выглядел каким-то перепуганным и подозрительно посматривающим на нашу компанию. Чувствовалось, что он опасается какого-нибудь подвоха с нашей стороны. Его необщительность производила неприятное впечатление.

Сама церковь стояла на очень красивом месте, прилегающая к ней территория представляла собой приятный зеленый уголок на фоне безжизненной и совершенно лишенной растительности деревенской улицы.

Крещение происходило в сторожке в левом углу территории церкви. Вся процедура заняла очень мало времени, и мы скоро двинулись в обратный путь.

На обратном пути к нам присоединилось несколько старушек и женщин пожилого возраста. Они тоже приехали сюда на богомолье из Тарусы. Благодаря им наш путь обратно был немного легче, так как они постоянно ходят по этой дороге и хорошо знают все места, по которым легче пройти в распутицу. От них мы почерпнули кое-какую информацию и о церкви, и о самом священнике. К нашему удивлению, постоянный священник здесь только что появился, а раньше сюда приезжал раз в месяц священник либо из Смоленска, либо из Брянска. Такова-то нынче церковь.

Мне кажется, виновата в этом сама церковь. Она слишком покорна властям и совершенно несамостоятельна. Ее отношение к населению, во всяком случае к той его части, которая стремится к ней, иначе и не назовешь, как предательским. Она не защищает ни своих прихожан, ни служителей. В своем стремлении выжить ценой безграничной покорности она теряет и авторитет, и уважение к себе. Вина за такое положение лежит не только на власти, но и в неменьшей степени на руководстве самой церкви.

Мне кажется, будь во главе нашей церкви сегодня такие люди, как польский кардинал Вышинский, положение ее не было бы таким позорным и беспомощным.

Остановиться более подробно на положении церкви в нашей стране мне не позволяет моя ограниченная информированность. Я делаю эти выводы только на основе личных наблюдений за довольно короткий отрезок времени. И взгляды, высказанные здесь, могут иметь погрешности и неточности.

Когда мы подошли обратно к шоссе, там уже собралось несколько человек в ожидании автобуса на Тарусу. Здесь были в основном богомолки. Мы вместе с ними просидели в ожидании часа два. Проехало несколько попутных машин, но они никого не взяли, хотя люди голосовали на дороге. Богомолки нам

объяснили, что никто и не возьмет, так как сегодня воскресенье, рабочих машин не будет, а проезжающее начальство на казенных «бобиках» даже не остановится, зная, что голосуют люди верующие и возвращающиеся из церкви. И мы в этом убедились скоро сами. Эти же богомолки посоветовали нам пройти немного подальше и голосовать в другом месте. Тогда нас могут не посчитать за посетителей церкви и подобрать. Кое-как мы усадили на один из проезжающих «бобиков» самую нуждающуюся в этом Аллу Григорьевну и Ларису с Павлом. Все остальные двинулись пешком. Шли мы порознь, мелкими компаниями, и голосовали в попытках сесть на проезжающие время от времени машины.

Помнится, что где-то посреди пути мы все же посадили нескольких наших женщин, в том числе и Елену Михайловну. Уже под самой Тарусой сел в машину и я со своей компанией. А на въезде в Тарусу мы обогнали у маслозавода крестного с супругой. Они спешили уехать последним автобусом в Москву, так как у Володи была назначена на поздний вечер деловая встреча. Мы очень сожалели, что они не смогут из-за этой передряги с дорогой посидеть с нами за торжественным столом.

Когда мы вернулись, то нам было что рассказать тем, кто оставался дома. Все были согласны с высказанным кем-то мнением, что эти крестины не забудутся нам уже одной дорогой в церковь.

Ответственным за приготовление стола у нас оставался Юрий Гастев. Я и раньше слышал от друзей о нем много комплиментов: повар-кулинар, каких поискать. Теперь я убедился в этом наглядно.

Мы с Ларисой навсегда остаемся ему благодарны за участие в торжестве и за хлопоты, которые он добровольно взял на себя.

На крестины мы пригласили мою мать, которая должна была приехать прямо на торжество. Наши друзья Юра с Мариной встретили ее в Москве и посадили на последний прямой автобус до Тарусы. Приехала она где-то часов около десяти вечера. Встречали мы ее с Саней и с Леной — дочерью Юры и Марины. Когда мы привели мать в дом, гости уже начинали расходиться, а виновник торжества спал в своей комнате наверху. Мы тогда просидели почти до утра с родными и с самыми близкими из друзей. Кое-кто из москвичей и ночевать остался у нас, дожидаясь первого утреннего автобуса.

Почти все это лето в Тарусе прожили Люда Алексеева с Колей Вильямсом. Они снимали комнату у той самой тети Кати, у которой прошлым летом жили Саня с Катей. Мы виделись тогда с ними ежедневно, так как оказались соседями; к тому же им в

город и на Оку ходить было гораздо ближе не по улице, а оврагами и через наш участок. Коля был заядлый грибник, и благодаря этому мы были в то лето обеспечены ежедневно грибами. Вечерами мы обычно собирались в нашем полуподвале и чаевничали. Встречи с этими людьми, как бы допоздна они ни затягивались, нам никогда не были в тягость. Не отягощало их даже то обстоятельство, что Люда отличалась чрезмерной разговорчивостью. Из всех моих знакомых я не могу назвать ни одного, кто бы мог хотя бы приблизительно сравняться с ней в этом отношении.

Коля с Людой были у нас свидетелями при оформлении брака. Этот эпизод стоит того, чтобы быть упомянутым поподробнее. Так как мы оба относились к оформлению брака как к чистой формальности и считали, что семейные узы не становятся крепче или слабее от того, оформлен брак или нет, то и дооттягивали с ним до рождения сына. Только тогда мы решили узаконить наш брак. У Павла должна была остаться фамилия Ларисы, то есть Богораз — отец Ларисы очень чувствительно переживал то обстоятельство, что его фамилия, такая редкая, обрывается на Ларисе. Ему очень хотелось передать свою фамилию дальше. Иосиф Аронович — человек исключительного такта, и ему было очень трудно заговорить со мной на эту тему. Он считал, по-видимому, что с моей стороны такой оборот дела не вызовет восторга. Но я-то как раз отношусь довольно небрежно к своей фамилии, и мне было безразлично, какую фамилию будет носить мой сын. Я его люблю, и это главное. Я и к имени относился почти так же: считал, что имя не должно быть редким и выделяться из ряда общеизвестных имен наших соотечественников. Меня всегда коробит, когда родители дают детям имена в погоне за сегодняшней модой, не думая о том, что с именем-то человеку жить не год и не два, а до конца дней своих. А вот мода меняется. Каково нынешним Тракторинам, Электринам, Сталинам?

Помню, сидел я весной 1961 года на пересылке в Тайшете по пути в мордовские лагеря. Там попала мне в руки областная газета с таким сообщением: на руднике в Бодайбо у одного горного мастера родились девочки-близнецы. И вот счастливые родители решили назвать их по именам героев кубинской революции — Раулиной и Фиделиной. Меня это действительно покоробило. Что это? Желание родителей выделиться и выделить своих детей? Демонстрация своей любви к братьям по духу? Можно объяснять это чем угодно, но только не видно здесь главного — заботы о будущем детей. В СССР было много героев, которым ставили памятники и чьими именами даже города

называли. Потом пришлось переименовывать города, ломать и свергать памятники. А что делать в таком случае с именем живого человека?

Мы договорились с Людой и Колей, что к назначенному часу съедемся к загсу. Благо что это рядом и с их домом, и с нашим: на Ленинском проспекте. Коля с Людой приехали вовремя, мы же немного опоздали, так что им пришлось нас подождать. Нам не с кем было оставить Павла, поэтому мы взяли его с собой — из-за этого и припозднились. Регистрация у нас была назначена на такой день, когда регистрируют людей немолодых, в большинстве случаев тех, кто не по первому разу регистрирует брак. Это бросалось в глаза уже в зале дома бракосочетаний: на стульях вдоль стен сидели люди среднего и пожилого возраста. Процедура не занимала много времени, и пары быстро, одна за другой, проходили ее. И вот настала наша очередь. Вышла женщина с красной лентой через плечо и, назвав нас по фамилиям, пригласила следовать за ней. Павел к этому времени был на руках у Люды, и мы так и направились: первыми мы с Ларисой, а за нами Коля с Людой и с Павлом.

Хотя женщина, руководившая в тот день процедурой регистрации браков, наверное, уже видела немало подобных случаев в своей практике, все же она как-то неуверенно обращалась к нам со своими обычными словами и вопросами, глядя на младенца за нашей спиной. Из всего сказанного ею в напутствие нам я запомнил только одно: «Пусть то чувство, которое привело вас сюда, сопровождает вас всю жизнь».

Если бы она знала, что привело нас к ней!

Главная причина нашего появления в загсе состояла в том, что мы рассчитывали, что авось мне разрешат прописаться к жене и мы сможем жить вместе. Так что это чувство нас действительно с тех пор так и не покидает — мы так и не можем воссоединиться семьей в Москве.

А в Тарусе меж тем меня снова стала донимать милиция с устройством на работу. Очень уж власти заботились, чтобы я, не дай бог, лишний день не просидел дома, очень хотелось, чтобы я ежедневно бегал и отдавал восемь часов государству. По закону, если я сам не устраиваюсь на работу, то меня, прежде чем привлечь к суду за тунеядство, должна трудоустроить милиция. Но я не хотел этого, так как опасался, что пристроят меня на какую-нибудь работу, которая меня не будет устраивать. Поэтому решил устроиться сам.

В конце концов я нашел себе место кочегара-истопника в ККПиБ (комбинат коммунальных предприятий и благоустройства).

Работа была не из легких. Дежурить приходилось сутки, а после дежурства отдыхать до следующего дежурства двое суток. Нас работало в кочегарке трое. На такой работе очень многое зависит от того, какие у тебя будут напарники: попадутся более или менее самостоятельные и не запойные, значит, регулярно будешь отдыхать двое суток, но если один хотя бы попадется непутевый, то замучаешься и не будешь знать ни покоя, ни отдыха. То один почему-то не вышел, то другой запил, то попал в милицию по пьянке на десять или на пятнадцать суток — а кочегарка должна работать без перерыва. Вот тебя и будут то упрашивать, а то и просто приказным порядком заставят работать лишний раз. Слава богу, мне на этот раз повезло, и хотя оба моих сменщика здорово поддавали и запивали горькую прямо на работе, но не прогуливали, а в пьяном виде начальство их от работы не отстраняло, лишь делало внушение.

Еще одно удобство при работе в таком маленьком коллективе: можно всегда договориться с любым из сменщиков поменяться дежурствами, если кому-либо из нас необходимо по личным делам остаться дома. Начальство обычно за этим не следило и смотрело на это сквозь пальцы: лишь бы грела система и кто-нибудь из кочегаров был при котлах.

Меня эта работа устраивала тем, что это было рядом с домом, буквально в пяти минутах. И второе немаловажное обстоятельство: я мог после каждого дежурства иметь свободными двое суток для своих дел.

Обычно работа уматывала под конец смены не тяжестью, а теми отвратительными условиями, в которых приходилось работать. Котельная наша была маленькой и отапливала лишь одно здание, в котором располагалась контора ККПиБ. Здание было двухэтажное, и в нем помимо конторы находилось еще несколько кабинетов других организаций: речной спасательной станции, ДОСААФ, Горгаза. Здание стояло в красивом месте, прямо на крутом берегу Оки, рядом с речным вокзалом. Прямо из двери и из окон котельной было хорошо видно Оку и противоположный берег с дорогой в Поленово. То и дело где-нибудь рядом пристраивались приезжие художники-москвичи и писали с натуры местные пейзажи. Ими тут можно было залюбоваться в любое время суток и года.

И как эта прелесть природы не вязалась с условиями работы, которые были созданы в котельной! Я проработал там весь отопительный сезон, и ни разу наш вентилятор, вделанный в сквозную нишу над дверью, не завертелся. Поначалу мы обращались по этому вопросу к начальству, но всегда был только один ответ: и до вас люди здесь работали, и ничего ни с кем не

случилось. Ответственный за технику безопасности соглашался с нами, что, действительно, так работать нельзя, но разводил руками: что поделаешь, в вентиляторе сгорел мотор, и уже два года не могут получить новый. Ремонтировать же этот у них здесь некому.

Даже когда в котельной не работает подача воздуха в топку, то и тогда в ней столько копоти и газа, что хрустит на зубах, першит в горле и ест глаза. То и дело выскакиваешь на улицу и стараешься вообще больше бывать на улице.

А когда включишь дутье, то и минуты не вытерпеть внутри: котельная моментально наполняется дымом, газом и пылью до такой степени, что в открытую настежь дверь дым валит так, будто там жгут костер из резины. После каждого включения дутья приходится долго-долго проветривать котельную, чтобы можно было туда войти. Особенно плохо было дело зимой в морозы. Выскакивать на улицу не больно-то приятно, но и сидеть в котельной тоже невозможно. В таких случаях мы отсиживались в кабинете у спасателей: он находился у нас за стенкой, и окна выходили в ту же сторону, что и наши окна и дверь. А гул от работавшего мотора для дутья был таким сильным, что сквозь стены можно было следить за работой в котельной по этому гулу или по валившему из двери дыму.

После смены в таких условиях не так-то быстро придешь в себя.

Платили же нам минимальную ставку — около 80 рублей в месяц.

Я за всю свою жизнь никогда не состоял в профсоюзе. И мне каждый раз на новом месте работы приходится объясняться по этому поводу. Вот и здесь меня тоже стали тащить в профсоюз, а я, как всегда, отказался. Обычно отказ от членства в этой так называемой рабочей организации вызывает удивление у окружающих: не сектант ли? Главный козырь и приманка здесь — оплата дней, пропущенных по болезни. Мне, как не состоящему в профсоюзе, оплачивают в таком случае лишь 25 % оклада, а члену профсоюза 90 и даже юо %. И поэтому, естественно, вызывает удивление поведение человека, отказывающегося от этого блага. Я же не вступаю в этот союз из принципиальных соображений: считаю его несамостоятельным придатком государственного аппарата, одним из рычагов, при помощи которых держат в повиновении рабочих.

В этом я убедился, пройдя через многие рабочие коллективы. Мне пришлось поработать и на комсомольских стройках 1950-х годов на строительстве крупнейших гидроэлектростанций и ГРЭС, в геологоразведке и на рудниках, на промышленных

предприятиях. И везде профсоюз лишь помогает держать рабочих в повиновении и бесправии. Наши профсоюзы никогда не противятся увеличению нормы выработки или снижению расценок, никогда они не противятся и повышению цен на продовольствие, никогда не протестуют против уже вошедших в норму так называемых субботников и воскресников, неоплачиваемой работы. Вся промышленность если и справляется с планом, то только за счет авралов и сверхурочных, которые тоже не оплачиваются.

* * *

Этой же осенью у меня началась тяжба с райисполкомом. Вопрос касался моей сливной помойной ямы. Здесь, в Тарусе, как и вообще везде в нашей стране, туалеты и помойные ямы устраиваются прямо во дворах домов. А поскольку Таруса-городок расположен на холмах и в оврагах, то это бытовое удобство часто принимает немыслимые формы. Например, у нашего соседа Лазарева туалет стоял на границе с нашим участком и на самом склоне оврага. Обычно все содержимое сливной ямы стекало через край и текло по дну оврага. Особенно это было невыносимо весной. Зловоние распространялось на большое расстояние и к тому же привлекало мух и способствовало их размножению в невиданном количестве. В местной аптеке не было никаких средств борьбы с ними, и нам оставалось лишь уничтожать их в своем доме вручную.

Я же, еще когда только задумал покупать эту половину дома, решил сделать современный санузел. В полуподвале поставил ванну, раковину и унитаз. Сливную яму сделал бетонную и довольно большой кубатуры с расчетом, чтобы раз в год или два подгонять к ней ассенизаторную машину и вывозить. Я предварительно узнал, что городские власти не обслуживают частников этими машинами, но можно было за деньги договориться с шофером. Яму я построил в таком месте, чтобы удобно было подъехать машине, на склоне оврага. Ранней зимой, когда снега еще не успело навалить, но осеннюю распутицу уже сковывает мороз, по дну оврага легко въехать во двор и подъехать к яме. К первой же зиме наш санузел отлично работал. И будь я не под микроскопом у властей, не имей они определенных целей в отношении меня и моей семьи, то это мое устройство вызвало бы только одобрение. Но, после моих открытых писем В. Брандту и К. Вальдхайму в защиту А. Амальрика, за неимением серьезных поводов меня решили издергать по мелочам. И начали с ямы.

Первым заявился ко мне домой районный санинспектор. Он сказал, что в санэпидемстанцию поступило заявление о том, что я построил сливную яму в овраге на городской территории и тем самым заражаю овраг и прилегающее пространство. Он попросил показать ему санузел и саму яму. Я показал все, что он хотел увидеть. Инспектор остался доволен осмотром и только удивлялся заявителю. Я его не тянул за язык, он сам одобрил все, что я сделал. Мы с ним дружелюбно расстались, и он мне сказал на прощание, что произошло недоразумение. А я грешил на соседа Лазарева, считая, что это он по своей злобности наклепал. После визита санэпи-деминспектора я успокоился, но примерно через месяц мне доставили по почте предписание ликвидировать сливную яму. Я стал ловить инспектора, но он умышленно увертывался от встреч, отделываясь различными отговорками и сваливая все дело на горисполком. Пока я пытался выяснить вопрос с инспектором, мне принесли уже постановление райисполкома о том, что на меня передали дело в суд.

А так как я не ликвидировал яму, то ко мне скоро нагрянула специальная комиссия в составе представителей райисполкома, ККПиБ и санэпидемстанции. Но того инспектора в ней не оказалось. И только от этой комиссии я добился, чтобы мне показали, кем же все-таки подписано первоначальное постановление. К своему удивлению, я узнал, что тем первым инспектором. Комиссия настаивала на ликвидации ямы. Грозили судом и тем, что по решению суда яму ликвидирует райисполком за мой счет.

— Если не засыплете яму, то мы пришлем сюда бригаду «декабристов» и они это сделают в два счета и за ваш счет.

Так мне ответил главный (и он же единственный!) архитектор Тарусы. Долго у меня с этим архитектором велась тяжба и по другим вопросам. Поэтому я поневоле узнал его биографию: еще недавно, до закрытия тарусского карьера, он работал там мастером участка. С закрытием же карьера получил назначение на должность районного архитектора. Когда он работал по специальности — до карьера или после, я так и не узнал. Да, может, ни то, ни другое и не было его специальностью. Такова уж наша система, что партия «все может» и «нет людей незаменимых». Партия назначает своих людей на ответственные посты не столько в интересах дела, сколько как верных надсмотрщиков. Таруса — очень маленький городок, тут легко проследить карьеру местного руководства.

На моих глазах члены партии меняли должности так: начальник типографии стал завгаром, а потом главным инженером ККПиБ; секретарь-машинистка райкома партии стала

начальником Горгаза (при наличии в горгазе двух специалистов, имеющих специальное образование!).

Главному архитектору и комиссии я показывал на доисторический сортир Лазарева и говорил:

— Вы что, предлагаете построить мне такой же сортир?

Но не получал ни согласия, ни отказа, а лишь заученное:

— Вы должны выполнить постановление и решение райисполкома.

— Чем вас не устраивает закрытая яма, построенная по всем санитарным правилам? Если она построена с нарушением этих правил, то укажите на них — я согласен их исправить.

— Исполняйте решение райисполкома.

Разговаривать было бесполезно, и я заявил, что ликвидировать нормальное сооружение взамен на лазаревский сортир не буду. Я согласен был ждать решения суда и исполнения его решения руками «декабристов».

Эта яма стоила мне времени и нервов: мне постоянно напоминали о ней, предупреждали и угрожали, то и дело кто-нибудь являлся или поступала очередная бумага с вызовом к кому-нибудь из руководства городом.

Через несколько месяцев после начала «дела» о яме городские власти начали против меня другое дело, которое тоже не имело никакой другой цели, кроме нервотрепки и траты времени. Дело в том, что, когда мы покупали дом, он стоял на участке размером около гектара. Такие участки вообще вещь немыслимая для частного домовладения в нашей стране. Но здесь был целый комплекс обстоятельств, позволивших иметь такой огромный участок.

Во-первых, Таруса — такое место, которое осталось в стороне от засилья промышленности; она не имеет прямого сообщения с Москвой (кроме летнего периода). Это уберегло ее от сильного роста. Буквально до последних трех-пяти лет там совсем не велось никакого строительства вообще и жилищного в том числе. Город целиком сохранил старый дореволюционный облик провинциального городка. Дома здесь в основном деревянные и уже ветхие. Очень много домов оригинальных и редких по своей ценности, памятников архитектуры прошлого века. В основном это дома зажиточных мещан и купечества. Центр целиком состоит из кирпичных домов; например, в бывшей церкви сейчас Дом пионеров. Здесь же районный банк в старинном и очень красивом здании. Так как место, на котором расположен город, — сплошные овраги, то усадебные участки тут не всегда пригодны для земледелия, и когда-то это давало право частникам иметь их размеры больше, чем принятые в стране шесть соток.

Но в последние годы Таруса стала местом отдыха дачников-москвичей. Дома стали скупаться под дачи, появилось много желающих купить дом в Тарусе. В наше время здесь стали понемногу строить жилье и различные здания для госучреждений. Прекратили выделять участки под строительство домов жителям. Все эти обстоятельства вздували цены не столько на сами дома, сколько на приусадебные участки. За последние два-три года цены подскочили в два раза.

Как я уже говорил раньше, последний участок под строительство городские власти отдали Футману в 1970 году. И тогда уже выдавали строго по норме, не более шести соток под дом.

Наш же участок особенный. Своими чрезмерными размерами он обязан еще тому обстоятельству, что дом когда-то, как я уже говорил, принадлежал заслуженному художнику В.В. Журавлеву. Занимая довольно высокое положение и пользуясь привилегией старого большевика и участника трех русских революций, он выхлопотал для себя разрешение властей на присоединение к своему участку прилегающих к нему с трех сторон лесных оврагов. Мне показывала ходатайство Союза художников Москвы Галя Георгиевна. В этом ходатайстве была просьба оставить овраги за Журавлевым еще и потому, что они способствуют его творчеству и все равно являются непригодными для другого использования местными властями. Все это учли, и ходатайство было удовлетворено.

Когда мы оформляли купчую на дом и прилегающий участок, то сначала и за нами автоматически сохранили весь участок. По документам, да и практически, нам досталось лишь немногим более четырех соток пригодной земли. У вторых хозяев ее оказалось немногим больше нашего, где-то около пяти соток. Так как на дом положено не более шести соток, то наш дом уже владел излишком земли. По закону ведь все равно, на скольких хозяев делится дом — на одного или на трех: все равно те же шесть соток на всех. Предпринимая ремонт дома и решая вопрос о строительстве подсобных построек на усадьбе, мы попросили в бюро инвентаризации определить нам границы нашего участка. Через какое-то время к нам явились две девушки и измерили весь участок. После своих расчетов они четко определили лишь границы с соседями и разделили участок на две части: нашу и наших совладельцев. Что касается непригодных оврагов, которые по старому плану входили в наше владение, то инвентаризаторы пояснили, что поскольку эти земли непригодны и практически их обособление не представляется удобным и даже возможным, то нам можно ими пользоваться как своими. Они пообещали в

скором времени дать нам и новый план участка с новыми границами. Они же попросили нас не снимать забора на протяжении всего участка, так как это оголит лесной массив и послужит тому, что на бесхозном диком участке появятся пьяницы и вообще он превратится в убежище для всякого отребья.

Мы же, имея такие разъяснения и имея на руках все тот же журавлевский план, перестраивали свой участок по своему усмотрению.

На наших пригодных четырех сотках стояли дом и старый огромный сарай — бывшая летняя мастерская художника, а до него — каретная. Я решил максимально использовать пригодную землю и перенести сарай на непригодную — на край оврага в глубине участка. Пришлось таскать гравий и воду для раствора и выводить столбы, так как один конец сарая должен был лежать на грунте, а другой как бы висеть над оврагом на высоких бетонных столбах. Когда фундамент был готов и я положил один ряд сруба, ко мне на участок снова пожаловали гости: комиссия из райисполкома. Она потребовала, чтобы я срочно прекратил перенос сарая и ликвидировал фундамент. Когда я попросил дать мне разъяснения по этому вопросу, то мне сказали, что я строю сарай за пределами своего участка и на городской территории. Попробовал я объяснить, как приходили девушки из райкомхоза и что они мне сказали, но меня и слушать не хотели. Пришлось показать им план участка. После ознакомления с ним комиссия на некоторое время замялась и не могла мне ничего вразумительного ответить. Под конец, уже уходя, архитектор повторил свое распоряжение: ничего больше не строить и ломать фундамент.

— Я разберусь с ними сам, — пообещал он, имея в виду райкомхоз.

Я вынужден был приостановить перенос сарая и стал сам торопить архитектора прояснить окончательно вопрос об участке. Но время шло, а я не получал ни от кого никакого ответа. Мне нужно было поторапливаться с переносом: надвигалась зима, и тогда перенос отложился бы до следующей весны или лета.

Мне же снова стали угрожать судом. Теперь уже за «захват» городской земли. Я срочно решил проконсультироваться по этому вопросу у юриста. В Тарусе его не было, пришлось обратиться в Серпухов. Юрист разъяснил нам с Ларисой, что правы мы, так как, пока нам не дали на руки нового плана участка, мы можем действовать согласно тому, который имеем. После этого я вновь встречался с архитектором Тарусы, но он ничего вразумительного не говорил, а все время ссылался на решение райисполкома и повторял, что он лично тут ни при чем.

В райисполкоме же все отсылали именно к нему. Я выматывался в этом заколдованном кругу. Позже мне стало известно, что местные власти часто так вымогают взятки. И люди, знающие эту внешнюю сторону моего конфликта с райисполкомом и архитектором, прямо советовали мне «подмазать» кого следует и таким образом уладить это дело.

Дело о «захвате» земли у города было в суде. Заодно же мне приписали и захват земли у города под сливную яму.

То обстоятельство, что у меня был план и я не вышел за границы этого плана, никого не интересовало. На мое требование дать мне новый план никто ничего не отвечал.

Когда я ломал сарай, произошла у меня еще одна встреча с соседом Лазаревым. На чердаке лежало старое сено, и я, начав разбирать сарай с чердака и крыши, стал в первую очередь освобождать чердак. Сено пришлось сбрасывать на землю. Мне сено было ни к чему, и я хотел предложить забрать его кому-нибудь, кто держит скотину. Лазарев увидел, как я сбрасываю сено, и прибежал с претензией, что это сено — его и что я не имею права его трогать. Любопытно было бы знать, сколько оно еще пролежало бы там, не сбрось я его по необходимости. И это при наших-то скверных с ним отношениях!

Тем же летом Лариса ранним утром прихватила его за порубкой деревьев на нашем участке. Понадеявшись на то, что было не больше пяти часов утра, и на то, что все спят, он рубил молодые березы на колья для своего забора. Лариса же вышла на улицу, услышав стук топора. Лазарев бежал от нее, оставив на месте заготовленные колья и прихватив лишь пилу и топор. Мы и раньше замечали, что кто-то очень грубо вырубал выборочно лес на участке, и подозревали Лазарева. Помимо того, он глубоко подрубил кору у всех тех деревьев на нашем участке, тень от которых мешала его огороду. Некоторые деревья просто засохли из-за этого.

А на следующую весну он был пойман еще на одном. Мы с осени засеяли склон холма перед домом до самой дороги травой вперемешку с полевыми цветами, и весной этот холм красиво выделялся своей свежестью. Мне было приятно выносить на него сынишку и отдыхать там вместе с ним. Но вот однажды утром мы вышли за калитку и обнаружили, что половину холмика кто-то выкосил, а траву унес сырой с собой. Мы снова подумали на нашего Лазарева, но претензий не предъявишь, если не поймал на месте. К тому же он отопрется, как всегда. Да и без него люди обкашивают около домов траву кто для козы, а кто для кроликов. Мог и такой обкосить нас. Но дня через два после этого наша совладелица по дому, Шура, прибежала с утра к нам и сказала,

что только что прихватила Лазарева с косой и что он выкашивал вторую половину холма. Она его прогнала и даже не дала собрать скошенную им траву. Правду в старину говорили люди: покупай не дом, а соседа. Этот тип попортил нам нервы прилично!

В начале ноября ранним утром к нам пожаловала большая компания: два майора, трое в штатском и с ними еще два знакомых мне тарусянина вместе с Лазаревым. Мне предъявили ордер на обыск. Ходатайствовал об обыске перед прокуратурой генерал московского КГБ Волков. Лазарев присутствовал тут в понятых. По этому торжественному случаю он и приоделся в старый мундир вояки, но без знаков отличия. По его манере держаться и по тому, как он подписывал все бумажки, нетрудно было догадаться, что наконец-то он при своем старом деле. Во всей его отталкивающей внешности так и проглядывало смершевско-гэбэшное рыло.

В ордере на обыск говорилось, что он связан с «делом № 24». Нам тогда уже было известно, что это дело по «Хронике текущих событий». КГБ уже не один год сбивается с ног в попытках ликвидировать этот независимый голос общественности.

Перед началом обыска мне было предложено сдать добровольно всю имеющуюся у меня в доме антисоветскую литературу. Попробовал я узнать у руководившего обыском майора, какая литература называется антисоветской. Но на этот вопрос у нас нет определенного ответа, нет ни точного критерия, ни определения. За всю историю советской власти у нас одни и те же вещи побывали и антисоветскими, и советскими.

Обыск проводили очень тщательно, забирали все — до единого клочка бумаги, на котором было что-нибудь написано от руки или отпечатано на машинке. Забирались все мои черновики, выписки из литературы и записные книжки. На наши протесты, что забирают вещи, никакого отношения не имеющие к «Хронике», нам отвечали: все будет проверено и то, что не имеет отношения к делу № 24, будет нам возвращено.

Забрали работу Ларисы по лингвистике, все ее записи, записные книжки.

Особенно тщательно просматривали книжки. Каждую перелистывали, осматривали корешок, проверяли переплет. Из понятых только Лазарев чувствовал себя на месте. Другие два были смущены и ощущали неловкость своего положения. Я раньше встречал их в Тарусе, но не был ни с кем знаком. После обыска в первые же дни я встретился с одним из них. Это был молодой парень лет тридцати. Он сам подошел ко мне на улице и стал извиняться за свое участие в качестве понятого. За несколько дней до обыска он по пьянке попал на пятнадцать суток в

милицию как «декабрист». В день обыска его вызвали из камеры и велели «сходить» вместе с «товарищами». Вот он и явился с этими «товарищами» ко мне на обыск. Встретившись со мной на улице после обыска, он не то в знак уважения ко мне, не то с целью загладить свою вину предложил свои услуги. Он был слесарь-водопроводчик и говорил, что если мне что-то потребуется по этой части, то он с удовольствием окажет мне услугу в любое время. На прощание он просил меня не обижаться на него.

А какая у меня могла быть на него обида?

После обеда мы обычно заворачивали Павла потеплее в шубу и укладывали его спать в сарае при открытом настежь окне. Видя, что обыску конца не видно, мы решили не менять режима ребенка. Понес я его в сарай в сопровождении майора. В сарае майор перерыл детскую постель. Вместо того чтоб проделать это как профессиональную обязанность, он не нашел другого, более приличного, предлога, чем желание посмотреть, не жестко ли спать ребенку. Главное, что эту неуклюжесть он даже и не пытался одеть в шутливую форму. Сказал — и проверил постель с серьезным видом.

При изъятии у нас книжки Солженицына «Август четырнадцатого» немного попререкались с майором, руководившим обыском. На наш вопрос, кем, когда и на каком основании это произведение признано антисоветским, он ничего внятного ответить не мог. Мямлил только, что книга не издана в СССР, а у нас изымают ее в машинописном виде. И высказал еще одну претензию: в ней оказались портреты императора и царских генералов времен Первой мировой войны.

Видя, что с книгой нам придется расстаться, мы с Ларисой сказали майору:

— Таким вот образом КГБ сам способствует размножению самиздата.

— Почему? — недоверчиво удивился майор.

— А потому, — разъяснили мы, — что эту книжку мы себе все равно отпечатаем, раз хотим ее иметь. А уж раз будем перепечатывать, то какая нам разница, в скольких экземплярах? Вы изъяли у нас один экземпляр, а мы сделаем не менее пяти. А ведь вы это делаете при каждом обыске.

Ничего нам не ответил майор. Да и что он мог ответить?

Ко времени написания этой книги, то есть к 1977 году, я пережил не один обыск в собственном доме, был свидетелем обысков у своих друзей, знаком по рассказам людей с подробностями обысков КГБ. У людей, подвергающихся обыску, как правило, забирают без разбора все записи, машинописные тексты или книги, изданные не в СССР. Забирают записные

книжки с адресами и телефонами знакомых и родных. В последнее время были факты открытого грабежа: изымали у людей во время обыска их собственные деньги, у пенсионеров — их пенсию, оставляя им три рубля.

И вот в нашей прессе то и дело читаешь о диссидентах: обнаружен тайник.

И уже одно это преподносится как доказательство если не преступления, то, во всяком случае, чего-то предосудительного и темного.

А ведь при таком произволе властей по отношению к своим подданным у человека нет уверенности ни в чем. Власти своими действиями лишают граждан их гражданских и человеческих прав.

Скажу лично про себя. Имею несколько тайников. Прячу в них свои черновики и выписки из различных источников, из классиков — как русских, так и зарубежных; там же храню свои записные книжки и литературу, которая не издана в СССР.

В какой еще стране человека вынуждают держать в тайнике свои записные книжки?

Конечно, мне могут на это возразить: не держи в тайнике, а держи открыто.

А если я не хочу, чтобы они попали в руки КГБ? Я не хочу, чтоб адреса, имена и телефоны моих знакомых перекочевали из моих записных книжек в досье. Не хочу, чтоб я был причиной неприятностей, которые могут обрушиться со стороны КГБ на моих знакомых за знакомство со мной.

Где еще сегодня человек может опасаться за содержимое своего письменного стола? Во всяком случае, ни в одной европейской стране или в Северной Америке. Вряд ли кому из писателей или общественных деятелей Запада придет в голову мысль прятать свои черновики или написанные произведения в тайнике.

Пусть задумаются над этим те деятели, которые завидуют нам и которые преподносят наши достижения в области «свобод» как образцы, за которые они призывают бороться своих соотечественников.

Беру на себя смелость заявить таким, что они либо заблуждаются, либо просто находятся на службе Кремля.

Под конец обыска нам заявили, что в числе изъятых вещей будет и пишущая машинка. Мы решили протестовать и во что бы то ни стало добиться, чтобы машинку не трогали и оставили дома.

На наши протесты майор стал заверять нас, что они проверят ее и после этого вернут нам. Но наш опыт нам подсказывал, что

машинку из КГБ мы уже не получим обратно. А если и получим, то не раньше, чем через год. И не отстоять бы нам машинки, так как никакие аргументы на майора не действовали.

К нашему счастью, машинку буквально за два дня до обыска я привез из московской мастерской. Там ее капитально отремонтировали и в числе прочего сменили весь шрифт. Я показал майору квитанцию из мастерской с перечнем ремонтных работ и с датой на квитанции двухдневной давности. Ясно было, что мы не успели чего-либо напечатать антисоветского за эти два дня, а что касается более раннего периода, то теперь и мастерская не сможет выдать КГБ наш старый шрифт от машинки. Поспорив еще порядочное время на эту тему, майор в конце концов согласился оставить машинку у нас, но велел предварительно снять образец шрифта и приобщить его к материалам обыска. Отпечатали мы ему весь алфавит, и машинка осталась у нас.

Спорил я и о законности изъятия своих черновиков, но бесполезно.

— Проверим и тогда будем решать, отдавать или нет, — отвечал майор.

В знак протеста против такого грабежа мы отказались подписывать протокол обыска. Да только что с этого толку!

Не прошло после обыска и месяца, как мне прислали повестку: явиться в Москву в КГБ, в Лефортовскую тюрьму.

Речь в основном шла об изъятых у меня бумагах. Так как я написал после обыска заявление Генеральному прокурору СССР с протестом против изъятия у меня бумаг, то здесь мне и ответили на это заявление. Беседующий со мной следователь КГБ в штатском заявил, что бумаги мне возвращены не будут, так как гэбэшная экспертиза дала заключение, что эти черновики могут быть использованы для написания антисоветских произведений.

Вот так-то, наши несчастные завистники, живущие под гнетом капитала. Я, хозяин записей, не знаю еще сам, что у меня выйдет из них и выйдет ли что-то вообще, а вот в КГБ уже все решили.

Сначала меня попробовали допросить по делу № 24 — о «Хронике». Но я сразу заявил, чтобы ни мне, ни им не тратить время даром, что давать какие-либо показания о «Хронике» я вообще отказываюсь, так как считаю действия властей против нее незаконными даже по нашим законам. Высказал я и свое отношение к «Хронике», которое состоит в следующем: считаю «Хронику» полезной и нужной в данное время для страны. Считаю ее дополнением к нашей официальной прессе, которая предпочитает или скрывать от народа некоторые события нашей внутренней жизни, или извращать их в угодном правительству

или КГБ виде. По моему настоянию все это и было записано в протоколе допроса. Большую же часть времени мы потратили на спор о том, законно или незаконно у меня, да и вообще на обысках, изымают все подряд. Под конец допроса следователь мне заявил, что сейчас со мной хочет поговорить официальный сотрудник КГБ.

Тут же появился этот самый сотрудник и стал выговаривать мне, что я неисправимый антисоветчик, что таких, как я, уже не перевоспитаешь. Наконец он дошел и до главного, ради чего и был затеян весь этот вызов на допрос. Он мне заявил, что сейчас мне будет зачитано и объявлено под расписку так называемое предостережение. И он подал мне специальный лист толстой гербовой бумаги, на котором типографским шрифтом было набрано это самое предостережение. Из прочитанного я узнал, что это специальный Указ ПВС СССР, который дает право следственным органам объявлять лицам, систематически занимающимся антиобщественной деятельностью, предостережение. В случае, если лицо, получившее такое предостережение, будет продолжать свою деятельность, то против него будет возбуждено уголовное дело, а данное предостережение тогда будет приобщено к делу в качестве отягчающего обстоятельства.

Сам указ этот был составлен безграмотно, несмотря на то что автор его — высшая законодательная инстанция. В нем прямо говорилось, что предостережение объявляется за деяния, не являющиеся уголовно наказуемыми, но вот если получивший за эти деяния предостережение будет продолжать эти (уголовно не наказуемые!) деяния, то он будет привлечен к уголовной ответственности. И все это за деяния уголовно не наказуемые! И вот я сцепился с этим объявителем от ГБ. Он мне еще ранее перечислил все мои антиобщественные деяния: книгу «Мои показания», письма в международные организации, в том числе К. Вальдхайму, мои подписи под коллективными письмами-протестами.

— Если мои деяния, перечисленные вами, служат основанием для объявления мне предостережения, то, значит, они уголовно ненаказуемы. Именно так сказано в Указе ПВС СССР об предостережениях. А раз так, то как я могу быть привлечен к уголовной ответственности за деяния, которые не являются уголовно наказуемыми?

— Вы систематически занимаетесь антиобщественной деятельностью, но до объявления вам данного предостережения она не являлась уголовно наказуемой. А вот теперь, после объявления вам предостережения, вы предупреждены, что эта

деятельность, если вы будете продолжать заниматься ею, будет уголовно наказуемой.

— Документ юридически составлен безграмотно. А вы его при этом еще и истолковываете по-своему. Такой документ должен быть составлен так, чтобы никто не мог его перетолковывать на свой лад.

В ответ на меня посыпались обвинения, что я слишком много на себя беру, оспаривая указ верховной власти.

— К тому же, на указе стоит пометка, что он секретный и опубликованию не подлежит. Поэтому я отказываюсь не только расписываться за его объявление мне, но и вообще считать его за документ.

— От того, что вы признаете или не признаете, ничего не изменится! И вы обязаны расписаться за объявление вам этого документа.

— А я считаю этот документ вашим самиздатом и подписывать его не буду.

— Да как ты смеешь… — и чин ГБ выскочил из-за стола и забегал в приступе ярости по кабинету.

Видно было, что, дай ему власть, и он стал бы поджаривать меня на медленном огне за сказанное в адрес родной власти.

— Что вы бегаете-то? — Меня даже рассмешила такая реакция гэбэшника. — Что вас так вывело из себя? И тем более не орите на меня и не тычьте.

Я не знаю отчего, но гэбэшник вернулся за стол и некоторое время сидел за ним молча. Молодой следователь, который перед тем вел допрос, с видимым интересом наблюдал за нашей перебранкой. За все то время, что мы были в кабинете втроем, он не проронил ни слова и сидел молча за своим столом.

— Хорошо, — снова заговорил, смирившись, гэбэшник, — не хотите расписываться, никто вас силой не заставляет. Запишем, что от подписи отказался, и все. А о том, что вам объявлено предостережение, будет сообщено немедленно прокурору области по месту вашего жительства. В случае ареста это и будет отягчающим обстоятельством.

С таким напутствием я и был выпровожен из Лефортово, на этот раз благополучно.

Я и тогда, и сейчас еще более уверен в том, что обыск был для того и затеян КГБ, чтобы было от чего отталкиваться в дальнейшем. Я так предположил сразу же по выходе из Лефортово. Все последующие события одно за другим подтверждали это.

Буквально через несколько дней после допроса один мой хороший знакомый передал мне, что ему специально звонил

высокопоставленный гэбэшник из московского КГБ и просил его передать мне, чтобы я уезжал из страны, и чем раньше, тем лучше. На вопрос моего знакомого, в чем дело, гэбэшник ответил, что мне грозит арест. «Результаты обыска дают все основания для привлечения Марченко к суду».

Конечно, это был шантаж. Дело не в обыске. И законно привлечь к суду только на основании материалов обыска КГБ не мог. Но я уже и на себе испытал, и насмотрелся на чужих примерах, что когда КГБ желает упрятать кого-то в концлагерь, то он редко предъявляет обвинение за действительно содеянное. Ныне у Кремля считается неудобным судить людей открыто за их убеждения или за критику и разоблачения властей. Вот и судят по ложным обвинениям: властям лишь бы убрать нежелательного человека.

С этих пор я постоянно получал через различных посредников предупреждения и угрозы от КГБ, и всегда смысл их был один и тот же: пусть уезжают. Даже интересовались, поедут ли с нами родители Ларисы, если мы согласимся на отъезд?

Вот еще парадокс: за десять лет до этого я пытался нелегально уйти за границу из опостылевшего отечества. Меня задержали на границе и потом дали закрытым судом шесть лет концлагерей за измену Родине. Спустя десять лет мне угрожают опять концлагерем, но, наоборот, если я не уеду из этого же отечества. Власть мымрецовых: тащить людей туда, куда они не желают, и не пускать туда, куда они хотят.

Этой же зимой произошло еще одно ЧП, которое достойно упоминания на этих страницах. С утра, как только я заступил на смену, ко мне зашел главный инженер ККПиБ Колесниченко и велел ни на минуту не выходить из котельной, так как, объяснил он мне, сейчас здесь будет проводиться собрание всех кочегаров ККПиБ. Я был немало удивлен этому. Еще бы не удивиться: для собрания не нашлось более подходящего места, чем старая вонючая кочегарка, к тому же работающая и часто наполняющаяся дымом. А рядом свободные помещения и на первом, и на втором этаже! Не успел Колесниченко от меня выйти, а на пороге уже стоит сам начальник ККПиБ Демченко. Он еще является замом председателя райисполкома, а когда тот отдыхает или болеет, то исполняет обязанности председателя. Так сказать, второе или третье лицо в городе.

И вот этот Демченко остается в моей газовой камере и сторожит меня. Потом приходит какой-то тип и называется не то инструктором, не то инспектором по технике безопасности. Он приехал «из области», то есть из Калуги, и будет проводить собрание. Они с Демченко по очереди выходят на свежий воздух,

а тем временем по городу собирают всех кочегаров, свободных от дежурств. Мне вся эта комедия сразу показалась подозрительной, и я гадал, что бы это все значило?

Когда стали подходить остальные кочегары, я спросил у некоторых, тех, кто работал здесь не первый год: часто ли бывают такие собрания в кочегарке?

Все сами были удивлены не меньше моего: такого они не помнят. Каждый приходящий, как только узнавал, зачем его вызвали, удивлялся, что их собирают в кочегарке, и предлагал собраться где-нибудь в кабинете. Но начальству «было виднее». Приезжий объяснял, что он хочет провести собрание на рабочем месте. Тогда работяги предложили пойти в соседнюю кочегарку, которая обогревала здание райкома КПСС и художественную галерею: там кочегарка более просторная, чище и имеет отдельное от котлов помещение. Но и этот аргумент успеха не имел: здесь удобнее, так как рядом контора.

Мне не стоило большого труда догадаться, что вся эта затея является прикрытием для проведения негласного обыска в моем доме. Лариса с сыном в Москве, и, когда я на дежурстве, дома никого нет.

Вырваться незаметно до конца собрания мне отсюда не удастся: во-первых, в присутствии начальства не оставишь котлы без присмотра, во-вторых, мне и не позволят отлучиться, если дома действительно агенты КГБ. Оставалось только дожидаться конца собрания.

Во время собрания к нам в кочегарку несколько раз заглядывал знакомый мне парень. Он не работал в ККПиБ, а был шофером и жил по соседству. Он многое знал обо мне и моей семье, и у меня с ним были хорошие отношения. Всякий раз, когда кто-то открывал дверь в кочегарку, на него сразу шипел кто-нибудь из начальства, стоявшего, как на посту, у самых дверей. Иногда сюда заглядывали и пьянчуги в поисках кружки или стакана — распить бутылку. Так что на эти визиты во время собрания я не обращал внимания.

Собрание затянулось до половины третьего. Когда оно окончилось и все стали расходиться, я вместе со всеми выскочил из кочегарки для проверки реакции начальства. Я бегом побежал на второй этаж. Но не успел я добежать до последней лестничной площадки, как за мной следом уже бежал сам Демченко и кричал: «Марченко, ты почему убежал от котлов? Давай быстро на место!»

Обратно я возвращался уже не спеша и переговаривался с начальником по поводу отлучки: кочегарка была плохо оборудована и даже не имела на котлах термометров: кочегары проверяли степень нагрева системы отопления на ощупь. Щупали

мы трубы руками в самой кочегарке и бегали таким же способом проверять систему в здании. Это все Демченко сам прекрасно знал. Поэтому на мой ответ он ничего не мог возразить, а только ответил, что, мол, если не будет греть система, то придут конторские и сами скажут об этом.

На эту же тему попререкались и с приезжим. Он мне начал повторять ту же историю, которую рассказал во время собрания и которую мы все и без него знали. Это несчастный случай, который произошел в котельной в Барятино. Там взорвался паровой котел в бане. Взрыв произошел от того, что кочегар оставил вместо себя у котла своего сына, а сам на время ушел. Сын не имел подготовки для работы на котлах и просмотрел уровень воды. Когда хватился, то воды в котле почти не было. Он не придумал ничего лучшего, как открыть кран и долить воды в перегретый котел. И котел взорвался. Разворотило всю баню, а часть котла выбросило далеко от бани. И это было бы еще ничего. Но в это время в Барятино приехали на уборку урожая из Калуги студенты, и их поселили в бане за неимением другого жилья. Взрыв произошел ранним утром, когда все были в сборе и спали. Одних только убитых было человек семнадцать. Еще больше людей покалечило.

Вообще в том году Тарусскому району везло на несчастные случаи. Так, было массовое отравление в соседнем совхозе. Бригадир летом привез в бригаду бидон воды для питья. Но в бидоне до этого хранились какие-то очень ядовитые химикалии. Бидон, не промыв и даже не ополоснув, наполнили водой и напоили бригаду. Большинство рабочих померли, отравившись. Сам бригадир повесился не то от страха перед ответственностью, не то от ужаса перед случившимся. И, как всегда, ни местная, ни тем более центральная печать об этом не заикнулась.

Последняя история напомнила мне случай из моих детских лет: на железной дороге, где я жил, дрезина на большой скорости наехала на отдыхающую бригаду путейных рабочих и многих зарезала. Тогда тоже водитель дрезины покончил с собой. И тоже мы об этом знали только из разговоров.

Или кто-то знает у нас о взрыве склада взрывчатки в Караганде в 1957 году?

После окончания собрания от меня еще не отходили часа полтора: по очереди дежурили со мной у котлов то Демченко, то приезжий.

Наконец, где-то около пяти часов, они ушли и я вырвался из кочегарки. Опасаясь быть обвиненным в нарушении трудовой дисциплины, я бегом прибежал домой и сразу же обнаружил, что кто-то в доме был. Я знал манеру КГБ устраивать негласные

обыски у инакомыслящих в отсутствие хозяев. К тому времени уже был широко известен случай с таким обыском на даче у Солженицына. Такое же было проделано в доме Павла Литвинова в Усуглях, где он отбывал ссылку. Литвинову впоследствии признался в этом сам участник этого негласного обыска и установления подслушивающего устройства в его доме.

У меня, когда я дом оставлял безлюдным, было несколько контрольных примочек. Одна из них вот какая: пластмассовая крышечка на замочной скважине наружной двери была отломана, и я ее приклеил, но очень слабо, с таким расчетом, что если этого не знаешь, то обязательно отломишь ее, когда станешь отодвигать, чтобы открыть замок. Чтобы ее не отломить, нужно было отодвигать ее, вращая за ось. Когда же я прибежал домой, то обнаружил эту крышечку валяющейся отломанной на полу. У двери в доме еще не просохли следы негласных посетителей. Были и другие признаки визита. Но ничего не было изъято, как, например, в Чуне в 1971 году.

Только я вернулся на рабочее место, а меня там уже поджидает упомянутый мной парень, который несколько раз заглядывал во время собрания. Он мне сказал, что около моего дома стояли две машины, а какие-то люди в штатском поднялись во двор моего дома. И он из-за этого-то и пытался несколько раз увидеть меня во время собрания.

В этой кочегарке я благополучно проработал до конца отопительного сезона, а по окончании его был вместе с остальными кочегарами уволен.

Я решил долго не оставаться без работы, чтобы не дразнить по пустякам своих шефов. Я был уверен, что поиски работы затянутся не на одну неделю и этого времени мне окажется достаточным, чтобы передохнуть.

Прошло около месяца, и меня по повестке вызывают в милицию. Зам. начальника РОВД ни с того ни с сего объявляет мне, что надо мной устанавливают гласный административный надзор милиции. Тарусская милиция ходатайствовала перед районным прокурором, и тот не отказал — подписал надзор сроком на один год. Чем же милиция мотивировала свое ходатайство и чем я это заслужил, чем успел провиниться перед обществом? В постановлении о надзоре я прочитал буквально вот что: Марченко, неоднократно судимый, освободившись из мест заключения, долгое время нигде не работает, ведет антиобщественный и паразитический образ жизни. Из мест заключения имеет отрицательную характеристику и на путь исправления не встал. А поскольку «встать на путь исправления» в нашей стране означает отказаться от собственного мнения, то я

могу с точностью вычислить, что мне до конца моих дней или, как говорят в лагере, до конца советской власти, суждено быть вечным зэком.

В связи с надзором на меня наложены следующие ограничения: я не имею права выезжать за пределы Тарусского района без специального письменного разрешения милиции, не имею права посещать кинотеатр ни в какое время суток, мне запрещено посещать ресторан и пивной бар, запрещено посещать территорию дома отдыха им. Куйбышева, расположенного в городе, нельзя выходить из дому с десяти часов вечера до шести часов утра.

Тут же зам. начальника объявил мне предупреждение, чтобы я устраивался на работу, и грозил привлечь к суду за тунеядство. Я увидел при ознакомлении с бумагами, что предупреждение о трудоустройстве подписано на два дня позже, чем ходатайство об установлении надзора. Это доказывало, что на милицию настолько торопливо нажимали, что не было возможности подождать пару дней, чтобы соблюсти хотя бы видимость законности. Ведь если говорить о тех поводах, которые были перечислены в качестве оснований для установления надзора, то лагерные отпадают сами собой, поскольку, хотя они и были липовыми, но я за них уже отбыл надзор в Чуне и с меня его сняли.

Если же говорить о послелагерных моих заслугах, то в постановлении о надзоре назван лишь паразитический и антиобщественный образ жизни. Паразитический — значит долго нигде не работаю. Я же не работал всего лишь дней сорок — не больше. Да это и не имело значения: ведь постановление о надзоре подписано перед предупреждением о трудоустройстве. Что касается антиобщественного образа жизни, то он состоял в том, что мной были написаны и переданы на Запад для опубликования открытые письма с критикой в адрес КПСС и советского правительства. Вот это и явилось причиной. А все остальное просто служит прикрытием — нужно сказать слова и навесить ярлыки, соответствующие подобранной для меня статье или Указу ПВС СССР.

Я отказался подписать постановление о надзоре, и тут же в дверях появился милиционер с двумя «декабристами», взятыми для такого случая прямо из камеры и приготовленными в качестве понятых. Они и подписали, что я отказался в их присутствии от подписи.

Сначала я хотел, в ответ на такой произвол властей, отказаться признавать надзор. Опротестовывать это законным порядком не имело смысла: у меня был опыт Чуны, и я знал уже

много случаев с другими людьми. Да и чувствовал я, что это только начало чего-то более существенного. Конечно, организаторы этой акции учли, что через два месяца у меня истекает срок, после которого мне уже вообще не имеют права учинить надзор, даже если с моей стороны и будут допущены настоящие проступки.

Форма административного надзора является лучшим способом удушения человека. На человека накладываются такие ограничения, что ничего не стоит сфабриковать или спровоцировать любое нарушение. За третье нарушение поднадзорный уже несет уголовную ответственность, и ему грозит до двух лет лагеря. Меня ставили под надзор, чтобы окончательно вымотать. И тут еще угрозы: пусть уезжает, а не то обратно поедет в лагерь. Как тут было не понять, что надзор для того и дают, чтобы сделать невыносимой жизнь и мою, и моей семьи и вынудить нас таким образом эмигрировать. Или посадить и тем самым избавиться хотя бы на некоторое время от беспокойного элемента.

Меня все же отговорили близкие не признавать надзор. И я принудил себя. Да, на первый взгляд, надзор этот не очень-то и задевал мою свободу: в ресторан я и так почти не ходил, в доме отдыха я так ни разу и не был за все время проживания в Тарусе, не выезжать за пределы района тоже можно, правда, семья моя иногда подолгу вынуждена проживать в Москве, и тогда мы должны будем жить врозь. Но мы к такому привыкли, и не я первый, не я последний живу на таких правах. С вечера до утра дома сидеть? Так мы и без надзора никуда по ночам не ходили.

И первое время у меня по поводу надзора не было конфликтов с милицией: ходил я отмечаться каждый понедельник в милицию, удостоверяя подписью свою рабскую покорность.

Одно вот неудобство, связанное с надзором, давало себя чувствовать ежедневно. Этим летом в Тарусу снова приехали родители Ларисы. Только на этот раз они поселились не у нас в доме, а устроились самостоятельно, сняли комнату через два дома от нас. Почти каждый вечер мы проводили у нас в столовой, вместе ужинали, допоздна пили чай и вообще приятно проводили время в общении. Родители Ларисы — люди преклонного возраста. В то время Иосифу Ароновичу было уже под восемьдесят, а Алле Григорьевне далеко за семьдесят. К тому же у Иосифа Ароновича постоянно болит нога, и он все время ходит с палочкой. А в Тарусе почти нет уличного освещения, улицы очень круты и в безобразном состоянии. В дождливую погоду и здоровый-то человек не всегда пройдет благополучно. Обычно мы с Ларисой их провожали от нас до их дома. Теперь же я мог

проводить престарелых людей лишь до своей калитки. Меня это основательно выводило из себя.

С работой у меня обошлось на этот раз все хорошо: устроился я сторожем-лодочником на турбазе «Митино», которая находилась на берегу Оки всего в нескольких километрах от Тарусы, по дороге в Серпухов. Добираться на работу можно было только автобусом или попутными машинами. Принадлежала турбаза одному из крупных подмосковных заводов. Работа моя заключалась в том, чтобы охранять находящиеся на берегу лодки и выдавать их напрокат отдыхающим. Конечно, работа очень легкая: весь день при хорошей погоде я раскатывал на лодке и купался сколько хотелось. Ночью же принимал по счету все лодки, привязывал их и караулил до прихода сменщика утром следующего дня. Но такая работа началась только с наступлением сезона купания на Оке, а до этого мы должны были готовить турбазу к лету: копали ямы под столбы и городили забор, носили гравий и песок, занимались планировкой площадок и прокладкой дорожек внутри базы, чистили и прибирали всю территорию базы. И все это за ставку сторожей, то есть за 60 рублей в месяц.

От Тарусы до Чуны

Предисловие автора

Выйдя в 1966 году из лагеря, я считал, что написать и предать гласности то, чему я был свидетелем, — это мой гражданский долг. Так появилась книга «Мои показания».

Потом я решился попытать свои силы в художественном жанре. В пермских лагерях (1968–1971) я задумал и спланировал повесть «Живи как все» — не о лагере вовсе, а о нонконформисте и его трагической судьбе. Я совершенно не могу судить об успешности или неуспешности моей попытки, так как черновые заготовки и наброски повести систематически поглощал Главный Архивариус — КГБ — во время тайных и явных обысков и в лагере, и на воле. Ради сохранности сбереженного от обысков черновика я не рискнул еще никому его показать. Поэтому пока единственными моими литературными экспертами стали работники КГБ, и вот их заключение: «…эти записи представляют собой черновики, которые могут послужить для написания антисоветских произведений».

Я не берусь за перо, ставя себе задачу написать «антисоветское» или «советское». Я пишу свое. Меня увлек мой замысел, судьба моего героя.

Тем временем моя собственная судьба рисует свой чертеж, и вот мне приходится отложить работу над повестью «Живи как все». Где-то я читал наставление: если ты стал свидетелем стихийного бедствия, иностранного вторжения, порабощения и т. п., то запиши все, что увидишь сам или услышишь от других, — это твой долг.

Снова долг заставляет меня свидетельствовать о том, что пока еще, по-моему, никто не рассказал, а мне довелось испытать на собственной шкуре. Так появился очерк «От Тарусы до Чуны».

Этот очерк — не дневниковая запись. Он написан уже в ссылке, по памяти. Поэтому кое-что, вероятно, упущено. Некоторые «боковые» эпизоды я опустил специально; может быть, когда-нибудь вернусь к ним. Многое осмысливалось мною уже теперь, после событий.

26 февраля 1975 года [41]

В милиции меня, как водится, обыскали. Изымать оказалось нечего: еще в декабре я отобрал для тюрьмы брюки поплоше, они сейчас были на мне, да теплый свитер, да телогрейка; с декабря же дома на вешалке висела авоська, а в ней пара белья, теплые носки и рукавицы, мыло, паста и зубная щетка — и все. Продукты мне не понадобятся. Взяли у меня только пустую авоську и выдали на нее квитанцию. Остальное — со мной в камеру.

Но еще раньше стали заполнять протокол. Я назвал себя, а на прочие вопросы отвечать отказался. Дать отпечатки пальцев тоже отказался. Расписаться в какой-то казенной бумаге — тоже. Я так решил заранее — не участвовать ни в каких их формальных процедурах: раз в отношении меня совершаются произвол и насилие, так пусть по крайней мере без моей помощи.

Понятой (с обыска) был настроен решительно:

— Все равно даст отпечатки, не добром, так силой. Заковать его в наручники, и катай!

Милиционеры в дежурке возмущались и удивлялись:

— Да мы тут при чем? К нам-то какие претензии?

Сколько раз я это уже слышал и сколько еще выслушаю!

Вот в дежурку вошел один из тех, кто еще недавно тоже был «ни при чем», — мой «надзор» Кузиков. Не он устанавливал надзор, при чем тут он? А велено было — и написал на меня ложный рапорт и на суде еще даст ложные показания. Ему за это, может, благодарность в приказе, а мне — лагерь… Кузиков остановился в двух шагах от меня, демонстративно вытащил из кармана маленький пистолет и… но я отвернулся и не видел, что он делал с пистолетом, только слышал, как он резко клацнул чем-то прямо над моим ухом. Вот дурак! Палец у него был в крови: пострадал герой во время «операции», когда силой волок нашу гостью в милицию. Гостью я тоже мельком увидел здесь, когда ее привели; мы едва успели кивнуть друг другу. Это, вероятно, моя последняя «вольная» встреча.

В камере я, слава богу, один. Привычная обстановка, будто и не жил на воле. Бросаю телогрейку на нары: «одно крылышко подстелю, другим укроюсь».

Но уснул я нескоро. Хуже нет в камере вспоминать о доме, но попробуй-ка не думать. Во все предыдущие аресты было куда легче, я тогда был один. А теперь, чуть закрываю глаза, так живо, как наяву, представляется: вот Пашка утречком проснулся, встал на ножки в своей кровати и раскачивает ее изо всех сил. Смеется, зовет меня; он и ночью, и утром только меня признает, мать спит

в другой комнате. Я же его и уложил вечером, укачал на руках, пока шел обыск. Так и чувствую вес детской головенки у себя на плече. Как-то там жена управится с малышом и с домашними хлопотами? Мы заранее договорились, чтоб она сразу уезжала из Тарусы в Москву, там ей помогут родные и друзья; но все равно трудно будет, конечно.

Думал и о том, что ждет меня завтра. В Тарусе, ясно, не оставят, да и суд могут назначить буквально через день, расследовать-то нечего, бумажки все уже давно готовы: нарушение № 1, нарушение № 2…

27 февраля

Утром меня разбудил грохот замка в двери. Почему-то все тюремные замки отпираются и запираются со страшным грохотом. Арестант-«декабрист», сопровождаемый дежурным по КПЗ, поставил на нары кружку кипятку и положил пайку хлеба:

— Завтрак.

— Я не принимаю пищи.

Объясняться с дежурным по этому поводу я не стал.

Часов около девяти меня снова подняли — на выход. В дежурке отдали мое имущество — авоську. Значит, увозят из Тарусы. Куда же? Из окна «воронка» (тарусский «воронок» — микроавтобус, без боксов, с окном в редкой решетке; в нем нас двое: я да милиционер, а в кабине с шофером еще один, везет портфель) — из окна хорошо видны были полюбившиеся мне старые улочки Тарусы, и я прощался с ними. Если поедем направо мимо автостанции — то в Серпухов или, может, в Москву; налево и вверх — дорога на Калугу. Ехать почти мимо дома, но его не видно за поворотом.

Машина повернула налево. Я чувствовал, уверен был, что Лариса где-то рядом. И даже не удивился, когда увидел ее. Она шла навстречу «воронку», мимо молочного магазина, и катила в саночках Пашку; его красная шубка, одна на всю Тарусу, заметна издали. Лариса тоже увидела «воронок», остановилась, напряженно всматриваясь. Машина поравнялась с ними, и я застучал в окно. Лариса взмахнула рукой, наклонилась что-то сказать Пашке и долго стояла, глядя вслед, пока «воронок» карабкался вверх по обледенелой улице.

Ну хоть будет знать, что в Тарусе меня уже нет. Съедемся ли мы снова все втроем? Когда? Где?

Знакомая дорога — за два с половиной года не раз по ней проехал. Последний раз совсем недавно, в конце января, когда вызывали в областной ОВИР: мол, оформляйте документы на выезд. А перед тем там же уговаривали и угрожали: подавайте в Израиль, не то вас ждут суд и лагерь. Так оно и вышло.

Вот Петрищево — здесь нам просто чудом удалось зацепиться после двух месяцев безуспешных поисков и попыток прописаться. Дальше Ферзиково — сюда к судье вызывали Гинзбурга, тоже по поводу надзорного нарушения. Может, и меня на суд? Нет, белая скульптура — лось — промелькнула в окне слева, мы едем дальше. Теперь уже точно — в Калугу.

За дорогу я еще раз обдумал выбранную заранее позицию неучастия ни в каких формальностях. Какого черта? И я сам, и те

«верхи», кто решил мою судьбу, и исполнители, приложившие к ней руку, — все мы знаем, что дело не в надзоре, что суд будет липовый, по ложным показаниям, что вообще посадили не за то — был, не был дома, а за то, что я, какой есть, не гожусь в этой стране, вечно я им поперек горла, а они мне. Так какого же черта мне вдруг стать послушным и шелковым теперь, за решеткой? Только из-за того, что не на виду, не среди друзей? С другой стороны, как это противно и унизительно — стычки по мелочам, стычки на каждом шагу, с надзирателем, тюремным чиновником, с любой мелкой сошкой; не с ними я воюю за себя, но — через них; главных-то я не увижу.

Приехали. Ну, сейчас начнется.

— Руки назад.

— Нет, не возьму.

— Подойди к столу, пальцы покатаем (то есть снимем отпечатки).

— Не дам.

— Что-о?! Кто тебя будет спрашивать — дашь, не дашь!

— Делайте сами, насильно. Я вам не помощник, а помешать постараюсь.

В комнате, куда меня привели для этой процедуры, было несколько человек: фотограф-зэк и трое надзирателей. Один из них, толстый и добродушный на вид старшина, только что неторопливо рассказывавший какую-то историю, опомнился первым (сначала все они казались ошарашенными моей наглостью):

— Ты, герой! Бока не ломаны? Умолять будешь… Закуем на всю железку, сам запросишься… Еще и этого понюхаешь, — и он сунул мне под нос огромный железный ключ (у него в руках была целая связка).

Меня просто поразило, как мгновенно он переменился. Только что добродушный и шутливый рассказчик, сейчас он налился кровью, вены на толстой шее вздулись, он даже вскочил со стула. Он буквально шипел от ненависти, дрожал от желания немедленно расправиться со мной. Что я ему сделал — оскорбил, обидел?

Остальные тоже возмущались и грозили. По телефону меж тем вызвали дежурного. Пришел молодой еще офицер, ему изложили ситуацию.

— Это еще что за фокусы? — обратился он ко мне.

— Не фокусы. Такая вот форма протеста.

— Протестуй на воле, а перед нами нечего. Нас ваши протесты не…бут. Будешь катать?

— Нет.

Офицер приказал мне повернуться спиной и подать руки. Я подчинился, и он стал неуклюже надевать мне наручники. Потом проверил, туго ли они затянулись. Тут подскочил старшина и стал затягивать сам. Между делом он осыпал меня отборным матом, бил ключом в спину, а под конец, разведя мои руки за спиной, подпрыгнул и ударил коленом по цепочке между наручниками. Это он на совесть заковывал меня. У меня потемнело в глазах, показалось, что руки вырывают из плеч. К тому же я не мог устоять от удара такой туши и упал бы, конечно, но мне не дали упасть заботливые руки надзирателей. Несколько сильных ударов под бока кулаками и ключом в спину:

— Стой смирно!

Когда я перестал шататься, прекратились и удары.

— Следуй за мной, — приказал офицер.

И мы пошли: впереди офицер, за ним я с закованными сзади руками, вплотную рядом со мной и сзади два надзирателя — сержант и толстяк-старшина. До лестницы меня не били, только страшно материли и угрожали. А на лестничной площадке снова сильный удар ключом в спину чуть не сбил меня, и я привалился к поручням. Офицер обернулся на шум — и внезапно резко ударил меня по ребрам, а второй раз — ниже живота. Вот так меня спустили по лестнице, а там поволокли по коридору, пиная сапогами по ногам, колотя кулаками и ключом под бока, по спине, по животу. В коридоре нам навстречу попался майор (заместитель начальника тюрьмы, узнал я потом). Майор посторонился и дал нам пройти.

Меня втолкнули в бокс, напоследок швырнув на цементный пол, — я еще и головой приложился. Вслед мне полетели телогрейка, шапка, носки.

Подняться с пола я не мог и даже не пытался переменить положение, так и лежал вниз лицом. Кисти рук я скоро совсем перестал ощущать, они онемели; но в плечах была страшная боль, я был уверен, что старшина выдернул мне правую руку из сустава. Потом я почувствовал и боль в ребрах (они болели еще недели две). Зато теперь моя позиция получила эмоциональное подкрепление: у меня появились «личные счеты» с моими тюремщиками.

Дверь открывается.

— Ну как, будем пальцы катать?

— Не поманивает.

— Ну, лежи, лежи.

На третий или четвертый раз после дежурного вопроса-ответа с меня, к моему удивлению и радости, сняли наручники. Но подняться я смог нескоро. Погодя переполз на телогрейку, а еще

отлежавшись, и сел. Ближе к вечеру любезность надзирателей разъяснилась: меня повели к следователю.

Следователь Дежурная. Наградит же бог фамилией по должности! А у одного известного следователя КГБ фамилия и того почище — Сыщиков.

Дежурная — следовательпа Тарусской прокуратуры. Ей лет тридцать пять — сорок, лицо усталое, всегда озабоченное, совершенно невыразительное, без проблеска интереса к чему бы то ни было. И голос тусклый, без интонаций. Видно, что ее работа для нее — утомительный источник зарплаты, и только. Вот приходится ездить к «подопечным» в Калугу, три часа в один конец, дорога — русская, тряская, домой вовремя не вернешься, а дома семья… Это все как вырезано на ее унылом лице. Да и подопечные ее не сахар, должно быть. И я среди них — из самых вредных: отнял и не вернул постановление на обыск, разговаривать отказываюсь, на вопросы не отвечаю, ни одну бумагу не подписываю. Но Дежурная не раздражается и не злится. Устало и равнодушно она что-то там сама пишет, произносит автоматически свои *дежурные* увещевания: «Ваша позиция вам только повредит… Вы нас не признаете — но это ничего не изменит… Марченко! Вы меня слышите?»

Какие, собственно, у меня к этой Дежурной претензии? Она спокойна (от равнодушия), неназойлива, в ее бормотание действительно можно не вслушиваться, сиди и отдыхай после бокса. Пожалеть про себя, что ли, эту усталую замороченную женщину?

Каждое слово, записанное ею в моем деле, было продиктовано ей сверху (вероятно, КГБ). Даже на запросы жены о моем состоянии она не отвечала сразу — бегала консультироваться. Даже самостоятельно отклонить ходатайство адвоката не решилась, в руки его не взяла, пока не получила инструкцию. Она-то отлично знала, что дело липовое, что показания Кузикова ложные. У нее был список свидетелей, опровергающих эти показания, — ни одного не допросила. Зато ей подсунули лжесвидетеля Трубицына, и его показания она аккуратно включила в дело. Ни одной бумажки, изъятой на обыске, к делу не приобщила, все, не раскрывая, не глядя, передала в КГБ — так сама и сказала. Нет, пожалуй, я был самым легким ее клиентом: ведь никакой ответственности, никакой личной инициативы, делай, что велят, и никто с тебя за это не спросит. А между прочим, чем она рисковала, если бы проявила элементарную служебную добросовестность? Стоит эта Дежурная на низшей ступеньке служебной лестницы, на следующую не метит. И мается не от тряских дорог, а от непосильного для нее

груза ответственности — не перед совестью, а перед начальством.

Не мне ее жалеть — руками этого ничтожества я оторван от семьи, от сына, брошен в тюрьму. Дальше меня подхватят другие такие же руки.

Меня поместили в роскошную камеру: тройник вместо общей, кровать вместо нар, постельные принадлежности — матрац, подушка, одеяло, наволочка, наматрасник. Тишина и покой. Два сокамерника от подъема до отбоя режутся в шахматы и домино, ко мне не вяжутся.

В тюрьме время скорей идет, если ходить по камере; на ходу лучше и думается. Но тройник тесный, ходить негде. Да скоро мне это стало и трудно, начались головокружения. Больше лежу, если есть что — читаю. Беда, что читать нечего. Из библиотеки выдают одну книжку на десять дней, значит, нам на камеру — три книги. И не выберешь, сунет библиотекарша в кормушку пять-шесть книжек, три мы себе оставим, остальные она заберет. Библиотекарша была вольная, сволочная баба, на просьбы дать выбрать или оставить лишнюю книжку отвечала примерно так: «Вас сюда не книжки читать посадили» или «Всем давать — не успеешь штаны надевать». Интересно, а что ответили бы высшие чины МВД — те, кто придумал это тюремное ограничение: одна книжка на десять дней!

Три койки в камере размещены так: одна против двери, у подоконной стенки, две другие вдоль боковых стен, между ними узкий проход, едва-едва разойтись. Напротив меня — мой тезка, Анатолий, мужик лет тридцати пяти — сорока, ленинградец (сам себя он называл не иначе, как питерцем: «мы, питерцы», «у нас в Питере»). Он уголовник, карманник, не без основания считает себя опытным лагерником: восемь судимостей! А я-то думал, что специальность карманника уже отмерла. Койку под окном занимает калужанин Игорь, он выдает себя за инженера, а может, и есть инженер, не берусь судить. В лагере он не бывал, а под судом, говорит, второй раз. В первый раз судили за то, что ударил милиционера (говорит, пьяного, а сам, мол, трезвый был). Осудили на два года, но сразу же амнистировали. Оказывается, у нас сейчас ежегодно объявляется специальная амнистия для малосрочников с обязательной отработкой назначенного срока на стройках народного хозяйства; одна такая амнистия была как раз при мне, в марте, и в Перми я попал в камеру этих «амнистированных» (их называют «химиками», потому что большинство едет на стройки Большой химии), они ехали на место, как и я, по этапу.

Сейчас Игорь сидит по обвинению в домашней краже: будто бы украл у родственницы триста рублей. Он утверждает, что не

виноват, но в его рассказах концы с концами не сходятся. А может, и так, что спьяну взял деньги, спьяну спрятал их в пачку сигарет (где они и нашлись), а сам ничего этого не помнит. Грозит Игорю максимум три года, скорей всего снова амнистируют и отправят «на химию».

Сокамерники — мужики в общежитии не вредные, а это главное.

Вот только одно…

Утром в кормушку подают три пайки хлеба. Одну мы каждый раз возвращаем, и ее уносят: в камере голодающий.

Но двое других принимают пищу.

Мои сокамерники завтракают в два приема. Первый завтрак — казенный черпак каши — съедает каждый у себя на койке. Примерно через час после этого устраивают второй завтрак из своих харчей. У питерца продукты из ларька, калужанин Игорь к этому получает еще и передачи. Едят они вместе, делятся.

Единственную в камере табуретку ставят в проходе между двумя койками, моей и питерца. Тезка сидит у себя, а Игорь устраивается на моей койке, прямо около подушки (я в это время лежу на своем месте — некуда отойти, не на что сесть). На табуретке, буквально у меня под носом, раскладывают сало, колбасу, печенье, сахар и прочую дозволенную снедь. Чаевничают не торопясь, с трепом.

Еще демонстративнее они ужинают. Часов около пяти надзиратель забирает из камеры чайник — и мои сокамерники сразу же «накрывают стол» к чаю. Снова перед моим носом на табуретке раскладывают харчи, а сами они в ожидании кипятка болтают или слушают радио. Чайник с кипятком возвращается в камеру минут через сорок, а то и через час, и тогда снова начинается долгое чаепитие.

Часа через два после этого приносят казенный ужин — по миске супа. Часто мои сокамерники выливают суп в унитаз: не голодны. Зато перед самым отбоем снова пьют чай с «домашненьким», ритуал тот же.

Притом соседи не забывали и обо мне. Поначалу приглашали меня к своему столу (тезка, тертый лагерник, излагал свои взгляды на голодовку: пустая затея, с этим «они» сейчас не считаются, а себя угробишь). Поскольку я от приглашений отказывался, они перестали приставать. Зато стали втягивать меня в свои разговоры за чаем. Я не замечал у них ни малейшего смущения, никакой неловкости из-за того, что рядом с ними голодающий, а они тут же жрут сало и печенье (после суда, в другой камере, сосед вел себя совсем иначе: старался есть, когда я сплю или читаю; видно было, что созданная администрацией

обстановка ему больше в тягость, чем мне).

Так вот, что это было: издевательство? Нарочно им велено было дразнить мой аппетит? Жестокий способ сорвать голодовку? Или же этим типам, моим соседям, все было, по-лагерному, «до лампочки»? Может, и так. А все равно полагается содержать голодающих отдельно, и обычно их хоть не сразу, но изолируют. Надо сказать, если был расчет сорвать голодовку или хоть поиздеваться, то он провалился. (А был, наверное. Даже раз прокурор закинул удочку: «Ваша жена жалуется, что вас, голодающего, держат вместе с другими. Анатолий Тихонович, вас что, раздражает, когда они едят?» — вопрос на втором месяце голодовки!) Ни вид, ни запах пищи, ни чавканье жующих ртов не возбуждали у меня чувства голода. Все пятьдесят четыре дня голодовки мне не хотелось есть, и я ни разу не глотал слюнки, глядя на поедаемые рядом сало или печенье. К моему удивлению, сокамерники вообще не вызывали у меня раздражения — ни бесконечными шахматами, ни дурацкими пустыми разговорами, ни демонстративной жратвой. Раньше бывало иначе, и я теперь думал: видно, старость на подходе, вот я и стал терпимее. Но вскоре после того, как я снял голодовку, я заметил, что меня, как и в былые времена, сокамерники нередко раздражают.

Только однажды я позавидовал еде моих соседей: на обед ко второму им дали по соленому огурцу. Не то чтоб они возбудили у меня аппетит, чтоб мне вообще захотелось есть, нет, вот именно огурца захотелось. Казалось, я слышу, как зубы соседей с хрустом прокусывают кожицу; я ощущал во рту намек на вкус соленого огурца, его аромат, и это дразнило меня невероятно. Но слюну глотать и тут не пришлось: ее просто не было. Рот сводило от сухости, губы потрескались, и я с них скусывал или снимал пальцами полоски сухой кожи. Часто пил — утром, даже нехотя, несколько глотков воды непременно.

А огурцы, видно, были неважные, мои сокамерники их и есть не стали: откусили по разу, и огурцы полетели в урну. У них часто и куски хлеба отправлялись туда же. Интересно: нарочно, мне напоказ? Может, в обед кинут пару кусков, а утром, опорожняя урну, проверяют: все ли на месте? Но, честное слово, есть не хотелось — ни в первые три, ни в первые пять дней (приходилось слышать, что они самые трудные), ни в последнюю неделю, ни в последний день голодовки.

Вообще я не могу сказать, что в какой-то период голодовки мои ощущения были особыми, иными, чем в предыдущие или последующие дни. Я не замечал никакой разницы между началом голодовки и ее серединой, хоть это очевидная чушь: первый-то день какая же голодовка? Наверное, каждому случалось не есть и

по дню, и по два. Слабость накапливается постепенно и прибывает незаметно день ото дня, так что сегодня чувствуешь себя так же, как вчера, завтра — как сегодня. Конечно, у разных людей ощущения будут разные, может, кто-то другой точнее фиксирует изменения в своем состоянии и сумел бы определить переломные точки. Я же делю свою голодовку на три этапа по чисто внешним приметам: первый — восемь дней до начала насильственного кормления; второй — тридцать семь дней, когда мне насильно вводили пищу; третий — последние восемь дней голодовки, в этапе, вновь без какого-либо питания.

4 марта

Начальник тюрьмы. Калужская тюрьма, в которую меня посадили, называется совсем не «тюрьма», а СИЗО — следственный изолятор № 1. Название голубиное, но, конечно, тюрьма как тюрьма — с боксами, зарешеченными окнами в «намордниках» и всем прочим, что в тюрьме полагается. Однако не без примет века НТР и дизайна: массивные ворота раздвигаются нажатием кнопки, особенно радикально переоборудована комната для свиданий: она перегорожена и разгорожена на клетки сплошным листовым стеклом, кабины снабжены переговорными устройствами (небось, и с подслушивающим аппаратом? Не валютой ли за все это плачено? Или уже сами научились?). Незабываемо сильное впечатление: когда из переговорной трубки до тебя вместо родного голоса доносится какое-то кваканье, чувствуешь себя прямо-таки в светлом будущем.

Проводник всех этих тюремных новшеств — конечно же, сам начальник. Это заметно уже на подступах к его кабинету: вместо унылой серо-бурой масляной краски стены лестничной клетки выложены декоративным кафелем без какой-либо казенной симметрии, а как в современном молодежном кафе. Кабинет выглядит более строго: полированные панели темного дерева, большие светлые окна, слева от письменного стола мигает разноцветными огоньками пульт управления с телефонными трубками и микрофонами. Хозяин кабинета — моложавый майор, гладко причесанный, свежевыбритый, в меру плотный, в меру деловитый, в меру любезный. На лацкане его кителя голубой вузовский ромбик (может, академия МВД, может, юридический институт, а может, и университет, я не знаю).

Надзиратель, который привел меня, испарился, и в кабинете остались двое: з/к Марченко и начальник тюрьмы.

Я не просился к нему на прием, он сам меня вызвал — сейчас узнаю зачем. Впрочем, я был намерен держаться в соответствии с избранной позицией, то есть не отвечать на вопросы, не вступать в беседу. Но это не получилось. Майор сразу же взял тон беседы «на равных», свободной беседы людей, отстаивающих каждый свою точку зрения, — и я не устоял, вступил в дискуссию, прекрасно понимая ее бессмысленность. Собеседник казался таким искренним и к тому же так живо сочувствовал мне, готов был понять меня. А в ответ, конечно, ожидалось мое понимание, уважение — и соответствующее мое поведение; но это ожидание не било в нос, не перло наружу. Майор излагал мне свою систему

взглядов, из которой само собой логически выводилось, что я веду себя неразумно и неправильно, что в моем положении есть другие пути и выходы.

Конечно, это дикость — не пустить человека встретить мать, навестить ребенка; этому нет оправдания. Он сам, мой собеседник, поступил бы на моем месте так же, как я.

— В такой огромной и многонациональной стране, как наша, неудивительны случаи нарушения законности. Но согласитесь, Анатолий Тихонович, это же исключения! Очень редкие! И с ними борьба идет — через печать, через органы контроля.

Вот, оказывается, чем мне надо заняться: писать, писать, жаловаться во все инстанции — законность восторжествует, если, конечно, дело обстоит так, как я рассказываю. Зачем же на дикость отвечать дикостью, самоистязанием?..

Я вглядывался в собеседника — в выражении его лица, в его тоне не было видно фальши, лицемерия, корыстного расчета. Передо мной сидел честный советский человек, верящий и знающий, что с произволом в нашей стране покончено навсегда. Вот он, начальник тюрьмы, может оставаться самим собой — честным, порядочным, интеллигентным, и все обстоятельства этому содействуют, а не мешают. Сама служба такая, что прежде всего требует честности…

— Анатолий Тихонович, с вами, видимо, допущена ошибка, но ваша неправильная позиция ее лишь усугубляет, а можно исправить.

Ведь не докажешь, что ошибки как раз нет, что задумана и осуществлена расправа, и закон тут — только дырявая ширма, где через дырки просвечивают руки, дергающие за ниточки кукол-исполнителей. Кому же и на кого жаловаться?

— По-вашему, Анатолий Тихонович, так вы один порядочный и принципиальный человек, а остальные двести сорок миллионов — все трусливые марионетки? Но это неправда! У меня, например, один наивысший приказ — закон, а наш закон не противоречит самой человечной морали, наоборот. — Он перебирает на столе брошюры, инструкции, как бы демонстрируя мне абсолютную регламентированность своего поведения.

Хоть я и не собирался жаловаться, но тут снова не удержался:

— Ладно, не будем обсуждать сами законы. Но вот меня тут у вас избили — это вроде бы не разрешено вашими правилами. И не за буйство, не за драку… Неподчинение распоряжениям, кажется, должно наказываться иначе? А то — вот я вам не доложился, войдя, а вы бы меня за это в морду. А «Правила» висят на стенке в камере и никак меня от такого произвола не ограждают.

Начальник тюрьмы не закричал: «Это ложь!» Он и не спешил с показным возмущением: «Да как они посмели!» Он деловито записал, когда избили, за что и как.

— Но я не хочу никакого расследования, никакого возмездия. Это не жалоба, я сказал для примера…

— Нет, нет! Мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Сегодня же я проверю, и, если все подтвердится, виновные будут наказаны. (Это толстый старшина подтвердит, что бил меня ключом? Офицер сознается? И, между прочим, непохоже, чтобы для повстречавшегося нам майора эта сценка была в диковинку.)

Вот спрашивается: какого черта я вступаю в такие беседы? Ведь я знаю: искренним или фальшивым выглядит собеседник, тактичен он или хам, заводится с пол-оборота или проявляет терпимость, — все равно все это ложь, ложь и лицемерие. Сегодня он со мной через стол беседует, а завтра — прикажут — накидает полный карцер таких, как я, своими руками передушит (а иной, держа нос по ветру, и без приказа проявит инициативу снизу). Вот именно «система взглядов», не сформированная самостоятельно, а заправленная в человека в готовом виде, превращает его в автомат: сменят пластинку — и на выходе получают другие поступки. О чем же с ним спорить? А главное, ничего себе разговор «на равных» — тюремщика и арестанта! Но в эти полтора-два часа я не чувствую разницы положений — неужели покупаюсь на это мнимое равенство?

Ну а он, этот майор? Вызвал меня по поводу голодовки и дактилоскопии, а занесло куда: и про законность, и про эмиграцию, и в психологию ударился… Ведь не надеялся же он таким вот образом сразу обратить меня в свою веру, образумить. Думаю, что нет, он же не дурак. Наш разговор мог быть коротким, но этот деловой и, наверное, занятой человек битых два часа со мной языком трепал. Может, ему поговорить не с кем? Между прочим, какие у него могут быть знакомые? Коллеги? Но среди них столько тупиц, с кем только водку пить, а не разговаривать. А со стороны знакомые — представляю себе: «Это Люсин муж, он (шепотом) начальник тюрьмы…» Вряд ли калужская интеллигенция обрадуется такой компании. Значит, знакомые только из «своих». Но перед ними что же речи толкать про законность, смешно даже.

Вероятно, я для него вроде боксерской груши: отточить аргументацию, а может, и самоутвердиться.

Но, может, и я втягиваюсь в дискуссию по той же причине? Лариса потом говорила мне, что этот майор с первого раза был ей отвратителен, что уже от порога понесло на нее показухой и фальшью. А я-то после этой «дружеской» беседы почти поверил,

что видел белую ворону, и в моей стройной картине мироздания (с основным тезисом «на собачьей должности — собака») чуть было не образовалась брешь. Но пришлось арестанту Марченко и начальнику тюрьмы общаться и на формально-деловой почве…

7 марта

Медицина. Я был голодающий, и это обеспечило мне тесные контакты с медперсоналом во все время пребывания в Калуге. До начала насильственного кормления меня несколько раз вызывали в медкабинет, осматривали, мерили давление, температуру. За сорок пять дней несколько раз брали кровь на анализ. Я в медчасть не обращался (кроме одного раза, незадолго до суда), но от обследования не отказывался. Я только сказал врачу, что не буду сообщать о своем состоянии, связанном с голодовкой; если надо — пусть сами исследуют, сами применяют свои меры.

Врач, немолодая, приятная в обращении женщина, была возмущена: «Медицина никакого отношения не имеет к вашим неприятностям, мы здесь затем, чтобы помогать людям, ваш протест в данном случае направлен не по адресу».

— Да я и не имею ничего ни против медицины, ни против вас лично.

— Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь от контактов с нами?

Этого я не мог объяснить; не знаю, сумею ли сейчас вразумительно объяснить свое поведение. Оно, действительно, никак не было связано с моим отношением к медицине, даже тюремной.

Голодовка — так голодовка. Я отказываюсь принимать пищу, так и насильственное кормление будет действительно насильственным, добровольно я для этого из камеры не выйду.

И вот на меня надевают снова наручники и волокут (без битья) в медкабинет. Там врач, сестры, со мной вошли четыре надзирателя и офицер. Кабинет — такая же камера-тройник — полон народу. Все убеждают меня просто выпить питательную смесь:

— Все голодающие у нас так делают, отказываются от шланга. Голодовка все равно считается. Зачем вы нас вынуждаете применять силу?

Весь этот спектакль каждый раз вызывал у меня дурацкое ощущение. Я никак не мог определить для себя, где, в какой точке мой отказ от добровольного подчинения перестает быть протестом, становится просто ослиным упрямством («хохол упрямый» — говорит обо мне жена).

Вот на девятый день голодовки мне предлагают «по-хорошему» выпить пайку голодающего (да ведь насколько это легче! все равно же загонят через шланг). Нет, не выпью. Меня корпусной каждый день уговаривает взять пайку, так уж лучше

сдаться и снять голодовку, чем пить из кастрюльки питательную смесь.

Пойдешь сам принимать искусственное питание? Иди «по-хорошему»! Не пойдешь — потащат. Не выпьешь смесь — вольют через шланг. Не откроешь сам рот — разомкнут расширителем.

Я отказываюсь от пищи, этим я поставил под вопрос свое здоровье, а может, и жизнь. Как же, зачем же я смирнехонько и с готовностью открою рот для шланга со смесью? Конечно, я знаю, всех голодающих кормят. Но согласиться с этим для себя я не мог. Раз уж решил голодать, то на кой черт мне вообще любая кормежка?

Вот я и сопротивлялся как мог. Но ведь я был абсолютно уверен, что со мной здесь справятся.

Потом идут вообще какие-то дурацкие мелочи: добровольно сядешь на стул или чтоб тебя пригвоздили к нему чужие руки? Пустяк, да? Мне и в этом противно было подчиниться. И подвергаться насилию тоже противно.

Вот ты уже брошен на стул. Восемь или десять рук тебя буквально сжали тисками, нет, не тисками, а мощными щупальцами скрутили, опутали твое слабое тело. Открой рот! Не то его сейчас вскроют, как консервную банку.

Я отказался. Тогда сзади кто-то, охватив меня локтем за шею, стал сжимать ее, еще чьи-то руки с силой нажимают на щеки, кто-то ладонью закрывает ноздри и задирает нос вверх.

Слава богу, врач велит освободить мне шею. Подступают с роторасширителем. (Концы его, мне видно, обмотаны бинтом — чтоб не оцарапать губы, десны. В Ашхабаде обходились без этого!) Нос зажат — придется же мне когда-нибудь открыть рот, чтобы вдохнуть воздух. Разжав губы, втягиваю глоток воздуха через стиснутые зубы. Сразу же по ним забегал расширитель, отыскивая щелку. Давят на зубы, на десны — больно!

— Марченко, откройте рот, зачем вы доводите всех нас до озлобления?!

Роторасширитель кочует из рук надзирателя в руки врача. В конце концов его откладывают. Конечно, могли бы забить его в рот, но с риском покрошить зубы. А предстоит суд. Или, может, мои зубы пожалели?

— Будем вводить пищу через нос.

За волосы задирают мне голову вверх, приводят ее в покойное положение, фиксируют. Я по-прежнему весь скован так, что не могу шевельнуться. Врач довольно легко вводит мне в левую ноздрю тоненький катетер, и через него огромным шприцем вгоняют питательную смесь. Вогнали несколько шприцев. Слава богу, кормление кончено. Меня отпустили. Но

раньше чем отправить в камеру, велели полежать на топчане. Нет, не для того, чтобы отдышался, а чтобы не вызвал в камере рвоту. Тут уж меня не мучили проблемы: ложиться добровольно или нет? Лег.

На другой день кормежки не было, и я радовался: авось это истязание будет не ежедневно. Но зря радовался. Просто 8 марта медчасть, видно, вся отдыхала — праздник. А с девятого стали кормить каждый день. Теперь уже и не пытались кормить через рот, а сразу заталкивали шланг в ноздрю. Не тот, что в первый раз, а втрое, вчетверо толще. Когда с ним подошли ко мне, у меня глаза на лоб полезли; я и потом не мог сам себе поверить, чтобы такая толстая кишка могла войти в человеческую ноздрю. Когда шланг проник в носовую полость и его стали проталкивать в носоглотку, мне казалось, я чувствую, как он раздвигает хрящи, причиняя страшную боль. Не знаю, смазали ли его хоть вазелином (в дальнейшем когда смазывали, а когда нет — какая сестра), но по носовой полости и носоглотке будто наждаком прошлись или рашпилем. Боль была невыносимой, слезы текли ручьем, и я не мог их удержать. Смесь теперь не загоняли шприцем, а вливали через воронку, мне было видно ее через стекло: бордовая, довольно густая. Она убывает медленно, а из кастрюли еще подливают. Когда это кончится?! Иногда, видимо, попадались комки, они застревали в шланге, и сестра начинала подергивать шланг, чтобы их вытрясти: то чуть вытащит, то снова засунет глубже. Адская боль! А если это не помогает, то шланг слегка подтягивают и пальцами прогоняют по нему смесь, выжимая застрявшие сгустки.

И потом снова такая же боль, когда вытаскивают. И позывы на рвоту. Подо ртом держат полотенце, чтобы, если вырвет, не залило бы всех вокруг.

Когда эта процедура оканчивалась, я ободрялся, в хорошем настроении возвращался в камеру: до следующей кормежки целых двадцать четыре часа! А в камере скоро начинал отсчитывать часы до следующей пытки. С какого-то раза я перестал сопротивляться, когда меня вели в медкабинет, шел сам, сам садился на стул, не противился самой процедуре, и мою голову держали лишь потому, что иначе невозможно. Подчинился неизбежности пытки. Но пищу мне вводили только шлангом через нос.

Кроме искусственного питания мне пытались делать уколы, а я сопротивлялся и этому. Дважды врач предлагала мне уколы (внутривенно и подкожно, вероятно, глюкозу и что-нибудь для поддержания сердца; арестанту ведь не говорят, что ему назначают, какие таблетки дают), и оба раза я отказывался. И

тогда повторялось то же, что и с кормежкой: надевали наручники, заламывали руки, выворачивали ноги, давили пальцами за ушами, чтобы я ослабил от боли сопротивление. Я же противился изо всех сил и, пригвожденный к топчану в полной неподвижности, передергивал кожей и мышцами, чтобы не дать ввести иглу. В последний раз, за день до отправки, кончилось тем, что на меня надели какой-то особый наручник. Он сразу сжал мне запястье так, что руку от пальцев до плеча свело судорогой, как от удара током. Кажется, на секунду я потерял сознание. Внутривенное вливание так и не сделали, а подкожное, наверное, сделали, я не знаю, не чувствовал. После этого от боли в руке я не мог ночью спать, ни лежа, ни на ногах не мог найти удобное для руки положение, чтобы она не ныла. До сих пор руки ноют в плечах постоянно, а пальцы немеют; это мешает мне работать. И все ради того, чтобы не дать сделать укол!

— Как это дико! — негодовала врачиха. — Мы вам жизнь спасаем, а вы до чего нас всех доводите!

Я, пожалуй, согласен, что вел себя по-дикарски, по-варварски. Что оставалось делать врачу? Только применить насилие. Сколько-то времени голодающий продержится без поддержки, но рано или поздно, если не снимет голодовку, то непременно умрет. Я держал в тюрьме голодовку сорок пять дней — так меня же кормили! Эта самая врачиха меня мучила, сама мучилась, а кормила! В этапе, без поддержки, я через восемь дней снял голодовку. А не то умер бы, но умереть можно и менее мучительным, более быстрым способом.

Конечно, я сам заставил применять к себе силу. Я, правда, не могу поверить, что нужно было такое насилие, такая мера мучительства (притягивать затылок к спине, пока в глазах не потемнеет; или — одна рука прикована к стулу наручником, другая сзади перекинута через спинку стула, пропущена под ней изнутри, и надзиратель вытягивает ее за кисть кверху, одновременно заламывая назад, чуть не узлом завязывает; боль адская, а зачем?). Пусть надзиратели теряют чувство меры, зверея от моего сопротивления; и я озлобляюсь. Но за этим наблюдает майор — заместитель начальника тюрьмы. И врач.

Не верю, что четыре-пять здоровенных надзирателей не могут справиться со мной (уже порядком истощенным и слабым), не применяя пыток. Делают же уколы барахтающимся и вырывающимся пятилеткам — обычно одна сестра с этим справляется, не доводя ребенка до шока. Я не ребенок, но четыре мужика могли бы меня удержать полминутки.

Но врач тоже может озлобиться, и не мне быть в претензии, раз я сам ее до этого довел. В итоге-то — она же оказывала мне

помощь, выполняла свой профессиональный долг…

Хорошо. А как обстоит дело с врачебным долгом, когда она отправляет голодающего в этап? На сорок пятый день голодовки в общий этап! «Какой ты голодающий! — сказал мне офицер в одной этапной тюрьме. — Тут что-то не так. Был бы голодающий — тебя если б уж этапировали, так в сопровождении фельдшера или медсестры». Больше месяца меня швыряли из вагонзака в общую камеру (ни сесть, ни лечь; медсестры не дозовешься) и обратно. И в такую дорогу врач отправляет голодающего! В ее воле, в ее полной власти было запретить этапирование общим порядком. Нет: «хочет — пусть подыхает»; так что же она мне голову морочила своими причитаниями о гуманной профессии! «Мы вам жизнь спасаем» — да, чтобы ты не у нас подох. Для этого насильно заливали еду — чтобы успеть столкнуть в этап даже без пометки о голодовке. Уколом с этим проклятым «шоковым» наручником жизнь спасали? Как бы не так: себя страховали, чтобы в случае моей смерти на этапе оправдаться бумажками: давление было в норме, сердечная деятельность в норме, кровь хорошая…

«Как это дико!» — да, дико; а вы хотели бы, чтобы все выглядело приличненько, культурненько: гуманный врач, благодарный арестант, — а под конец пихнуть меня под зад коленкой к могиле?

Настоящая голодовка — вообще дикость, варварство, как и всякое самоистязание. Мирно проходит кормление или с боем, по правилам науки или без — все равно дикость. Решаешься на это, когда чувствуешь, что ничего другого тебе не остается.

Я отсчитывал день за днем, размышляя, сколько же будет тянуться следствие. Собственно, следствие замерло. Дежурная не появлялась, я отсиживал просто так. Было абсолютно ясно, что, во-первых, расследовать в моем деле нечего, во-вторых, не Дежурная им занимается (раз уж она даже не знает, что изъяла на обыске) — то есть не расследованием, а подбором бумажек для предстоящего спектакля. Но сколько же на это надо времени? От силы несколько дней, а идут недели. Значит, что-то со мной не решено еще. А вдруг решится не наихудшим образом — но как? У меня мелькало предположение о ссылке, но я не мог себе представить, какие же мотивы выдвинут для «смягчения» приговора такому закоренелому преступнику, как я: пятая судимость! И кто эти мотивы подкинет суду? Не я — еще не хватало! Адвоката у меня, я заранее решил, не будет. Кому же может быть уготована эта роль? В общем, предположение о ссылке я отверг.

А может, наоборот, вместо нарушения надзора мне предъявят

что-то посерьезнее, как обещали в КГБ. Тогда следствие придется считать не неделями — месяцами. А срок — многими годами.

Между тем тюремное начальство обо мне не забывало. Задушевных бесед больше не было, а просто настаивали, чтобы я снял голодовку: голодовка у нас вообще «не считается» (то есть с ней не считаются; это я и сам знаю), она есть грубейшее нарушение режима, и только. В одну эту дудку на разные голоса дудели и начальник тюрьмы, и прокурор, и врач, и мой сокамерник.

Силы убывали незаметно для меня самого. Постоянно кружилась голова (но это было и до голодовки — из-за отита). Начались кишечные кровотечения (тоже случались и раньше; авось пройдут). Трудно стало ходить, особенно по лестнице.

Как-то я заметил, что кожа на теле зудит как бы от укусов. Почесываюсь. Зудит! Как лягу на постель — зудит! Сначала я и мысли худой не допускал: вши или клопы — и автоматика, керамика, пульт управления… Быть не может. Но — зудит! Лезу в наматрасник, ищу — она, голубушка, тюремная вошь. Есть такое суеверие, что вши сами собой заводятся, когда смерть близко. Неужто я уж так дошел, сам того не заметив?

— Игорь, смотри…

— Что, вошь? Да их тут полно в постелях. Во всех камерах.

Все же вызываем сестру, говорим ей. Она нисколько не удивилась. Правда, тут же нас повели в баню, все барахло в прожарку, постели забрали, выдали другие. Приходим из бани. Ложусь — зудит! Вошь! Что за черт, и прожарка не берет!

— Ну да, не берет! — говорит Игорь. — Просто вошь теперь хитрая, зачем ей в прожарку лезть? Она в каптерке отсиживается, пока мы в бане моемся. Проведет передислокацию со сданных одеял на свежие — и снова в камеру, в родной дом. Это же давешние знакомые, не узнаешь в лицо?..

В конце месяца мое «дело» закончено.

Вот это да! В него включены материалы из КГБ: предостережение, цитируются передачи западного радио, донос петрищевского лесничего подшит. И все это к нарушению надзора! Тем лучше, я смогу оперировать не догадками, а фактами, что дело не милицейское, а гэбэшное. Я решил в судебном разбирательстве не участвовать, но последнее слово скажу. Главное в нем будет, что этот суд — расправа за мои взгляды, за выступления; и о рабстве, крепостничестве в СССР. Материалов для этого хватает в самом «деле».

Я потому и от защитника решил отказаться, чтобы это меня не сковывало в последнем слове. Конечно, для судей это облегчение: защитника не будет, сам не защищаюсь — бей

лежачего! Мы с Ларисой загодя договорились обоим ходатайствовать, чтобы ей защищать меня на суде. Если бы разрешили, судьям можно не позавидовать. У нее логика бронебойная, так что от кое-как сляпанных юридических декораций остались бы одни клочья. Но ведь не допустят ее, в этом можно не сомневаться. Может, стоило бы все-таки пригласить адвоката? А, все равно — исход предрешен, нечего людей втравливать в неприятности.

Вскоре мне вручили обвинительное заключение. Обычно, как просветили меня сокамерники, одновременно сообщают, когда будет суд. Мне же почему-то не сказали. Думаю, что скоро. И я начинаю готовиться. Хотя что готовиться? Готовлю последнее слово, а чтоб не отобрали, пишу на обороте казенного обвинительного заключения. Его отнять не имеют права.

31 марта

Утром меня вызывают из камеры. Надзиратель велит надеть телогрейку — значит, на улицу. Куда же — снова к начальнику? Может, в тюремную больницу? Или на психэкспертизу повезут? «На суд!» — мелькает в уме, и я быстренько собираю свои записи, кладу в карман обвиниловку. «Никаких бумаг!» — командует надзиратель и, выхватив у меня из кармана листки, швыряет их на кровать.

По дороге пробую узнать, куда же меня ведут.

— Не разговаривать!

Надзиратели сдают меня милицейскому конвою. Эти велят раздеться догола, просматривают, прощупывают всю одежду, отбирают все бумажки, какие еще там есть, и с записями, и пустые.

— Куда везете?

— Не разговаривать! Привезем — увидишь.

Конечно, на суд. Вот гады — мало что не предупредили, еще и все бумаги отобрали. Даже обвинительное заключение, а я-то, дурак, рассчитывал: «не имеют права»…

Может, от тряски в «воронке», или от волнения, или же от злости — закололо сердце и слабость охватила, начало знобить. Когда выгрузили из «воронка», я еле на ногах держался.

— Руки назад!

Я не подчинился, и меня моментально заковали в наручники. Так и привели в зал, идиоты! А здесь хотели снять наручники потихоньку, за барьером — вряд ли их кто заметил, пока вели. Но я нарочно поднял руки выше барьера: уж коли заковываете, так публики нечего стесняться, пусть знают, как нашего брата водят.

Мне пришлось сразу сесть: ноги не держали. Обернувшись, я стал рассматривать публику. Много знакомых, друзей из Москвы, улыбаются мне. Как приятно их видеть! Я никак не думал, что столько народу приедет. Ведь от Москвы до Калуги ехать около четырех часов, когда же им пришлось из дома выйти? И несколько человек из Тарусы в зале. Лариса здесь, а с кем Пашка? Наверное, с Иосифом Ароновичем — достается деду хлопот из-за меня…

Но вот: «Суд идет, прошу встать!» Я не встал.

Спектакль начался. Не буду его описывать. Я видел самиздатский сборник об этом суде «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»; по-моему, там все подробно и точно рассказано, добавить мне нечего. Поэтому я попытаюсь передать лишь свои ощущения на суде. Они связаны с

избранной мною позицией неучастия в разбирательстве.

Я давно уже слышал от юристов, что подсудимому трудно удержаться на этой точке и мало кто удерживается. Это правда, что трудно: несут о тебе всякую чушь, а ты молчишь. Вот моя начальница сообщает, будто бы я сказал ей: «Может, и поеду в Москву на праздники». А я сказал ей другое: «Успокойте милицию, никуда не поеду, буду в Тарусе». Так и подмывает напомнить ей, да она и сама, конечно, помнит. Но на стандартное предложение судьи задать вопросы свидетелю я повторяю, что отказываюсь участвовать в суде.

Вот тарусский милиционер Кузиков заявляет, что видел, как я уезжал из Тарусы автобусом; врет, врет, даже глаза отводит. Я бы его спросил… Мысленно уличаю Кузикова, а вслух снова говорю судье: «Не участвую».

Московский участковый Трубицын со своей карикатурной квадратной рожей, с глазами навыкате сплел целую повесть: «В таком-то часу провел инструктаж… Попил чайку… Поздравил Марченко с праздником…» Врет, врет, поздравил бы он, как же! Да его от одного моего взгляда в сторону сносило, он моей жене жаловался: «Что это ваш муж на меня волком смотрит?» Я оборачиваюсь, переглядываюсь с Ларисой. Она, наверное, как и я, вспоминает сейчас наш спор о Трубицыне. Она меня упрекала, что зря я в каждом чиновнике вижу врага, что Трубицын мужик добродушный, дурного не делает, до пенсии дорабатывает, без особого рвения выполняет свои милицейские функции. Я же стоял на своем: этот добродушный пучеглазый толстяк — прикажут, и всех нас троих живьем в землю зароет. Вот, пожалуйста, полюбуйся: щеки надувает, красуется, а ведь знает, что его ложь обойдется мне в два лагерных года… Лариса смущенно мне улыбается: мол, ты был прав.

— Не участвую.

Но как же трудно не участвовать, когда они один за другим выходят и лгут! Их легко уличить, я потребовал бы вызова свидетелей, пять человек покажут, что я не…

Что «не»?

Не ехал тогда в автобусе! Позвольте, а если б ехал? Пытался его угнать? Поджег Тарусу и сбежал? Бросил свой ответственный пост? Наконец, сел в автобус без билета? Да нет же, только это: «Сел в автобус и поехал».

Что там такое врет про меня Трубицын, главный свидетель обвинения? «Видел, как Марченко с женой и ребенком гулял во дворе… Открывал дверь своей квартиры…»

Не гулял! *Не* входил в свой дом! А если б входил?!

Что я, украл ребенка, меня судят за киднеппинг? Вломился в

чужое жилье с целью грабежа? Или же буянил, сквернословил во дворе? Может, хоть пьян был в светлый праздник Октября?

Нет, гулял со своим ребенком, входил в свою квартиру — и это весь криминал. Потолок.

Что же они не подучили Трубицына соврать чуть больше? Ну пусть я матом его покрыл, что ли!

А зачем? Этого *«нэ трэба»*, сказанного довольно. Гулял со своим ребенком, вошел к себе в дом — этого довольно, чтобы уже месяц держать меня в тюрьме, водить в наручниках. Месяц следователь докапывается (предположим, что ведется следствие), было ли совершено это страшное преступление. Из-за этого я тридцать три дня голодаю. Из-за этого старик-тесть мается с двухлетним внуком в присудебном скверике: что дадут? может, скинут? Из-за этого двадцать моих друзей сидят в калужском суде — он и во сне им не снился! — с лицами, сведенными болью за меня. Вот сейчас это же обстоятельство как главный состав преступления обеспечит мне два года за проволокой! — А не води сына за ручку! Там не погуляешь!

И как особая милость, нежданная, с неба свалившаяся, — четыре года ссылки в Сибирь.

Четыре года ссылки в Сибирь — за то, что сего числа гулял со своим ребенком во дворе своего дома.

К тому же этого не было.

— Послушайте, это же сумасшедший дом!

— Нет, — ответствует Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. — Таков один из наших традиционных национальных обрядов.

Ваших обрядов! *Вашей* нации — советских коммунистов! *Не моей!*

«Я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном эмигрировать в США. Я продолжаю голодовку…» (мое последнее слово).

Суд и две поездки в «воронке» — туда и обратно — вымотали меня совершенно. Оказывается, сил осталось меньше, чем я думал. А предстоит этап! Как же меня будут этапировать? Раскошелятся на спецконвой? Или поместят в больницу, пока не сниму голодовку? Тогда бог весть на сколько отодвинется встреча с семьей.

На суде меня просто обожгло заявление Татьяны Сергеевны[42] о голодовке солидарности. Сам мучаюсь, да еще втянул в тот же водоворот другого человека. Я понимал ее отчаянный порыв, но не мог с ним согласиться: разве можно связывать друг друга круговой порукой? Что же мне теперь делать? (Через дней десять мне передали очень теплое,

трогательное письмо от Татьяны Сергеевны. Она писала: «Не думайте, ради бога, что вся причина только в Вашем поведении. Отнюдь нет… Поймите и безвыходность моего положения, как я понимаю безвыходность Вашего. Не сердитесь и не переживайте за меня…» Успокоило меня вот это место: «Как только Вы тронетесь в путь… я эту ситуацию изменю», — значит, снимет голодовку и, надо надеяться, скоро. Слава богу, теперь я мог независимо, сам определять свои сроки.)

Ведя меня на кормежку, надзиратель сказал:

— Что же ты голодовку не снимаешь? Ведь ссылка!

Снятия голодовки ждали и все остальные: добился же ссылки. Тюремщики, видимо, этому изумлялись. Ведь голодовка «не считается», голодовка есть нарушение режима, а вот же добился человек скидки, и какой! Ему бы по судимости и по строптивости *в полосатики,* а вместо этого ссылка! «На свободу едешь».

Но как же на самом деле быть теперь с голодовкой? Сил уже мало, и вроде бы исчерпался ее смысл.

Обычно голодовка объявляется в поддержку какого-либо требования. Она как бы подчеркивает важность и серьезность этого требования, готовность добиваться его любой ценой, ценой жизни. Ее пытаются держать вплоть до удовлетворения требования, но у нас это практически безнадежно, и все это знают. Хорошо, если удастся добиться чисто символического компромисса, и то редкость. Так что голодовкой скорее надеются привлечь внимание к проблеме, взывают о сочувствии и поддержке. Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где же ваш отклик?

Моя голодовка не связана с какими-либо требованиями — это протест. Я думаю, протест политический. Началом этой акции правильно будет считать не 26 февраля — начало голодовки, а 11 октября, день, когда я заявил, что отвергаю надзор и на арест отвечу голодовкой. Этим я не требовал своего освобождения от ответственности перед законом. Закон обернулся против меня дубиной в руках бандита; о чем же мне бандита просить, а тем более чего я мог требовать? Мой протест был реакцией на насилие, и чем грубее это насилие, тем более крайние формы приобретает протест.

Приходилось слышать, что голодовка (или другое самоистязание) как форма протеста — метод уголовников; политзаключенные же голодают, выдвигая какие-либо требования. Я с этим не согласен. Уголовник себя калечит и в знак «протеста» (например, отрезает себе ухо и накалывает на нем: «В подарок съезду КПСС»), и тоже чего-то требуя:

«Начальник, не дашь чаю — смертельная голодовка!» Все дело в том, чего ты требуешь, против чего протестуешь; этим определяется, политический ты, или урка, или просто дурак.

Хотя я и не заявлял никакого требования, но, признаться, допускал — скажем, один шанс против ста, — что в результате огласки меня могут и не посадить: дело-то уж очень позорное для властей, авось постесняются. Я был бы рад такому исходу. Решение эмигрировать могло, считал я, подкрепить мой шанс: ведь вся карусель с надзором и все последующее — все это было заверчено для того, чтобы заставить нашу семью уехать из страны.

Я хочу объяснить свои поступки до точки (там, где я в состоянии это сделать) и надеюсь, что читатель мне поверит. Поэтому повторю еще раз: заявлением об эмиграции я надеялся повлиять на мою судьбу и судьбу моей семьи. А голодовка была предпринята без такого расчета[43], хотя я и допускал, что она *может* оказать на мою судьбу влияние, привлекая к моему делу внимание мировой общественности.

Однако нельзя протестовать до бесконечности. Естественный предел — это когда кончились силы. После суда силы у меня еще были, хотя и близились к концу. Но существует и другая граница — это когда обстоятельства вроде бы не переменились (насилие продолжается), но как-то стабилизировались, когда кончился момент борьбы; этим пределом, вероятно, должен был стать суд. Продолжать голодовку — значит теперь привлекать внимание к себе, к своей персоне, а не к сути дела. Пора снимать.

Но я не мог этого сделать. Получается, будто я этого и добивался — смягчения участи. Если б дали лагерь — может, и снял бы. А после «легкого» приговора — не мог.

Ну а насчет мягкости приговора, так это еще как сказать. Конечно, радостно вскоре увидеть семью, жить без конвоя за спиной. Ссылка не лагерь. Но что получается? Я отверг надзор, отделявший меня от семьи непреодолимым барьером длиной в двести километров. Взамен же получил — еще более грубо, еще более произвольно — такой же барьер, только в четыре тысячи километров. Там сроку оставалось полгода (впрочем, продлили бы или все равно сфабриковали бы «нарушение»), а теперь — три с лишком. Чему же радоваться? Как — чему? «А ведь мог убить». (Это из анекдота.)

Сибирская ссылка изолирует меня от родных и друзей чуть ли не надежнее, чем колючая проволока, чем даже государственная граница: корреспонденцию проверяют (вопреки закону), а доберись-ка в такую даль — времени, денег не напасешься. Изолирует не меня одного, а и жену, если она поедет

ко мне (на то, видно, был расчет). Наконец, в ссылке можно не хуже, чем в лагере, организовать против меня новое дело: в сибирском поселке найдется сто кузиковых и трубицыных, а суд пройдет глухо, ведь Сибирь не Калуга…

На эти темы мы кое-как перемолвились с женой на свидании 1 апреля: намеками, ловя их с полуслова. Особенно не разговоришься, когда на свидание дано полчаса и вы оба сидите в этих стеклянных банках, где друг друга слышите неважно (трубки, что ли, барахлят), зато вас, наставив ухо, с двух сторон прослушивают два сержанта в юбках (а где-нибудь, невидимое, и третье ухо приложено к аппарату). Лариса начала было мне рассказывать о Пашке, но у меня слезы подступили к глазам и я попросил ее не говорить о сыне. Я очень тоскую по нему. Он сейчас совсем рядом — ждет с дедом за воротами тюрьмы. А каково сейчас Иосифу Ароновичу? Что ему вспоминается? Киевская тюрьма сорок лет назад, оставшаяся где-то шестилетняя дочь, которую он увидит потом семнадцатилетней? Воркута, Игарка, друзья, похороненные там? Тестю скоро восемьдесят лет; мы с ним искренне привязаны друг к другу. С каким чувством смотрит он сейчас на двухлетнего внука?

Сижу я в камере, все в той же камере,
В которой, может быть, сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет.

Не дай бог Пашке судьбу деда, отца и матери!

9 апреля

Кончился срок, данный на обжалование приговора. Я им не воспользовался. Сегодня приговор вступает в законную силу.

Днем меня привели в кабинет начальника. Кроме него самого там еще три майора МВД и уже знакомый мне прокурор по надзору.

— Действительно ли вас, Марченко, избили в тюрьме по прибытии? — спрашивает прокурор.

(Наверное, жена подала жалобу после свидания; не сам же начальник тюрьмы донес на себя. А больше я никому не говорил.)

Я подтвердил этот факт.

— Вас никто не избивал. Вас никто не трогал, — убедительно возразил мне один из майоров — начальник Калужского УМЗ.

Доказывать мне нечем, да и не хочется. Зря Лариса пожаловалась, я ее не просил. Майору из УМЗ тоже доказывать нечем, но от него и не требуют доказательств. Меня же сейчас интересует не он, а начальник тюрьмы — что он скажет? А ничего. Молчит, передергивает рычажки на своем пульте, я стерегу его взгляд, но он не поднимает головы. И то ладно…

(Теперь я узнал, как он отвечал на жалобу самой Ларисе:

— Избили? Мне об этом ничего не известно.

— Муж сообщил мне, что говорил вам…

— Я проверил, это не подтвердилось.

— Вы же только что сказали, что не знаете! Как же вы проверяли — спрашивали тех, кто бил?

— Марченко осматривал врач, следов побоев не обнаружил. (Опять соврал! Никто не осматривал — ведь я не жаловался; и он это знает.)

— Я понимаю, что моя жалоба бездоказательна. Я вам об этом случае сообщила, чтобы вы обратили внимание: других, наверное, тоже бьют.

— Вашего мужа никто не бил.)

Следующий вопрос — об отобранных перед судом бумагах. Опять начальник тюрьмы помалкивает, а майор из управления спорит, что не отбирали. Но ведь на суд меня привезли с пустыми руками, я это и судье заявил, и публика знает! Так, может, сам Марченко нарочно их в камере оставил? Позвать сюда выводившего надзирателя!

Тут вмешивается начальник тюрьмы: он не помнит, кто тогда дежурил, того надзирателя найти никак невозможно.

Прокурор понял, что тут не полный ажур, а потому слишком рьяно уличать меня во лжи — как бы не промахнуться, в своего не

попасть. Битый час шло толчение воды в ступе: что же вы конвою не заявили? Ах, конвой тоже отобрал бумаги? Ка-ак не знали о дне суда? Вам же объявили? — Нет. — Этого быть не может! Ведь объявили? (это к тюремному начальству). Начальник тюрьмы молчит — а знает, что не сообщили. Майор из спецчасти трясет головой: сам, лично объявил! Прокурор, вновь почувствовав себя уверенно, требует соответствующую бумагу. А она не оформлена, и подписи моей нет (ни понятых, если бы я от росписи отказался).

Опять разговор возвращается к отнятым бумагам — может, их все-таки не отбирали?

— Это не тот случай, что с избиением. Не отбирали? Да весь зал видел, как мне их принесли и вручили к концу заседания…

— Как?! — вскинулся, как проснулся, управленец. — Так их вам вернули? Так они у вас? Товарищи! — Он обе руки простер к коллегам. — Вы слышите, бумаги у него, ему их вернули! А он кляузничает, а мы разбираемся. Вернули бумаги-то!

Прокурор и начальник тюрьмы пытались взглядами остановить его неуместные восторги, но он не унимался:

— Да мы вам вот сейчас телеграмму с Ямайки вручили! (Действительно, вручили: сочувствие, поддержка.) Такую телеграмму — отдали в руки! И бумаги, оказывается, вернули! А вы…

Но тут его настиг наконец остерегающий взгляд прокурора, и он так и остался с открытым ртом, недоуменно переводя глаза с одного на другого. Между прочим, дело серьезное: отобрать у подсудимого обвинительное заключение — значит нарушить его право на защиту, а этого довольно для пересмотра дела. Как управленец мог не знать этого? На мундире у него тоже синий ромбик — высшее образование!

Впрочем, несмотря на неловкие моменты, все обошлось: жене прислали ответ, что меня не били и что бумаги были при мне на суде. Это при полном зале свидетелей обратного! Прокурор врет — какой же с бедняги Кузикова спрос?

…Каков «мой» честный майор? Я торжествовал: мой тезис о собаке на собачьей должности не дал осечки. А к вечеру получил еще одно подтверждение. Мне вручили постановление о лишении свидания с женой — подпись стояла «начальник СИЗО-1 майор Н.В. Кузнецов». Но тут я почему-то не радовался своей проницательности.

12 апреля

— день космонавтики, и Калуга, «историческая колыбель космических полетов», отмечает его как свой престольный праздник. С утра на эту тему надрывались все репродукторы, а их полно: в каждой камере, да еще громкоговоритель во дворе. Меня всегда раздражает самодовольное советское бахвальство о покорении космоса, я от него завожусь, как мальчишка: вам ли гордиться? Областная газета информирует о снятии маршрутов городского (!) транспорта в связи с весенней распутицей, из ближних районов в эту космическую колыбель едва добираются на тракторе, а туда же: первые в мире, лучшие в мире!

Кормежка сегодня была часа на два раньше обычного (а вчера медосмотр; не на этап ли готовят?), и, отлеживаясь после нее в своей камере, я уж и не знаю, от чего меня тошнит — от шланга проклятого или от ликующего тона радиодиктора. Хочу отвлечься и не могу. Наверное, от злости. Передают интервью, документы, воспоминания о Гагарине, все прослоено громогласной оптимистической музыкой. Вот включают запись с космодрома 12 апреля 1961 года (мне тогда было двадцать три года, и я сидел на семипалатинской пересылке на пути в Тайшет).

Сквозь шум и треск из космоса слышится голос Гагарина: «Поехали!»

Дверь камеры распахивается, на пороге улыбающийся надзиратель с моей личной карточкой в руке:

— Ну, Марченко, поехали!

Остается собрать свое барахлишко: мыло, пасту, носки, учебник английского языка.

В тюремном боксе меня принимает конвой. Обыскивают, задают вопросы:

— До машины дойти сможете? — значит, знают, что берут голодающего.

— Есть ли возражения против этапирования?

Я делаю заявление, что голодаю сорок пять дней, а на прочие вопросы не отвечаю.

— Получите этапный паек.

Не беру.

Паек берет сопровождающий машину старшина, а меня запирают в тесном боксе «воронка»: со всех сторон железо, железная дверца с крошечным иллюминатором — глазком. Один — и то слава богу!

Может быть, глядя в окно своего кабинета на отъезжающий «воронок», майор Кузнецов злорадно усмехается: «Поехал!» И

облегченно вздыхает тюремный врач: «Поехал наконец-то!»

Вагонному конвою я тоже заявил, что сорок пять дней держу голодовку. — Чего, чего?! — переспрашивает начальник конвоя.

Офицер из тюрьмы что-то шепчет ему, и он больше не задает вопросов, орет:

— Давай, давай в вагон, чего стоишь!

Старшина пытается сунуть мне паек в руки, но я не беру.

В вагонзаке в тройник вслед за мной вталкивают еще одного калужанина (а третий попутчик здесь раньше нас, едет от Воронежа).

Едва войдя, он протягивает мне сверток:

— Ты Марченко? Старшина велел передать, тут твой паек.

— Я паек не беру: голодающий.

Парень смутился, поняв, что влип в историю, стал оправдываться:

— А х… он мне не сказал, я бы х… взял.

Много раз меня возили этапом, и, хорошо зная прелести такого путешествия, я побаивался, как перенесу его в состоянии голодовки. Но все же надеялся на свои силы и на свое упорство и имел твердое намерение продолжать голодовку и в этапе, и в ссылке. К тому же мне пришлось видеть голодающих в этапе и слышать о них, и я знал, что, как ни худо, а все-таки тюремщики как-то поддерживают их силы, не дают умереть. И в тюрьмах, и в вагонзаках их держат отдельно от остальных. Я не мог себе представить, каким непосильно тяжелым окажется этот этап.

Из Калуги меня везли таким маршрутом: через Калинин на Ярославль (пересылка), Пермь (пересылка), Свердловск (пересылка), Новосибирск (пересылка), Иркутск (пересылка) — и наконец Чуна. На пересылках прокантовали около месяца, да дней десять дороги (вагонзак отцепляют, перецепляют, иногда часов по восемь стоит на путях, а в нем взаперти — люди) — всего я пробыл в этапе месяц и восемь дней.

В сопроводительных бумагах не было пометки о голодовке (но я сам заявлял многократно); ни разу за все это время, ни до снятия голодовки, ни после, ко мне не подошел никто из медработников, не сделано было никакой скидки на голодовку. Общая камера на пересылке, общая камера в вагонзаке, общий режим, распорядок, требования.

Общий этап. А это значит: втискивайся в битком набитые «воронки», часами стой на ногах в тюремных боксах, валяйся на цементном полу (если еще найдется место!) в пересыльных камерах, по лестнице вверх, по лестнице вниз, в коридор на перекличку, в баню, на прогулку, давай-давай, поспевай, отстал! С матрацем по лестнице вверх — в камеру, с матрацем в каптерку

— живей, шевелись! Не задерживай!

Лишенный перед отправкой свидания с женой, я не мог получить необходимые мне в дорогу кружку и посудину для воды. Значит, в вагоне смочишь сохнущий рот лишь три раза в сутки, когда конвой принесет бачок. В одном тебе легче, чем прочим: не приходится мучиться от оправки до оправки, просить конвой вывести тебя в уборную, слыша в ответ: в сапог!

Уже на третьи сутки этапа я почувствовал, что выдыхаюсь.

14 апреля

В Ярославле нас выгружают из вагонзака, колонну принимает ярославский конвой (пересчитывают, сверяют по своим бумагам). Я сообщаю конвою:

— Держу голодовку сорок семь дней.

— Здесь нет голодающих!

В этапной камере обе лавки уже заняты, и вновь прибывшие стоят на ногах. Набили нас столько, что стоим впритирку. Душно, накурено — лиц не видно. Я, наверное, свалился бы, но мой попутчик похлопотал за меня, и мне уступили сидячее место.

Часа через четыре повели нас из этого отстойника в баню. На мытье у меня уже не было сил, и я просто так сидел в моечной, пока остальные мылись. После бани — опять отстойник, но уже ненадолго. И наконец привели меня (нагрузив тюремным имуществом — матрацем, подушкой и прочим, что полагается) в камеру. Слава богу, небольшая: тройник, и нас в нем только двое. Я сразу же лег.

В тюрьме я снова заявил о голодовке. Ответ тот же:

— У нас нет голодающих!

Я написал заявление на имя начальника тюрьмы: сообщаю, что держу голодовку. Отдаю дежурному офицеру, он не берет.

— О чем заявление?

— О голодовке.

— Голодовку объявляешь?

— Нет, я давно держу, с момента ареста, сорок семь дней.

Он ушел, не взяв заявления, но вскоре вернулся.

— Я смотрел ваше дело, там о голодовке ничего не сказано. Мы не признаем голодовку!

И тут я зациклился. Едва отдышавшись (то есть через час или два), я стал требовать, чтобы у меня приняли заявление. Я пытался вручить его надзирателям, дежурным офицерам, добивался, чтобы пришел врач или фельдшер. Колочу кулаками в дверь. Мой сокамерник тоже стучит: в окне камеры ни одного стеклышка, дверь расхлябанная, сквозняк тянет напрямую и прохватывает нас насквозь; а ведь середина апреля, холодно, к вечеру у нас зуб на зуб не попадает.

Наконец появляется корпусной. Сосед мой требует перевода в нормальную камеру, я же — чтобы взяли заявление и чтобы врач пришел.

Далось мне это заявление! Спрашивается, чего я хотел? Врача требовал! Что мне было нужно? Чтобы накормили насильно? Нет, честно говорю, нет. Есть мне не хотелось, голода я не чувствовал.

К мучениям не стремился, не получал от них удовлетворения (я это говорю без иронии — слышал, что так бывает). Поддержать силы? Пожалуй, нет. На третий день этапа я был уже очень слаб, и надо сказать, что это отвратительное состояние — и физически, и нравственно. Я ощущал, что слабею буквально с каждым часом, и, понимая, что рано или поздно дойду до предела, когда не в силах буду подняться, хотел бы, чтобы этот момент уже наступил. Что будет затем — я не думал. Сниму голодовку (но я боялся, что, не зная, как выходить из голодовки, я могу сразу угробить себя). Или потеряю сознание — и тем освобожусь от ответственности за самого себя (подлая мысль, но так хотелось в этой слабости освободиться от груза, от усилий, даже нравственных). Зато, исчерпав все силы, можно не подниматься, не двигаться, лежать — и делайте со мной что угодно: я *не могу* встать.

Но пока еще, выясняется, могу. И приходится тянуться за остальными, сильными и здоровыми.

Вот если бы признали меня голодающим, то не гоняли бы — бегом, бегом! — по коридорам, по этапным камерам, не заставляли бы вставать, когда проверка… Я мог бы лежать. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, не дергали.

— Примите заявление о голодовке.

— У нас нет голодающих!

Вот это, оказывается, мне переносить труднее всего — это безразличное отношение ко мне. Не ко мне, Анатолию Марченко, а ко мне, человеку. «Нет голодающих» — и все, и ты не голодовку держишь, а так просто: пообедал или вылил в сортир, твое дело. Да пусть бы никаких скидок, никакого облегчения, пусть бы даже большие тяготы голодающему (скажем, карцер), но чтоб только знали хоть про себя: на ногах держим — голодающего, лечь не даем — голодающему, навьючиваем — голодающего, загнали, упал, умер — голодающий… Так нет же! «У нас нет голодающих!»

— Возьмите заявление!

— Сиди, сиди!

— Врача!

— Жди, будет врач.

И нет врача. А то подойдет, спросит в кормушку, в чем дело.

— Голодовка… Пять дней нет стула… Дайте слабительное…

— Ладно, подождите.

Уходит и больше не появляется.

Первую ночь в Ярославле я не спал, а в каком-то полузабытьи провалялся до подъема. На следующую ночь, часов в двенадцать, меня вызывают на этап. Я уже не в силах тащить матрац в каптерку, бреду из камеры порожняком. Надзиратель, матюгаясь, дергает меня за рукав обратно в камеру, дергает так, что я валюсь

на стенку. Но тем и кончилось: спасибо, сосед вытащил мою постель.

Нас, этапируемых, ведут в этапную камеру, и здесь мы проводим всю ночь до утра на ногах — сидеть не на чем, лавок нет. Под утро выдают селедку и хлеб — этапный паек.

— Не беру. Голодающий.

— Сколько ж голодаешь?

— Сорок девять дней.

— Сорок девять? И ты еще живой? — Капитан рад развлечению. — Ха-ха-ха! Ну и живучий! Ха-ха-ха!

Огромная туша капитана колышется от смеха, брюхо трясется и ходит ходуном. Я взбешен, чувствую себя униженным и бессильным.

Минут через сорок капитан снова появляется на пороге камеры, за его широченной спиной скорее угадываются, чем видны надзиратели.

— Где тут голодающий? Подойди!

Я с трудом поднимаюсь с пола, протискиваюсь из угла камеры к двери, останавливаюсь перед капитаном:

— Я голодающий.

Он стоит, заложив руки за спину, окидывает меня взглядом:

— Голодающий, пойдем, поборемся!

Капитан хохочет, смеются за его спиной. В камере тихо.

Я отхожу от него подальше, чтобы не сорваться, и долго переживаю этот эпизод. Я и потом возвращался к нему, когда был уже далеко от Ярославля и снял голодовку. Почему я не плюнул этому борову в рожу? Или правильнее, что сдержался?

…А все же интересно, чем бы для меня обернулось дело, плюнь я в него или запусти чем-нибудь. Побоями? Судом?..

18 апреля

На рассвете приехали в Пермь. Снова заявляю конвою:

— Я голодающий, голодовка пятьдесят дней.

— А где ваш сопровождающий? Врач или фельдшер?

— Откуда я знаю!

— Тут что-то не так! Был бы голодающий — без врача ни один конвой не принял бы.

«Воронок» — обычное дело — набит битком, и так как я подхожу последним, мне места нет. Зэк передо мной сумел втиснуться лишь наполовину, я останавливаюсь за его спиной. А сзади: «Давай, давай!» Видя мое неусердие, два конвоира вцепились руками в решетку, а коленями стали вминать меня в сплошную массу зэков. Вдавили, задвинули дверь-решетку, защемив ею мою телогрейку на спине. Так я провисел около часа — пока загружали остальные «воронки», да пока ехали по городу, да стояли во дворе тюрьмы… Не знаю, все ли время я был в сознании…

В этот день дважды я подавал дежурным офицерам заявление о голодовке, и дважды оно летело на пол, мне под ноги:

— Паек получил? Сожрал? Голодающий!..

Окружающие сочувствуют мне, возмущаются тюремщиками. Мой попутчик из Ярославля рассказывает им: «Я с ним в одной камере был, и в вагонзаке двое суток на одной полке сидели — он ни крошки в рот не положил. И паек не взял».

— Да что, по нему не видно? — Но никто не понимает моего упрямства: «Им не докажешь!», «Подохнешь только им на радость», «Нет правды, где правда была, там х… вырос» и т. п. Все дружно советуют мне бросить бесполезную затею.

Пора кончать голодовку. Завтра сниму.

В этот же день всех прибывших выводят к врачу на медосмотр (называется почему-то «комиссия»). В кабинет запускают по шесть человек, опрос короткий (осмотра совсем нет).

— Жалобы есть? Вшей нет?

Я сообщаю: пятьдесят один день голодовки.

— А где ваш врач?

— В Калуге, в тюремной медчасти.

— Вас должен был сопровождать врач до самого места… Когда вас в последний раз кормили?

— 12-го, в день отправки.

— А сегодня 18-е… — она смотрит на меня с сомнением. — А когда был стул?

— 9-го. Дайте слабительное.

— Но я только принимаю этап. Помощь оказывают другие.

Ни ее, ни «других» я больше не видел.

В течение дня нас водят в баню, проверяют, перепроверяют, сортируют, загоняют в отстойники. Многие мои попутчики едут «на химию», да и в предыдущих этапах, видно, тоже. Стены в боксах исписаны прощальными надписями: «Восемнадцать человек из Грозного ушли „на химию”» — и число; «22 человека из Кишинева ушли на БАМ» — и число.

В камере, куда я попадаю лишь к вечеру, одни «химики» и ссыльные, человек двадцать пять. Всем нам, в отличие от лагерников, выдали по две простыни — впервые встречаюсь с такой роскошью. Зато четверым, в том числе и мне, не находится места на койках, так что постель стелить негде. На ночь в камеру дают четыре деревянных щита на пол, а утром, в 6.00, забирают, и прилечь негде. Ну, правда, можно на голом полу.

19 апреля

Не так это просто, оказывается, — остановиться. Утром я снова отказываюсь от пищи, пытаюсь безуспешно вручить дежурному заявление, требую врача. «Врач будет», — обещает надзиратель; но парень, у которого огромный гнойник на ноге, со знанием дела дополняет: «Будет — не чаще раза в неделю; и то надо с боем добиваться».

Я все же жду врача, да и что еще остается? Больше всего хочется лечь и лежать, но у меня нет лежачего места. И врача нет.

Сегодня пятьдесят два дня голодовки. И неделя этапа. Как это может быть, что я еще держусь на ногах? Прав тот капитан: живучий, черт! Хоть бы скорее потерять сознание! Тогда я знал бы, что дошел до предела, и снял бы голодовку. И еще, может быть, мне дали бы полежать, отлежаться (все-таки, оказывается, я надеюсь на какую-то гуманность в родной стране).

Пока же удается немного полежать на кроватях соседей: то один, то другой на время уступает мне место.

Разносят обед, я снова отказываюсь — а зачем? Нет, я все-таки добьюсь, чтоб меня признали голодающим! Стучать в дверь руками или ногами я уже не могу, то есть пытаюсь, но удары получаются слабенькие, так, какое-то царапанье, и никто даже не подходит: здесь пересылка, и такой ли надзиратели слышали стук и грохот! Тогда сокамерники сооружают мне таран: придвигают к двери стол, на него кладут скамейку вверх ножками — вози ее по столу и бей в дверь. Для многих это развлечение в нудной тюремной жизни, в их глазах любопытство, что сейчас будет, чем это дело кончится? Некоторые подзуживают меня, другие остерегают: «Брось ты эту затею, выведут в коридор, отбуцкают — и в карцер» (вчера вот так после прогулки одного уволокли; да это тут вообще не редкость). Ну и пусть, в карцер так в карцер, мне уже все равно. Бью тараном в дверь, удары получаются редкие, но достаточно громкие. Подошел коридорный, увидел в глазок таран, заорал, заматерился. Я продолжаю свое занятие, как автомат. Коридорный ушел. Через сколько-то времени загремел замок. Камера насторожилась, замерла, мне шепчут: «Скажут выходить — не иди!» Один подходит и тянет меня от двери. Но вот дверь открыли. На пороге три надзирателя, один из них тычет в меня пальцем:

— Выходи!

Два-три парня подают голоса в мою защиту.

— Ну и вы выходите, — тычет он в них.

Голоса стихают. Я ступаю за дверь, в полутемный коридор, в

ожидании первого удара. Но вместо того — в стороне у стены замечаю пожилого майора с нарукавной повязкой «Дежурный пом. начальника». (И на кителе голубой ромбик!)

— Что там у вас?

Я подаю заявление. Он его читает — и берет!

— Передам начальнику. Врач будет.

Меня возвращают в камеру к удивлению сокамерников. Но часа через два меня снова вывели в коридор, к тому же майору. У него в руках мое заявление.

— Начальник вас не примет. Какая у вас может быть голодовка? Вы же вольный человек, едете на свободу. Там и жалуйтесь. А мы к вам отношения уже не имеем и ваших заявлений не разбираем. Все.

— А врач? Будет ли?

— А что вам от него нужно?

И в самом деле — что?

— Слабительного.

— Я скажу работнику медчасти.

— И лечь мне негде.

Майор оборачивается к коридорному, велит найти мне место.

— А где мне взять? Все камеры переполнены, эта самая свободная.

Я снова в своей камере. Так же без места. И врач не появился, и даже сестра, которая иногда разносит таблетки по камерам «от головы», «от живота», в нашу камеру не заглянула. Отбой.

20 апреля

Ночью я проснулся у себя на щите от резкой боли в желудке. Меня трясло, ныло сердце. Боль от желудка разошлась по всему животу — сначала резкими приступами, а под утро стала постоянной.

На поверку я не встал, но это обошлось. Мне уступили на время койку в нижнем ярусе, и я лежал на ней лицом вниз, боясь пошевелиться, так было больно. Я уже не думал о голодовке — снять, продолжать? — не лез с заявлениями, не требовал врача. Лежал и был рад, когда боль немного унималась.

— Прогулка! На прогулку!

Я это слышал, как сквозь вату. Слышал, как нашу камеру вывели в коридор. Я остался лежать.

— Па-чему не выходишь? — Надзиратель, молодой кавказец, рывком сдернул с меня телогрейку.

— Не могу.

— Нэ можешь? Гдэ асвабаждэние от врача?

— Врача нет и не было.

— Выхады! — И он рванул меня с койки, как только что телогрейку.

Я не встал и снова повалился на постель. Надзиратель выматерился и ушел — в коридоре выстроены остальные заключенные, и надо их вести на прогулку. Я надеялся, авось меня оставят в покое, и стал моститься, ища удобное положение. Нашел, затих. И боль поутихла, только озноб стал сильнее. Но тут в камеру вбежали два надзирателя (кавказец и еще один) и, ни слова не говоря, сдернули меня с койки и поволокли к двери. Я не держусь на ногах, вернее, не передвигаю ими, и они бьют меня по ногам сапогами.

Может, я и мог еще сам идти, может, то была бессознательная реакция обессиленного тела на насилие? Не знаю.

В дверях камеры я упираюсь ногой в порог. В ответ знакомым приемом выворачивают мне руку за спину, и я получаю удар сбоку в живот…

Я очнулся на полу в коридоре. Прямо перед глазами хромовые сапоги. Кто-то ищет пульс у меня на руке. Другой орет в телефон:

— А если он умрет у меня в камере? Забирайте в больницу и делайте, что хотите, а я отвечать за него не буду! Если он умрет…

Не очень-то приятно слышать такое.

Надзиратель бросает трубку и говорит напарнику:

— Сейчас врач придет, давай его в камеру.

Меня щупают за щеки, слегка трясут, но уже без грубости. Пытаются поднять, но я снова валюсь на пол, теперь уж действительно ноги не держат. Тогда за руки и за ноги надзиратели втащили меня в камеру, бросили на койку и вышли, оставив дверь открытой. Я лег вниз лицом, подтянул ноги к животу — не так больно. Но я же в тюрьме, и надзиратель за меня отвечает. Подошел, перевернул на бок, лицом к двери.

— Мне так хуже.

— Лежи так! — Уходит.

Спустя какое-то время слышу, кто-то вошел в камеру, остановился, не подходя к кровати. Открываю глаза — женщина в белом халате стоит от меня метрах в двух (ближе так и не подошла):

— Что с вами случилось?

— Голодовка, пятьдесят три дня.

— Вас должен сопровождать врач… — и так далее, уже слышанное.

— Мне нужно слабительное.

— Хорошо, дам. Когда вас кормили?

— Перед этапом, восемь дней назад.

— И с тех пор нигде, ничего? А оправлялись когда?

— Девятого.

— Девятого?!

Она открывает свой ящичек с красным крестом, достает пакетик. Но потом вдруг смотрит на меня — и прячет пакетик обратно.

— Вам теперь нельзя. От слабительного вы еще больше потеряете силы.

И уходит. Дверь с грохотом закрывается и тут же с грохотом отворяется снова, в камеру входит офицер — полковник, не то подполковник — в сопровождении надзирателя.

— Встать!

Лежу и головы не поднимаю.

— Встань, кому говорю!

— Я уже лежачий.

— Начальник перед тобой стоит, а ты лежать будешь? Встать!

— Ложитесь тоже!

— Что?! Я ведь и в карцер тебя могу!

— Это и он может, — я показываю на надзирателя.

Офицер заходил по камере, потом снова подошел ко мне:

— Ты за что попал?

— Не тычьте.

— На «вы» я с лучшими друзьями разговариваю, а не с преступниками!

Дурак какой!

Он подошел ближе, и мне почуялся запах водки.

— Голодайте или нет, а мы отправим вас дальше с ближайшим этапом.

А в коридоре уже толпились вернувшиеся с прогулки заключенные. Их не впускали в камеру, пока офицер не вышел. «Хозяин!» — услышал я от них, когда они вошли.

Просился я к нему на прием — не принял, а тут сам пришел.

Целый день я лежал на койке, никто меня не дергал, не тревожил. После отбоя перебрался на свой щит. Боль в животе совсем утихла, озноб стал меньше, только сердце продолжало ныть.

С заявлениями покончено. От врача мне тоже ничего не нужно. Самому непонятно, зачем я рыпался, чего добивался. Лежу, не поднимаюсь, мне покойно и ничего больше не надо. Давно бы так — не встану, хоть убейте.

Теперь я стал думать.

Так, меня отправили из Калуги общим этапом за четыре тысячи километров. Отправили голодающего, после полутора месяцев голодовки, и не только без сопровождения, которое, оказывается, полагается в таких случаях, но даже не сделав в сопроводиловке пометки о голодовке. Вряд ли калужская тюремная администрация и врач взяли на себя такую ответственность сами, без чьего-то указания — того, кто за кулисами распоряжается моей судьбой.

На что же был расчет? Что я умру в пути? Или сниму голодовку? Но в условиях этапа и это не гарантирует меня от гибели. Сообщат жене о смерти, вписав любую причину, для себя же решив: сам себя угробил, туда и дорога, «собаке — собачья смерть». И никто не только не понесет никакой ответственности, но даже не почувствует вины.

Да и что мне в том?.. Но все-таки обидно было бы дать себя убить вот так, безнаказанно, безвозмездно. Да я и не собирался умирать.

Три месяца до ареста жена уговаривала меня не объявлять голодовку, хоть не бессрочную. «Двух недель достаточно. Ну пусть три недели — ты же ничего не требуешь, для заявления протеста этого довольно», — торговалась она со мной, а я смеялся и говорил, что вытяну несколько месяцев и непременно сниму, не доводя дело до крайности. Я и сам не стремился к смерти.

Сколько я мог бы продержаться без искусственного кормления (то есть если бы меня не накачивали вообще, с начала голодовки)? Мне кажется, что месяца полтора-два, а то и больше — но, конечно, не в этапе, а в покое. Может, я и ошибаюсь. А

теперь — мог ли бы я голодать дальше? Кто знает? Я слышал, что при голодовке можно умереть не от истощения, а от паралича сердца; так в какой же день дополнительная нагрузка на сердце — беготня, духота, давка и т. п. — окажется последней каплей? Оно и так уже болит, ноет, прежде здоровое сердце… Да и без того — саданет кулаком надзиратель в расчете на здорового, и конец. Это могло и сегодня случиться.

Если б меня оставили в покое (да не в общей камере!), я мог бы и дальше не есть. Ну еще три дня. Потом все равно пришлось бы снимать голодовку — не умирать же на самом деле, тем более кому-то на радость.

Наверное, надо было прекратить ее еще в начале этапа, ну, скажем, в Ярославле. Но вот это «у нас нет голодающих!» — и я, дурак, завелся. Да и недосуг все было: вагонзак, бокс, «воронок», баня, «паек не беру» — когда тут затормозиться, отвлечься от сиюминутной суеты, с толком принять решение? Психологически переориентировать себя — для этого тоже покой нужен, а не так: не ел, не ел — дай-ка пожую маленько.

Пятьдесят три дня. Хватит. Завтра утром сниму голодовку.

21 апреля

Это значит, что утром я беру пайку — полбуханки черного хлеба. Но вот проблема: что с ним делать?

Я не знаю, как выходить из голодовки, спросить не у кого, да хоть бы и знал, мало толку. Научные рекомендации были бы бесполезны: кроме обычной тюремной пищи, я все равно ничего не получу.

Пайка лежит пока нетронутая. На завтрак дают черпак каши, с нее я и начинаю. Я не знаю, из какой крупы эта каша, и не берусь догадаться; арестанты зовут ее «кирзовой», потому что она шершавая и дерет горло. А на цвет синеватая. Вот эту кашу я и жевал чуть ли не до обеда: пережевывая, пока она не превратится в жидкий клейстер (через некоторое время после начала жевания появилась слюна), процеживал ее несколько раз сквозь зубы и лишь потом с усилием глотал. Сама пища оставляла меня равнодушным, занимал лишь процесс еды, от которого я совсем отвык. После каши я таким же образом съел граммов сто хлебного мякиша и запил кипятком с пайковым сахаром. Обеденные щи есть не стал (и еще недели две обходился без них, не ел и соленую кильку — а это, между прочим, значит, что в пути ничего не ел, кроме хлеба: этапный паек состоит из хлеба, кильки или селедки и двадцати граммов сахара в сутки). Вечером похлебал жижи из рыбного супа.

Надо сказать, что кормежка сейчас лучше, чем лет пять назад. Еда на пересылках более удобоваримая, дневная норма сахара увеличена на пять граммов: вместо пятнадцати — двадцать. Мало? Улучшение на тридцать процентов за пятилетку!

На вторые сутки — и во все последующие дни — появился аппетит, да какой! Приходилось бороться с желанием съесть всю дневную пайку сразу, приходилось стыдить себя за мысль, не попросить ли добавки баланды (в тюрьме это не считается зазорным; другое дело, что редко когда получишь). О чем я точно знал — так это об опасности после голода наесться сразу, и поэтому долго еще соблюдал полуголодную диету. Это в заключении так легко!

В этот же день — очередной (раз в месяц) обход прокурора. «Хозяин» (начальник тюрьмы) представляет ему нашу камеру:

— А это люди вольные! — все у нас в камере «химики» да двое ссыльных.

— Вопросы к прокурору будут?

Вопрос у всех один: когда отправят дальше? Большинство здесь кантуется уже три недели. Нам, ссыльным, время в этапе

засчитывается в срок из расчета день за три. «Химики» же идут либо из лагерей, либо из зала суда по «химической» амнистии (то есть они действительно «вольные» — амнистированные, однако едут этапом, под стражей). И им зачетов нет. Ссыльным они завидуют.

Прокурорский обход — развлечение. Никто его всерьез не принимает. По-шутовски ломается начальник тюрьмы, арестанты встречают и провожают прокурора смехом. Это устраивает обе стороны.

22 апреля

Я уже в Свердловске. Хотя я больше не голодающий, но перенести этот перегон мне было не легче, чем предыдущие. Те же набитые «воронки» и вагонзаки, то же выстаивание часами в тюремных боксах. Пока дошло до бани, я уже вконец вымотался и мечтал поскорее добраться до камеры, чтобы лечь.

Камера № 11 на Свердловской пересылке заслуживает описания. Это большой зал, примерно в сто двадцать квадратных метров. Посредине, отступя от стен метра полтора-два, двухъярусный помост-нары; это сооружение имеет метров десять в длину и четыре метра в ширину. Проход — только вкруговую, по-за нарами. Остаток площади занят длинным столом со скамьями, а также «туалетом».

Я пробыл в этой камере четыре дня. В это время в ней находилось сто шестьдесят три человека. Как мы там помещались? Днем еще ничего: сидя, человек занимает меньше места. А ночью!.. Лежат на нарах, под нарами, на столе, под столом. Проходов нет — лежат в проходах. Впрочем, не лежат: там, где от стены до нар всего полтора метра, не ляжешь в полный рост, а либо свернувшись калачиком, либо сидя спиной к стене, зато ноги вытянуты. Вот такая полусидячая плацкарта досталась и мне. Берегись распрямиться во сне — заедешь ногой в рожу спящему под нарами. Береги и сам себя — ночью через тебя переступают, на тебя наступают пробирающиеся к туалету (унитазов всего два, и за день всем просто не успеть ими воспользоваться).

На поверки камеру выгоняют в коридор, выстраивают в затылок по трое и пересчитывают. Общие объявления надзиратель делает через рупор, перекрывая постоянно висящие в камере шум, крики, брань. А если кого надо вызвать, то это делается методом «передай по цепи»: «Петров — на выход» — «Передай Петрову» — «Петрова!» — «Петрова!» Спишь — пинок тебе в бок: «Ты Петров?.. Передай дальше!»

Приносят хлеб. Не зевай! Останешься без пайки. Миски с баландой баландер подает в кормушку по счету. Находятся шустряки: караулят обед у двери, получают первыми, и, пока дойдет твоя какая-нибудь сто пятидесятая очередь к кормушке, они уже съели свою баланду и затесались снова среди дружков. Баландер отсчитал: «Сто шестьдесят три!» и захлопнул кормушку. Ты и остальные — без обеда.

Еще пуще ног береги обувку: ноги разве что отдавят, а сапоги уведут запросто, и с концами. И не только сапоги, а любую

«вольную» тряпку с тебя пытаются содрать, украсть, обменять на лагерное рванье. Сначала подъезжают «по-хорошему»: «Земляк, махнемся!» — и тебе всерьез предлагают сменять свитер или приличный костюм на рваный лагерный бушлат. Идут уговоры, намеки. Устоял? Уснешь — пропало все, и сменки тебе уже не дадут. Мой свитер и сапоги (импортные!) вызывали особенный интерес, и ко мне тоже подъезжали «по-хорошему». А ночью приходилось дремать вполглаза, оберегая свое имущество. Раздевшись, я подложил свитер под спину, сапоги — под ноги — не спать же в них! Рядом уселась компания с картами, галдят, но мне, глухому, это не мешает. Сквозь дрему чувствую — кто-то сапог подергивает: дернет — и передышка, потом снова. Я чуть приоткрыл глаза, вижу, парень из картежников потихоньку тянет у меня сапоги из-под ног. Я одну ногу снял с сапога, задрал ее на стояк нар, будто во сне, а сам жду, когда он, голубчик, рванет их — тут я и уроню ногу ему на шею. Но он с сомнением переводит взгляд с сапог на поднятую ногу, потом на мою физиономию — сплю ли? — переглядывается с остальными и уходит к столу. За ним и компания. Ну и слава богу, не хватало мне драки. Эти-то парни — «шестерки», работают на паханов (их в камере два, оба борцовского вида малые лет по двадцать пять — двадцать семь, сначала обрабатывают новичка уговорами, а потом сдают «шестеркам»). После этого случая меня оставили в покое — угадали мой лагерный опыт, что ли? А ведь могли запросто обобрать, сил на драку у меня не было. Но эта шпана открыто отнять все же не решается[44].

В камере № 11 и лагерники, и «химики», и ссыльные. «Химиков» больше всего, как раз в марте прошла очередная «химическая» амнистия, и через Свердловск в Тюменскую область шел этап за этапом. А ссыльные (в основном алиментщики: «За что попал?» — «За золотые яйца!») и поселенцы отправляются главным образом в Иркутскую область, на трассу БАМ.

По всей длинной стене камеры арестанты выцарапали этапный маршрут от Москвы до Владивостока. Не хуже, чем на рекламе международного туризма, выведены все изгибы железной дороги «от края и до края». Обозначены все пересылки, сколько ехать от «вокзала» до «вокзала» (вагонзаком, конечно, фирменным гулаговским экспрессом). И на север от основной магистрали где пунктиром, а где сплошной линией выцарапан БАМ — «стройка века» не обойдется без зэка.

Не знаю, много ли таких камер, как одиннадцатая, в Свердловске. Местные арестанты хвастаются, что в этой тюрьме одновременно содержится от двадцати пяти до тридцати тысяч заключенных; может, и так. Официальных данных нет, они

засекречены. Я могу сказать только одно, то, что видел своими глазами: тюрьмы набиты битком, переполнены, и в основном молодежью. Официальная информация сообщает нам о сокращении преступности — откуда же берутся эти тысячи и тысячи этапируемых от Подмосковья до Тихого океана? Сколько их на самом деле? Как необходима настоящая, подлинная информация, с цифрами, а не с голословными успокоительными фразами. Можно предположить, что нефальсифицированные данные о преступности насторожили бы нашу общественность; еще большее беспокойство должен бы вызвать рост преступности несовершеннолетних. «Изнутри» наглядно видна порочность системы «воспитания» людей через тюрьму и лагерь; малолетних она тем более развращает и калечит.

Но голос «изнутри» (из тюрьмы, лагеря, с поселения) не слышен общественности. А «снаружи» ей не видно — государственная тайна.

23 апреля

Объявили этап на Иркутск — восемьдесят шесть человек, и среди них я. Слава богу, прямой этап, минуя Новосибирскую пересылку! Ночь все мы, восемьдесят шесть, провели в этапной камере, где места на тридцать человек от силы. До утра просидел у стены на корточках, а утром — всех обратно, в одиннадцатую камеру. Нас узнают и встречают дружным хохотом. За сутки из камеры ушло на этап человек шестьдесят, но столько же принято с нового этапа, просторнее не стало.

Я забыл сказать, что такая формальность, как выдача арестанту матраца, в Свердловске соблюдается неукоснительно (и кто в камере без места, тех матрацы общей грудой свалены на полу). Итак, 22-го я волок матрац в камеру; 23-го, выхватив из кучи первый попавшийся, сдавал его в каптерку; 24-го снова получил и отправил в ту же кучу; 25-го опять оттащил и сдал в каптерку. Снова ночь на корточках в этапной камере, и 26-го наконец-то в пути. На Новосибирскую пересылку.

Был бы я в таком состоянии на воле — лежал бы не поднимаясь. И не в силах был бы подняться. Но прикосновение к земле ГУЛАГа вливает в человека неведомую энергию — и ты бредешь, плетешься, бежишь, стоишь стоймя, висишь, зажатый между другими. А куда денешься? «Партия сказала — „надо“, комсомол ответил —‚есть!“»

27 апреля — 21 мая

Так я и знал, что если к праздникам не доберусь до места, то недели на две застряну. Этапы прекращаются за несколько дней до праздников, а тут два кряду: Первомай и День Победы. Оба я провел почти на родине: от Новосибирска до Барабинска четыре часа поездом. И барабинский земляк угостил меня в камере колбасой и огурцом из передачи. Я рискнул взять угощение, хоть и опасался за желудок. Вроде бы сошло; значит, за пищеварение можно не беспокоиться. Голодовка на нем не отразилась. А в остальном — время покажет.

В Новосибирске меня настигла вторая за время отсидки амнистия, юбилейная (до нее — «химическая»). А в Иркутске догнала «женская» — в связи с Международным годом женщины. Естественно, ни одна из них меня не касается: я не женщина, в войне не участвовал, к тому же пятая судимость. Но и никто, никто из политических не будет амнистирован — ни участники войны, ни даже женщины. И пятилетнему сыну Нади Светличной и дочке Ирины Калынец еще ждать и ждать своих мам…

На Иркутской пересылке я снова первым делом влип в историю, хоть к этому и не стремился. После нескольких часов стояния на ногах в душном боксе мой попутчик упал на пол, то ли потеряв сознание от духоты, то ли из-за боли — его еще в вагонзаке схватил приступ радикулита. Чувствуя, что и сам скоро свалюсь, я пробился к двери и начал методично стучать в нее сапогом. Подошел надзиратель:

— Выведу — не обрадуешься!

Да выводи, черт с тобой, хуже не будет! И я снова бухаю в дверь — прямо в него. Ушел, пришел с дежурным офицером.

— Выходи! Почему безобразничаешь? Карцера захотел? На этап не отправим, — и тому подобное.

Но все-таки, услышав от меня, что кто-то в боксе потерял сознание, капитан заглянул в глазок и распорядился забрать больного в медчасть, а из остальных половину вывести в другой бокс. При мне надзиратель отпер соседний бокс — чудо! Совершенно пустой! Может, и другие в этом коридоре такие же? А нас держали, как кильку в банке, столько часов!

Больной после укола снова был водворен к нам. Он тоже был ссыльный, алиментщик. Вместе мы сидели в Иркутске, вместе ехали этапом до Чуны, вместе нас выпихнули из чунской милиции с наказом немедленно трудоустроиться. А месяца через три я встретил его в Чуне на улице, несколько даже растерянного:

— Кончилась моя ссылка! Получил инвалидность, а она

освобождает от ссылки.

Моя же — только началась еще.

В Чунском отделении милиции на столе у коменданта я увидел сопроводительный формуляр, наклеенный на пакет с моим «делом». Крупным типографским шрифтом вверху набрано:

СКЛОНЕН К САМОУБИЙСТВУ

Неправда! У меня никогда не было мысли покончить с собой. Зачем же эта надпись? Может, чтобы, если голодовка в этапе меня доконает, иметь оправдание: мол, сам себя довел, к тому и стремился?

Формуляр перекрещен по диагонали двумя широкими красными полосами. Знакомый знак, он перекочевал сюда из моего старого лагерного «дела». Его значение: СКЛОНЕН К ПОБЕГУ. Надо же! За арестантом, который тянет голодовку почти два месяца, нужен глаз да глаз: «склонен к побегу». Зато о голодовке в формуляре ни слова.

Выпроваживая нас из милиции на улицу (ночлега нет — ищи сам; денег нет — перебьешься), комендант напутствует:

— Немедленно устраивайтесь на работу!

А направление на работу мне уже выписано — на лесозаготовительный комбинат. Здесь я отрабатывал свой надзор в 1970 году, у меня здесь много знакомых. И рабочее место определено — подавать вручную к пиле сырой шестиметровый брус. Не всякому здоровому по силам. Для меня это не ново: в пермских лагерях бригадиру было приказано использовать Марченко на самых тяжелых работах.

Я иду на территорию ЛЗК, и меня не узнают знакомые. Оглядываются на отросшую в этапе черную бороду и гадают: откуда? из лагеря? из больницы? с того света?

Заключение

Если бы кто-то спросил у меня совета, объявлять ли ему голодовку, я бы сказал: «Нет». В принципе я против голодовки, как и против самоистязания в любой форме. И такое мое отношение не есть результат личного опыта марта — апреля 1975 года. Оно сложилось раньше, я был против голодовки до, после и даже во время своей голодовки. Личный опыт добавил только то, что теперь я на самом деле ощутил и последствия этой губительной акции. Полгода спустя я чувствую себя инвалидом, не способным работать (хотя это не признано врачами в ссылке), и боюсь, не навсегда ли такое состояние.

И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Таким же сильным может оказаться и сочувствие другому человеку, другим людям, доведенным до отчаяния.

Политические голодовки в СССР стали массовым явлением. Известия о них (но не обо всех!) прорываются через колючую проволоку и через тюремные стены. Но, к сожалению, чем больше таких известий, тем менее острой становится реакция на них общественного мнения. Люди воспринимают факт — но забывают о его причинах. И не представляют себе его последствий.

Причины голодовки — крайняя степень жестокости и бесчеловечности, беззаконие и произвол властей.

Последствия голодовки — утрата здоровья, угроза жизни. Я начал голодовку «с воли», держал ее около двух месяцев, через месяц после снятия оказался в домашних условиях — и то мое здоровье подорвано. А Валентин Мороз держал голодовку *почти пять месяцев*, начал ее *после трех лет тюрьмы,* закончил в тюрьме же, там он и сейчас. В условиях лагеря держали длительные голодовки инвалид Иван Светличный и другие политзаключенные пермских лагерей. Политзаключенные женщины в Мордовии несколько раз объявляли голодовки и после них для «поправки здоровья» заключались в карцер и в БУР!

Помните: голодовки кончились, но жизнь голодавшего в опасности.

Помните: политическая голодовка — свидетельство преступного отношения властей СССР к правам своих граждан и к самой их жизни.

Я не берусь что-либо советовать. Но мне кажется, что долг

порядочного человека, гражданина СССР, не оставлять без внимания обстоятельства, которые доводят их соотечественников до такой крайности, как голодовка.

Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти свойства — жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют тенденцию распространяться по всему миру.

10 октября 1975 года пос. Чуна, Иркутская область

Примечания

Живи как все

«Живи как все» — последняя, неоконченная автобиографическая повесть Марченко, описывающая период 1966–1974 годов (и таким образом продолжающая автобиографическое повествование «Моих показаний» и хронологически предшествующая повествованию «От Тарусы до Чуны» и «Мы здесь живем»). Впервые опубликована после смерти автора (Марченко А.Т. Живи как все. Нью-Йорк: Проблемы Восточной Европы, 1987) на основе машинописи, спрятанной им в снегу во дворе своего дома в поселке Карабанове и найденной после его ареста в марте 1981 года Б.С. Кулаевым. Текст машинописи был подготовлен к публикации Л.И. Богораз.

В настоящем издании текст книги значительно расширен за счет ряда фрагментов, изъятых у автора на обысках в 1977 и 1980 годах и обнаруженных в середине 1990-х в его следственном деле 1981 года, хранящемся в архиве Владимирского управления Федеральной службы безопасности.

В повести составителями выделены три части. Первая известна по тексту издания 1987 года и дополнена небольшими фрагментами (обозначены в тексте фигурными скобками и прокомментированы в примечаниях), найденными в следственном деле. Расшифровка использованных Марченко инициалов сделана Л.И. Богораз и А.В. Черкасовым в начале 1990-х годов.

Вторая часть «Соликамск — Красный Берег — Чуна» объединяет три фрагмента: рукопись, изъятую на обыске 20 мая 1977 года (Дело Марченко. Т. 9.

Л. 192–200), машинописный текст, изъятый на обыске 15 февраля 1980 года (Там же. Л. 201–218), и рукопись, изъятую на обыске 20 мая 1977 года (Там же. Л. 1-60). В качестве общего заголовка использован авторский заголовок одного из фрагментов.

Третья часть «Москва — Таруса» (заголовок дан составителями) была изъята на обыске 20 мая 1977 года (Там же. Т. 6. Л. 1-131). В сохранившейся машинописи недостает 25 страниц (хронологически в них должны быть описаны события с момента покупки дома в Тарусе по март 1973 года).

Тексты, составившие дополнения к первой части и вторую и третью части книги, подвергнуты незначительной редакторской правке.

От Тарусы до Чуны

Вторая книга А.Т. Марченко, вышедшая в свет при жизни автора. Написана в ссылке в Чуне в 1975 году. Печатается по: Марченко А. От Тарусы до Чуны. Нью-Йорк: Хроника, 1976. В текст внесены незначительные изменения: в частности, в соответствии с документальными источниками, в том числе и теми, что публикуются в настоящем издании, исправлены дата ареста (с 25 февраля на 26-е) и дата первого дня заключения (с 26 февраля на 27-е).

notes

Примечания

1

Адель Натановна Никольская.

2

Валерий Захарович Румянцев.

3

Лариса Иосифовна Богораз.

4

Учитель истории — Анатолий Александрович Якобсон; ученый-физик — Александр Владимирович Воронель; преподаватель математики — Николай Николаевич Вильямс; художник — Юрий Яковлевич Герчук; редактор — Людмила Михайловна Алексеева.

5

Многие мои знакомые позднее поплатились за свою активность: кого уволили с работы, кого понизили в должности, кого долго мытарили на собраниях, требуя, чтобы раскаялся, — а потом все-таки уволили.

6

Георгий Владимирович Скуркевич, врач-отоларинголог (в «Моих показаниях», в главе «Дубравлаг» А.М. называет его по имени).

7

Друг зубного врача Эмиля Штейнберга.

8

Борис Иосифович Шрагин.

9

Фрагмент с описанием прописки в Александрове был вычеркнут автором с пометкой «не обработано»; печатается по семейному архиву:

Приехав в Москву, я решил не тратить время и сразу же выехать в Александров — городок в 113 километрах от Москвы и с прямым сообщением с ней. Еще в первые мои поиски жилья и прописки сразу после лагеря я бывал там. Тогда мне отказала милиция, несмотря на то что жилье я нашел. И ехал я туда сейчас с большим неверием в успех.

Повидавшись лишь с несколькими самыми близкими друзьями, я дня через два вместе с Ларисой выехал в Александров. Лариса нашла там на окраине домик, хозяйка которого — одинокая пенсионерка — согласилась пустить меня на квартиру. Лариса, для гарантии, чтоб не потерять место, сразу уплатила хозяйке за три месяца вперед деньги за квартиру еще до моего приезда. Тетя Нюра, так звали хозяйку, встретила нас приветливо и обрадовалась. Мы приехали первой электричкой с утра, чтоб в этот же день успеть попасть в паспортный стол для прописки. Тетя Нюра, прихватив свою домовую книгу, пошла вместе с нами: такое правило.

В паспортном столе огромная очередь. Дождались с волнением своей очереди и подали анкеты и документы. Паспортистка, взглянув на мои документы, велела подождать, а сама куда-то вышла с моими бумажками. Я сразу скис. Было ясно, что она побежала к начальству и мой вопрос будет решаться не в общем порядке, а с индивидуальным подходом. А это верный отказ в прописке. Лариса, хоть и старалась не показывать виду, что и она думает как и я, но я по ней догадался сам.

Скоро паспортистка вернулась и велела мне пройти вместе с хозяйкой в один из кабинетов. Это оказался кабинет начальника милиции. В прошлый раз он отказал мне без личной встречи, просто наложил резолюцию: «Отказать» и все. Что-то скажет он теперь.

И начались обычные в таких случаях вопросы-расспросы. Хотя перед ним все мои документы, нет, отвечай, а он сверяет.

Но вот кончились анкетные вопросы, и он переходит к делу:

— Почему приехали именно в наш город? Больше городов не нашли?

— Жилья нет нигде у меня, а здесь тетка вот имеет свой дом. У нее жить буду.

Уже то, что приходится врать, меня заводит. Но приходится

сдерживать себя и что-то мямлить, отвечать.

— У нас таких своих хватает, — слышу я из-за стола. — Ищите себе другой город!

— Мне это ж скажут в любом другом и с большим основанием: здесь хоть есть жилье.

— А вы, — начальник обращается к тете Нюре, — хорошо подумали, согласившись прописать его у себя?

— А куда ж ему ехать больше?

— А вы знаете, что если он пропишется, а потом что-нибудь натворит, то отвечать вы будете за него тоже.

— А что он натворит…

— Хозяйка не отвечает… — хотел я успокоить тетю Нюру, но меня прервал начальник:

— Я сейчас разговариваю не с вами, а с вашей хозяйкой…

В это время в кабинет без стука, как к себе, вошел еще один в штатском.

— Выйдите, — обратился ко мне начальник, — и подождите в коридоре. А вы останьтесь, — это уже к тете Нюре, — мы с вами поговорим.

— Вы решаете вопрос о прописке меня, а не ее…

Мне не дали договорить, вмешался с ходу второй:

— Вы что, хозяин кабинета? Вам же сказано: выйдите. Вот и идите, а если понадобитесь, вас пригласят.

Я уже закипал, но сдержался: не поможет обострение отношений в процессе решения о прописке.

В коридоре ко мне сразу кинулась Лариса с вопросом: «Что?» Я пожал плечами: «Не знаю. Велели выйти. Сейчас будут обрабатывать тетю Нюру, чтоб отказала в жилье».

Не прошло и пяти минут, как открылась дверь и быстро мимо нас прошла тетя Нюра. Лицо ее было раскрасневшееся, и она не смотрела на нас. Проходя мимо нас, молча сунула мне в руки мои документы и только потом сказала скороговоркой, торопясь: «Я вас не пропишу у себя». Я остался стоять. Некоторое время стояла также и Лариса. Потом она кинулась следом за тетей Нюрой, а я за ней без всякой охоты вступать в объяснения с хозяйкой.

Лариса ж, догнав тетю Нюру, взволнованным и возмущенным голосом стала выговаривать ей:

— Как же так можно? Почему вы отказали, если мы с вами давно договорились и даже уплатили вам за три месяца вперед?

— Ага, а зачем мне нужны всякие неприятности…

— Но мы ж с вами договорились! Человек приехал издалека, там работал, сорвался с места, и теперь вы ему отказываете! Разве ж так можно? Что мы вам сделали?

Видно было, что хозяйка сама стыдится своего поведения, а

Лариса еще больше допекает ее упреками. В конце концов она пошла на попятную, к моему удивлению.

— Если уплатите еще за три месяца вперед, то пойду и скажу сейчас же, что передумала и пущу.

— Куда ж нам деваться, уплатим, конечно!

— А вы ничего не наделаете, когда я вас пропишу? — Это уже тетя Нюра обратилась ко мне.

— Да ничего я не наделаю! Да если и наделаю, так они ж вас просто запугивают, что хозяйка отвечает за квартиранта. С меня спросят, не с вас.

Я даже не ожидал, что так все вдруг перевернется и наша тетя Нюра обратно направится в тот самый кабинет. Мы ждали ее на улице, снова отдав ей все мои бумажки. И она к нам вернулась довольно быстро. Подала мне паспорт и военный билет, сказав:

— Вот и все. Ладно уж, будь что будет.

Оказывается, что она уже и у паспортистки побывала и прописала меня. А я, не веря в удачу, долго молча рассматривал синий квадратик штампа о прописке в своем паспорте.

Нам сейчас захотелось избавиться от хозяйки и побыть одним, чтоб откровенно порадоваться счастливому концу. Мы где-то здесь же на улице уплатили тете Нюре обещанные 45 рублей и под каким-то предлогом разошлись с ней, пообещав, что к вечеру или после обеда будем дома.

10

Майя Лазаревна Злобина.

11

Борис Иосифович Шрагин.

12

Наталья Николаевна Садомская.

13

Анатолий Александрович Якобсон и его жена Майя Александровна Улановская.

14

Юрий Яковлевич Герчук.

К. — Константин Иосифович Бабицкий; Т. — Татьяна Михайловна Великанова.

16

Леонид Абрамович Рендель.

17

Вячеслав Всеволодович Иванов.

18

Лев Зиновьевич Копелев.

19

Нинель Абрамовна Воронель.

Вячеслав Всеволодович Иванов.

21

Константин Иосифович Бабицкий.

22

Георгий Владимирович Скуркевич.

23

Александр Юльевич Даниэль.

24

Майя Лазаревна Злобина.

25

Александр Ефимович Каплан.

26

Людмила Михайловна Алексеева и Сергей Валентинович Алексеев.

Нина Петровна Лисовская.

28

Юрий Петрович Лисовский.

29

Среди изъятых на обысках черновиков был другой вариант рассказа о слежке за диссидентами и взаимопомощи в кругу интеллигенции. Печатается по: Дело Марченко. Т. 5. Л. 169–173.

С этого времени и до самого моего ареста в июле 1968 г. никогда в Москве я не чувствовал себя одиноким, даже в общественном сортире: ты в кабинке, а твои преследователи за дверью, и справить свою нужду им служба не позволяет. Пошел в театр — меня провожает и встречает почетный эскорт, сажусь в вагон метро — агент стоит настороже у двери, еду в троллейбусе — за троллейбусом следуют две машины, и, когда я выхожу на остановке, шпики высыпают из них, как горох, торопясь занять назначенное по дислокации место. Я пью чай в гостях, а они мерзнут в подъездах и проходных арках, не сводя с нужной двери бдительного ока.

Приблизительно в эти же месяцы началась такая же плотная слежка за Павлом Литвиновым и Ларисой, и если нам случалось идти втроем, то за нами двигалась целая процессия: несколько машин, куча разнообразных мужиков с индифферентными лицами и, как правило, с газеткой в руке. Это было похоже на игру в сыщиков-разбойников: погони, увертки, обнаружения, рации за пазухой (у них, конечно: «Машину к Большому Каменному, к Большому Каменному!» — бормочет агент себе под воротник) и тому подобное. Хоть в кино снимай.

Отдыхал я от слежки только в Александрове (куда в конце концов мне пришлось все-таки вернуться) — агенты сопровождали меня в Москве до вокзала, проезжали вместе несколько остановок на электричке, а иногда до места, и внезапно исчезали, чтобы неизменно встретить снова в следующий мой приезд в Москву.

Стыдно сказать, но азарт этой игры затягивал и меня: я научился безошибочно угадывать, какой именно гражданин, дышащий мне в затылок, «мой», не раз уходил от преследования просто так, назло, зная, что там, куда я направляюсь, меня все равно встретят те же примелькавшиеся рожи. Знали ли они, кого и за что преследуют? Знали. Однажды в поздний ночной час, зимой, я возвращался из гостей и, проходя мимо «моей» дежурной машины с известным мне номером, не удержался, махнул рукой шоферу: «Пора, поезжай, а то прозеваешь!» Он открыл дверцу и злобно прошипел мне: «У-у, пи-са-тель!» — и машина двинулась за мной.

Когда я еще ждал, что меня вот-вот, как только выследят, тут

же схватят, и старался протянуть время (все еще ждал сигнала, дошла ли рукопись на Запад) — мне удалось скрыться от агентов в самой Москве. Я жил в каморке у одних стариков, которые знали толк в настоящей конспирации [речь идет об А.П. Улановском и его жене Н.М. Улановской, до революции и в годы Гражданской войны — подпольщиках-анархистах. — *Сост.]*. Хозяева развлекали меня интереснейшими разговорами — им было о чем рассказать, выпускали гулять только глухой ночью, и даже их гости не догадывались, что в квартире живет кто-то третий. Я не уверен, но думаю, что КГБ тогда потерял меня месяца на полтора.

И снова я поражался московской интеллигенции — ее смелости, ее духовному сопротивлению деятельности властей. Мне, откровенно преследуемому всемогущим КГБ, предлагали жилье; на глазах у агентов и под их фотоаппаратами сопровождали меня, чтобы не оставлять один на один со шпиками и не допустить провокации; а уж от общения со мной не отказался ни один даже из малознакомых людей, хотя я всех предупреждал о слежке. Я не искал общения, дружбы или даже помощи, но и не мог уклониться от этого. Люди, наверное, считали своим долгом поддержать меня. И они считали мужественным мой поступок, не замечая собственной отваги!

Да, это был очень узкий круг, многие были близко или отдаленно знакомы между собой. Но вот пример: однажды в нашей компании случайно оказался брат одной знакомой. Это был солидный человек, благополучный ученый, он не имел никакого отношения к протестам, открытым письмам и тому подобным «диссидентским» действиям; не знаю, как он к ним относился. Нам надо было идти из дома, и мы предупредили его, что за нами пойдут агенты КГБ. У него не было никакой необходимости сопровождать нас — но он отправился вместе с нами.

Некоторых из таких вот случайно оказавшихся рядом людей мне не пришлось больше видеть или слышать о них, а некоторые, наоборот, втягивались в круг тех, кто активно заявлял о своем «инакомыслии». Другие же под давлением или сами собой отходили от этого круга; но, по-моему, это не значит, что они переменили свои взгляды и стали разделять предписанную идеологию.

Больше всего в знакомом мне кругу было людей из научной или творческой среды. Среди них были и члены партии — теперь о них надо говорить «бывшие члены партии». Я заметил, что чем выше был ранг, тем осторожнее обычно держались люди и свое сочувствие старались проявлять тайно, незаметно. Но вот кого,

по-моему, не было даже среди сочувствующих и помогающих тайно, так это должностных лиц.

* * *

Однако время шло, а мои предчувствия и предсказания друзей, слава богу, не сбывались. За мной ходили по пятам, но не сажали, не было никаких попыток расправы из-за угла. Для меня это и сейчас загадка. Почему не решились арестовать? И зачем преследовали, чего этим хотели добиться? Какая у них была идея?

Через несколько дней после моего бегства из окошка меня выследили, схватили — и отпустили. Через день снова схватили — и снова отпустили; правда, на этот раз в кабинете милиции состоялся разговор с неким человеком, который выдал себя за работника милиции, но я сразу понял, что это сотрудник КГБ и, вероятно, в немалом чине. Разговор пустой: «Нам с вами надо поговорить, Марченко, вы сами понимаете, о чем». И все. Милиция же записала нарушение паспортного режима (пребывание в Москве).

В январе — феврале, как я уже сказал, КГБ, видимо, потерял меня. Но сколько можно скрываться?

Отрывки в фигурных скобках на с. 94–108 печатаются по: Дело Марченко. Т 5. Л. 177–194.

31

Отрывки в фигурных скобках на с. 108–109 печатаются по: Дело Марченко. Т.5. Л. 267–271.

32

См. записку председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС от 29 июля 1968 года (Архив Международного общества «Мемориал». Ф. 172):

457

Копия

4-ир

Секретно

29 июля 1968 экз. № 2

1776-А ЦК КПСС

29 июля сего года органами милиции по просьбе Комитета госбезопасности за нарушение паспортных правил (ст. 198 УК РСФСР) задержан МАРЧЕНКО А.Т., близкий знакомый БОГОРАЗ-БРУХМАН Л.И., автор и распространитель ряда клеветнических материалов, используемых на Западе в антисоветской пропаганде. При задержании у МАРЧЕНКО изъято письмо, направленное в поддержку антисоциалистических элементов в Чехословакии и содержащее заведомо ложные измышления о политике КПСС и Советского правительства.

Оперативным путем установлено, что в обсуждении текста этого письма принимали участие: ГРИГОРЕНКО, БОГОРАЗ-БРУХМАН, ее сын Александр, ЛИТВИНОВ, ГОРБАНЕВСКАЯ и ЯКОБСОН (бывший преподаватель литературы средней школы г. Москвы). Участники обсуждения приняли решение направить письмо за границу и нелегально распространить среди советских граждан.

Копия письма прилагается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВ

33

Отрывок в фигурных скобках на с. *116–121 печатается по: Дело Марченко. Т 5. Л. 268–271.*

Здесь и далее угловыми скобками обозначены те места, где в рукописи пропущены одна или несколько строк.

35

Н.П. — Нина Петровна Лисовская; К. Б. — Константин Иосифович Бабицкий; К. И. — Вячеслав Всеволодович Иванов.

Лев Зиновьевич Копелев.

Ирина Михайловна Белогородская.

Серафима Евгеньевна Никитина.

39

К тому времени родители Анатолия Марченко переселились в Казахстан, в город Джамбул (современное название — Тараз).

40

Пропуск числа в оригинале.

41

В черновиках есть запись, описывающая обыск в доме и арест 1975 года. Печатается по: Дело Марченко. Т. 5. Л. 82–85.

26 февраля вечером мы, как обычно, находились в кухне-столовой. У нас была гостья — Люба, фамилии которой я и сегодня не знаю. Лариса готовила что-то для Пашки на плите, а сам он был у меня на руках. Вдруг звонок в дверь. Хотя я в любую минуту готов был увидеть в дверях своего дома милицию или работников КГБ, в это время я почему-то об этом не думал. Я с сынишкой на руках поднялся по лестнице к двери и, не снимая с нее цепочки, спросил, чуть приоткрыв:

— Кто здесь?

— Марченко, откройте, это к вам из прокуратуры, — ответил мне женский голос.

— Подождите, у меня ребенок на руках, сейчас открою, — ответил я.

Нужно было успеть кое-что спрятать, да и в самом деле не стоять же мне в феврале у открытых на улицу дверей с ребенком на руках. Я не сомневался, что по ту сторону дверей не одна женщина, а целая компания. Мои размышления прервались треском срываемой двери. Им не терпелось, и они не захотели ждать. Дверь в моем доме только для виду закрывалась на крючок и цепочку. Но эти «запоры» были слабыми, что называется, «от честных людей». Четырехсантиметровый крючок и непрочная цепочка не выдержали и первого, может быть даже пробного, рывка кого-то из четырех ворвавшихся вместе с женщиной мужиков.

— Чего вам нужно? Чего вы выломали дверь? — спрашивал я у них.

— Нам нужно пройти в комнаты, — настаивала женщина, прижимая к себе кожаную папку.

— Там вам нечего делать. Говорите, чего вам нужно, я вас выслушаю и здесь.

— Нет, нам нужно в комнаты, — настаивала женщина.

Видя, что я не намерен пропустить их в дом дальше крошечной прихожей, женщина торжественно проговорила:

— Вот сейчас вам объявим.

Я из кухни принес и поставил им один стул на пятерых. Женщина протянула мне лист казенной бумаги. Это был ордер на обыск в моем доме. Против меня возбуждено уголовное дело по ст. 198-2 (нарушение правил административного надзора). Для чего устраивать обыск? Искать улики? Или на всякий случай

порыться, авось что-нибудь попадется для другого дела!

Пробежав глазами ордер, я передал его Ларисе, которая поднялась в прихожую на шум взламываемой двери. А пятеро пришедших стояли и ждали, пока мы прочитаем. Я дождался, когда Лариса прочитала ордер, и, забрав его у нее, кинулся вниз по лестнице в кухню. Когда двое мужчин прибежали ко мне, то на их требование вернуть ордер я отвечал:

— Это не ордер, а шпаргалка, и я ему не подчинюсь!

Я поднялся наверх, и там ко мне снова пристали, чтобы я вернул ордер. Но они его так и не увидели.

Мы с Ларисой решили уйти из дома на время обыска. Стали сначала собирать Пашку.

— Вы не имеете права уходить во время обыска, — наседали на нас.

— А мы уйдем все равно, по праву или без права.

— Нет, вы никуда не уйдете.

Видя, что мы и в самом деле собираемся уходить, женщина предъявила мне ордер на арест. В руки она его мне на этот раз не дала, а только позволила пробежать глазами. А четверо мужиков стояли рядом, готовые кинуться, если я поступлю с этим ордером так же, как и с первым.

Спектакль, отрепетированный ими, частично сорвался. Они хотели сначала произвести обыск, держа в кармане готовый ордер на арест. А пришлось вот отступить и переигрывать на ходу.

А я теперь знал, что после обыска меня уведут или увезут.

Женщина, предъявившая мне оба ордера, оказалась следователем Тарусской прокуратуры. Из четырех мужчин, ворвавшихся вместе с ней, один был Лунев, два понятых и третий тип не то следователь милиции, не то, вернее всего, гэбист.

Они приступили к обыску. Копались только в бумагах и книгах. Опять, как и в прошлый раз, забирали подчистую все, написанное от руки или отпечатанное на машинке. Позабирали все мои записные книжки, блокноты с записями, тетради с черновиками. Забрали и бумаги Ларисы с ее записями.

Спрашивать о том, почему забирают все это и какое отношение эти бумаги имеют к предъявленному мне обвинению, не имело смысла.

Цель подобных обысков уже давно разгадана. Тактика ГБ — обобрать, разорить и делать это периодически и систематически. Сделать так, чтобы человек не мог работать с бумагой. Если нельзя заставить человека не думать, не размышлять, то остается другой путь — грабеж, санкционированный прокуратурой.

Очень хорошо об этом сказал в свое время В. Некрасов, и мне не сказать лучше.

О чем думалось мне, точно знавшему, что через несколько часов мне придется прощаться с семьей?

Конечно, неожиданного в аресте для меня было мало. И я не был им оглушен. Я и раньше некоторым своим друзьям и знакомым, которые предсказывали мне быстрый отъезд из страны, возражал. Я им говорил, что не исключаю любой вариант — от разрешения на эмиграцию до ареста. Я говорил, что советская власть коварна и жестока. Она любит поиграть со своей жертвой, как кошка с мышкой, дать тебе успокоиться и как бы открыть перед тобой все двери и лишь в самый последний момент захлопнуть дверь перед самым твоим носом.

И все же горько сознавать, что сейчас тебя уведут из дома. И неизвестно, вернешься ли ты когда обратно. А если вернешься — то когда и каким?

Мне было больно смотреть на сынишку. Как такому малышу объяснить, что долго его не увидишь? Как сказать, что ты не сам от него уходишь, а тебя силой уводят вот эти люди?

Татьяна Сергеевна Ходорович.

43

Я недоволен своей формулировкой на суде: «Продолжаю голодовку, требуя эмиграции в США». Она искажает суть дела. Добиваюсь эмиграции — это само собой. А голодовка — сама собой.

44

А в Находке, рассказывал сокамерник, сдирают, не стесняясь. Едва ты вошел в камеру, с нар слышится: «Рубашку забил!», «Брюки забил!» Опомниться не успеешь, а уж на тебе ни того, ни другого, и уже шпана играет на твое барахло в карты.